ВЛАДИМИР ЗАЗУБРИН

БЛЕДНАЯ ПРАВДА

ВЛАДИМИР ЗАЗУБРИН

БЛЕДНАЯ ПРАВДА

Москва
«Русская книга»
(«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»)
1992

84Р
З-16

Составитель и автор послесловия
А. В. Горшенин

Художник А. С. Кулемин

Зазубрин В. Я.

З-16 Бледная правда: Художественная проза, публицистика/Сост. и авт. послесл. А. В. Горшенин.— М.: Русская книга (Сов. Россия), 1992.— 448 с.

Имя Владимира Яковлевича Зазубрина (1895—1938) известно читателям по роману «Два мира» — одному из самых впечатляющих произведений в нашей литературе о гражданской войне. Но до последнего времени мало кто знал, что перу этого талантливого русского писателя принадлежит помимо романа значительное литературное наследие, которое не видело света почти шесть десятков лет. В настоящий сборник вошло лучшее из этого наследия — повесть «Щепка», рассказы «Общежитие», «Бледная правда», роман «Горы», избранная публицистика. Созданные на заре советской власти, они удивительно современны, что свидетельствует о провидческом даровании их автора.

$3\ \frac{4702010201—051}{М-105(03)92}$ 77—92 84Р

ISBN 5—268—01488—9

© Издательство «Русская книга» «Сов. Россия», 1992 г., составление, послесловие.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

ЩЕПКА

Повесть о Ней и о Ней

I



Hа дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь. На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.

— Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый — просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синея, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился — боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек — сверкающую звезду. Остальные — пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.

— Во имя отца и сына...

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны — в них несокрушимая твердость камня.

На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская портупея через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

— Готово?

Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

— Готово.

И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были неспокойны.

У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же — и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.

— Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

Моргунов не подал руки.

— Я с вами — посмотреть.

Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинноухую рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папахе сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыл лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанизали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:

— ...Три... семь... пятнадцать... двадцать один...

На полу серые, на стенах белые — вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

...Секретно-оперативный... контрревол... вход воспр... бандитизм... преступл...

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял — сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «...Манти-менты... санти-менты... санти...»

Злился, но не мог отвязаться.

— ...Санти-менты... менты-санти...

На площадке лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.

— ...Два... четыре... пять...

Площадка пустая. Снова:

— ...Одна... две... восемь...

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.

— Со свя-ты-ми упо-ок-о-о-о...

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

— Со свя-ты-ми... свят-ты-ми...

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом — списком.

Тяжелым засовом громыхнула дверь.

У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:

— ...упо-по-по-о-о...

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий — земля. Назвал пять фамилий — задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.

Длинноусый есаул подошел, спросил:

— Куда нас?

Все знали — на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

— В Омск.

Есаул хихикнул, присел.

— Подземной дорогой?

Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

— Хи-хи...

И не видел, что из-под него и из-под соседа генерала Треухова ползли по нарам тонкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязг-

нул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

— Ту-ту-ту-ту-ту. Фр-ту-ту. Фр-ту-ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.

— Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх — отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор — накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы — упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеком от входа, мрак. В длинном хвосте — день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пустобрюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры — сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, сорванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около — пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки — черные знаки вопросов — взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

— Раздеться.

Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно рас-

стегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов — никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

— Живей, живей.

У одного завязла в рубахе голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левой погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.

— Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался?

А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.

— Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету-ка. Дай-ка я те пособлю курточку снять.

И ласково и твердо-уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.

— Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик сымем.

Кашин раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

— Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.

— Подштанники...

Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилья не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного собрания? Может быть, первым министром реставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным

Комиссаром не только в РСФСР, но даже в МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колол спину. Руки теребили портупею, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

— Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

— А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

— Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне-то все-таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

— Я хочу дать последнее показание.

Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.

— Около леска, между речкой и болотом, в кустах...

Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где-то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:

— Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест — пригласил.

— Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

— Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром

жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:

— Не кричи — не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:

— Простите, товарищи.

А веселый с русой бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Стал, скроил глупенькую рожицу.

— Вот они какие, двери-то на тот свет — без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать.

А комендант, все смеясь, приказал:

— Повернитесь.

Приговоренные не поняли.

— Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и — конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы — напряженно-бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все-таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая-то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой.

Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

— Святый боже, святый крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами-изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:

— Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек — тесто, жаворонок из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

— Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.

Его грубая твердость толчок и другим чекистам. Мудыня крутил цигарку:

— Дать ему пинка в корму — замолчит.

Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:

— Святый боже, святый крепкий...

Ефим Соломин остановил:

— Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал — мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.

— Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков.

— В лопотине-то те, дорогой мой, чижеле. Лопотина, она тянет.

Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный репсовый подрясник.

— Оно этто нечё, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когды человек чистый да разначищенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

— В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стаскивая брови, спокойно щурился от дыма.

— Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.

Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад — глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.

А с папиросой, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.

— Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов его обрезал:

— Системы нарушить не могу — стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса — полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.

У отца Василия живот — тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)

За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они — каждый по-своему — мечтали жить и кем-то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили цигарки.

— Ефим, как жаба, ты завсегда веньгашься с ними? — квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.

— А че их дражнить и на них злобиться? Враг он когды не пойманный. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когды по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка,

стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчея потом-то.

Расстреливали пятеро — Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.

Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьвер к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и напиться до потери сознания. Но не было сил. Кто-то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для Нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья — дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

— Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Тащили. Тащили.

Подошел комендант.

— Машина, товарищ Срубов. Завод механический.

Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут ррр-ах-рр-ррр-ах. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добиться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласты черепов, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человечьим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.

Ррр-ах-ррр-ррр-ах!

Тащили.

— А-ах-и-и. В-и-и-и!

— Имею ценное показание. Прекратите расстрел.

Трах-ах-рр.

Тащили.

— Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.

— А-а-а-а. О-о-о.

Р-а-ахах.

Тащили.

— Да здравствует государь император. Стреляй, крас-

ная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.

Ррр-ррр.

Тащили.

— Невинно погибаю. У-у-у.

— Брось.

Ррр.

Тащили.

— Умоля-я-ю.

Ррр-у-у-ххх.

Тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно-бледные, устало расстегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущий под курносым носом, сбрасывающий с усов и бороды кровяные запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар — Ее гневная сила, хозяйка здесь Она — жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство — радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступиться,— он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил тонкие аристократические губы, иронизировал:

— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.

Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

— Раздевайся, гад.

— Дайте холуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвертывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

— Тьфу! Не продыхнешь. Белье-то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:

— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевок. Срубов ему строго:

— Не нервничать.

И властно и раздраженно:

— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к «стенке». Соломин взял ее под руку:

— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто-ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая — высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:

— Если бы вы зн-знали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевой глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза — угли. А от сердца

к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на нее. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому — решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачкову — в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.

Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы — топоры. Трупы не падают — березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их — они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.

Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.

А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке — земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.

Трр-ах-ррр-ух-ррр.

Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосяга-

емую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается вдаль. В голове только одна мысль — о Ней.

II

Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно сгущалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.

На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко-синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.

И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, в черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.

Подвал вздыхает или кашляет:

— Тащи-т-и-и.

И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво-сине-желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как по мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, в хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво-черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дроже кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно-злобно, испуганно:

— Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит...

И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живы-

ми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов — Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке — в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.

— Каб того высокого, красивого, в рот-то которого стреляли, да спарить с синеглазой — ладный бы плод дали.

Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:

— Зачем тебе их, Ефим?

Тот светло улыбнулся.

— Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету-ка их.

Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик.

Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.

— Поп-то расписался... А генерал-то...

Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.

— Таких веселых, как в пенснях, завсегда лекше бить. А уж которы воют...

Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.

Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.

Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово — допинг.

До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку — чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки — крови не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью — тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из-за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Бол-

тал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло — красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти — допинг.

Только когда выпил и прошелся по кабинету — заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.

И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел — разозлился.

— Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал.

Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь жмется, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно-голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянеющем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:

— Почему, собственно, белая сорочка Маркса?

Ведь одни из них — поумереннее и полиберальнее — хотели сделать Ей аборт, другие — пореакционнее и порешительнее — кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодовитую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.

Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человечьего пота, в которой письменный стол весь в бумагах — чистых и исписанных, в бутылках — пустых и непочатых со спиртом, с водкой, в нагайках — ременных, резиновых, проволочных, резиново-проволочно-свинцовых, в револьверах, в бебутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бебуты и на стенах, и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с про-

волокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на клочья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.

Колчаковская контрразведка — еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный — тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.

Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.

Ну да, да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...

Сладко пуле — в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.

А Она не идея. Она — живой организм. Она — великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.

Да... Да... Да...

Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.

Но для меня Она — баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровяная лава, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И вот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов — много их присосалось — в подвалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.

В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей,

дней — стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.

И в подвалах № 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В № 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра — головы арестованных, колбасами — колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.

И крысы же в подвале № 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.

Нет крыс только в подвале № 2. В № 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.

И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска — черным по красному написано: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».

Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепавшейся бахромы и кистей.

И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво-черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит.

III

Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугунных решетчатых ворот, хватал,

жевал охапками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов, переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.

Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорогу, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.

— Говорят из Губчека. Немедленно сообщите... Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте... Губчека предлагает срочно, под личную ответственность... Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека... Губчека требует...

И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека — немедленно, сейчас же, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.

А в Губчека — люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и во дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего — доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.

Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные — белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно

выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.

— Не мешало бы Губчека обратить внимание... Открыто две жены. Подрыв авторитета партии... Доброжелатель.

— Я, как идейный коммунист, не могу... возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге — барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как... Необходимо, кому ведать сие надлежит...

Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресло. Пакет с надписью — «совершенно секретно», «в собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.

«Я нашел вотку в 3-ай роти командер белай Гат...»

Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: «...и поетому ево (командира роты) непрямено унистожит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищетская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин».

Срубов морщился, сосал трубку.

Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: «Смерть кровопийцам чекистам...»

Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.

«Товарищ председатель, я хочу с вами познакомица, потому что чекисты очень завлекательныя. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды... Я буду вас ожидать...»

Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:

— Севодни будем?

Срубов понял, но почему-то переспросил:

— Что?

— Контрабошить.

— А что?

Четырехугольное плоское скуластое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.

— Сами знаете.

Срубов знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий скучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстреливать или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обусловливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже — старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем-расстреливателем.

— Могуты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.

И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.

У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, загнивает, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.

— Напьешься — в подвал спущу.

Без стука в дверь, без разрешения войти, вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.

— Вызывали. Явился.

А в глаза не смотрит — обижен.

— Пьешь, Ванька?

— Пью.

— В подвал посажу.

Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.

— Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.

— Не пей.

Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.

— Вот хоть сейчас к стенке ставьте — не могу. Тысячу человек расстрелял — ничего, не пил. А как брата укокал,

так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему — становись, мой Андрюша, а он — Ваньша, браток, на колени... Эх... Кажну ночь мерещится...

Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И вот взаимоотношения, роль права. Хаос. Хаос. Замахал руками.)

— Идите, идите. Нельзя же только так открыто.

А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.

«Я человек нейтральный, но... тем более он ответственный работник... Керосин необходим Республике... и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия...»

И одно за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, пары подошв, дюжины иголок, которые кто-либо у кого-либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.

Три-четыре дельных указания — контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсовнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги — угодливый шепоток. Они любили «довести до сведения кого следует». Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки. И все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:

— А как, по-вашему, это? А как это? А? Ничего? Не попахивает контрреволюцией? А вот посмотрите сюда? А вот здесь подозрительно. Нет? А?

В конце концов они спокойно отходили в сторону и

равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому «ведать сие надлежит».

Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов — непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.

Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Расстегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.

Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.

Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони-люди.

Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов-проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов, и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязались к нему) а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше — теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво-мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых

подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.

...Мудыня, Боже — оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Срубов знал их еще по восточному фронту и про них именно он сказал: «С такими мы будем умирать...» Но водка? А сам? И какое значение все мы — я, Мудыня, Боже, ну все, все... Да, какое значение имеет все мы для Нее?

И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца... Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное созданьице, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю — нет, никогда, а ты... Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного...

Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.

Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:

— Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?

Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булыжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.

— Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.

Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел

ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны — в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете, как в мастерской, за столом, как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка — кричит:

— Ну, пошла, пошла машина. Живо!

И в телефон кричит:

— Карошо. Слушаю.

На ходу распоряжения агентам, на ходу два-три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.

Вот и сейчас, после Срубова, у себя посетителя схватил глазами как клещами, в кресло усадил — в тиски сжал. И пошел, пошел вопросами, как молотками.

— Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца...

И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.

«Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?»

Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист-инструкцию секретным осведомителям.

— Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность.

Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком годы работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.

А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.

Срубов по другую.

— Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.

Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.

— Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.

Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.

Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.

— Разрешите? А вы?

Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.

— Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека.

Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.

— Полюбуйтесь на молодчика.

Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.

— Ну?

— Брат моей жены.

Срубов пожал плечами.

— В чем же дело?

— А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.

— Кто он?

— Клименко. Капитан Клименко — начальник контрразведки армии.

Срубов не дал кончить.

— Клименко?

Крутаев доволен. Старческие тухнущие глаза замаслились хитрой улыбкой.

— Видите, можно сказать, родного брата не щажу.

Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.

Уходя, Крутаев небрежно бросил:

— Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.

— Зачем?

— В возмещение расходов на приобретение карточки.

— Ведь вы же ее у себя дома взяли.

— Нет, у знакомых.

— У знакомых купили?

Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс-

папье. В голове — поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.

— Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.

Бросил на стол две сторублевки. Крутаев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: «РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ».

Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс-папье.

В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот — чекисты шли в столовую обедать.

Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик — политработник из батальона ВЧК, безусый парень, говорил о программе РКП в жилищном вопросе.

Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелестят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.

— Не поймешь, чего бренчит.

Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.

IV

Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.

А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.

— Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу,— Валентина не справилась с волнением. Голос ломался. Срубов показал на спящего ребенка:

— Тише.

Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.

— Андрюша...— Когда-то такой близкий и понятный... А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске... Чужой... — Андрюша,— сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватилась за железную спинку. Голову опустила на руки.— Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя...

Андрей не отозвался.

— У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...

Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.

— Ну, договаривай.

В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темными опухолями. По углам нависли мягкие драпри теней, и комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы. Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.

— Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?

Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.

Андрей, не потушив, бросил окурок. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.

— Не обыватели только... Коммунисты некоторые...

И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:

— И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь...

Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмутился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унизить, оплевать ее, оплевавшую и унизившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался, промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходится? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то, Срубов не мог объяснить себе.

— Так ты, значит, уезжаешь навсегда?

— Навсегда, Андрей.

И в голосе даже, в выражении лица — твердость. Никогда ранее не замечал.

— Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречу...

А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово — бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб — никого.

V

Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов — красных и серых. И Срубов думал.

Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных революций — Она красная и в красном. Нет. Одним красным

Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе — красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду — серый цвет. Она красно-серая. И наше Красное Знамя — ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий — меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.

И еще думал:

— Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его, не прятались за ним палачи пролетариата и его революции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Комуча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский...

Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человечьими глазами. А глазам человечьим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.

У Срубова каждый день — красное, серое, серое, красное, красно-серое. Разве не серое и красное — обыски — разрытый нафталинный уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы — расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.

В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр — еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители — сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов — блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз — лучи. Их фокус — Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:

— ...Предгубчека... Хозяин губподвала... Губпалач... Красный жандарм... Советский охранник... Первый грабитель...

Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечьи глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, на-

ливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.

«Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистишки. Есть и так называемые социалисты. Многие из вас с восторженным подвыванием пели и поют — месть беспощадная всем супостатам... Мщение и смерть... Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обагрим. И, сволочи, сторонятся, сторонятся чекистов. Чекисты — второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете — враг обезоружен. Пока он жив — он не обезоружен. Его главное оружие — голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов-революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы-то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черновую, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение...»

Но до начала так и не досидел, вскочил, пошел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал — сволочи. И плюнул.

Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пытливо-ласково посмотрела в глаза:

— Ты болен, Андрюша?

У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.

— Я устал, мама.

На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.

Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят вдаль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что-то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают воду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски-ножи. Около них сослуживцы Срубова — чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается — черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса, втаптывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.

И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человечьими головами, как черви,— ползут, ползут. Автоматические диски-ножи не поспевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие-синие. Хвост — золотая коса девичья. Лезет по Срубову. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубову душно. Он задыхается.

На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:

— Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо?

Старуха спит, не слышит.

— Мама!

Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклокоченные волосы, борода. Срубову страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:

— Мама, мама.

Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога

маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами.

VI

Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который приготовишку гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Икой и которого Кац звал Павлом Петровичем.

И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:

— Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм — это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.

Голый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.

— А теперь, Ика, позволь пожать твою руку.

И Кац не мог не подать руки доктору Срубову, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.

— Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.

И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к «стенке».

А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.

И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность Члена Коллегии Губчека

в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:

— Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.

Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:

— Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.

И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах — крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.

— Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом — ОИБ. Мечтал о таких «оибах» по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами...

Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он как коммунист-революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:

— Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: «Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном». Понял?

— Хорошо, не будем говорить.

Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пить, громко глотая, у Срубова мысли быстро-

быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть, перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд, и желание, страстное, непреодолимое — оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.

«Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мой отец,— мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного — мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства — штуки не легкие. Китаянке изуродованные ноги разбинтуй — падать начнет, на четвереньках наползается, пока научится по-человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний-то, замыслов-то, порывов-то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало — переродиться надо, кожей другой обрасти».

Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:

— Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом — перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.

А в это время в Губчека, в подвале № 3 дрожь коленок, тряска рук, щелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из-под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист — список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами — выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папахах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской,

идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам, на которых часовые, как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.

На красном полотнище занавеса сцены надпись: «ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ».

По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток, по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие: «СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». «СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ».

На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.

— Сме-е-ерть... См... сме-сме-рть... сме-сме-смерть...

В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспокойно, с тоской завозился зверь, затрещали, заскрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впиться в ее черную грудь, припасть к ней большим, плотным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.

И Срубов и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово-обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:

— Товарищи...

Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по

упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:

— Через час вы будете освобождены.

Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, щелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.

— Товарищи, Революция — не разверстка, не расстрелы, не Чека.

В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.

— Революция — братство трудящихся.

После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.

И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белых трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.

Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снегу, смял и Ваньке Мудыне в рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.

— Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю.

Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега — ком смеха. Смех — снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.

Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам — часовым.

Простились, разошлись усталые с мокротой за ворот-

никами, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.

Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.

— До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция — это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.

И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину-мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса.

— Андрей, ты с ума сошел. Пусти, Андрей...

Срубов смеялся.

— Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!

VII

Допрашиваемый посредине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков — мрак. Впереди, лицом к лицу,— Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.

Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, теребит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут — молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.

И вдруг неожиданно:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все-таки вопрос задан. Допрос начался. Надо говорить ответы.

Пять минут — тишина. И опять:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.

И еще пауза. И еще вопрос:

— Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.

Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой, выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося — собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.

...участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень.

Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:

— Следующего.

А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.

Допрашиваемый ломает руки.

— Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех...

Срубов даже не взглянул. И только конвойным еще раз, настойчиво:

— Следующего, следующего.

После допроса этого жидкоусого в душе брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.

Следующий капитан-артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил.

— Долго у белых служили?

— С самого начала.

— Артиллерист?

— Артиллерист.

— Вы под Ахлабинным не участвовали в бою?

— Как же, был.

— Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?

— Моя.

— Ха-ха-ха-ха!

Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.

— Смотрите, вот вы мне как залепили.

На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся:

— Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.

Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому.

— Ничего, это в открытом бою.

Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человечьими взглядами.

Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.

А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот — худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.

Срубов в коридор.

К двери.

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Заперто.

Застучал, руки больно.

Револьвером.

— Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.

Не то выломал, не то Иванов открыл.

Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.

А Иванов красный, мокро-потный.

И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.

Курили все. За дымом лица серые, мутные.

Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.

— Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.

Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.

— Позволено стрелять — позволено и насиловать. Все позволено... И если каждый Иванов?..

Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.

— Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено.

Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.

— Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье.

Опять взял карандаш.

— Революция — это не то, что моя левая нога хочет. Революция...

Черкнул карандашом.

— Во-первых...

И медленно, с расстановкой:

— Ор-га-ни-зо-ван-ность.

Помолчал.

— Во-вторых...

Опять черкнул. И также:

— Пла-но-мер-ность, в-третьих...

Порвал бумагу.

— Ра-а-счет.

Вышел из-за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.

— Революция — завод механический.

Каждой машине, каждому винтику свое.

А стихия? Стихия — пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.

Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.

Завод заработал. В него. Ходит между машинами, тычет пальцами.

— Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты...

Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.

Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):

— Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится.

Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:

— Это есть правильно. Революция — никакой философий.

У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебастра. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале).

Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:

— Мама, ты? Я иду домой.

За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.

VIII

Срубов видел диво — Белый и Красный ткали серую паутину будней.

Его, Срубова, будней.

Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг былого трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.

Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого — нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место — в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.

У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.

А именно в торопливости, напряженности, настороженности — в близкой путанице паутины своей и чужой — будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздева-

ясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в вагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости — будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине-серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмые сутки. (Вообще же служба в Чека красно-серое, серо-красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины — третий год.)

И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутина чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все, как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны — раскрыть на столе папку черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.

Большой лист графленой бумаги.

«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно».

Бланк — председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр... Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:

«1. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.

2. Спросить завхоза, почему в этом м-це выдали тухлое сало.

3. Завтра общегородское собрание.

4. Юрасику на штанишки и чего-нибудь сладкого».

Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: «Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача-исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя-теоретика. Один сказал — террор необходим, другой нажал кнопку автомата-расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.

В будущем «просвещенное» человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерий. Тогда не будет подвалов и «кровожадных» чекистов. Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в ваксу, в вазелин, в смазочное масло.

О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты...»

Из блокнота.

1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.

2. Посоветоваться с Начосо.

3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время — написать книгу.

4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.

Обрывок глянцевитой бумаги для черчения. Чертеж автомата-расстреливателя.

На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:

«Наша работа ч р е з в ы ч а й н о тяжела. Недаром наше учреждение носит название ч р е з в ы ч а й н о й комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так — мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина — существуют насекомые-вредители хлебных

злаков. И есть у них враги — такие же насекомые. Ученые-агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебец целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут».

Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину — сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.

А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старый, серо-зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо-зеленые губы, ворчал: «О-о-о-мим-о-о-омим-о-о-омим...»

В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: «Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-р-ж-ж-ж...»

Добились своего — разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная — началось.

И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону — распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.

Над городом сырая синь ночи, огни иллюминованных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она — оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.

Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканьем, сверкая глазищами

фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.

Остался в памяти арест главаря организации — караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:

— Христос воскрес, господин полковник.

И, сажая к себе в автомобиль, добавил:

— Эх, огородник, сажал редьку — вырос хрен.

Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталинный покой сундуков.

— Сказывайте, сколь вас, буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.

И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилось сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.

Остальное — ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди — бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо-красное, красно-серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.

Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он, хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие-то маленькие черные точки — и все.

Старуха просит за сына, плачет.

— Пожалейте, единственный...

Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову — светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:

— Единственный.

Но что он может сказать ей? Враг всегда враг — се-

мейный или одинокий — безразлично. И не все ли равно — одной точкой больше или меньше.

Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.

— Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват — расстреляем.

Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.

— Единственный кормилец, муж... пять человек детей.

Старая история. И этой так же.

Семейное положение не принимается в расчет.

Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.

Выходят, выходят черные точки-булавки. Со всеми одинаков Срубов — неумолимо жесток, холоден.

Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил — взятку сунул. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов-ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:

— Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось...

— Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших и вас.

Были и еще посетители — все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко — на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.

Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашеные яйца — белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.

Родные могли еще приходить со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала № 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал № 2, из него в № 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизали их кровь.

Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровяные языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекшую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.

IX

На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:

Группа А — пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б — десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача — взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В — семь пятерок, сброд. Задача — вокзал.

После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны, соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.

Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.

На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди — где-то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел, как на ладони, всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.

Следователь докладывает:

— ...активный член организации, его задачей...

Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.

Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:

— Ваше заключение?

Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:

— Полагаю, высшую меру наказания.

Срубов кивает головой. И ко всем:

— Имеется предложение — расстрелять. Возражения? Вопросы?

Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.

— Ну, конечно.

— Стрельнули, значит?

Срубову весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:

— Стрельнули.

— Следующего.

Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.

— Поставщиком оружия для организации являлся...

— Этого как, товарищи?

Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:

— Принято.

Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:

— По-моему, этот человек не виноват...

Срубов его остановил решительно и злобно:

— Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит,— не суд. Персональная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.

Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова.

— Революция — никакой философии. Расстрелять.

Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться.

Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного — нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном — чепуха, предрассудки. Хотя для людишек-булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубову, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавочек. Как, каким способом — безразлично.

И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть границы всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?

Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слу-

шал докладчика-следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем-то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остроконечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав — исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.

Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал Срубо, от «о» протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменившей букву «в». Вся подпись — кусок перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены Коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто-нибудь другой первый возьмет перо.

Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова «Члены» быстро нацарапал — Ян Пепел.

Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова — один сантиметр. Сантиметром выше — и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.

А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженый затылок Каца. Невольно пошутил:

— Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок — крутой, широкий. Не промахнешься.

Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.

X

Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.

«Если расстреливать всю Чиркаловскую — Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины

за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками) — отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного — порубили. Крутаев выл, требовал меня: «Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист». И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно таращил глаза, ревел: «Позовите товарища Срубова!» Все-таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же все, что мог дать нам, он дал.

Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.

Из ямы кто-то закричал: «Товарищи, добейте!» Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все-таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.

Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему-то подумал о своей смерти. Умерли они — умрешь и ты. Закон земли жесток, прост — родись, роди, умирай. И я подумал о человеке — неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью... Нелепость...

Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромоздили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: «Революция — никакой философии». А я без «философии» ни шагу. Неужели это только так и есть... родись, роди, умри?»

XI

Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Многое было за несколько месяцев.

И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.

А допрашивает Кац. Лицо у него — круглый чайник. Нос — дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос — пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там — лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.

Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:

— Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.

На мгновенье Кац, следователь, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.

— Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?

И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было, больно, с болью сморщившись, сказал:

— Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?

Срубов махнул рукой и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она — любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше — жизнь целиком. Все взяла — душу, кровь и силы. И нищего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Объедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессилевших, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама — нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.

Но инвалид, объедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит — дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить... Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:

— Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?

И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.

Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. Посередине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задыхался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят...

И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывал-

ся — не видел. Теперь он доволен — догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.

Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.

Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь — от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.

Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.

Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.

— Андрюша, Андрюша.

Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорища. Черт с ним. Зубы-то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.

— Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете?

Кто это тянет его за плечи. Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его, значит, убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:

— Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками. Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там... Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста — мое имя Лимон...

Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехаться бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо попросить этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.

— Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.

В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.

— Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку...

Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему-то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.

— Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.

Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.

— Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.

Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер — за талию сгреб, как медведь.

Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.

В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног — стук топоров на плотах (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.

Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменные берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозадая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, волосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать — язык примерз к зубам.

А плоты все мимо, мимо... Вереницей многоэтажные корабли.

Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб — земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел.

И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.

Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:

— Я... я... я...

А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.

И в тот же день.

Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембровская играла на пианино «непонятное».

Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика.

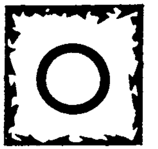
— Товарищи, наша партия Рэ-Ка-Пы, наши учителя Маркса и Ленина — пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты — ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные — охвостье, мякина. Беспартийный — он понимат, чо куда? Никогды. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимат, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь — дела мирская...

А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью и пухло Ее брюхо (по библейски — чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь — Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо-красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.

ОБЩЕЖИТИЕ

СТРАНИЧКА ПЕРВАЯ

Дом № 35



н — голубой и с мезонином. Стоит на углу Октябрьской и Коммунистической улиц. Ранее принадлежал вдове статского советника Обкладовой. Теперь — национализован. Занят общежитием сотрудников Губисполкома.

От прежней хозяйки в доме остались широкие, деревянные кровати, кожаные кресла и диваны, кривоногие столы и тюлевые занавесочки на окнах (не на всех), туи и олеандры на подоконниках и едва уловимый запах залежавшегося старого платья, нафталина, ладана.

Больше ничего.

Живут в доме новые люди — сотрудники Губисполкома. На доме нет соответствующей вывески. Но есть другая, около входных дверей, эмалевая, массивная, как белая каменная плита:

Доктор Лазарь Исаакович ЗИЛЬБЕРШТЕЙН. **Кожные и венерические**

Часы приема ранее были указаны. Теперь заклеены серой бумагой. Вывеска видна издалека. Даже ночью.

Комнаты в доме все пронумерованы.

Комната № 1

Это мезонин.

Занимает его советский поп-баба — завзагсом (заведующая отделом записей актов гражданского состояния) — Зинаида Иосифовна Спинек.

Зинаида Иосифовна Спинек лежит с Петром Петровичем Крутиковым. Постель широкая, матрац мягкий,

пружинный, одеяло теплое. Огненным пузырем дуется, ворчит за кроватью железное раскаленное брюхо кривоногой печки. В комнате тепло, темно, тихо.

За окнами, с шелестом черных мокрых юбок, идет ночь. Черная ночь идет за город, за реку, на черные мокрые безмолвные просторы полей. За поля каждый день уходит солнце, там — запад, и туда же каждые сутки уходит ночь.

Ночь идет пятая в октябре.

Петр Петрович Крутиков зевает, говорит вполголоса:

— Хорошо бы мне, Зинушка, перебраться к вам в общежитие.

Зинаида Иосифовна Спинек тоже зевает и говорит тоже вполголоса.

— Нельзя вам, Петя, вы служите в Губторге. Наше общежитие только для сотрудников Губисполкома.

(Спинек меняла мужчин часто и поэтому даже в постели говорила всем — вы).

Спинек и Крутиков хотят спать. Шуршит шелковое, стеганое, двуспальное одеяло. Четко щелкают пружины матраца — Зинаида Иосифовна и Петр Петрович укладываются уютнее.

В комнате тихо, тепло, темно.

Спинек и Крутиков тихо засыпают.

Комната № 2

Внизу, первая направо от входной двери, против кухни.

Над столом светлая груша электрической лампочки. На столе краюшка черного хлеба, хлебные крошки, кусок вареного мяса, раскрытая книга Бухарина — «Исторический материализм». Над книгой лохматая льняная голова, широкое красное лицо с мягким бесцветным пухом на верхней губе. Но не Бухарин в голове лектора Губпартшколы товарища Русакова. Товарищ Русаков думает, что Анна Павловна Скурихина, ухаживавшая за ним во время его долгой болезни, его соседка по комнате и жена его начальника — женщина необыкновенная. Вот уже две недели, как почувствовал товарищ Русаков, что жить без Анны Павловны он не может.

Но товарища Русакова от Анны Павловны отделяет толстая капитальная перегородка и муж.

Комната № 3

Рядом с комнатой товарища Русакова. Анна Павловна, только что освободившаяся из объятий мужа, разводит в большой стеклянной кружке квасцы. (Ей кто-то сказал, что если с квасцами, то детей не будет.)

Вениамин Иннокентьевич Скурихин — коммунист, завхоз Губпартшколы, человек дисциплинированный, аккуратный, чистоплотный, много читавший по гигиене, человек безусловно образованный (хотя и учился в духовной семинарии),— стоит в одних тиковых полосатых кальсонах перед умывальником и тщательно намыливает руки.

В комнате полумрак. Электрическая лампочка обвязана тонкой черной тряпкой.

На маленькой беленькой постельке спит семилетняя Милочка. Косичка у Милочки на подушке — тонким черным хвостиком зверька.

Вениамин Иннокентьевич долго мылится, моется, долго обтирается мохнатым полотенцем. Упруго шагает по мягкому ковру к постели. Жена уже лежит. Вениамин Иннокентьевич молча ложится рядом и через минуту храпит.

Жена лежит с открытыми глазами. Жена с тоской думает, что утром это будет опять. За восемь лет у нее были одни роды и каждый год не менее трех абортов. Анна Павловна отдыхала только тогда, когда у мужа бывали любовницы.

Анна Павловна тихо приподнимается на одной руке, другой достает из-под матраца маленькую иконку. Анна Павловна отвертывается от мужа к стене, горячими пальцами сжимает иконку, прижимается к ней горячими губами, мочит ее солеными слезами, шепчет:

— Господи, помоги мне. Господи, пошли моему мужу сильную любовницу. Господи, облегчи.

Вениамин Иннокентьевич спит крепко. Беспокойно мечется во сне Милочка. Крутится на белой подушке тоненький черненький хвостик зверушки. В комнате полумрак и шуршащее тиканье маятника.

Анна Павловна молится, уткнув лицо в щель между постелью и стеной.

Комната № 4

В ней темно. Одеяло у Вишняковых, как и у Спинек, двухспальное, стеганое. Но не шелковое и очень старое. Подкладка у одеяла продралась, грязная вата лезет клочьями. От одеяла пахнет потом, застарелой постелью.

В черной щели между одеялом и простыней, в клочьях грязной ваты лежат два холодных тела — мужа и жены Вишняковых. Где-то рядом в тьме комнаты сопят трехлетний Тоша и четырехлетний Гоша.

Вишняковы лежат час, два. Ворочаются с бока на бок, задевают друг друга боками, руками, ногами. Наконец, лицо Вишнякова перекашивает брезгливая, сладострастная гримаса.

Сон подходит медленно, медленно начинает наталкивать в череп грязную вату. Рыхлые серые клочья делаются упругими, давят мозг. Сознание гаснет.

Вишняковы спят.

Комната № 5

Две, собственно. Но под одним номером. Живет в них доктор Лазарь Исаакович Зильберштейн с женой Бертой Людвиговной. Одна комната у доктора — спальня. Другая кабинет и приемная.

В спальне две кровати. На одной спит Берта Людвиговна. Доктор сидит в кабинете.

Доктор уже несколько лет работает над половым вопросом. На столе у него белые вороха анкет. Глаза доктора, черные большие, вспыхивают сухими огоньками сосредоточенной мысли.

Левая рука крутит острый клинышек волос на подбородке. Волосяные кольца блестящими пружинками свешиваются на лоб. Быстро, как ткацкий станок, снует по бумаге перо.

Испытывают... Женщины... Мужчины...

Удовольствие...

Равнодушие...

Отвращение...

Различно...

Доктор делает сводки.

Идеалы...

Женщины... Мужчины...

Брак...

Длительно любовные...

Случайное сближение...

Проституция...

Бегает челнок-перо. В белую бумажную основу вплетаются черные нити строк. Дрожат, свешиваются на лоб кольцевые блестящие пружинки волос. В глазах сухие огоньки мысли.

Лампа горит ярко. Доктор работает долго.

Кухня

По стенам и за печкой шуршат тараканы. На широкой деревянной лавке спит прислуга Спинек — Паша. В темноте белеют голые, мускулистые руки, закинутые за голову. Пахнет около Паши черным хлебом и луком.

На печке в квашне сопит и вздыхает тесто.

Коридор

Тьма. Пахнет уборной, аптекой, пеленками, ладаном. Слышно, как у Вишняковых плачет ребенок.

СТРАНИЧКА ВТОРАЯ

Ночь не всегда уходит. Часто она просто переодевается, снимает с себя черное платье.

Ночь не ушла. Ночь заспанным, серым лицом в белой рубашке прижимается к окнам голубого дома с мезонином.

В доме ходят женщины в белых ночных рубашках, с бледными мятыми лицами. Лохматые мужчины фыркают у умывальников.

Раньше всех встает Паша.

Паша задирает юбку выше толстых мускулистых икр, засучивает рукава, моет кухню.

Когда Паша еще моет кухню и из комнат еще никто не выходит — коридором, бесшумно, на носках прошмыгивает маленький кругленький Крутиков.

На службу первым уходит Зильберштейн. Высокий, прямой, в широкополой шляпе, в длинном пальто громко стучит по коридору сапогами и палкой, с силой хлопает дверью.

Федя Русаков жжется жестяной кружкой, пьет чай с черным хлебом и маслом. Уходя, кричит в раскрытую дверь кухни:

— С добрым утром, Паша!

Паша улыбается во весь рот, закрывает глаза широкой ладонью. Но отвечает громко:

— С добрым утром, товарищ Русаков!

Голоса Русакова и Паши по сонному, застоявшемуся воздуху дома — свежим утренним холодком. Русаков шлепает по мостовой железом солдатских ботинок. Паша громыхает ведром. Половая тряпка, скрученная тугим жгутом, скрипит. Руки и лицо Паши красны от напряжения.

Спинек, розовая, моется до пояса. Обтирается одеколоном. Перед зеркалом долго расчесывает золотистые волосы, красит губы, пудрится, подводит синим карандашом синие блеклые глаза.

Вишняков медленно тянет через зубы теплый чай. Вера Николаевна непричесанная, грузная, в грязном капоте, сидит за самоваром. Вишнякову противна жена, ее руки с пухлыми, негнущимися пальцами и черными каемками ногтей.

Дети дерутся в углу за кроватью. Четырехлетний черненький Гоша тянет за вихор трехлетнего беленького Тошу. Тоша ревет. Гоша визжит.

Кровать смята. Одеяло и простыня серой кучей.

Вишняков морщится.

— Неужели нельзя до чая?

Щеки Веры Николаевны трясутся, краснеют.

— За вами за всеми не наприбираешься! Вас трое, а я одна.

Вишняков вскакивает.

— Дура! Я служу. Должно же быть разделение работы. Наконец, мне просто некогда.

У Веры Николаевны сильнее трясутся щеки, мутнеют глаза.

— Ну, найди себе умную!

Вишняков срывает с вешалки шинель.

— Дура!

Дверь захлопывается и тихо, со скрипом, приоткрывается.

Вера Николаевна торопливо щелкает ключом. Ребятишки хватают ее за ноги. Вера Николаевна дрожит, сдерживает слезы. Но из мутных глаз текут по щекам теплые потоки.

Скурихин, выбритый, причесанный, в новеньком выглаженном коричневом френче, в черных галифе, в вычищенных сапогах высовывается в коридор.

— Нюша! Нюшоночка! Чаю, чаю скорей!

Анна Павловна в кухне гремит самоварной трубой.

Лошадь Скурихину уже подана.

Дома остаются: Паша, Вера Николаевна, Анна Павловна и Берта Людвиговна. Четыре женщины в одной кухне.

Конечно, им тесно.

У Паши перекисает. У Веры Николаевны пригорает. У Анны Павловны не проваривается. У Берты Людвиговны бежит. У всех кипит, шипит, плещется, чадит.

В одной кухне в клубах пара, дыма, копоти четыре женщины. А вот Анна Павловна думает, что Вера Николаевна страшная грязнуха. Вера Николаевна думает, что Берта Людвиговна невыносимо груба. Берта Людвиговна думает, что Анна Павловна и Вера Николаевна совершенно бестактны. Паша проклинает всех трех — ей совсем негде поставить кастрюлю с супом.

Горшки, чугунки, кастрюльки, баночки, кадочки, кружечки, квашонки камнями несутся в чадном, горячем, шипящем потоке с плиты в печку, из печки на стол, на лавки, с лавок, со стола на печку, из печки снова в печку, на плиту. Горшочно-чугунно-кастрюльный поток гремит в кухне, захлестывает, затирает четырех женщин. Женщины машут руками, толкают камни-горшки, защищаются.

И для того, чтобы пообедать восьми взрослым и троим детям, четыре женщины должны плыть полдня.

Четыре женщины, как веслами, работают ухватами, сковородниками, кочергами, хлебными лопатами, в чаду, в дыму, в пару плывут потные, засаленные.

Сизо-серый туман ест глаза. На окнах мутные потеки. В кухне полумрак и огненная красноязыкая пасть печки.

А в комнатах — неубранные постели, невынесенные горшки, неметеные, немытые полы. Нужно идти в комнаты и на потные руки, шеи, лица, головы собрать пыль с мебели и полов. И еще нужно обязательно до обеда взять корыто, наложить в него грязного белья, распарить его кипятком и в кислом пару растирать, растереть в кровь руки, еще раз раскалить лицо и голову.

Каждый день печка, плита, корыто и утюг выжигают, выпаривают со щек женщин румянец, тусклят краски глаз. Усталые женщины подают усталым мужчинам обед.

Единственная женщина, освобожденная от работы в кухне, из всех живущих в общежитии,— Спинек. С 10 утра до 4 дня сидит Спинек в своем отделе в Губисполкоме. В большие, толстые книги она записывает вступающих в брак, родившихся, умирающих.

В большом городе идет большая жизнь. Тысячи людей родятся, женятся, родят, умирают. И все они (кроме умер-

ших и новорожденных) должны являться в Губисполком к Зине Спинек, заявлять ей о своем желании жениться, сообщать, что у них родился ребенок или умерли старики родители. Спинек серьезная, в синем платье с глухим высоким воротником сухо, но подробно расспрашивает каждого о его происхождении, роде занятий, возрасте, имени и фамилии. Спинек знает, кто, когда и на ком женился, знает, кто, когда и у кого умер, кто, когда и у кого родился. Но ей не интересно это, ей надоели чужие радости и горе. И идущим к ней не всегда хочется говорить, что у них родился ребенок, что они любят друг друга.

Но так устроена жизнь, что все совершающееся в ней должно быть записано в книгах.

Доктор Зильберштейн в своей больнице тоже ведет книги. Доктор Зильберштейн отмечает, сколько каждый день у людей в большом городе проваливается носов, изъедается глоток, гниет мышц и костей. Доктор записывает, сколько больных лечится, сколько умирает. Как и Спинек, Зильберштейн расспрашивает каждого о происхождении, профессии, возрасте, имени, отчестве и фамилии.

Город большой. В городе тысячи людей и тысячи из них записаны в книгах доктора Зильберштейна.

Доктор Зильберштейн из книг делает выборки, сводки и составляет таблицы.

Влияние Революции на половое чувство

У женщин... У мужчин...
Оставила без изменений...
Усилила...
Ослабила...

Влияние Революции на рост венерических заболеваний

И чем больше идет людей к доктору Зильберштейну, тем длиннее у него колонки цифр и числа из двузначных, трехзначных вырастают в четырехзначные, и тем увереннее, тверже ходит доктор, выше держит голову. Каждый день доктор все больше убеждается в правоте своих гипотез.

Гипотезы доктора Зильберштейна таковы:

1) Человечеству грозит всеобщее заражение сифилисом и, следовательно, вырождение.

2) Спастись от вырождения человечество может только полным уничтожением семьи (этого главного рассадника венерических болезней), функции мужа и жены должны

отпасть. Оплодотворение должно быть только искусственным.

3) Общество, в лице ученых специалистов, и только общество, правомочно решать вопросы зачатий и рождений. Здоровье человечества слишком опустошено, разорено всевозможными болезнями, чтобы можно было допускать такую роскошь, как беременность по личному желанию.

4) Человечество будет спасено, если ученые будут производить отбор здоровых женщин и искусственно оплодотворять их.

Доктор Зильберштейн пишет книгу, которая должна указать человечеству правильный путь. Доктор Зильберштейн, кроме почти законченной гениальной книги, имеет еще прекрасную жену. Жена доктора вполне разделяет убеждения мужа. Муж и жена Зильберштейны давно, по взаимному соглашению, не выполняют функций мужа и жены. (Хотя у Берты Людвиговны есть любовник — Скурихин; но Лазарь Исаакович этого не знает).

Доктор Зильберштейн и его жена вполне счастливые люди.

Лектор Губпартшколы Вишняков счастлив только когда стоит за кафедрой, когда перед ним сотни голов курсантов, когда к нему из самых дальних углов аудитории белой веревочкой тянутся бумажки вопросов.

Скажите, пожалуйста, товарищ лектор, в будущем будет ликвидирована любовь?

Если не будет брака, то опеть женчина попадет в орудею производств?

Поясните, отчего ребенок зарождается внутри женщины, а не мужчины?

При коммунизме будет собственность на жену?

Товарищ Вишняков, могут коммунисты иметь двух или трех жен зараз?

Могут ли быть дети без соприкосновения мужчины и женщины, т. е. искусственно?

Будут ли женщины в конце замужними или всеобщими?

Вишняков читает о коммунизме. Всю ненависть к семье, семейной жизни вкладывает Вишняков в свои лекции. О грядущем обществе говорит как о бесклассовом, как о бессемейном. Разворошенная, взбудораженная слушает аудитория.

После лекции в коридоре Вишнякова останавливает Скурихин.

— Слушал я тебя, Вишняков. Зря ты все это. Чепухо-

вый это вопрос, ненужный. Кому делать нечего — пожалуй, можно. После занятий набрать сочувствующих и наяривать. А на лекциях зря.

Скурихин человек занятый. Много не разговаривает. Вишняков не успевает возразить. Скурихин уже в другом конце коридора.

Скурихин останавливает какого-то курсанта. Голос у Скурихина звонкий, властный. На горбатом носу блестит золотое пенсне.

В угловой аудитории Федя Русаков кончает лекцию об историческом материализме и думает, что сегодня обязательно надо объясниться с Анной Павловной.

Обедают в общежитии все в один час. После обеда часто ходят на собрания, на лекции, на доклады. На лекциях, на докладах, на собраниях говорят о постройке большой красивой просторной жизни.

СТРАНИЧКА ТРЕТЬЯ

Скурихин поднимается наверх к Спинек. Спинек сидит в широком кресле, в свободном пестреньком платьице с открытой шеей. Скурихин берет вялую полную холодноватую руку, медленно подносит к губам.

— Зинаида Иосифовна, вы любите Крутикова?

У Спинек дергаются брови. Спинек отвертывается.

— Нет, не люблю.

Скурихин блестит пенсне, глазами, зубами, иссиня-черными, гладко причесанными волосами.

— Тогда я не понимаю...

Спинек смотрит в сторону. Глаза у нее немного косят. Спинек говорит равнодушно-спокойно:

— Должна же я с кем-нибудь жить.

Скурихин берет стул, садится рядом со Спинек.

— Зинаида Иосифовна, но ведь дрянь же этот Крутиков, тряпка серая.

— Да, дрянь.

Скурихин пододвигается ближе, заглядывает в глаза.

— Вы знаете меня, Зинаида Иосифовна?

Спинек улыбается, смотрит выше головы Скурихина.

— Вы умный...

Скурихин снова берет руку Спинек. Пальцы Скурихина горячи. Блеск серых глаз, усиленный блеском пенсне, становится напряженнее и острее. Скурихин с усилием выдавливает через стиснутые зубы:

— Прогоните Крутикова.

Спинек привыкла, что сильный мужчина всегда сменяет слабого, сильнейший сильного. Спинек говорит безразличным ровным голосом:

— Хорошо.

Скурихин обнимает Спинек, целует. Спинек не убирает губ, но губы ее неподвижны, глаза пусты. Скурихин прижимается к женщине. Спинек спокойно отводит руки Скурихина.

— Вениамин Иннокентиевич, я больна.

Скурихин встает, минуту возбужденно шагает из угла в угол.

— Зинаида Иосифовна, я приду через три дня. Хорошо?

Грудь у Скурихина поднимается высоко и быстро. Спинек встает, чертит пальцами по клеенке стола, смотрит в пол.

— Хорошо.

Скурихин идет к жене доктора Зильберштейна. Доктора Зильберштейна нет дома. Доктор Зильберштейн совершает очередную вечернюю прогулку. Берта Людвиговна и Скурихин ложатся на постель доктора Зильберштейна.

Федя Русаков сидит с женой Скурихина, смотрит на нее влюбленными глазами.

Анна Павловна штопает мужу чулки.

Паша гремит в кухне посудой, поет:

Уважала, уважала, уваженье не берет.

Вишняков начерно набрасывает статью для «Коммуниста».

«...Любовь при непрерывной, длительной совместной жизни в одной комнате, спанье в одной постели быстро испарится.

Что может быть отвратительнее нашей супружеской спальни?

Мопассан прав — брак есть обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью.

Разве женщина может чувствовать что-либо, кроме отвращения к мужчине, который поработил ее, заставил быть орудием наслаждения? Любви нет при таких условиях. Здесь только гнусное насилие и скотство. Скотство двойное, сугубое, если и женщина, по привычке спариваться с Иваном или с Петром, спаривается с ним изо дня в день холодно, как машина. К черту такой брак, когда женщина отдается в силу заключенного договора! Отдается

вяло, без страсти, и родятся чахлые ползающие создания... Жалкое машинное производство.

Такой брак подлость, насилие, скотство, разврат и обман. Обман, если люди с плохо скрываемым отвращением все же опять вместе. Современная супружеская постель — эшафот, на котором после долгих мук гибнет лучшее человеческое чувство — любовь.

Мы развращены. Природа не создала нас такими. (Звери не наслаждаются, а родят. Звери не лакомятся, а питаются).

Мы сами своим подлым устройством жизни обратили добро во зло. Нам природа дала женщину-мать, женщину-друга, сестру, а мы обратили ее в рабу и проститутку. Органы, данные нам для продолжения рода, мы обратили в орудия разврата и наслаждения. И природа жестоко покарала нас за это рядом страшных и гадких болезней.

Современные отношения между мужчиной и женщиной имеют корни в далеком прошлом, они тянутся к Библии, к Домострою, к Своду Законов Российской Империи и желтому билету проститутки...»

Вишняков на минуту кладет перо. Жена сидит за другим концом стола, хрустит блестящими ножницами, кроит ребятишкам рубашки. Вишнякову кажется, что глаза ее, большие, карие, похожи на глаза заезженной больной лошади.

СТРАНИЧКА ЧЕТВЕРТАЯ

Скурихин, на всякий случай, не рвет окончательно с женой доктора Зильберштейна. Жена доктора Зильберштейна беременна.

Скурихин идет к Спинек. Анна Павловна слышит, как скрипит лестница мезонина, вздыхает облегченно.

— Слава богу!

Федя Русаков рядом с Анной Павловной сидит на низкой табуреточке. Голубые глаза Феди большие, кажутся еще больше оттого, что он смотрит на Анну Павловну снизу вверх.

— Анна Павловна, вы помните, как я тогда лежал в тифу...

Анна Павловна наклоняется к Феде. У нее усталые светло-карие глаза матери, говорящей с ребенком.

— Помню, Федя. Вы тогда были очень милым большим беспомощным ребенком.

Русаков кладет лохматую голову на острые колени Анны Павловны. Голос Русакова делается глуше.

— Анна Павловна, я очень одинок.

Анна Павловна шершавой рукой медленно ворошит волосы Русакова, молчит.

В кухне гремит посуда. Паша поет.

За стеной Вишняковы пьют чай. Дети спят. В комнате тихо. Вера Николаевна пьет из блюдечка, сопит. (У нее насморк.)

Говорить Вишняковым не о чем. Чай пьют молча. Вишняков с ненавистью смотрит на жену.

Обе комнаты доктора Зильберштейна закрыты, заперты. Берта Людвиговна лежит на постели, на снежно-чистой простыне. Лазарь Исаакович стоит перед ней в белом больничном халате.

— Берта, ты должна быть счастлива, что судьбе было угодно избрать тебя для такого высокого назначения.

Доктор Зильберштейн настроен торжественно.

— Я сейчас произведу над тобой опыт, который решит судьбу всего человечества.

Берта Людвиговна спокойно смотрит на мужа выпуклыми глазами.

— Я счастлива, Лазарь. Я благодарю судьбу, давшую мне такого мужа.

Доктор Зильберштейн гремит на столе колбами, пробирками, стеклянными трубочками, наклоняется над женой.

Русаков глубже прячет лицо в коленях Анны Павловны.

Анна Павловна обеими руками поднимает голову Русакова, целует его в лоб. Голубые прозрачные глаза Русакова темнеют, делаются синими. Русаков встает на колени, тянется к Анне Павловне, целует ее в губы. Русаков тяжело дышит. Его поцелуй горяч. Анна Павловна вздрагивает.

— Федя, не надо. Федя, уйдите.

Русаков грузно встает. Стоит, покорно опустив руки. Анна Павловна дрожит. В глазах у Анны Павловны страх и что-то еще, что коробит Русакова.

— Федя, прошу вас, уйдите, мне надо побыть одной.

Русаков молча, тяжело ступая, уходит, медленно притворяет дверь. Анна Павловна долго сидит, положив руки на колени, опустив голову. Потом берет бумагу, ручку и начинает писать.

«Федя, я хочу Вам сказать о том, как много прекрасных, чистых, глубоких, захватывающих переживаний дало мне общение с Вами.

Я никогда не забуду ночей, проведенных у Вашей постели, когда я, потрясенная до глубины души Вашим бре-

дом, готова была кричать от ужаса, мне казалось, что вся сумма человеческого горя придавила меня.

Чувство бесконечной нежности охватывало меня, когда Вы, как ребенок, тянулись ко мне руками, когда Вы в бессознательном состоянии прислушивались к моим нежным словам, поддаваясь ласке, успокаивались.

Весь не растраченный запас материнских чувств нашел выход. Вы были для меня милым, бесконечно дорогим ребенком. Не буду говорить о той радости, том удовлетворении, какое дало мне Ваше выздоровление. А потом начались наши беседы. Я узнала наслаждение, какое дает возможность касаться душою души другого. Как люблю я Вашу большую душу.

Не сумею передать того прекрасного весеннего, что звучало в моей душе. Мое чувство было таким ярким, таким радостным. Ни тени ревности, ни жажды обладания не было в нем. От всего низкого, узкого было оно чисто. Какое счастье открыть в своей душе возможности, о которых не знал...

Но сегодня...

До сегодня, милый Федя, я думала, что люблю Вас полно и глубоко и что мы сможем дать друг другу светлое.

Я буду откровенна, Федя. Сегодня я поняла с особенной остротой и ясностью, что нам надо разойтись. Женщиной для Вас я быть не могу. Я ограблена, Федя. Физическая близость с мужчиной мне противна. Мой муж искалечил меня... Оставьте меня, милый. Я буду помнить и любить вас далекого. Когда мне станет душно среди людской пошлости, мелочности, подлости, душа затоскует о человеке, я вспомню Вас. Когда холодное жуткое одиночество, как ледяная пустыня, обступит меня, я вспомню, как Вы нежно и чутко подошли ко мне со словами ласки и участия.

Целую Ваш умный лоб.

Анна».

Анна Павловна прячет письмо под кофточку, на груди, ждет удобного момента, чтобы передать Русакову.

И Русаков не может откладывать объяснения до следующего дня. Русаков не знает, будет ли завтра Анна Павловна одна. Русаков тоже пишет.

Двое людей, отделенные перегородкой в четверть аршина толщины, пишут друг другу письма, ловят друг друга в коридоре, торопливо суют в горячие руки маленькие бумажные клочки.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНИЧКА

«Что можно написать на этом клочке. Язык слов слишком беден для выражения лучших и интимных чувств. Нужно быть большим художником слова, чтобы читатель тебя понял и почувствовал всю гамму чувств, тебя переполняющих.

Я часто задаю себе вопрос, какая сила рождает это чувство — любовь? Из каких неисповедимых источников она появляется, хватает человека за сердце и ворочает им, превращает его в мягкое послушное тесто?

Мне иногда бывает очень тяжело. И тогда мне хочется, чтобы в моей руке была Ваша, и тогда мне все было бы нипочем. Как было бы хорошо, не говоря ни слова, с закрытыми глазами, держась за Вашу руку, идти по какому-нибудь полю и молчать, молчать, молчать.

Вы разбудили во мне скрытую жажду радости. Целуя Вас, я чувствовал, что пью эту радость большими жадными глотками, как будто я прошел целую пустыню.

На наших встречах не легло ни тени неискренности и деланности. Все это было так просто, как будто это было всегда.

Встреча с Вами мне дана в награду за какое-то хорошее дело или как компенсация за возможное ожидающее меня несчастие.

Анна Павловна, я не могу вздыхать и томиться, не хочу лгать Вашему мужу, я хочу живой радости свидания и близости. Если Вы любите меня, то мы должны сказать об этом открыто. Вы должны разойтись с мужем. Скажите мне прямо и просто — да или нет?

Ваш Федор».

СТРАНИЧКА ПЯТАЯ

Живущие в общежитии и уходящие из него на день днем делают большое нужное дело.

Скурихин читает нужные лекции, делает нужные доклады, пишет в газете нужные статьи.

Вишняков и Русаков читают не менее нужные лекции, делают доклады. Вишняков пишет не только в газете, но и в журнале.

Спинек на службе считается добросовестной толковой работницей. Спинек нужна в Губисполкоме.

Доктор Зильберштейн, неоспоримо, необходимый, нужный работник. Доктор Зильберштейн человек с огромной

инициативой. Доктор Зильберштейн не только предохраняет носы живущих в городе от проваливания, но и делает новые, вместо провалившихся. Кроме того, он пишет гениальную книгу, производит опыты над своей женой и ходит в губком РКП и губком РКСМ с предложением ввести принудительный еженедельный осмотр. И доктор Зильберштейн очень огорчается, когда его предложения отвергают оба губкома. Доктор Зильберштейн совершенно не понимает, почему партия так ревниво оберегает своих членов от всяких идеологических влияний и совершенно игнорирует опасность влияний физических, половых.

Скурихин, Вишняков, Русаков, Спинек, доктор Зильберштейн днем, несомненно, нужные люди. А ночью? Разве доктор Зильберштейн откажется идти на другой конец города к больному? И разве коммунисты Скурихин, Вишняков, Русаков не схватят винтовки и не прибегут на площадь по первой партийной тревоге? Или Спинек откажется от дежурства в Губисполкоме?

Конечно, доктор Зильберштейн пойдет к больному. Скурихин, Вишняков, Русаков пойдут с винтовками на Советскую площадь. Все пойдут — когда вызовут.

Но если никуда не вызывают и за окнами с шелестом черных мокрых юбок шлепает по грязи черная ночь? Если двухспальные стеганые одеяла грязны и в комнатах пахнет нафталином, старым залежавшимся грязным бельем и лампадным маслом. Тогда — каждый делает, что хочет и как хочет.

Ночь скрипит железом крыши. Скрипит лестница мезонина. Вишняков поднимается к Спинек. Жена Вишнякова провожает мужа злобным взглядом в приотворенную дверь.

— К шлюхе пошел, коммунист идейный.

Вишняков стучит в дверь к Спинек. Спинек закидывает руки за голову и идет к двери. Вишняков входит неуклюжий, в тяжелых солдатских сапогах, в потертом английском френче. От Вишнякова пахнет дегтем. Спинек в белом платье, с короткими широкими рукавами, напудренная стоит перед Вишняковым. Вишняков видит ровный алебастр рук женщины, обнаженных до плеч, тугой сверток золотых волос на голове. Спинек улыбается, декламирует:

Ветер проникнул в замочную скважину
и сказал — «приходи!»
Дверь тихонько распахнулась
и сказала — «иди»...

Вишняков опускает глаза, не знает, куда девать длинные руки.

— Это ваш девиз?

Спинек кладет обе руки на плечи Вишнякова. Глаза Спинек косоватые, блеклые, пусты, смотрят в сторону.

— Виктор Алексеевич, последнее время я много думала о вас.

Вишняков краснеет, неловко поводит плечами. Спинек опускает руки, садится. Вишняков рад, что может спрятать под столом свои сапоги и заплатанные брюки. Лицо у Вишнякова худое, с острыми углами скул. Нос неправильный, большой. Глаза узкие, черные. Черные подстриженные усы. Вишняков некрасив. Вишняков знает, что стыдного в этом ничего нет. Но ему все-таки стыдно. Вишняков трет переносицу, закрывает рукой нос. Спинек крутит на пальце золотое обручальное кольцо. Брови ее дергаются. Вишняков не может поймать ее взгляда.

И вот, если внизу в темной комнате под стеганым, рваным, засаленным одеялом лежит усталая жена и глаза ее — глаза заезженной лошади. Если в доме тихо, так что слышно, как медленно, с монотонным бульканьем стекает с крыши вода. Если рядом сидит золотоволосая, синеглазая, бледная женщина и платье ее бело и легко. Тогда человек думает о чуде, и тогда он смел, красив.

Взгляды Спинек и Вишнякова на минуту встречаются. Вишняков нагибается к Спинек через стол и, не давая глазам женщины ускользнуть в сторону, говорит с силой:

— Вам нужен ребенок. Вы думали об этом?

Спинек бросает небрежно, рассеянно:

— Да.

Мужчина ласков. Глаза его смотрят прямо. Его голос тверд.

Женщина знала много мужчин... Ни один не спрашивал, чего она хочет. Все заявляли только о том, чего они хотят. Этот первый спросил, чего хочет она.

В доме тихо. Тихо, молча сидит большой мужчина, внимательно смотрит в глаза. И женщина, у которой было много мужчин, но которая всегда была одинокой, начинает мечтать о чуде.

Спинек говорит уверенно, радостно, и темная пустота ее глаз заливается блестящей влагой.

— Я хочу ребенка.

Скрипят внизу ставни. Снизу начинает скрипеть лестница. Без стука в дверь входит Скурихин. Вишняков нервно дергается на стуле, встает. В этот момент он ненавидит

Скурихина. Глубоко под крышкой черепа просыпается тысячелетнее, голое, волосатое. Ноги делаются по-звериному упруги. Хочется на упругих звериных лапах подойти к Скурихину, зарычать, заскрипеть зубами и лапой, мощной, тяжелой, схватить за горло.

Вишняков, теребя короткую черную щетину на голове, идет к двери.

Спинек остается со Скурихиным. Скурихин хочет ее обнять. Спинек толкает Скурихина. Скурихин удивлен.

— В чем дело? Почему?

Спинек отходит к окну. Глаза ее опять пусты. Она смотрит на город, на реку, на поля. Ничего не видит. Небрежно отвечает:

— Так, ни почему.

Скурихин краснеет, как от пощечины. Он самолюбив. Но все же спрашивает:

— Совсем?

Спинек не обертывается.

— Да, совсем.

Спинек первый раз отказывает мужчине. Она чувствует себя необычайно сильной. Спинек думает о ребенке. Она уже видит его, ласкает.

Скурихин, багровый, круто повертывается, скрипит лестницей. Скурихин идет в кухню, запирает за собой дверь. Паша сопротивляется растерянно. Скурихин зажимает ей рот, кладет на лавку.

Доктор Зильберштейн стучит по коридору сапогами и палкой. Доктор Зильберштейн идет на очередную прогулку. На улице он широким вздохом набирает полную грудь черного сырого воздуха и думает, что жизнь прекрасна. Сегодня он узнал, что его опыт блестяще удался, у него жена беременна. Доктор Зильберштейн окончательно убежден в своей гениальности. Доктор Зильберштейн счастлив.

СТРАНИЧКА ШЕСТАЯ

Мокрый белый снег падает на черную мокрую площадь. Вишняков идет со службы. На площади красные флаги. И оттого, что сыплется снег, флаги краснее.

За все пять лет Революции Вишняков в первый раз остро и полно чувствует живую улыбку красных флагов. Вишняков улыбается снегу, флагам, насвистывает, насвистывая, входит в дом.

Жена усталая встает с кровати, смотрит большими злыми глазами заезженной лошади.

— Свистишь? Доволен? Бросилась на шею шлюха. На каждого кидается.

Вишняков подходит к жене, тихо берет ее за руку, смотрит в лицо.

— Зачем ты так говоришь о женщине? Почему ты не скажешь, что мужчина бросается на каждую? Ведь ты же женщина.

После обеда Спинек играет на пианино. Вишняков сидит рядом.

Платье на Спинек синее, новое. Новая материя блестит. Блестят синие глаза Спинек. Золотом отливают волосы. Светится матовая белизна рук, шеи, лица. Снежные квадратики клавиш сверкают под пальцами.

Мимо окна летят тяжелые мокрые снежинки. (Снег идет первый в эту осень.) С крыш течет. Но крыши белы.

Вишнякову кажется, что и музыка Спинек белая — белые прозрачные звучащие кристаллы. И белая радость в груди у Вишнякова.

Спинек устало откидывается на спинку стула. Вишняков берет ее руку, целует.

— Вам нужно работать, Зина. У вас талант.

Спинек молчит. Глаза ее снова пусты.

Вишняков тянется к Спинек, смотрит внимательно, ласково.

— Когда я слышу твою игру, Зина, мое чувство к тебе делается глубже, тоньше. Меня как-то особенно окрыляет сознание, что ты — талант.

У Спинек дергаются брови. Но лицо неподвижно. Голос спокоен, холоден. Спинек говорит — бросает серые, бесцветные камешки — слова.

— Да? Разве? Почему?

Вишняков встает, начинает ходить из угла в угол.

— Ведь мы всегда в любимой женщине ищем что-то особенное. Какое же счастье любить ту, у которой, как у тебя, есть это особенное! Зинусь, ведь ты — талант... Может быть, больше.

Спинек как не слышит. Спинек думает о своем.

— Виктор Алексеевич, но у вас ведь жена, семья... И всегда мужчины говорят каждой женщине, что она особенная, необыкновенная, что они первый раз такую видят и любят первый раз с такой силой.

Вишняков морщится, молчит, хватается за голову, быстрее кружится по комнате.

— А почему вы равнодушны к своей жене, к своим детям? Ведь это будет то же самое.

Вишняков быстро подходит к стулу, садится, стучит кулаком по крыше пианино. Глаза Вишнякова черны и злы.

— Есть такие слова «хочу» и «должен». Я любил свою жену... Потом я перестал любить жену. Но механическая близость сохранилась. Родился ребенок, другой. Я уже должен их любить.

Вишняков хватает Спинек за руку, говорит, стискивая зубы:

— Пойми, что я люблю тебя.

Спинек неподвижна, холодна. Сколько мужчин говорили ей это слово — люблю. Сколько мужчин целовали ее, целовали ее губы, глаза, лоб, голову, руки, грудь, все, все тело. Все зацеловано, захватано, все было, повторялось и повторяется вновь.

— Виктор Алексеевич, так все и всегда говорят.

Вишняков вскакивает.

— И Скурихин?

Вишняков ревнует Спинек ко всем мужчинам, бывшим у нее до него. (Ведь каждый мужчина хочет быть первым, единственным, неповторимым. Каждая женщина хочет стать первой и последней.)

Спинек дергает бровями.

— Да, вроде этого...

— У-у-у. Проклятье!

Вишняков рычит, бегает, сжимает кулаки.

Спинек встает, улыбается, поправляет прическу.

— Виктор Алексеевич, пойдемте на бульвар. Вам нужно успокоиться.

Частая чугунная решетка бульвара — длинная черная расческа в снежной седой голове. Снег, неглубокий, мокрый, тает.

Следы Вишнякова и Спинек черны и четки. На бульваре пусто.

Бульвар на берегу реки. Река чугунно-черная.

В беседке темно. Хотя пол в снегу.

На твердом, деревянном полу обжигающий белый холод снега и жгущий, белый жар упругого тела женщины.

— Милая.

— Я твоя милая?

— Первый раз сказала — ты.

Мимо беседки беззвучно пролетает большая белая птица. Крылья и голова у птицы круглые. Птица пушистым снежным шаром летит над чугунной чернотой реки.

Но когда идут домой — Спинек снова говорит «вы»,

снова холодна, замкнута. Спинек недоверчиво думает, что он, как все. Спинек не хочет выделять Вишнякова. Выделить, полюбить — отдать не только тело. А он уйдет, как и все. Будет больно. Не надо.

Спинек твердеет, идет с поднятой головой, со стиснутыми зубами.

Вишняков берет под руку, заглядывает в глаза.

— Зинусь, почему ты такая холодная, чужая?

Спинек говорит глухо:

— Так, ни почему.

— Ты любишь меня, Зинусь?

Спинек отвечает так, как отвечала многим мужчинам:

— Ну, да, я вас люблю. Вы мне нравитесь.

Но в глазах у нее пусто. И эта пустота пугает Вишнякова.

Подходят к дому. Снег почти стаял. На улице черно.

Расходятся как чужие. Рука Спинек холодна, безжизненна. Вишняков входит в комнату. Комната кажется ему совсем черной.

СТРАНИЧКА СЕДЬМАЯ

Вишняков сидит за столом, дома. Вишняков знает, что у Спинек гости. Но Вишнякову необходимо немедленно говорить со Спинек. И Вишняков пишет:

«Я пишу Вам... Разве любовь может быть без писем?

За окном снег. Снег сыплется с серого неба, мешается с серым дымом города, падает на серые крыши, заборы, землю. Белое на сером быстро становится серым. Серое, серое, серое.

Нет радости — подлинной, зимней, сверкающей, снежной.

Зима. Зима всегда — белое слепящее веселье, бодрящая сила.

Сыплется снег. Бесчисленные снежинки совершают свой неизменный путь от облаков до земли. На серое, на черно-серое падает белое. И серое, черно-серое, грязное, затоптанное делается чистым искристо-белым, хмельно-радостным, неповторяемо новым.

Путь снежинок предопределен веками, в нем неизбежное, неотвратимое, извечное. Неизбежно белому упасть на черное, дать черному белую сверкающую радость и по исполнении положенных сроков — оплодотворить и умереть, уступить место новому, зеленому.

Нет еще подлинной слепящей зимней радости в наших

отношениях. (Зимнее — верное, крепкое, ясное.) Дни наших встреч — снежинки. Чистые, белые снежинки еще падают на серое, чужое, еще мешаются с серым дымом прошлого. Но неотвратим, белокрепок лет снега времени. Еще немного, и белый снег завалит, забелит, засеребрит все осеннее, прошлое. (Осеннее ведь всегда прошлое. Осенью всегда думают о прошедшей весне или лете).

Я вижу эти дни — зимние, верные, крепкие, ясные. Ты в сумерках будешь лежать и слушать монотонное ворчание огня в железной кривоногой печке. Ты будешь ждать меня большая, сильная, ласковая.

Я буду приходить вечером. Мы закроем двери. Красная ласковая теплая печка будет беззлобно ворчать у нас в ногах. В окна мы увидим звездное небо и снежные сине-белые сверкающие просторы полей.

Белы, крепки, чисты будут наши тела и горячи, как снег. (Ведь снег не студит, а жжет.)

Снежинки — дни наших встреч.

Будет падать снег времени. Будет расти большое, снежное, слепящее, зимнее чувство. (Помни — зимнее, всегда верное, крепкое, ясное).

Я убежден, будет у нас белая, большая, неповторимая радость.

И это будет не простая побелка старой, закопченной комнаты. Нет. Пусть вновь потемнеют стены нашей комнатки, пусть местами обвалится штукатурка, пусть в дыры обвалов, иногда помимо нашей воли, выглянет прошлое. Пусть. Оно будет мертво. Умрет и старая, серая, молчаливая комната. Новое, живое, маленькое существо огласит ее звонким торжествующим криком. Новое, живое, маленькое одним криком перестроит заново всю комнату, в новые большие окна покажет нам, что мир велик, что жизнь прекрасна, что лучшее в ней — любовь. И счастливые, мы будем тогда вспоминать синее, звездное, зимнее небо, снежно-белые просторы полей, ворчанье раскаленной печки, тишину нашей белой комнаты, немую радостную муку наших тел, бившихся в страстном творческом поцелуе.

Пусть идет снег времени. Пусть совершают свой путь снежинки — дни наших встреч.

Я знаю, все проходит, умирает. Умрут, растают снежинки — дни наших встреч. Но черно-серая земля разлуки не будет голой. Новое, живое, маленькое существо будет бегать по ней, радостно кричать о торжестве жизни, о ее бессмертии.

Снег падает. Падают снежинки — дни.

Жду, когда настанет день, в который мы встретимся, и тела наши будут телами богов, творящих мир. Верю, что наш поцелуй будет бессмертен.

Т в о й В.»

К столу подходит жена. Вишняков краснеет, закрывает красным листом промокательной бумаги белый листок письма. Жена кривит губы. Щеки у нее трясутся. В глазах слезы.

— Прячешь? Зинке письмо пишешь?

Вишняков нервно вытаскивает белый листок, складывает вдвое, прячет в карман. Голос у него дрожит.

— Да, Зине.

Жена бледнеет, грузная, в широком капоте тяжело садится на стул. Стул хрустит.

— С несколькими бабами путаешься.

Вишняков вскакивает, срывает с вешалки шинель. Жена громко сморкается, всхлипывает, закрывает лицо носовым платком. Большое полное тело женщины студнем дрожит на стуле. Стул скрипит.

Вишнякову противна жена. Вишняков стоит у дверей. Дергает себя за рукав, морщится.

В Губпартшколе, в лекторской комнате, Вишняков пишет второе письмо Спинек. Первое лежит у него в кармане. Вишняков решает передать оба вместе. Не писать Спинек он не может. Видеться со Спинек, писать ей стало для него потребностью.

«Еще хочу я сказать тебе о боли своей за тебя.

Ты подумала, что я стану относиться или отношусь к тебе с брезгливостью после того, как узнаю или узнал, что ты была близка с X, У и др.

Как мне было тяжело, как была ты несправедлива. Л. Андреев говорил: «Купивший женщину — зверь». Я добавляю:

— Обокравший женщину — зверь вдвойне.

Зина, сколько обкрадывали тебя. И как всех их я ненавижу. Они приходили к тебе с лестью и ложью. Уходили удовлетворенные, с зевками скуки, бросали имя твое под ноги улице, как окурок, как шелуху съеденного ореха. Улица топтала, трепала твое имя. А они сыто посмеивались, щурили звериные глазки, подмигивали тебе вслед, шептали по секрету приятелям:

— Знаете, эта... Она недурна в постели... только есть у нее недостаток...

Бросить имя женщины улице — значит, более чем обокрасть ее — надругаться над нею.

Тебя обкрадывали, над тобой надругались люди. Тебя обокрала и природа. И вот к тебе именно такой подхожу я с величайшей болью и любовью. Тело твое оскорбленное беру, как святыню. Хочу, чтоб любовь моя была так же чиста, как чисты и ты и тело твое, очищенное огнем жажды материнства. Нет, нет, не к тебе с брезгливостью подхожу, а к ним, их презираю. Если б мог я вырвать грязный, липкий, длинный, черный язык улицы, я бы вырвал и бросил бы тебе его под ноги.

Растопчи!

Но что я говорю тебе? Разве мы вместе уже не топчем его?

В окно на меня смотрит яркое, но ясное солнце. Ясно у меня на душе. И еще раз я говорю тебе это нестираемое, ясное слово — «люблю».

СТРАНИЧКА ВОСЬМАЯ

В городе — Рабочий Дворец. В Рабочем Дворце ставят «Травиату». В городе говорят о «Травиате».

И поэтому, вероятно, в Губпартшколе, в перерыве между лекциями, Скурихин спрашивает Вишнякова:

— Вишняков, ты знаешь, как по-русски «Травиата»?

Вишняков прислушивается к далекому жужжанию невидимого аэроплана. Смотрит на белые крыши домов. Думает о себе и Зине. Вишнякову хочется взять Зину под руку и идти с ней по длинным кривым улицам города, чувствовать теплоту ее тела, слушать бодряще неумолкаемое жужжание аэроплана. Вишняков отвечает рассеянно:

— Нет, не знаю.

Скурихин не знает, зачем спрашивает Вишнякова. И, не зная, зачем и для чего, начинает объяснять:

— Травиата — значит, падшая...

Вишняков смотрит на Скурихина узкими, черными, ненавидящими глазами. Вишняков ревнует Скурихина к Спинек с особенной силой. Скурихин слишком близко. Скурихин всегда может встретиться со Спинек. Может быть, они и встречаются. Вишнякову тяжело жить со Скурихиным в одном доме, встречаться на службе.

В городе ставят «Травиату». В городе говорят о «Травиате». В городе насвистывают, напевают из «Травиаты».

«Травиата (падшая, заблудшая)».

Зина нашла нужным поставить скобки и перевести.

«...Когда долго протягиваешь руки в пустое пространство, то делаешь это робко или небрежно. Робко, если всетаки на что-то надеешься. Небрежно, если ничего не ждешь.

Иногда сбываются и очень маленькие надежды.

Из пустого пространства начинает светиться свет. Он всегда бывает зловещим, потому что скоро гаснет, а когда гаснет — не оставляет после себя ничего.

Этот свет дает очень кратковременную и очень зловещую радость. Радость, потому что свет всегда оставляет за собой пустое пространство.

Такова радость людей, озаренных северным сиянием.

Вот они залиты кровью, вот они пламенеют и вот уже опять ничего — льды, льды, пустыня, пустыня...

В тело женщины природой вложено очень много сил. Она тратит их на деторождение. В теле бесплодной женщины их скопляется слишком много, они не душат, они ее обременяют, они гасят ее сознание — она все время чувствует свое тело.

Бывают минуты, когда отягощенное сознание хочет погаснуть, чтобы не помнить, не знать, не стать потом светлым, ясным и легким.

Бывают минуты, когда сознание не хочет быть ни светлым, ни ясным, ни легким, ни темным, ни отягощенным, когда оно ищет только забвения пустого, темного пространства, когда оно хочет раствориться и погаснуть совсем в зловещей, кровавой, пламенеющей радости забвения.

И бывают минуты, нет, долгие дни и годы, когда оно гаснет и не возрождается и живет полумертвым.

Я хочу освобождения сознания, оно должно быть освобождено от тела, тело должно выполнять свои законы, оно должно родить.

Но сознание требует не только своего завершения, оно хочет своего продления и ему не все равно, от кого родит тело.

Мне никогда еще ни от кого не хотелось родить: не потому, чтобы я вообще хотела не этого, и не потому, чтоб я не думала об этом, и не потому, чтоб я никого не любила.

Сознание хотело своего продолжения не вниз, не по горизонтали, а вверх.

Но от вас я хочу ребенка.

Люблю ли я вас? Вы сливаетесь для меня с самым ценным — это больше. Я боюсь вас. Вы для меня перелом всей жизни. Вы сами чувствуете и говорите это. Вы та

ступень, выше которой мне не ступить и на которую я еще не ступила и, может быть, не ступлю.

Да, я травиата. На этот путь меня толкнула природа, и на этот же путь я вступила сама.

Я не хочу оправдания. Но я не хочу быть травиатой. Я устала от зловещей, гнетущей радости льдов. Не нужно черно-красного. Дайте маленькое, зеленое, как обещали».

СТРАНИЧКА ДЕВЯТАЯ

Спинек идет к доктору Зильберштейну. Вишняков остается в ее комнате.

Доктор Зильберштейн осматривает Спинек долго и тщательно. Спинек неловко лежать на жесткой кушетке. Спинек стыдно, что у нее голый живот, что доктор Зильберштейн внимательно рассматривает его и спокойно мнет сухими холодными пальцами.

Когда Спинек одевается, доктор моет руки и говорит:

— Маленькая операция, и у вас будет ребенок. Но, скажите, вы хотите сойтись с мужчиной?

Спинек удивлена, смущена. Спинек молчит, краснеет. Доктор Зильберштейн сухо блестит черными глазами. На лбу у него дрожат черные пружинки волос.

— Вы можете иметь ребенка без мужчины. Я открыл способ...

Спинек решительно отказывается.

— Это, может быть, и очень добродетельно, доктор, но и очень скучно.

За дверью Спинек фыркает. На лестнице звонко хохочет. В комнате кладет руки на плечи Вишнякова и хохочет, хохочет.

Доктор Зильберштейн слышит смех в мезонине. Но доктор Зильберштейн уверен, что его открытие перевернет мир. Доктор Зильберштейн даже не сердится на Спинек. Он только медленно говорит:

— О, вы еще придете к доктору Зильберштейну!

И спокойно погружается в работу.

Спинек играет на пианино. Вишняков ходит по комнате, мечтает:

— ...Ребенок должен быть гениален. Мать талантлива, мать — музыкант, отец талантливый оратор и журналист...

Вишняков подходит к Спинек, целует ее волосы. Спинек улыбается, подставляет губы. Вишняков берет обеими руками золотую голову, целует губы, лоб, глаза...

Дома Вишняков совершенно не замечает жену. Работает Вишняков много и радостно.

В общежитии почти все счастливы.

Счастлив Вишняков. Счастлива Спинек. Счастлива Берта Людвиговна. Счастлив доктор Зильберштейн. Счастлива Паша (Паша беременна). Счастлив Скурихин (физически Паша ему нравится больше, чем Спинек).

Несчастливы только трое.

Анна Павловна, порвавшая с Федей. Федя, отвергнутый Анной Павловной. И Вера Николаевна.

Но пахнет в общежитии по-старому — ночными горшками, нафталином, грязным бельем, ладаном.

СТРАНИЧКА ПОСЛЕДНЯЯ

В общежитии четыре беременных женщины — Берта Людвиговна, Вера Николаевна, Паша и Спинек.

Три из них каждый день на кухне. От этого в кухне еще теснее. И женщины ругаются больше.

Освобождена от кухонной работы и, следовательно, от ругани одна Спинек.

Спинек, счастливая, розовая, стоит перед зеркалом. Спинек часто часами стоит, сидит или лежит и смотрит на свой живот. Иногда она видит, как бьется в нем ребенок. Спинек уже любит своего ребенка, ночами видит его во сне. В Спинек проснулось тысячелетнее, самочье.

Вишнякова Спинек зовет Виктором, думает о нем всегда с нежностью.

Он для нее первый, единственный и неповторимый.

Спинек счастлива.

В окнах теплые желтые полосы солнца. Рот форточки открыт. Комната глотает свежую, холодную сырость. Спинек слышит глухой стук капели. Снег тает.

Утро идет двадцать первое в марте.

И вот, случайно раскрыв рот, Спинек видит, что за белым снегом зубов, в мясе десен, на языке у нее такие же темные воронки и темные пятна, как на улице в сугробах тающего снега.

Спинек несколько секунд сидит с опущенными руками, с полуоткрытым ртом, с глазами, выдавленными из орбит и расширенными ужасом.

Спинек бежит на лестницу, истерично хохочет, кричит:

— Виктор! Виктор! Ха-ха-ха!

Вишняков выбегает из своей комнаты полуодетый, в

туфлях, бежит наверх. Вера Николаевна смотрит вслед мужу, видит Спинек, хватается за сердце, бледнея, бессильно садится прямо на пол у порога. Из кухни высовывается красное лицо Паши. Паша скалит зубы, фыркает. Доктор Зильберштейн, уже вышедший на службу, оборачивается у дверей, пожимает плечами.

Спинек хватает удивленного Вишнякова за руки, хохочет.

Глаза Спинек полны слез. Слезы текут по щекам женщины, по груди, кружочками блестят на полу.

— Ха-ха-ха! Нас обокрали.

Вишняков думает, что у Спинек ночью были воры.

— Что украли? Когда? Успокойся.

Спинек хохочет громче, тяжело падает на пол. Вишняков поднимает ее, кладет на кровать.

— Ви-тя... Ми-лый... Ха-ха!..

Стискивая зубы, давя смех истерики, Спинек кричит:

— Сифилис!

Лицо у Вишнякова делается серым. Голос хрипл и глух.

— Когда, от кого заразилась?

— Не зз-ннаю...

У Спинек щелкают зубы. Тело дрожит.

Мужчина и женщина долго молчат. У Спинек тело в холодном поту. Холодный пот на лбу у Вишнякова.

Скрипит лестница. Дверь широко распахивается. Задыхаясь, входит Вера Николаевна. Лицо у Веры Николаевны совершенно белое.

— Шлюха! Развратник!

Вишняков устало поднимает голову, морщится, машет рукой.

— Оставь, теперь все равно. У нас у всех сифилис.

В Губпартшколе, в перерыве между лекциями, Вишняков подходит к Скурихину. Вишняков улыбается. Но голос у него дрожит.

— Товарищ Скурихин, помните, вы спрашивали меня, как сказать по-русски — травиата?

Скурихин просматривает конспект лекции. Скурихин отвечает неохотно.

— Ну?

Вишняков говорит шепотом:

— А теперь я вас спрошу, как будет по-русски люес? Не смешивайте с пулеметом Люеса. Хотя это дырявит не хуже пулемета.

— Ну?

— У Спинек сифилис.

Скурихин не пошел на лекцию, уехал домой.

Вечером в общежитии воют и рвут на себе волосы — Вера Николаевна, Анна Павловна и Паша. Берта Людвиговна ничего не знает.

Спинек тихо плачет. Вишняков сидит рядом. Мужчина и женщина медленно гладят черную рукоятку браунинга.

Но застрелиться никто не смог.

Доктор Зильберштейн делает аборты Вере Николаевне, Спинек и Паше. Спинек, Паша, Вера Николаевна, Анна Павловна, Вишняков, Скурихин ходят на уколы к доктору Зильберштейну. Доктор Зильберштейн торжествующе думает:

«О, вы скоро убедитесь в верности и необходимости моего открытия. О, вы придете ко мне».

Доктор Зильберштейн совершенно не знает, что его жена больна, что он слишком поздно произвел над ней свой опыт. Скурихин не решается сказать правду Берте Людвиговне.

Дни идут.

Спинек, Вишняковы, Скурихины думают сменить квартиры. Но квартир нет. И все живут вместе, в одном общежитии.

Утром мужчины и Спинек уходят на службу. Женщины ходят с бледными, мятыми лицами, не причесанные, не одетые, стряпают, убирают комнаты. Обедают все в один час. Вечерами ходят на лекции, на доклады, на собрания и... на уколы к доктору Зильберштейну. И белой могильной плитой на дверях общежития — массивная эмалевая вывеска:

Доктор
Лазарь Исаакович
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН.
Кожные и венерические

Приговоренные к смерти, запертые в одной камере, всегда откровенны, дружны.

Поэтому, вероятно, Вишняков заходит вечером к Скурихину. Скурихин лежит на постели. Анна Павловна у стола штопает мужу носки.

Вишняков ложится рядом со Скурихиным. Вишняков говорит первый:

— Но ведь мы же работали, Веня? Я дважды ранен в войне с Колчаком.

Скурихин соглашается.

— Да, мы работали и работаем. Я заведую хозяйством Губпартшколы и читаю лекции.

Вишняков вздыхает.

— Но ведь это ужасно, Веня?

Скурихин смотрит через окно на небо, на звезды.

— При всякой работе полагается некий процентик на амортизацию. Вот мы с тобой и попали в этот процентик при работе по перестройке общества.

На дворе, на улице тает снег. Снег почернел, покрылся язвами проталин. Невидимые теплые потоки ведут разрушительную работу. С крыш глухо сползают снежные пласты. Стучит капель. Звенят, ломаются ледяные сосульки.

Скурихин повертывается на бок, кладет руку на грудь Вишнякову.

— А Зильберштейн все-таки дурак. Не с того бока начинает.

На кровати лежат долго. Лица людей серы, как снег весною. Черными проталинами в весеннем снегу — черные дыры глаз и рта. Вишняков щупает переносицу.

— Веня, тепло ест снег, ломает лед. Может быть, и наши тела так же ест, ломает болезнь? Может, мы не слышим только, как разваливаются наши кости.

Вишняков опять щупает переносицу.

Спинек играет на пианино, громко смеется. Она не одна. У нее гость — новый управдел Губисполкома.

Спинек спрашивает его:

— Скажите, какие билеты будут выдавать советским проституткам — желтые или красные?

Управдел удивлен, поднимает мохнатые брови. Спинек хохочет.

Но все же в общежитии есть счастливые.

Берта Людвиговна, беременная, не знающая о своей болезни. Доктор Зильберштейн, ничего не знающий. И Федя.

К Феде ходит черноглазая, черноволосая, кудрявая, красногубая курсантка Катя Комиссарова. Федя и Катя хохочут, гремят стульями, возятся, когда общежитие уже спит. У Феди долго в комнате горит огонь.

На улице в весеннем тумане голубой дом с мезонином округляется, делается темным. Голубой дом с мезонином похож на яблоко. Освещенное окно Фединой комнаты — румяное пятнышко.

ОТРЫВОК

В Губпартшколе вечер воспоминаний. В аудитории электричество. Аудитория полна.

Вишняков бледный, с синими кругами под глазами, стоит за кафедрой, мнет бумажку — план доклада.

Голос Вишнякова срывается. Руки дрожат, лоб в холодном поту.

— Товарищи, мы сейчас вспоминали страшные зверские расправы самодержавия. Но я хочу сказать о еще более страшном. Старое буржуазное общество оставило нам кошмарное наследие — венерические болезни. Венерические болезни, товарищи, зло социальное, явление социального характера.

Курсанты молчат, слушают.

— Я вам хочу сказать, товарищи, как можно заразиться сифилисом, как я им заразился.

Аудитория улыбается. Сотни глаз светятся смехом. Вишняков бледнеет еще больше. Колени у него дрожат. Вишняков надрывно выкрикивает:

— Товарищи, это очень страшно. Необходимо отнестись серьезно.

Аудитория — головы, головы, головы, русые, черные, стриженные наголо, подстриженные, с прическами, лица розовые, красные, смуглые, бледные — пестрый кусок материи.

Глаза — ниточки блестящего, цветного бисера. Губы — красные лоскутки в красном вишневом соку.

В улыбке блестит бисер глаз, набухают кровью лоскутки губ. Смех с шелестом с угла на угол трясет пестрый кусок материи.

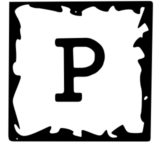
Аудитория не понимает Вишнякова, ей не страшно — она здорова.

Вишняков опускает голову, плечи, теряет нить мысли. Вишняков с опущенной головой, с согнутой спиной, с бессильно оттопыренным задом, держится обеими руками за кафедру. Он похож на искривленное графическое изображение процента.

Расшитый искристым бисером глаз и красными лоскутками губ шелестит, колышется волнами пестрый кусок материи.

БЛЕДНАЯ ПРАВДА

I



аньше все было просто и понятно — черный, чадный, едкий дым и красный жар от пылающего горна, седой, сырой, морозный пар от дверей, красные, раскаленные сгустки железа в черных, цепких пальцах клещей, огненные брызги искр, искристое серебро наковальни, сопящее, воющее дыхание мехов, сопящие, свистящие вздохи кующих, свистящие взмахи молотов, гул ударов, дрожь земляного пола — кузница, задымленная, закопченная, черная кузница. И сам черный среди черных, в поту, в дыму, в чаду напрягал под черной кожей красные раскаленные работой железные сгустки мускулов, сжимал клещи клещами железных пальцев, гремел железом, железный сам — мял, плющил, ковал железо.

Потом, когда забрали на войну, был рядовым. В окопах гулко ухали тяжелые молоты тяжелых орудий, под ударами тысяч кузнецов грохотало, колыхало огнем раскаленное железо, искрами визгливыми летели куски свинца и стали, горнами горели города, деревни, села, дым едкий ел глаза, морил невидимый угар удушливых газов, дрожала земля. Серый, в сером, среди серых — стрелял. От выстрела винтовка вздрагивала в руках, стучала, как молоток. Кузница. Как в кузнице, как кузнец.

На фронте против белых было то же. Только не рядовым молотобойцем, кузнецом работал — кузницей целой распоряжался — отрядом партизанским командовал.

Не трусил, не отказывался — работал.

И когда после победы назначили начальником дома лишения свободы — не отказался.

В тюрьме и познакомился с Иваном Михайловичем Латчиным. Хотя знакомства в полном смысле слова не было. С Латчиным никогда не разговаривал, лица его даже не знал точно. Запомнил только фамилию, как и фамилии других троих смертников, приговоренных к расстрелу вместе с ним. Запомнил потому, что во время осмотра тюрьмы М. И. Калининым просил его помиловать всех

смертников (их было четверо в тот день). Запомнил даже фразу, с которой обратился к всероссийскому старосте.

— Товарищ Калинин, оставьте о себе добрую память. У нас есть четверо смертников...

Калинин не дал докончить, потребовал список. И синим, простым синим химическим карандашом на уголке, наискось наложил резолюцию, простую, обыкновенную резолюцию, по внешнему виду подобную миллионам самых простых, обыденных резолюций, накладываемых простыми, обыкновенными завами, замами, предами и начами. Но смысл ее был необычен, глубок, прекрасен, как идея, которой жил, за которую боролся старик, ее наложивший.

«Помиловать».

Смертники вышли на свободу. Может быть, все бы этим и кончилось. Может быть, никогда бы и не встретился с Иваном Михайловичем Латчиным. Может быть. Но ведь Революция — стихия. Революция — мощный, мутный, творящий и разрушающий поток. Человек в нем — щепка. Люди — щепки. Капризно размечет и раскидает их поток в одном месте, капризно сгрудит, собьет в кучу в другом.

Революция...

И вот Ее волей — кузнец, солдат, партизан, выросший в грохоте железа, привыкший к реву снарядов, к визгу пуль, назначается комиссаром в Упродком. Из грохота, из рева, из визга, от крови человеческой, от человечьих трупов на несколько месяцев в мертвую тишину «мертвого дома» — дома лишения свободы и оттуда в шипящий шелест бумаги, в скребущий скрип перьев, в щелканье счетов, в стрекот пишущих машинок — в Упродком.

Секретарь Губкома, выдавая мандат, жесткой ладонью погладил по спине.

— Товарищ Аверьянов, отказываться, ссылаться на неподготовленность, неопытность вы не имеете никакого права.

Сухими, тонкими костяшками пальцев впился в плечо.

— Не подготовлены — подготовитесь в процессе работы. Неопытны — поможем. Мы знаем вас как активного, честного революционера.

Глаза сделал злые-злые, сверлящие.

— Это важнее всего. Поняли? Остальное приложится.

Разжал костяшки. Отошел. Аверьянов не отказался. Не отказался как солдат, как боец.

И вместо грохота, лязга железа, визга, свиста пуль, воя, рева снарядов — шипящий шелест бумаги, скребущий

скрип перьев, стрекочущая трескотня пишущих машинок, щелканье счетов.

...шшшш-шссс-сттт-тччч-ч-ш...

И вместо трупов человечьих и человечьей крови, которых раньше никогда не учитывал, не считал, не привык учитывать, считать,— теперь трупы коровьи, свиные, бараньи, куриные, утиные, гусиные, индюшачьи, которые нужно было считать, взвешивать, хранить, теперь кровь коровья, баранья, свиная, которую нужно учитывать, беречь, собирать по каплям, по горсточкам. (Из нее ведь делали колбасу для советских служащих.)

Никакой логической неувязки нет в том, что Она — Революция — не считает трупы человечьи и считает, ведет точный учет трупам скотским, птичьим. Люди убиваются Ею во имя счастья миллионов, враждебные миллионам. Не все ли равно, сколько их?

Во всяком случае, ничтожнейшее меньшинство по сравнению с теми, именем которых и ради которых они убиваются. Революция обусловливает необходимость массовых убийств людей людьми. И Революция же в свою эпоху, как ни в какую иную, требует строжайшего учета трупам скотским, птичьим, хлебным зернам — ведь они служат делу сохранения жизни миллионов, миллионов ее творцов и хозяев.

Революция...

По всему уезду скрипели полозья тысяч саней. Тысячи саней бесконечно длинными, дымящимися, черными змеями ползли к городу (дымящимися потому, что от лошадей шел густой пар, пар как дым). В амбары, подвалы, ссыпные пункты Упродкома с глухим шумом ссыпались, складывались тысячи тысяч пудов хлеба, мяса, картофеля, конопли, льна, соломы, сена, тысячи тысяч шкур, шкурок, кож. Из складов, из магазинов Упродкома по бесчисленным ордерам, нарядам отпускались тысячи тюков мануфактуры, тысячи пудов керосину, соли, миллионы коробок спичек, железо, мыло. И черные, длинные, дымящиеся змеи обозов, свившихся, скрутившихся в городе в тугой темный клубок, со скрипом тысяч саней, с ржанием тысяч лошадей раскручивались, расползались во все стороны огромных заснеженных, засеребренных, сверкающих полей уезда, по территории равного целой Франции.

Шелестела бумага, скрипели перья, стрекотали машинки, щелкали счеты в конторе Упродкома. И в шелесте бумаги, в скрипе перьев, в стрекотне машинок, в щелканье счетов проходили тысячи тысяч пудов, штук, аршин —

хлеба, мяса, картофеля, кож, шкур, шкурок, льна, конопли, сена, соломы, мануфактуры, керосину, соли, спичек, железа, мыла...

...шшш-шссс-сттт-тччч-чшшш-ш...

Но склады, ссыппункты, подвалы, кладовые Упродкома не имели беспредельной емкости. И предел был быстро перейден. Не хватало тары (мешков для хлеба, бочек для масла), амбары заваливались до крыш, засыпались доверху подвалы, загружались до последней возможности мясные и яичные склады. А хлеб, мясо, масло, сало, яйца — все везли, везли и везли. Лопались углы перегруженных амбаров, хлеб сотнями пудов тек в снег, хлеб стали ссыпать на брезент под открытым небом в вороха. Картофель заполнил все подвалы, картофель валили в холодные завозни. Ящики с яйцами, масло в худых, гнилых, рассохшихся бочках, птицу нечищенную, непотрошенную, мясо мерзлое штабелями, горами громоздили под навесы, накрывали рваным, грязным брезентом. Хлеб сырой, несортированный, птица нечищеная, непотрошеная — грозили загореться, загнить при первой оттепели, картофель, яйца мерзли, выветривалось мясо.

Аверьянов целыми днями метался из кабинета в контору, из конторы на ссыппункты, со ссыппунктов на мясосклады, на бойни, в Уком, в Уисполком, снова в кабинет, снова в контору. В ушах целый день тысячи тысяч пудов, штук, аршин — и:

...шшш-шссс-с-ччч-ч-ттт-т-шшш...

Аверьянов каждый день поднимал пестрые бумажные вихри телеграмм, запросов, справок, разъяснений в белых, желтых, синих крутящихся вихревых столбах бумаги, гнал в губернию нарочных, инструкторов. Из губернии ответными пестрыми бело-желто-синими бумажными вихрями (в совучреждениях не хватало, не было белой бумаги, совучреждения писали на оберточной, на использованной) неслись инструкции, циркуляры, приказы, в бумажных бело-желто-синих пестрых вихрях летели уполномоченные, инспектора, продтройки. По телеграфу гремели строжайшие постановления центра — постановления СТО, Совнаркома, Наркомпрода, Наркомпути, Вечека, ВЦИКа.

В центре люди умирали от голода.

Но по дороге, разрушенной белыми, поезда ходили плохо. Поезда с хлебом, с мясом застаивались на станциях неделями. Длинные красные продовольственные эшелоны заносились снегом, мерзли в тупиках, крестились едкими

именами — мертвяков. Паровозы не успевали вывозить подвозимого на лошадях.

Ощетинившиеся дохи, насупленные брови, злые глаза, суровые обветренные лица мужиков говорили без слов.

«Нечего везти — все равно сгноят».

Они — мужики — Революцию понимали и ждали как отмену всяких податей и налогов. Разверстка разочаровала в бескорыстности Революции. Злились, мстили, везя на ссыппункты сырой, сорный хлеб, недоброкачественные продукты, старались обмануть приемщиков. Приемщики, весовщики делали скидки, сбрасывали на сортность, на влажность, часто обвешивали. (Они получали ничтожный паек — голодали и обвешивали, чтобы украсть, чтобы съесть). Разъяренные обвесом мужики, нередко обманутые обманщики, толпами ломились с жалобами в кабинет к упродкомиссару. Аверьянов — рыжий, длинноусый, длинноногий, неуклюжий в зеленой гимнастерке, в защитных штанах, в бурых огромных растоптанных катанках, махал руками, ругался, грозил:

— Всех к стенке! Все сволочи! Жулье!

Кровью наливались, красными рубинами лезли из медно-желтой оправы век узкие, косоватые глаза комиссара, огнем пылала всклокоченная рыжая жесткая грива волос.

Крестьяне шепотом друг другу, в задних рядах:

— Тигра! Чистая тигра!..

За жалобщиками или вперемежку с жалобщиками шли служащие. (Их было около трехсот человек.) Все они получали нищенские пайки, все голодали, некоторые воровали, тащили, что попадалось под руку, и все приходили к Аверьянову с жалобами на нужду, на крестьян, сдающих сырой, сорный хлеб, приходили с просьбами об отпуске муки, мяса, мануфактуры, керосину.

Аверьянов кричал, просил, упрашивал, отпускал, отказывал, запирался в кабинете.

— Саботажники, язви вас! В тюрьму вас всех! Знаю, что с голоду дохнете! Потерпите... Все несладко живем. Не дам, не дам, не просите! Ну, сколько, сколько вам? Ну, возьмите по десять фунтов! Ну, идите, идите...

А Губпродком требовал отчетов по формам — А, Б, В, Г, Е. Уком требовал отчетов по форме № 1, № 2, № 3. Из редакции газеты просили сведений. Телефон не умолкал. Как в кузнице во время работы, кричал, как в бою, ревел в трубку:

— Бюрократы, волокитчики, я уже вам представил по формам № 1, 2, 3... Неполно? Наполним, когда делать будет нечего. Вам эти сводочки трень-брень, так себе, к делу подшить. А нам некогда, нам дело надо делать.

Не любил бумажек.

Не подчинялся. Бегал по бухгалтерии, кричал, как в кузнице, как в бою, махал руками, требовал точных цифр, сведений.

Старший бухгалтер Карнацкий, бледный, белокурый, застенчивый человек, быстро составлял для него аккуратно и чисто написанные ежедневные сводки. Но для Аверьянова они сплошная непонятная тарабарщина.

...дебет, кредит, актив, пассив, сальдо, баланс, транспорт...

И в ушах стоял шипящий шелест бумаги, скребущий скрип перьев, стрекочущий треск машинок, щелканье счетов.

...шшш-ш-ссс-ттт-т-ччч-ч-шшш...

Как после боя, как после работы в кузнице, как глухой ходил, как оглушенный. Шипит, шипит в ушах —

...шшш-ш-ш-ш...

II

Когда железными лапами мял, плющил, ковал железо — было все просто. Когда в серой шинели, в сером, грязном окопе лежал с винтовкой — знал свое место, знал, что нужно делать. Когда командовал партизанским отрядом — все понимал. Но в Упродкоме, в шипящем шелесте бумаги, в скребущем скрипе перьев, в стрекотне, щелканье счетов, часто терялся. Временами Аверьянову казалось, что бесчисленная бумажная саранча с шипящим шумом крыльев, со стрекочущим треском ног, со скрипом, со щелканьем челюстей набрасывается на тысячи пудов, штук, аршин — хлеба, мяса, масла, сала, льна, конопли, сена, соломы, соли, спичек, шкур, шкурок и тысячи тысяч пудов, штук, аршин пожираются, исчезают бесследно.

...шшш-ш-ссс-с-ттт-т-ччч-ч-шшш...

Продукты выдавались, распределялись, грузились, отправлялись по нарядам, по ордерам, по карточкам — фунтами, пудами, тысячами пудов, аршинами, тысячами аршин, штуками, миллионами штук.

Продукты выдавались, продукты воровались, продукты портились. Контора бесстрастно отмечала на своем тарабарском языке выданное, украденное, испорченное.

4—2299

...дебет, кредит, пассив, актив, баланс, транспорт, сальдо...

...шшш-ш-ш-шшш...

Бездушная бумажная саранча, прожорливая саранча. В самой ее гуще, среди стрекочущих, скребущих, щелкающих, шелестящих множеств — мечущийся, махающий руками, ругающийся рыжий комиссар.

Саранча бумажная — муть бумажная. Муть в голове уставшего, изголодавшегося Аверьянова. И в пестрой мути бумажной с бумажкой из Учрабсилы выплыл Иван Михайлович Латчин. (Революция, конечно, не бумажная муть. Бумажная муть только мутится, крутится, плывет по поверхности потока Революции.)

В бумажке из Учрабсилы было сказано, что Иван Михайлович Латчин направляется в Упродком как спец по продовольственному делу. Аверьянов встретил его с радостью, с радостью немедленно назначил своим секретарем, свалил на него всю канцелярскую работу.

— Вы, Иван Михайлович, как спец по бумажной части навертывайте здесь в кабинете.

Латчин почтительно опустил бритое, пухлое лицо, полузакрыл большие, черные, круглые глаза.

— Слушаю-с.

— Мы с вами так и сделаем. Я, значит, по ссыппунктам, по постройкам буду лазить. Вы знаете, я затеял здесь элеватор? Хлеб негде хранить. Уж я надеюсь, что вы, как спец...

Латчин вежливо перебил. Встал, щелкнул каблуками, прижал правую руку к груди, широко раскрыл завлажнившиеся глаза.

— Товарищ Аверьянов, я никогда не забуду, что вы спасли меня от расстрела. Полагаю, что вы, хотя, может быть, и случайно, но не напрасно сохранили мне жизнь.

У Аверьянова гора с плеч. Аверьянов стал пропадать на складах, на ссыппунктах, на бойнях, на постройках. (Строился элеватор, мясосклад с подвалом, ремонтировалась большая паровая мельница.)

В Упродком на час, на полтора — подписать бумаги, принять посетителей. В Упродкоме стал хозяйничать Латчин.

С черными дымящимися змеями обозов ползли по городу, расползались по уезду черные черви слухов. Черные, липкие, холодные черви облепляли головы мужиков:

...разоряют, крадут, гноят... разоряют, крадут, гноят... красная тигра Аверьянов... красная тигра пьет крестьянскую кровь...

Аверьянов как не слышал, как не видел. У Аверьянова в руках уже гремел, накрывался железной крышей мощный элеватор. Уже пыхтела, перемалывая тысячи пудов в день, паровая мельница. Закончен, завален мясом мясосклад.

В Укоме, в Уисполкоме Аверьянова ругали за грубость, за стремление к «самоопределению», хвалили за работу, посмеивались... грубиян, матерщинник, партизан, самостийник, огненный комиссар, работяга, «тигра»... разверстку сорвал в срок... «тигра»... и налог возьмет вовремя, не спустит... огненный комиссар... «тигра»...

Аверьянов работал, ковал. Знал, что работает, создает, кует.

Видел, что работа не валится из рук, идет. Чувствовал, что твердо ходит по твердой земле. Увереннее стали движения. Упрямо, настойчиво, смело смотрели зеленые глаза. По-прежнему только раздражал шелест бумаги, скрип перьев, стрекот машинок, щелканье счетов. Но это только в конторе. (А в конторе бывал мало.) В конторе сидел ловкий Латчин. Латчин аккуратно заготовлял к его приходу документы, бумаги, не задерживал ни на минуту. Латчин мягкими, пухлыми, ловкими пальцами листал бумаги, скороговоркой вполголоса передавал содержание, почтительно изгибался. Аверьянов корявыми, негнущимися пальцами расписывался, нагораживал заборчики негнущихся, ломаных букв.

Не любил эти часы. Не любил бумагу.

Шипит, шипит в ушах, и слов много непонятных, долго нужно думать, вдумываться, разбираться...

шшш... дебет... кредит... шшш... пассив... актив... шшш...

И все это непонятное, шелестящее, шипящее нужно загораживать заборчиком своих подписей.

Нехорошо. Скорее, скорее. На лошадь. И...

...Снова Уком, Уисполком, мельница, элеватор, мясосклад, ссыппункт, тысячи тысяч пудов, штук, аршин, тысячи лошадей.

Но не пугали тысячи тысяч, не пугала огромность размаха работы. Аверьянов убежден, что все пройдет гладко, что склады и ссыппункты будут вовремя отремонтированы, на полном ходу будет мельница, будет открыт элеватор. Не сгниет, не испортится ни пуда, ни штуки.

Дело крепло, налаживалось.

Как-то на мельнице встретился с заведующим ссыппунктом Гаврюхиным.

— Товарищ Аверьянов, чего вы никогда не пишете мне записок на муку?

Аверьянов не понял.

— Каких записок? На какую муку?

У Гаврюхина черные глаза светятся хитростью, светятся жиром, блестят черные, жесткие волосы на голове.

— Неужто не знаете? Ну, скажем, там у вас пайка не хватает, а у нас тут лишки бывают. Для комиссара всегда можно пудик, другой...

У Аверьянова кровью-огнем зажглись глаза, полезли из орбит, лицо побагровело, залилось кровью, точно сразу под кожей лопнули все сосуды и кровь потекла по лбу, по щекам, по подбородку.

— Ах, язви тебя, сучье вымя! Ты что это, красть хочешь да краденым меня угощать? А?

Гаврюхин струсил. Лицо испуганное, посеревшее, как мукой обсыпанное.

— Да если ты... Да если я еще услышу... Да я тебя, сучья рожа, в тюрьме сгною...

Трясущийся, тщедушный Гаврюхин, дрожащими руками дергающий жидкие усишки, был гадок. Хотелось ударить, прогнать. Сдержался. Не было, не хватало работников.

В Упродкоме, в кабинете, подписывая бумаги, рассказал Латчину. Латчин почтительно изогнулся, приложил руку к сердцу.

— Конечно, это гадость. Но тем не менее, товарищ Аверьянов, вам надо лучше питаться. Выглядите вы очень скверно.

Аверьянов покраснел, точно ему стало стыдно от того, что он плохо выглядит. На Латчина посмотрел смущенно, ласково.

— Разве?

— Конечно. Знаете, что я вам предложу. Не сочтите только это за гаврюхинскую гнусность. Приходите сегодня ко мне обедать. Я вас угощу.

Улыбнулся, поднял голову.

— Не подумайте только, что краденым. Жене родные кое-что из деревни привезли. Право, приходите запросто покушать. Не грех...

Хорошо сказал Латчин. Как приласкал, как по голове погладил. И правду сказать — ныла последнее время дважды простреленная грудь, кровью иногда харкал, в гла-

зах часто круги зеленые ходили, а под глазами не сходили синие. Паек мал. Много работы. Работы много больше, чем в кузнице, чем на фронте. Сразу стало как-то жалко себя, разбередилось что-то внутри больное. Вот так же иногда бывало в окопе, в германскую войну, когда ночью в затишье лежал один и думал. Вспомнил жену, детей — погибли от тифа в тайге во время скитаний, во время борьбы с белыми. Хорошо говорит Латчин, как отец ласкает. Никого нет у Аверьянова. Бобыль. Плакать хочется. Не помнил, как сказал:

— Да, приду.

Да, на фронте или на работе, когда не думаешь о себе, то и ничего, так и надо. Задумаешься — плохо. Нет, лучше не надо. Эх, разбередил...

Неловкость какую-то почувствовал, когда подходил к квартире Латчина. Обстановка у него барская. Кресла, креслица, столы, столики, и круглые, и четырех- и треугольные, и какие-то игрушки, финтифлюшки кругом, кружева, занавески — негде повернуться, не знаешь, куда и сесть. Тесно и неловко. И Латчин, хоть и секретарь его, хоть и подчинен ему, а все-таки барин. Жена же — барыня настоящая. Пухлая, круглая, белая, надушенная, шуршащая шелком, сверкающая драгоценными камнями. Когда здоровался, показалось, что рука у нее резиновая, надутая воздухом. Мнется, мягкая, холодная, и костей нет.

— Серафима Сергеевна — моя жена.

Латчины приняли Аверьянова ласково. Усадили за стол с белоснежной скатертью. Иван Михайлович сел напротив, стал угощать хорошим табаком. Серафима Сергеевна загремела посудой. Поблескивая кольцами и тарелками, не торопясь, ходила около стола.

— Мы без прислуги живем. Вы не смотрите на меня как на барыню. Я все могу делать.

Латчин смотрит то на жену, то на Аверьянова, с улыбкой расправляет плечи, грудь, поднимает голову. Под подбородком у него надувается жирный синеватый вал. Аверьянов чувствует, что Латчин хочет без слов сказать ему — смотри, какая у меня хорошая жена. Аверьянов молчит, курит, не знает, что говорить. Табак вот действительно хорош у Латчина. А Серафима Сергеевна уже поставила на стол миску с супом.

— Разрешите, я вам налью, т... то... простите, как вас по имени отчеству?

— Николай Иванович.

Отчего-то покраснел, уронил на скатерть горячий пепел.

Неловко замахал длинной корявой рукой, сшиб со стола ложку.

Зазвенело серебро на полу — засмеялось.

Нагнулся поднимать — стукнулся головой об стол. Стыд, стыд. Лучше бы провалиться. Ложку взять не успел. Латчин, улыбающийся, покрасневший, уже поднимался из-за стола. Ложка у него в руках блестит-смеется. Но Латчин серьезен, озабочен, ласков.

— Ничего, ничего, Николай Иванович. Сима, дай чистую.

На столе засверкал граненый графин с разведенным спиртом. Аверьянов не заметил, кто и когда его поставил. Латчин внимательно, как тяжелобольному, заглядывает в глаза.

— Николай Иванович, пропустим по маленькой для аппетита. А?

А сам уже налил. Аверьянов не пил давно — захотелось. Где-то мелькнула мысль — для храбрости. Выпили по одной. Повторили. И еще по одной, и еще, и еще. Серафима Сергеевна не отставала. Аверьянову было смешно, что пила она морщась и, поднимая рюмку ко рту, далеко отставляла маленький пухлый мизинец. Закусывали вкусным вареным мясом с солеными огурцами и грибами. Аверьянов молчал, но пил и ел жадно. Латчин подливал спирт, занимал разговором.

— Да, ворья у нас в Продкоме порядочно. На днях вот была история с Прицепой. Я вам не докладывал — пустяк. Он прицепился к одному налогоплательщику. Давай, говорит, лошадьми меняться, а то скидку на сено сделаю.

Аверьянов проворчал:

— Выгнать надо.

Вступилась Серафима Сергеевна:

— Ну как вы жестоки, Николай Иванович. Ведь Прицепа пошел на это с голоду. Вы подумайте, сколько ваши служащие получают?

Аверьянов неожиданно грубо спросил:

— А у вас родственники в деревне? Привозят?

Напудренное лицо Латчиной, белое, кругловатое, как яйцо. Брови на нем резкими подчерненными дужками. Глаза — черные кружочки.

— Ну да, родственники... привозят. А что?

— А спирт у вас откуда?

Спросил и разозлился. Что-то липкое, раздражающее было в глазах Серафимы Сергеевны. Латчин, в белой, чесу-

човой рубахе, улыбнулся, показал крепкие желтоватые зубы, ответил:

— Спирт, Николай Иванович, я, уж извините, специально для вас взял в Продкоме у завхоза. Для такого гостя, думаю...

Аверьянов сморщился, затеребил усы.

— Сердитесь, Николай Иванович? Напрасно. Спирт у нас для рабочих на бойне. Расходуется безотчетно. И неужели мы с вами не заслужили эту несчастную бутылку?

Голос у Латчина мягкий, глаза ласковые. Пожалуй, он и прав. Неужели не заслужил? Что это я на них разозлился?

— Вы меня извините, я человек грубый. Негде было учиться вежливости.

Латчины оба к нему. Дернулись, наклонились над столом. Протягивают руки с рюмками, улыбаются. И в один голос:

— Полно вам, Николай Иванович... Мы всегда всей душой... Да разве мы... Пейте...

Спирт горячий, суп горячий. Горячо в желудке, горячо в голове. Кружится голова. А Латчины липнут, липнут, наливают. Тяжело сидеть, окаменел, прирос к стулу. Скатерть белая, рубашка у Латчина белая, кофточка у Латчиной белая, руки белые, лица белые. Бело, бело в глазах. Булькает в графине спирт. Булькает в ушах. Уснуть бы...

Потом пошло по шаблонной скучноватой схемке:

Утром проснулся в квартире, в постели Латчина. С трудом сообразил, почему и как.

За утренним чаем не смог отказаться от настойчивых приглашений Латчиных переехать к ним на квартиру.

Переехал на квартиру к Латчиным.

Стал жить у Латчиных «на полном пансионе». (Ведь Латчин уверил, что жена у него прекрасная хозяйка, сможет устроить приличный стол из двух пайков и некоторой добавки из деревни от родственников. Латчин уверил, что за некоторую часть добавки Аверьянов с ним расплатится, когда будет улучшено положение ответственных работников. Латчин доказал, что ничего предосудительного в этом нет, что это просто-напросто товарищеская взаимопомощь.)

А по городу, по уезду ползали, крутились, клубились черные черви слухов:

...воруют... воруют... обвешивают... обманывают... мо-

шенничают... тащат... воруют... тащат... растаскивают... воруют...

Аверьянов слышал, знал, считал мелочами, сплетнями, обывательской злобой. Знал, что не чисты на руку завссыппунктом Гаврюхин, завсенскладом Прицепа, завбойнями Брагин, весовщики Рукомоев и Шилов. Вызывал их всех к себе в кабинет, материл, грозил тюрьмой, но оставлял, потому что не было, не хватало людей, не было возможности в разгар кампании уволить нужных работников.

Схема работы Аверьянова была такова:

Тысячи тысяч пудов, штук, аршин, тысячи бумаг, циркуляров, телеграмм, запросов, отношений, тысячи людей. Склады, ссыппункты, мясопункты, бойни, мельницы, элеваторы.

Разверстка, продналог.

Упродком, Заготконтора (был назначен завзаготконторой).

Поручено наладить, поставить уездное отделение акц. о-ва «Хлебопродукт». (Это уже при нэп.)

Валюта, курс, калькуляция и с ними тысячи золотых рублей, тысячи тысяч, миллиарды, триллионы бумажных рублей — совдензнаков.

И, кроме всего этого, в порядке партдисциплины, точно, то есть безоговорочно, безапелляционно, своевременно и непременно:

Партсобрания — ячейковые, районные и общегородские.

Собрания профессиональные.

Субботники и воскресники (отменили при нэп).

Доклады на собраниях партийных, профессиональных, на широкобеспартийных (не слушать, а делать).

Лекции в партшколе и на профкурсах (не слушать, а читать).

Беседы в ячейке. (Не просто беседовать, а вести.)

Работа в марксистском кружке (самообразование).

Ты кузнец, ты коммунист — вези, работай, куй. Нагрузку тебе на плечи предельную — чтобы не лопнул только спинной хребет. Ты коммунист — тащи.

Революция...

Безропотно, безапелляционно, безоговорочно в порядке парт... проф... сов... и прочих дисциплин и без них работал, вез коммунист, кузнец Аверьянов.

Дома бывал только утром, в обед и ночью. Спать ложился редко рано. Сытно ел у Латчиных. Но не сходили синие круги из-под глаз, крутились в глазах круги зеле-

ные, лиловые, фиолетовые. В ушах шипела, шелестела бумага, стрекотали машинки, скрипели перья, щелкали счеты.

...шшш-сс-ччч-ттт-шшш...

Даже ночью, даже дома в постели шипело в ушах, шумело в голове.

...шшш-шшш...

И это шипение, шум, непонятные слова конторские часто стали пугать.

...дебет... шшш... кредит... пассив... актив... шшш...

Саранча. Бумажная саранча.

А вдруг только и есть одна бумага? Вдруг ничего нет за ней? Вдруг все слопала бумага, бумажная саранча? И нет на складах тысячи тысяч пудов, штук, аршин?

Кидался на склады, на ссыппункты, на мясопункты, смотрел, спрашивал, щупал. Как будто все было на месте. Но не успокаивался. Недоверчиво, настороженно напрягались нервы.

В городе, в уезде шевелились, не затихали черные черви слухов:

...воруют... воруют... воруют...

Раньше не обращал внимания, старался не замечать. Теперь заползли в грудь, в голову черные черви. Шумело, шипело в ушах, в голове, ныло в груди.

...шшшш... воруют... шшшш... воруют... шшш...

Так вот и завертело всего. Нет сна, нет покоя.

III

Аверьянов не мог понять, почему Латчины, когда вечерами к ним заходила вдова Ползухина, уходили из квартиры, оставляли Ползухину наедине с ним. Не нравилась Ползухина Аверьянову. Глаза у нее черные, засахаренные, липкие, как у Латчиной. Нос тонкий, крючковатый, хищный. Подбородок широкий, двойной. Груди двумя дрожащими шарами лезут из-под кофточки. Но главное глаза, глаза, взгляд. Уставится и смотрит, разглядывает. Не вытерпел, как-то спросил:

— Ксенья Федоровна, чего это вы на меня как на диковину какую смотрите?

Ползухина усмехнулась. Опустила концы накрашенных губ, прищурила подведенные глаза.

— А вы маленький мальчик, не знаете, не понимаете?

Аверьянов передернул плечами, опустил голову, задергал усы, посмотрел на Ползухину исподлобья.

— Понимал бы — не спрашивал.

Ползухина встала, подошла к Аверьянову (Аверьянов сидел на маленьком диване), села рядом с ним. И совершенно серьезно, бледнея, смотря ему в глаза расширенными черными зрачками, обжигая горячим дыханием, прямо ему в ухо вдруг осекшимся голосом:

— Потому, что хочу за вас замуж, Николай Иванович.

Ползухина напряженно наклонилась в сторону Аверьянова, ждет. Аверьянов спокоен, неподвижен. Аверьянову противно, что от Ползухиной пахнет пудрой и потом. Полунасмешливо, полусерьезно процедил, не выпуская изо рта папиросы:

— Лучшего никого не нашли?

Ползухина вздохнула, чуть отодвинулась.

— Лучше вас с Латчиным женихов не найти. Только, конечно, Латчин-то уж женат. Ну, а вы...

— Почему не найти?

— А потому, что самые вы хлебные люди.

Аверьянов скосил на Ползухину холодные зеленые глаза (когда Аверьянов спокоен, глаза у него зеленые, когда волнуется — рубины, яшма).

— С чего это вы взяли? Мы получаем гроши. А если живем еще ничего, то это только благодаря родственникам Латчина.

Ползухина хихикнула, глаза у нее заиграли липким, сахарным блеском.

— Родственники, р-о-д-с-т-в-е-н-н-и-к-и. Знаем мы этих родственников. У вас с Латчиным все завскладами, все завхозы в Заготконторе и в «Хлебопродукте» родственники?

— Что вы этим хотите сказать?

У Ползухиной капризная гримаска. Руки нервно дергают беленький батистовый надушенный платочек.

— Эх, будет вам, Николай Иванович, ломаться. Не знаю я, что ли, откуда у вас с Латчиным все это благополучие.

Ползухина сделала жест рукой — показала на обстановку.

— Прошлый год Латчин мне поставлял дрова и керосин и в нынешний понемногу дает и будет давать, пока...

Аверьянов вскочил.

— Нет, уж больше вам ничего не попадет.

Поднялась и Ползухина. Смерила презрительно прищуренными глазами комиссара. Бросила с гневом:

— Пока вы с Латчиным не выплатите мне полностью ваш долг, пока я не получу всего за взятые вами у меня вещи...

— Какие вещи?

— У, ломака! Извольте, напомню. Вы у меня с Латчиным взяли беличью шубу, песцовый горжет, жеребковую доху, вот этот диван, на котором мы с вами сидели, вот эти кресла, вон тот шифоньер.

Ползухина схватила Аверьянова за руку.

— Идемте в прихожую.

Потащила почти насильно.

— Вот эта жеребковая доха чья здесь висит? Кто ее носит?

Ползухина сорвала с вешалки огромную бурую доху. Аверьянов, волнуясь, ответил:

— Эту доху ношу я. Мне ее на время дал Латчин.

— Ага, дал Латчин. Ну, эта доха моя! И вы еще будете упираться, говорить, что ничего не знаете? И если вы посмеете меня надуть, мне недоплатить, то я вас с Латчиным выведу на свежую водицу, я вашу керосино-дровяную и мучную лавочку раскрою.

У Аверьянова лицо белое и неподвижное, как кость. Глаза — кровяные рубины. Рубины в костяной оправе век. Усы из красной меди на костяном, на окостеневшем лице как язычки огня. Рыжие волосы на голове — горящая копна соломы. Губы тонкие, окислившиеся от меди усов, зелены.

— Ксения Федоровна, мы с вами сейчас же поедем в ГПУ, где вы должны будете повторить все, что говорили мне.

Ползухина схватилась за грудь, как от удара закрылась.

— Нет, нет! Ни за что!

— Без разговоров! Одевайтесь сию же минуту.

Снял с вешалки беличью, крытую черным шелком, шубку. Корявые пальцы цеплялись за шелк, шелк скрипел. Одел силой. Насильно затолкал пухлые, рыхлые руки в рукава.

— Надевайте шапку и идем.

Оделся сам. (В доху. С полу поднял.) Схватил под руку — повел. В дверях, бледные, волнующиеся, столкнулись со спокойными, раскрасневшимися Латчиными. Латчины обменялись красноречивыми, многозначительными взглядами. Латчин оскалил желтоватые ровные зубы, вежливо приподнял шапку.

— Эээ, очень приятно. Счастливого пути. Наконец-то наш Николай Иванович понял, что мужчина должен быть кавалером. Не грех, не грех...

Дверь захлопнулась. На синем снегу в синей тьме ночи черный, тяжелый узел шелка, меха и мяса повис на руке у Аверьянова.

— Николай Иванович, умоляю, оставьте это дело. Я пошутила! Ничего у меня Латчин не брал и мне ничего не давал.

— Такими вещами не шутят.

Ползухина заплакала. Ей было жаль Серафиму Сергеевну. Они вместе кончали одну гимназию.

— Николай Иванович, зайдемте ко мне на квартиру. Если я не выпью валерьянки, то все равно ничего не скажу в ГПУ — буду только реветь. Зайдемте.

Неохотно согласился. Шли долго. Звонко хрустел под ногами снег. Ползухина тяжело висла на руке, спотыкаясь. Вел. В двухэтажном доме поднимались по темной, скрипучей лестнице. Стучались. Прошли темный коридор, ярко освещенную столовую с ярко начищенным шипящим самоваром на столе, с удивленными незнакомыми рожами за столом. И в столовой же — толстые, неуклюжие, в дохе и шубе затоптались у двери в комнату Ползухиной. Аверьянову показалось, что она возилась с ключом и замком не менее пяти минут. А сзади, в абсолютной тишине столовой, на столе самовар шипел, свистел, как паровоз. Кололи затылок, спину недоумевающие, любопытные взгляды.

Наконец, вошли в комнату. Щелкнул выключатель. Комод, зеркало, безделушки, коробочки, флакончики. Кровать под кружевным одеялом. Сбросила на стол шубку. Стала среди комнаты. Аверьянов у комода.

— Николай Иванович, милый, пощадите Латчиных, не губите меня. Что хотите со мной делайте, но в ГПУ я не пойду. Хоть убейте — из комнаты никуда не выйду.

Не успел опомниться, отстраниться — подошла, обняла, повисла на шее, положила голову на грудь.

— Милый, ну зачем тебе это?

Тихо полуоткрылась дверь, просунулась прилизанная головка хозяйки. На секунду только показалась острая, сухонькая старушечья мордочка, блеснули узенькие мышиные глазки. Как в норку испуганный зверек, юркнула за дверь маленькая головка. Дверь захлопнулась.

Аверьянов рванулся всем телом, затряс головой, плечами. Но руки у Ползухиной цепкие, как лапки зверька. В зеленом платье, зеленой ящерицей впилась. Не отор-

вешь. Тяжело шагнул к кровати. Свалились, провалились в мягком пуху перины. Крепким, костлявым кулаком левой руки ткнул в левый бок против сердца. Охнула, разжала руки. Такой же крепкий и костлявый кулак правой с силой воткнул в дряблое мясо лица. Взвизгнула, застонала. Пачкаясь в пудре, в краске губ, схватил обеими руками за обвислые щеки, отхаркался, плюнув в черные, липкие глаза. Разорвал кофточку, лиф, рубашку, юбку, панталоны. Хватал, мял тело женщины. Харкал, плевал на грудь, на живот, в лицо.

— Сука! Сучье вымя! Вам бы только жрать сладкое! Красть! Краденое жрете! Ну-ка, я посмотрю, что у тебя за устройство? Тьфу. Сволочь! Все как у всех! Всем голодать, а вам жир нагуливать. Я вам с Латчиным покажу мягкие диваны, песцовые меха! Сволочи! Тьфу. Харк! Тьфу! Тьфу!

Выскочил за дверь. Через столовую бегом. Рукавом задел, свалил на пол, со звоном разбил стакан. У двери запутался в запорках. Сзади, торопливо шмыгая туфлями, подошла хозяйка.

— Сейчас, сейчас открою, господин товарищ.

С лестницы сбежал, как с ледяной горы скатился. На улице звонко звенел под ногами снег, звенел в ушах звон разбитого стакана. В голове вертелись, крутились отдельные бессвязные мысли, слова.

...керосин... дрова... дохи... диваны... диваны... дрова... дохи... керосин... мука... шесть бочек негодного керосину... шесть бочек негодного керосину... шесть бочек... шесть бочек... откуда это?.. что это?.. шесть бочек... а-а-а-а-а-а... вот... нашел... нашел... поймал кончик... а-а-а...

Аверьянов вспомнил, что на днях Латчин давал ему на подпись акт об уничтожении шести бочек негодного керосину. Не проверял, не подозревал. И теперь, припоминая разговор с Ползухиной,— я раскрою вашу керосинодровяную лавочку! — неожиданно ясно представил себе картину кражи.

Латчин — вор. Латчин украл. Но с кем? Один не мог. И опять в голове завертелось, закружилось, закричало торжествующее ...а-а-а-а-а-а...

Кладовщик хозчасти Мыльников. Мыльников. Без него не мог взять. Но тогда и завхоз Гласс. Конечно — Мыльников, Гласс, Латчин. Втроем.

Подошел к Заготконторе. В бухгалтерии был свет. Бухгалтер Карнацкий занимался сверхурочно. Постучался — открыл сторож, чернобородый Мордкович. Заперся в ка-

бинете. Не раздеваясь, в дохе сел в кресло. Голова была ясная, свежая. Мозг работал остро, легко, без малейшего усилия. Закурил. Папироса задымила густо и крепко.

Ползухина подозревала его. А почему бы и не заподозрить его и Мыльникова? Берет секретарь... Почему секретарь не может действовать с согласия заведующего? Ага. Вот... Надо начинать с Мыльникова. Не клюнет ли?

Сидел, курил, думал, строил планы.

Карнацкий давно ушел. Мордкович уснул. Ярко горела на столе лампа под зеленым абажуром. Зеленовато-серые тучи табачного дыма висли, покачиваясь, перед глазами Аверьянова. А может быть, это просто в глазах было зеленосеро от усталости, от бессонницы, от малокровия.

Перед рассветом, засыпая в кресле, слышал звон снега (может быть, под окнами кто проходил, а может быть, казалось, чудилось), слышал звон разбитого стакана, шорох струйки утекающего из бочки керосина, шипящий шум хлеба, сыплющегося по трубе элеватора:

...зи... зи... зи... си... си... си... дзинь... дзинь... шшш.

И в голове —

...вижу... вижу... вижу... дохи... диваны... дрова... доха, доха-то на мне...

...ш-ш-ш-шшш...

...бумажная саранча... песцовый горжет...

Утром Латчин, увидев дремлющего Аверьянова в дохе за столом, удивился, развел руками.

— Ба, ба, ба, кого я вижу? Однако, у вас личность-то весьма основательно помята. Видно, бурно провели ночку. Хе-хе-хе.

Латчин хитро подмигнул правым глазом, потрепал Аверьянова по плечу. Аверьянов дернул плечом, стряхнул руку Латчина, поморщился.

— Не нравится? Ну, не буду, не буду. А все-таки с законным браком разрешите поздравить. Бабенцию вы подцепили знатную. Вдова полковника. Хе-хе-хе. Не коекак.

Аверьянов встал, надел шапку.

— Куда это вы?

— Поеду на мельницу.

— А... Ну, отлично, отлично. Пора вам и за ум взяться. Только не злоупотребляйте. Самое лучшее по Лютеру — два раза в неделю. Хе-хе-хе.

Кучеру велел ехать к складу хозяйственной части.

Мыльников был в кладовой один. Отозвал в дальний темный угол, зашептал:

— Товарищ Мыльников, чего же это вы нас надули с Латчиным?

— Как надули?

В полумраке, в морозе кладовой лица Мыльникова и Аверьянова походили на ожившие старые портреты, давно написанные, потемневшие от времени. Аверьянов быстро шептал:

— Ведь вы сколько бочек нам обещали?

— Три.

В голове, в мозгу Аверьянова радостным ожогом —

...есть, есть, клюнул, попался...

— Вот и я думал, то есть знал, что три, а прислали только две.

— Что вы, товарищ Аверьянов, я вчера последнюю отправил вам на Лиственничную, 7.

— Ах, ну тогда простите, значит, мне Латчин не успел рассказать...

Торопливо пожал руку.

Кучеру крикнул радостно, торжествующе:

— В гепеу. Дуй.

Потом, сидя в кабинете, нервно мял газету, посматривал на телефон — ждал звонка из ГПУ. Латчин посматривал на него полуудивленно, полунасмешливо.

— Что это вы сегодня, Николай Иванович, все в кабинете сидите?

Аверьянов огрызнулся:

— Дело есть, вот и сижу. А что, разве я мешаю вам?

Латчин пожал плечами:

— Вы сегодня положительно не в духе.

Звонок залился серебристым звоном. Аверьянов вскочил, схватил трубку.

— Да. Я. Ага. Три бочки. Указали на Латчина. Так.

Латчин насторожился.

— Гласс сознался? Ага. Две бочки. Мыльников одну. Ага. Ползухина подтвердила? Ага.

Лицо Латчина стало белее его рубашки.

— Хорошо, жду.

Повесил трубку, посмотрел на Латчина холодными зелеными глазами, цвета зеленой яшмы.

— Поняли?

Латчин провел ладонью по лицу.

— Н-н-нет, нне понял.

Аверьянов спокойно вытащил из кармана браунинг, положил около себя на стол, сел в кресло.

— Чего вы дурака валяете, господин Латчин? Ползухина созналась, Гласс сознался, Мыльников сознался. На Лиственничной, 7 нашли три бочки керосину, хозяин квартиры Аганезов указал на вас, сказал, что керосин получил от вас для сбыта. Ну?

Латчин, вздрагивая, щелкая нижней челюстью, сполз со стула, мешком свалился на пол, стал на колени.

— Товарищ Аверьянов, пощадите. Ведь пустяк...

— Я ворам не товарищ. Встаньте.

С портфелем, с наганом, в высоких сапогах вошел уполномоченный ГПУ. За ним в дверях с винтовками остановились два милиционера в высоких черно-красных кепи.

IV

После ареста Латчина, Гласса, Мыльникова и Ползухиной события развернулись самые неожиданные, с неожиданной быстротой. (Обыватели говорили, что новости полились подобно реке, прорвавшей плотину.)

А именно:

Был пойман, уличен в продаже похищенных с ссыппункта четырехсот пудов пшеницы завссыппунктом Гаврюхин.

Попался с тремястами пудами сена, украденного с сеносклада, завсенскладом Прицепа.

Завбойнями Брагина поймали со ста восьмьюдесятью пудами краденого казенного мяса.

На допросах Гаврюхин, Прицепа, Брагин потащили за собой, выдали — заведующего уездным отделением «Хлебопродукта» Брудовского и бухгалтера «Хлебопродукта» Травнина, весовщика Рукомоева и Шилова.

Брудовский и Травнин выдали — поставщиков скота Кругленького и Свидлермана. Они же указали как на поставщика расхищаемого из Заготконторы — на Латчина. Травнин, кроме того, указал на отца Брудовского как на сбытчика расхищаемого.

В Заготконторе и «Хлебопродукте» были обнаружены подлоги, незаконные акты и наглые, крупные хищения.

Арестовано было около тридцати человек.

Аверьянов потребовал в Губрабкрине высылки

ревизоров. Ревизия Губрабкрина, или, как говорили спецы, Губэркан, установила недостачу в заготконторе семи тысяч пудов хлеба и двух тысяч пудов мяса.

Старший следователь Губсуда в один прекрасный день положил на стол перед Аверьяновым белую бумажку, в которой Аверьянов прочел через строчку следующее:

«Я, старший следователь Губсуда Калманович, принимая во внимание... хищения в Заготконторе носят исключительно крупный и злостный характер... показаниями и документами устанавливается соучастие Аверьянова... что предусматривается статьями... ввиду тяжести... постановил... дабы пресечь... меру пресечения для Аверьянова избрать безусловное содержание под стражей в местном местзаке.

Следователь.

Настоящее постановление мне объявлено».

Калманович стоял перед Аверьяновым в черной барнаулке, в черной папахе, крутил маленькие черные усики.

— Прочли? Распишитесь.

Аверьянов поднял от бумаги бледное лицо с лихорадочным румянцем на щеках, с лихорадочным блеском в глазах, с морщинками и синяками под глазами, со складками между бровей. Посмотрел на следователя долгим взглядом раненого, загнанного зверя. Спросил тихо, с дрожью в голосе:

— Почему? Я ничего не понимаю.

Калманович показал Аверьянову обломанные, кривые, редкие черные зубы.

— На досуге разъясним, дорогой. Распишись!

В голубоватом табачном дыму мелькнули бледные лица служащих, мелькнули бледно-голубые стены Заготконторы и белые стены тюремной камеры сжали, сдавили, закрыли от глаз весь мир. И в тишине тюрьмы, в тишине одиночки уши рвал, рассверливал шум ссыпаемого хлеба, шелест бумаги, скрип перьев, стрекот машинок, щелканье счетов, лезли в голову непонятные слова, номера статей, путаной колючей проволокой тянулись мысли:

...шшш-ссс-ттт-ччч-сальдо-сальдо-баланс.

...ссс-шшш-сс-статья 110, часть 2-я, пункт Б, статьи 16 и 180, пункт 3, статья 114... дохи... диваны... дрова... керосин... шшш...— тысячи тысяч пудов, штук, аршин...— шшш... зи... зи... зи... си... си... си... дзинь... шшш...

Арест Аверьянова объясняется, в сущности, очень про-

сто. Вызван он был всего только одной бумажкой, хранившейся у Калмановича в портфеле.

Бумажка такая:

Старшему следователю Губсуда Калмановичу от содержащегося под стражей в местзаке Латчина Ивана Михайловича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сознавая всю тяжесть совершенных мною преступлений, я решил чистосердечно во всем раскаяться. Совесть моя была бы не спокойна, если бы я не предал в руки правосудия самого главного виновника и организатора всех хищений в Заготконторе и в Хлебопродукте. Муки совести побуждают меня избавить Российскую Коммунистическую Партию от втершегося в ее ряды шкурника, хищника и мародера. Я заявляю, что вся тяжесть ответственности за вышеуказанные хищения должна лечь на подлинного и, повторяю и подчеркиваю, главного их виновника — заведующего Заготконторой, к сожалению, члена славной РКП — Николая Ивановича Аверьянова. Чтобы не быть голословным, прошу задать Аверьянову следующие вопросы:

1) Сколько он рассчитывал получить за три бочки керосина, доставшихся нам с ним и переданных нами для сбыта на Лиственничную, 7 — Аганезову?

2) Сколько пудов масла, мяса и муки заплатил он своей любовнице Ползухиной за взятую у нее доху?

3) Сколько раз Гаврюхин предлагал ему муки «для личных надобностей», сверх пайка, и сколько раз он ее у Гаврюхина брал?

4) Сколько фиктивных актов о падеже скота, об утрате керосина, хлеба он подписал? И сколько на этом заработал?

5) Докладывал ли я ему о том, что Прицепа мошенник, и какие он меры принял к его устранению?

6) Не припомнит ли он, из какого мяса в день его рождения он ел пироги и почему в тот день у него в гостях был завбойнями Брагин?

7) За что ему дал Брудовский взятку в тысячу рублей?

8) Какой спирт он пил у меня на квартире и сколько раз был пьян?

9) Чем он мне грозил и как заставил стать его сообщником?

В заключение считаю долгом добавить, что выдал меня

Аверьянов, исключительно желая свалить все с больной головы на здоровую. Боясь, что рано или поздно хищения будут раскрыты, он решил выйти сухим из воды, решил все свалить на тех, кого он сам втянул в эту страшную кашу. (К тому же он достаточно награбил и реализовал на золото и зарыл на черный день.) И затребованные им ревизии есть не что иное, как ловкий ход шахматного игрока. Я, мол, и казнокрадов выдал, и я ревизию сам потребовал.

Больше показать пока ничего не имею. В чем и подписуюсь.

Иван Латчин.

V

Суд был летом, в сенокос, когда вокруг города стрекотала стальная саранча косилок, когда в пыльных улицах крепко и пьяно пахло потом, дегтем, горячим медом сохнущих скошенных трав. Суд заседал в зрительном зале Нардома имени Ленина, где на стенах тусклой клеевой краской были написаны розовые музы, белые вазы, зеленые парки, синие пруды, желтые цветы и серебряные лебеди. Судьи — их было трое — сидели за зеленым сукном на сцене в ситцевых цветных рубашках. (Председатель Солдатов — в серой, заседатели: Гусев — в белой, Масленников — в выцветшей малиновой). Перед председателем на столе лежало «дело» — папка бумаги толщиной в четверть аршина, стоял графин с сырой водой, стакан и звонок; перед заседателями лежали ручки, карандаши, бумага, стояли чернильницы. Государственный обвинитель Кашин и общественный обвинитель Зуев сидели за отдельным, ничем не покрытым столом. Задник декорации был не убран, на нем была изображена безлюдная деревенская улица с двумя рядами изб, крытых соломой.

Из боковых окон — сцену, судей, в раскаленном золоте солнечных потоков, засыпала золотая пыль, заливал пахучий мед свежего сена, жгло знойное, крепкое, с крепким запахом пота и дегтя дыхание июля. Июль пахнул мужиком, пахнул потом и разгоряченным на работе мужицким телом. Июлем, мужиком, то есть потом, дегтем, махоркой пахло и от судей.

Двое из них — Солдатов и Гусев — были крестьяне, Масленников — рабочий. Государственный обвинитель Кашин — тоже крестьянин, и только общественный обвинитель — беллетрист Зуев — был интеллигент. (Хотя от Зуева также пахло потом и дегтем, и махоркой, так как,

во-первых, было жарко, во-вторых, Зуев носил простые смазанные сапоги, в-третьих, курил махорку. Крестьяне Солдатов, Гусев, Кашин, рабочий Масленников и интеллигент Зуев попали на сцену судьями и обвинителями в порядке партдисциплины (той же самой, в порядке которой кузнец Аверьянов был назначен комиссаром в Упродком, стал заведующим Заготконторой), в порядке партдисциплины, то есть волею партии, той партии, которая лежала в окопах, командовала миллионной армией, управляла (и управляет) огромной страной и грузила на своих субботниках дрова,— партии сравнительно малочисленной, но необычайно жизнеспособной, страшно сильной, сумевшей сплотить, спаять, сорганизовать и повести за собой миллионные разноплеменные массы, населяющие мощный, необъятный СССР.

Внизу, в самом зрительном зале, первые три ряда партера в порядке принудительного привода занимали арестованные подсудимые (двадцать девять человек). Штыки конвоя вокруг них торчали частой решеткой, отделяя их от зрителей-слушателей, от родных, знакомых и от сцены. Подсудимые сидели, как в клетке.

Справа от них не в порядке чего-либо, а... за двести рублей, за сто рублей, за пятьдесят рублей золотом, за отрез на костюм, за две коровы и двадцать пудов муки и просто за советские миллиарды сидели защитники.

В зале не открывались окна, зал был забит людьми, сидевшими и стоявшими плотной массой, в зале было душнее, чем на сцене. От подсудимых шел острый запах заношенного белья, пота и, конечно, дегтя и махорки. Но пот у подсудимых был едок, холоден; был он не от жара работы, не от солнечного зноя, а от страха, от томительного ожидания приговора, от трусливой дрожи мышц.

Председатель ровным, бесстрастным голосом читал обвинительное заключение:

— «...Аверьянов и Латчин по взаимному между собой сговору и соглашению систематически расхищали вверенное им народное достояние...

...Ответственные руководители Заготконторы в лице Аверьянова и Латчина вошли в сделку с завссыппунктом Гаврюхиным, завбойнями Брагиным, с завхозом Гласс, с заведующим уездным отделением «Хлебопродукта» Брудовским и бухгалтером того же учреждения Травниным...

...Аверьянов получил у Брудовского взятку в сумме тысячи рублей дензнаками 23-го года...

...Аверьянов, состоя в близких отношениях с вдовой

колчаковского полковника Ползухиной, взял у нее жеребковую доху в обмен на продукты, похищенные им из вверенной ему Заготконторы...

...Аверьянов по соглашению с Латчиным подписал акт об уничтожении якобы негодного керосина...»

Бритое, бесстрастное лицо председателя будто высечено из сероватого камня. Шевелились только тонкие бесцветные губы.

«...Аверьянов... Аверьянов... Латчин... Аверьянов, Гласс... Аверьянов, Брагин... Аверьянов, Гаврюхин... Аверьянов, Ползухина».

Аверьянов покраснел, улыбнулся. Чтобы скрыть улыбку, закрыл рукой рот, опустил голову. Ему стало смешно, что следователь в своем заключении связывал его со всякой кражей, с каждым хищением, с каждым вором.

В зале духота, запах пота, дегтя, напряженная тишина... Аверьянов чувствует на затылке жгучий жар дыхания сотен ртов, леденящий холод сотен озлобленных глаз.

Председатель, твердо-серо-каменный, равнодушный, равнодушно читает обвинительное заключение, как псалтырь, как дьячок по покойникам, мерно, едва заметно качает головой, мерно шелестит бумагой.

В шипящем шелесте бумаги снова и снова проходили фамилии, статьи, пункты, параграфы, тысячи тысяч пудов, штук, аршин — хлеба, мяса, масла, сала, конопли, льна, сена, соломы, спичек, соли, шкур, шкурок, кож, керосина, мыла, железа. Снова и снова непонятные слова, статьи. Обвинители, защитники, заседатели, председатель согнулись над бумагами, как счетоводы, и шелестят, шелестят. И налогоплательщики сидят, стоят, столпились сзади, дышат жаром, как в Заготконторе в разгар продкампании. Как в Продкоме Аверьянов. Только не продкомиссар он, не завзаготконторой. И ни один счетовод, конторщик, больше ему не подчинен. Согнулись счетоводы над бумагами, считают, разносят по книгам — пуды, штуки, аршины, трупы скотские, птичьи, хлебные зерна. Аверьянов для них как нечеловек, как неживой, как скотина заколотая, как мясо. С трупами скотскими, с птичьими, с хлебными зернами на одни весы, на одни счета кладут они его, в одни книги записывают, разносят по параграфам, нумеруют одними статьями, пунктами.

Аверьянов вдруг остро, отчетливо почувствовал, что он тонет, теряется в шелестящем, шипящем потоке бумаг, непонятных слов, статей — штук, пудов, аршин, что он одинок, ничтожно мал, что ему не выбраться, что он погиб.

Опять, как в окопе, как в тот день, когда первый раз Латчин приглашал обедать, стало жаль себя. Захотелось лечь прямо на пол, уткнуться лицом в грязные затоптанные доски и выть, выть, как затравленному, загнанному зверю под последним взглядом черных глазных дыр двухстволки.

Председатель кончил читать, объявил перерыв. Комендант громко крикнул:

— Суд уходит, прошу встать!

Все встали, с шумом столпились у входных дверей на улицу. Подсудимых вывели в буфет. (Буфет на лето был перенесен в летний сад, так как спектакли шли там.) Судьи и обвинители за кулисами прошли темными коридорами, мимо куч бутафорского хлама, мимо актерских уборных, в уборную для актрис. Уборная актрис, после последнего слова подсудимых, должна будет служить совещательной комнатой. В нее уйдут судьи для вынесения приговора. У ее дверей станут часовые. Сейчас же около ее входа стоит только крышка бутафорского гроба, но подсудимым издали, из дверей буфета, она кажется самой настоящей, поставленной на том самом месте, на каком и нужно, если в доме есть покойник. Подсудимые кучкой собрались в дверях буфета, молча, бледные, с гримасами, совершенно не похожими на улыбки, кивали на крышку головами, указывали на нее друг другу взглядами широко раскрытых глаз.

Когда после перерыва подсудимых рассаживали в первых рядах партера, из-за стальной решетки штыков, из-за публики кто-то крикнул:

— Попалась, тигра!

Аверьянов вздрогнул, как от удара, как от удара, закрыл лицо руками, покраснел, закусил губу, быстро сел на свой стул.

Но когда начался допрос, Аверьянов успокоился, на вопросы отвечал уверенно, спокойно. Не шелестела больше бумага, не было непонятных слов, статей, никто ничего не читал. Все смотрели на него, разговаривали с ним. Аверьянов стоял, держась обеими руками за спинку стула. (Он занимал место во втором ряду.)

— Настоящее дело, товарищи судьи, я могу вам пояснить только так. Я не спец. А Латчин старый царский спец. Латчин и оплел меня, кругом запутал и посадил в тюрьму. Посадил он меня по злобе, что я раскопал его проделки с керосином, отдал под суд. И еще меня посадили другие бывшие царские спецы из Губрабкрина и из Губпродкома. Одни царские спецы из Губпродкома предписывали мне

в своих циркулярах один процент выхода мяса с боен, а другие спецы рабкриновские сказали, что должен быть другой процент. Спецы из Рабкрина нашли огромные хищения. Хищений таких не было. Они неправильно учли хлеб и мясо, сделали неправильные скидки на усушку, на вымерзание... Больше, товарищи судьи, пояснить я ничего не могу. Я не виноват.

Председатель медленно повернул голову в сторону обвинителей.

— Обвинение, у вас имеются вопросы к подсудимому?

Шмыгнув тяжелыми сапогами, привстал Кашин. Председатель застыл за столом, окаменел. Заседатель Гусев крутил длинные, жесткие, бурые усы. Масленников, наклонив седую голову и поправляя левой рукой очки, записывал у себя на бумаге:

«Спросить у няво, куды ему потребовалась етта курва Ползухина...»

Кашин откинул со лба черный, тяжелый клок волос, поправил ворот черной косоворотки.

— Вот вы, подсудимый, говорите, что хищений не было, а как же Латчин, Гласс, Гаврюхин, Брагин, Мыльников и другие все сознались, что расхищали. Кто сто пудов, кто триста? А?

Кашин был убежден в виновности Аверьянова, в его голосе дрожали иронические нотки. Он смотрел на Аверьянова, немного закидывая голову назад, полузакрывая умные, насмешливые, большие, черные глаза, колол его черной щетиной коротко подстриженных усов.

Аверьянов невозмутимо ответил:

— Я не говорил, что хищений не было. Я говорил, что таких, какие нашла ревизионная комиссия из Губрабкрина, не было.

— Ага.

Нос у Кашина тяжелый, массивный, но с острой переносицей. Раздвоенный подбородок выдается вперед.

— И вы ни в каких хищениях не участвовали?

Аверьянов вздохнул, но глаз не опустил.

— Нет, ни в каких.

— А чем вы объясните свой разговор с Мыльниковым, когда вы его упрекали, что он вас с Латчиным надул, недодал вам керосину?

— Это я его брал на пушку, чтобы поймать.

— Сколько вы заплатили и чем Ползухиной за доху?

— Доху я взял у Латчина на время, бесплатно.

— Ага.

Лицо Кашина кривится насмешливой улыбкой.

— Сколько вы подписали фиктивных актов, вернее подложных?

— Не знаю.

— Как не знаете? Без счета, что ли, подписывали?

— Я, когда подписывал, не думал, что они подложные. Это все проделки Латчина, он мне подсовывал.

Кашин привстает, обертывается к судьям.

— Я прошу разрешения задать вопросы подсудимым: Латчину, Гласс, Гаврюхину, Брудовскому, Травнину.

— Задавайте.

— Подсудимый Латчин!

Латчин встал, по-военному вытянулся.

— ...Скажите, сколько подложных актов вы подписали вместе с Аверьяновым, как это вы делали и знал ли об этом Аверьянов?

Голос у Латчина громкий, четкий.

— Шесть актов на сумму около семисот пудов хлеба и трехсот пудов мяса. Суть дела в том, что мы составляли дутые акты на хлеб и мясо, якобы принятые на хранение от «Хлебопродукта», а потом через некоторое время выдавали Брудовскому и Травнину, якобы принятые от них. Брудовский с Травниным продавали... Вырученные деньги мы делили поровну. Аверьянов аккуратно получал свою часть. Кроме того, мы составили еще акт на якобы уничтоженный керосин. Аверьянов тоже знал об этом.

— Садитесь.

Латчин сел. Аверьянов посмотрел на него с брезгливостью, но без волнения и злобы. Подсудимые Гласс, Брудовский, Травнин, Гаврюхин подтвердили слова Латчина, сказав только, что непосредственно с Аверьяновым дела не имели, знали только Латчина, но полагали, что Аверьянов в курсе дела.

Защитник Аверьянова опустил бледное бритое лицо, надел пенсне, что-то записал.

— Скажите, Аверьянов, с каким мясом вы ели пироги в день своего рождения?

— Не помню. Кажется, со скотским и немного свинины.

В публике быстрой змейкой прошипел смешок. Кашин побагровел, сдвинул брови, на секунду потерял самообладание.

— Я вас спрашиваю, знали ли вы, что это мясо было украдено с боен? Отвечайте, а не валяйте дурака, не наивничайте, все равно не поверим.

Председатель спокойно остановил:

— Государственный обвинитель, призываю вас к порядку. Вы не можете делать замечаний подсудимым. Это дело суда.

Кашин нервно откинул со лба волосы. Аверьянов не понял, почему рассердился Кашин. Не торопясь, ответил:

— Совершенно верно. Накануне это мясо было отобрано Латчиным у мясника, укравшего его. Латчин принес это мясо домой и сказал, что годится на пирог, обещал заприходовать его и засчитать мне в паек.

— Засчитал?

— Не помню.

— Ага... Латчин?

— Ничего подобного. Я взял мясо, а Аверьянов знал, что оно краденое, и о засчете в паек мы с ним не говорили.

— Аверьянов, за что вы взяли тысячу рублей у Брудовского?

— Я не брал... Я просил только Латчина заплатить в «Хлебопродукт» мой личный долг тысячу рублей, и эту тысячу я потом отдал Латчину.

— Латчин!

— Это было так. «Хлебопродукт» получал у нас две тысячи кондиционной пшеницы. Чтобы дать заработать на этом деле Брудовскому и заработать самому, Аверьянов велел отпустить Брудовскому добавочно двести пудов за мнимую кондиционность. Значит, Брудовский получил кондиционную пшеницу, а надбавку на некондиционность взял себе. За это Аверьянов потребовал с Брудовского погашение его долга по «Хлебопродукту», что и было сделано Брудовским.

Брудовский подтвердил показания Латчина, опять только заявил, что непосредственно к нему Аверьянов не обращался. Защитник Аверьянова снова что-то записал у себя на бумажке.

Кашин шаркнул сапогами, сделал в сторону суда движение всем телом.

— Я пока больше вопросов не имею.

Дергая жидкую рыжую бородку, стал допрашивать лысый, щуплый, маленький общественный обвинитель беллетрист Зуев.

— Скажите, Аверьянов, не покоробило ли вас, как коммуниста, когда Гаврюхин предложил вам муку сверх пайка?

Не почувствовали ли вы, что он просто-напросто крадет и хочет угостить вас краденым?

— Очень даже покоробило...

— Какие же меры вы приняли против Гаврюхина?

— Я его обматерил, пригрозил тюрьмой.

— Вы пили казенный спирт?

— Да, один раз напился пьяный у Латчина.

— Говорил ли вам Латчин, что у вас из служащих кое-кто ворует. Ну, например, Прицепа?

— Говорил, но я считал это пустяками, думал, они берут для себя куски. Не было работников, а время горячее...

— Но все-таки вы хоть делали замечания Прицепе и другим?

— А как же, материл без пощады.

В публике опять змейкой прошуршал смешок. Зуев улыбнулся, привстал.

— Вопросов больше не имею.

Поднялась седая голова Масленникова. Масленников сердито смотрел на Аверьянова через очки.

— Скажите, подсудимый, вы были в любовных сношениях с Ползухиной?

Ползухина покраснела.

Аверьянов обернулся к Масленникову. Он знал его по партии как хорошего товарища, старого партийца и добродушного человека. Ответил Масленникову не судье — товарищу.

— Нет, товарищ Масленников, не состоял.

Стал давать показания Латчин. Масленников писал на своем листе:

«...Сволочь, сволочь, врет, врет Аверьяшка. Жил с курвой Ползухиной, врет...»

Гусев левой рукой закручивал в жгут левый ус, правой рисовал на бумаге птичек. Председатель сидел неподвижно. Латчин говорил громко:

— Я, товарищи судьи, считаю излишним давать здесь свои показания. Я все показал у следователя. Я подтверждаю все свои прежние показания. Здесь только могу добавить, что я несчастный, запуганный революцией человек. Один раз меня уже приговаривали к расстрелу. Аверьянов заставлял меня делать всякие мошенничества, грозя, что меня, как бывшего царского и колчаковского интенданта, никто не будет держать на службе. Говорил, что если я не буду делать так, как приказывает он, то я буду выброшен со службы с волчьим билетом.

Латчин закрыл глаза носовым платком, опустил голову.

Аверьянов со спокойным любопытством заглядывал снизу вверх в лицо Латчину, удивлялся его наглости и с уверенностью думал, что Латчину никто не верит, что для всех его ложь ясна, что все уверены в его, Аверьянова, невинности. Ну разве могли думать о нем плохо Масленников, Гусев, Кашин, Зуев, с которыми он встречался почти каждый день, с которыми он работал в одной партийной организации, которые должны его знать безусловно только как честного человека? Председатель суда Солдатов мог, конечно, думать о нем что угодно — он чужой человек, присланный из губернии. Но Гусев-то, Масленников, Кашин, Зуев, они-то должны разъяснить председателю, кто он, Аверьянов, и кто Латчин. Наконец, разве не на виду у всех прошла его продовольственная работа? Аверьянов вспомнил 20-й, 21-й и 22-й годы, вспомнил, как он с величайшим трудом овладевал и овладел сложным механизмом работы Продкома, Заготконторы и «Хлебопродукта». Глубоко в груди что-то глухо стукнуло, что-то теплое, греющее полилось по всему телу. Захотелось зажмурить глаза и застыть в немой, сладкой полудреме, как после трудной работы в сыром, холодном, темном подвале или яме, сесть на солнцепек и дремать... дремать, отдыхать. Работа выполнена. Хорошо греет солнце, хорошо пахнет свежим сеном, дегтем, махоркой, мужицким потом. Ведь июль. Самый сенокос. Увидать бы нового заведующего Заготконторой, спросить бы, закончил ли он постройку крытого сеносклада?

И, точно льдинка в теплой весенней воде, мелькнула мысль — зачем Зуев и Кашин взялись его обвинять, если он не виноват?

Но сейчас же успокоился — откажутся. А если и будут, то так, для исполнения должности, отбытия номера. Конечно, оправдают.

И опять дрема, тепло, солнце...

Давала показания свидетельница квартирная хозяйка Ползухиной.

— Этта самая мадам Ползухина, после того как ихнего супруга в Чеке пристрелили, стали очень скучающей, стали подыскивать себе человека. От меня они не таились. Я все знала, все ихние думушки и желания.

Свидетельница обеими руками щупала голову, лицо, грудь, точно боялась, что у нее что-то торчит, что-то не в порядке, старалась прилизаться, пригладиться.

— Ну те-с, господа товарищи, приходит она этта с этим рыжим. У меня соседка сидела в гостях, так объяснила, что рыжий-то этот и есть самый главный комиссар по разверстке — Аверьянов. Зашли они в комнату к ним. Ну, думаю, видно, начинает дело налаживаться, наверное, угощать будет гостя, чай потребуется. Я и сунься в комнату-то, смотрю, ан никакого уже чаю и не требуется и так все сладилось. Стоят они у комода в обнимку. Я скорее назад, хлопнула дверью, слышала только, как она ему сказала — милый ты мой... Вот, господа товарищи, ей-богу, не вру.

В зале громко засмеялись. Улыбались подсудимые, защитники, обвинители. Улыбаясь, председатель позвонил, призвал к порядку. Свидетельница щурила подслеповатые глаза, щупала волосы, лицо, грудь, быстро вертела остренькой, сухонькой, звериной мордочкой.

— Ну, потом уж стало неприлично, уж простите меня, господа товарищи. Я дочерей своих, невесты они у меня, девушки честные, из столовой прогнала, чтобы не слушали. А у них в комнате такая возня пошла, кровать затрещала, заскрипела. Ну, прямо срам, вот уж простите, господа товарищи, говорю, что было. Потом он, значит рыжий-то комиссар, выскочил как встрепанный и уж, видно, от стыда бегом, через столовую, стакан у меня со стола сшиб, разбил, теперь такого не купишь, старинный был стакан, мне за него никаких денег не надо. Сгоряча, верно, он в дверях-то стал в тупик, не смог запор отложить. Я ему помогла. А потом уж, простите, господа товарищи, не вытерпела, заглянула к ним в комнату, да так опять и отскочила, как ошпаренная. Смотрю, лежит она — мадам Ползухина-с то есть, в самом неприличном виде, все у нее наружу-с...

В зале опять засмеялись, завозились, зашикали. Председатель позвонил, пригрозил очистить зал.

Сбоку, из-за стола защитников, несколько раз, как на пружинке, подскакивал обритый, остриженный, отточенный, кругленький, маленький, рябоватый защитник Латчина — Блудовский. Аверьянов слышал, что он просил каждый раз что-то отметить в протоколе, что-то огласить, старался свалить все на него, выгораживая Латчина. Аверьянов косился на Блудовского с полупрезрительной, полудобродушной усмешкой в зеленых глазах. Его подскакивание и просьбы казались Аверьянову совершенно бесцельными, бесполезными — ведь суд же знал, что он старается за деньги, за золото. Какая же ему может быть вера? И где Латчин взял эти двести рублей, чтобы заплатить Блудовскому? Откуда

у Латчина такие деньги? Конечно, краденые. И Блудовский это знает и берет, делит краденое с Латчиным и теперь расходуется, распинается, доказывает, что Латчин действовал бескорыстно, по принуждению.

Не нравились Аверьянову защитники. Причесанные, приглаженные, в воротничках, с галстуками, подскакивают нарядными куколками, как их будто кто за ниточку под стульями дергает. Станут, как ваньки-встаньки, кланяются во все стороны — и судьям, и обвинителям, и подсудимым. Лезут, вяжутся к каждому свидетелю и на каждом слове поклон и — «разрешите», поклон и — «прошу», поклон и — «ходатайствую». Только мешают.

Из всех защитников Аверьянов выделял двоих: своего — Воскресенского, и женщину, защитницу Мыльникова — Бодрову. И Воскресенский и Бодрова защищали бесплатно, были «казенными» защитниками. Эти не надоедали с поклонами и вопросами и раз не получали денег, то, значит, вели дело «честно».

Перед судом прошло около двадцати свидетелей. И ни один из них не сказал хорошего слова об Аверьянове.

...Матерщинник... грубиян... грабитель... выгребал последний хлеб... беспощадный комиссар... разговаривать не хотел, гнал в шею... матерщинник... матерщинник... матерщинник...

Крестьянин, старый, с седой бородой, в белой холщовой рубахе, в белых штанах, босой, поглаживая себя по лысине, почесывая затылок, заявил:

— Не комиссар, а тигра. Чистая тигра кровожадная.

Аверьянов с усмешкой, спокойно крутил длинные усы. Ему казалось, что судьи отлично понимают, почему его ругают крестьяне, и что их показаниям они не придают никакого значения.

В жаре, в духоте, в запахе пота, дегтя, махорки и сена шел суд. Судьи пили сырую воду графин за графином (отварную негде было достать). Подсудимые и защитники пили железной кружкой из железного ведра, стоявшего под столом защиты. Зрители — плотная, потная масса мяса, разложенного по стульям партера и прикрытого пестрым тряпьем. Зрители сотнями глаз липли к решетке штыков конвоя, жгли подсудимых жаром дыхания, морозили холодом злых, ненавидящих взглядов. Зрители делились на два лагеря.

Одни:

— Раскатают голубчиков. Аверьянова расстреляют.

Другие:

— Судьи коммунисты, и Аверьянов коммунист. Ворон ворону глаз не выклюет.

VI

Подсудимых в перерывы выводили в бывший буфет. Судьи и обвинители уходили за кулисы, в уборную актрис. Защитники выходили в фойе и на двор. Зрителей выводили на улицу. На ночь подсудимых уводили в местзак (в тюрьму, попросту).

И только на третий день утром в напряженной тишине зала, смотря бесцветными глазами на три ряда бледных белых бус-голов подсудимых, председатель предоставил слово общественному обвинителю. (Подсудимые сидели тремя тесными рядами, со сцены у второго и третьего рядов видны были только головы, головы, как крупные белые бусы.)

В нервном безмолвии зала, неожиданно задетая неосторожной рукой, щелкнула неожиданно прицельная рамка винтовки, щелкнула резко, четко, сухо, как курок перед расстрелом за спиной приговоренного. Вздрогнули, побледнели, как один, обернулись подсудимые... Вытянулись лица у защитников... Вздрогнул, вставая со стула, Зуев.

Зуев начал свою речь срывающимся, неровным голосом:

— Товарищи судьи, перед нами на скамье подсудимых не служащие, сотрудники Заготконторы и государственного акционерного общества «Хлебопродукт», а акционеры единого частного акционерного общества, поставившего себе задачей расхищение народного достояния. Акции распределялись в зависимости от высоты занимаемого служебного положения, в зависимости от близости к замку, к складу, к кладовой...

Голос Зуева — высокий, но сильный, звонко звенел сталью, серебром, стал модулировать гибко, без единой фальшивой нотки. Зуев стоял, несколько откинув назад корпус, приподняв голову, взявшись левой рукой за борт черной косоворотки, жестикулируя правой. Маленький, сухощавый, но крепкий, жилистый, в тяжелых смазанных сапогах, он устойчиво стоял за столом, резким движением правой руки хватал воздух, как камень на лету ловил, держал его секунду в стиснутом, высоко поднятом кулаке и с силой бросал в подсудимых.

— ...На скамье подсудимых есть интересная для меня как общественного обвинителя группа обвиняемых, это — нэпманы...

Подсудимые следили с напряженным вниманием за правой рукой Зуева. Двадцать восемь пар глаз ловили каждое его движение и после каждого взмаха нервно дергались, морщились, как от удара. Один Аверьянов сидел спокойно, смотрел на Зуева холодными, прищуренными, зелеными глазами. Аверьянов привык к выступлениям Зуева на партсобраниях, на митингах, для него он не был обвинителем, для него он — оратор, агитатор, пропагандист.

— Товарищи судьи, наш учитель Маркс, характеризуя капиталиста, прежнего капиталиста, говорил, что он является фанатиком производства. Можем ли мы эту характеристику приложить к нашему нэпману? Ни в коем случае. Наш нэпман, или нэпач, как хотите, является фанатиком распределения ради распределения. Он мало интересуется фабрикой, заводом. Нэпман отлично учитывает, что он калиф на час, поэтому все его внимание на купле-продаже, на перераспределении. Он пользуется слабостью нашей кооперации, нашего госторга и наживается, берет чудовищные деньги за то только, что разделит нам наш же кусок хлеба — мы, к сожалению, еще не научились его делить... Но нэпману мало легальных возможностей, ему мало бешеных процентов от игры на золотой валюте, на понижении нашего курса, неслыханного вздутия цен, и нэпман создает себе нелегальные возможности. Он лезет со взяткой в кабинет к нашему ответственному хозяйственнику, он запускает лапу в наши склады и кладовые, ворует и скупает, сбывает краденое; мало этого, он увиливает от налогов, заводит для виду пашню, регистрируется землеробом; нэпман есть хищник, последовательный и логичный в своей политике до конца и до конца не брезгующий никакими средствами, лишь бы в конечном счете нажиться...

Аверьянов успокоился окончательно. Конечно, Зуев агитатор, а не обвинитель. Дальше он не слышал, не понял, что Зуев от общих предпосылок перешел к детальному разбору преступлений каждого из двадцати двух. (Зуев отказался от обвинения семерых, но Аверьянова обвинил как одного из главных участников хищений в Заготконторе.)

Аверьянов дремал, думал, что Зуев хороший оратор, что его невредно послушать. Но самому слушать не хотелось — слишком уж хорошо после сырости тюремной ка-

меры отдохнуть, слишком надоели речи и митинги за годы революции.

Голос Зуева звенел сталью, серебром, точно не воздух, не камни ловил он и бросал правой рукой, а серебряные, стальные пластинки. Сталью, серебром звенящим забросал Зуев зал.

— ...Но если, товарищи судьи, вы на минуту, на одну только минуту, из суровых бойцов, из твердых революционеров станете просто людьми, немножечко даже идеалистами... Ваше сердце сожмет тогда горячая рука жалости... ведь люди же на скамье подсудимых, ведь жаль человеку человека... ведь за каждым подсудимым семья, мать или любимая, любящая женщина. Товарищи судьи, если бы я сейчас сделал паузу, то мы бы услышали в этой напряженной тишине нервный стук десятков сердец. Десятки сердец рвутся болью, больным вопросом — что будет? И боль человека или группы людей вызывает в человеке, в людях ответную боль сочувствия, сострадания...

Перестали сыпаться, звенеть стальные, серебряные пластинки. Страстно, с тоской зазвучала одинокая, тонкая, чуткая струна неведомого, нежного, мелодичного инструмента. Бесцветный, лысый, жидкобородый, некрасивый Зуев стал красив, светел. Его глаза заискрились, стали ясно-прозрачными, как осенняя вода сибирских рек на осеннем сибирском солнце.

Зал только дышал...

— ...Вы, конечно, слышали, товарищи судьи, как четко и неожиданно здесь щелкнула прицельная рамка винтовки... Я вздрогнул и видел, как вздрогнули подсудимые, как вздрогнули вы, защитники, весь зал, я почувствовал, что какие-то невидимые, но крепкие нити связывают нас всех во что-то единое, общечеловеческое; у подсудимых, у защитников, у вас, у всех зрителей, у меня, несомненно, мелькнула одна мысль — мысль о смерти, мы подумали:

«А может быть, кто-нибудь в этом процессе будет приговорен к смертной казни, может быть, кому-нибудь суждено скоро услышать за своей спиной последний раз такой же сухой щелчок курка». Каждый подсудимый с тоской подумал:

«Может быть, мне... Может быть, мне... Может быть, меня приговорят».

Зуев сделал паузу — замолчал, опустил руки, голову. В зале взвизгнула, забилась в истерике женщина. В дальнем углу сдержанно всхлипывали. Аверьянов улыбнулся (ведь Зуев говорил не о нем), подумал:

«Здорово режет, язви его».

— ...Товарищи судьи, пролетариат, как носитель прекраснейших всечеловеческих идеалов бесклассового, всечеловеческого общества, не нуждается, не ищет кровавой мести над этой кучкой жалких жертв материальных, общественных условий нашего быта. Ведь мы, марксисты, отвергаем теорию Ломброзо о врожденной преступности, мы не говорим, что все они негодяями родились и ими умрут; ни одному из подсудимых я не могу бросить такого обвинения. Наоборот, я утверждаю — условия, условия и условия. Сменятся условия — не будет воров, поставьте этих воров в другие условия — не будут ворами, исправятся...

Зуев снова замолчал. Его лицо перекосила болезненная гримаса, он с усилием, медленно, как громадный груз, поднял на высоту плеч обе руки и вдруг неожиданно, резко бросил на пол что-то тяжелое, ухнувшее тяжело и гулко:

— ...Но, товарищи, мы же, как марксисты, должны сказать и о других условиях: мы должны сказать, что подсудимые совершали хищения в обстановке, в условиях борьбы с последствиями голода. Двадцать второй год весь прошел под знаком борьбы с последгол, они крали в то время, когда над миллионами людей еще стоял призрак голодной смерти, когда Республика напрягала последние силы в борьбе за жизнь миллионов! В такое время, товарищи, не говорят о возможности исправления того или иного преступника, в такое время сурово, быстро устраняют.

Снова зазвенели стальные, серебряные пластинки, заглушили в зале визг и плач, всхлипывание...

— ...Ваш приговор не станет достоянием только этих стен. Его ждут и услышат миллионы ими обманутых, обкраденных.

И с полным сознанием своей ответственности перед партией, меня пославшей на это заседание, перед миллионами, за ней стоящими, во имя счастья этих миллионов я требую строжайшего осуждения подсудимых; пусть будут неумолимы, тверды наши сердца, пусть жесток, суров будет приговор...

Так нужно!

Государственный обвинитель Кашин говорил кратко и сухо:

— В отношении Аверьянова обвинение считаю доказанным, поддерживаю его в полной мере статьей 110 части 11 пункта «Б», 16 и 180 пункта «З», 114...

В отношении Латчина... статьей... 180 пункта «З», 114...

Аверьянов слышал, что Кашин назвал его фамилию, перечислил какие-то статьи, и, с усилием напрягая мозг (мозг, утомленный шелестом бумаги, непонятными словами, статьями, непонятными, ненужными формальностями суда), решил:

«Кашин должность исполняет».

Кашин говорил ровным, глухим голосом, полусогнувшись, опираясь левой рукой о стол, правой откидывая со лба упрямые волосы:

— ...Поддерживая в полной мере обвинение в отношении двадцати двух, мною перечисленных, и принимая во внимание, что задачей революционного обвинения и защиты вовсе не является обвинение или обеление во что бы то ни стало, а лишь выявление истины, я отказываюсь от обвинения остальных семи подсудимых, по моему мнению, совершенно невинных...

Из защитников первой говорила высокая, стриженая, черноволосая Бодрова. Бодрова говорила уверенно, постукивала по столу тупым концом карандаша.

— Мой подсудимый Мыльников, товарищи судьи, мошенник и вор. Я, хотя и его защитница, но вовсе не намерена доказывать с пеной у рта, что он честный человек, что он не виноват; мой подзащитный должен быть наказан; но, товарищи, поскольку мы живем в век кодекса, когда каждое преступление должно квалифицироваться определенной статьей закона, я беру на себя смелость утверждать, что моему подзащитному обвинение предъявлено неправильно, в его преступлении я не усматриваю признаков статьи 180 пункта «З»...

Аверьянов смотрел на Бодрову.

...баба деловая...

Других защитников Аверьянов не слушал, решив твердо, убежденно:

«Кривляки, врали, путаники, распинаются за деньги...»

Общественный обвинитель Зуев внимательно разглядывал каждого говорившего защитника и не мог разобрать, чего в них больше, что вообще руководит ими — материальная, профессиональная заинтересованность или подлинное сострадание, сочувствие чужому горю.

Защитники, как обвинители, говорили о тысячах тысяч пудов, штук, аршин, мешали людей со скотскими, с птичьими трупами, с хлебом, с керосином, с железом, с мылом, нумеровали статьями, пунктами, параграфами, но доказывали, что корыстных хищений не было — были только бескорыстные упущения по службе, бескорыстные кражи.

Судьи слушали защитников, позевывая, посматривали на часы: прения сторон для них почти не играли никакой роли; они по-крестьянски, с легким недоверием, относились к защите и к обвинению:

...Защищают, обвиняют — путают, сбивают...

Они полагались только на свои силы. Медленно, осторожно, добросовестно, но самостоятельно переваривали материалы судебного следствия; к моменту выступления защитников они уже переварили и решили; разубедить их было почти невозможно.

Последним говорил Воскресенский:

— Товарищи судьи, я обращаю ваше внимание на те условия, в которых пришлось работать моему подзащитному — простому кузнецу и коммунисту Аверьянову.

Здесь никто не сказал, какую огромную, полезную работу проделал этот кузнец.

Масленников выводил карандашом у себя на бумаге:

«...обратим... обратим внимание... к ени матери, расстрелять... сволочь, сволочь... спутался с Ползухиной, взяточник, вор...»

Схема речи защитника Аверьянова была такая:

Огромность и важность выполненной Аверьяновым работы. Тяжелые условия работы — неприспособленность складов, хранилищ, отсутствие опытных и честных специалистов.

Акт ревизии Губэркаи неверен, хищений в таком размере, как установила ревизия, не было (защитник представил справку, что при перевеске пшеницы после ревизии была обнаружена ошибка ревизоров — пшеницы оказалось на тысячу шестьсот пудов больше).

Акт Губэркаи с такой грубой ошибкой не может служить серьезным документом; он должен быть отвергнут целиком.

Председатель суда записал себе на память:

«Хорошо. Отвергнем акт Губ. РКИ, но ведь остаются хищения, в которых сознались подсудимые: остается установленным факт участия в них Аверьянова. А взятка?»

Следователь провел следствие односторонне, неполно.

Взятка была, но взял ее Латчин, Брудовский подтвердил, что он непосредственно с Аверьяновым дела не имел. Латчин взял 1000 р. с Аверьянова и опустил ее себе в карман. Акты фиктивные были, но все подсудимые подтвердили, что составляли их с Латчиным. Аверьянов подписывал после и безусловно не знал — ему их подсовывал Латчин.

Квартирная хозяйка выдумала близость Аверьянова с Ползухиной. Аверьянов только избил Ползухину за то, что она не пошла в ГПУ, обманула, оскорбила его и т. д.

Воскресенский, к концу речи устав, вытирает с лица пот, сбросил пиджак, остался в белой рубашке.

— Кончая, я скажу, товарищи судьи, одно в этом деле есть, ярко сказались наши ведомственные трения, ведомственная заскорузлость, формализм, неправильное, узкое понимание ведомственных интересов. Есть хищения, есть все, что хотите, но только нет виновности Аверьянова; если бы Губэркаи, следователь и прокуратура понимали, поняли, что они и учреждение, руководимое Аверьяновым, части одного целого — Советской республики, а не враждующие, взаимно топящие друг друга стороны, то они проявили бы в этом деле больше вдумчивости, больше добросовестности.

Председатель остановил Воскресенского.

— Прошу не касаться того, что не относится к делу.

Воскресенский махнул рукой.

— Хорошо. Я кончаю... тогда бы Аверьянов не был под судом, но я надеюсь, вы исправите ошибку судебного следствия: вынесете моему подзащитному оправдательный приговор.

Зуев обернулся к Кашину.

— Как, по-вашему, акт-то Губэркаи... А? подмочил его Воскресенский? Пожалуй, Аверьянов уж не так... А?

Кашин промычал неопределенно:

— Да, тут что-то есть. Тысяча шестьсот пудов — это сюрприз. Пожалуй, 110-й не будет.

Речь своего защитника Аверьянов слушал и понял. Аверьянову было немного неловко и стыдно, что защитник так его хвалил, но и в то же время осознавал, что это необходимо, необходимо окончательно показать суду и всем, что он не вор, что он работал так, как мог, как умел, работал неплохо. Аверьянову показалось, что Воскресенский *это именно и доказал* неопровержимо; Аверьянов тепло посмотрел в сторону взволнованного, вспотевшего Воскресенского, кивнув ему головой.

И улыбкой, лучистою зеленью глаз, огненной, всклокоченной гривой волос, всей своей неуклюжей зеленорыжей фигурой ломая лед торжественности судебного заседания, Аверьянов встал, чтобы сказать свое последнее слово:

— Товарищи!..

Аверьянов судей не называл судьями, к концу судебного заседания он думал о них просто как о товарищах и свое пребывание на скамье подсудимых считал вполне установленным, выясненным недоразумением.

— ...Мне говорить нечего; мой защитник — я его не подкупал, денег ему не платил, вы мне сами его назначили — мой защитник сказал всю правду; хвалить я себя не буду; я скажу только вам, что к моим мозолистым рукам не пристала ни одна народная копейка.

Аверьянов поднял, показал судьям свои длинные, жилистые, корявые руки...

— Руки и совесть у меня чисты, а говорить много я не умею, нет в голове столько фантазии, сколько у следователя, у обвинителей и защитников.

Аверьянов помолчал немного; корявыми, негнущимися пальцами, как граблями по соломе, провел по волосам, и тихим голосом, с глазами, опущенными вниз (опущенными, чтобы не видно было слез), как кому-то близкому, родному, с болью пожаловался:

— Устал я, товарищи, соскучился в тюрьме без работы...

Замолчал, сел, закрыл лицо огромными, жесткими ладонями.

Зуев зашептал Кашину:

— А знаете, правда иногда бывает очень бледной. Ведь Аверьянов не виноват...

Кашин твердил свое, бледнел, волновался.

— Тут что-то есть, что-то, не так...

Поздно ночью судьи ушли за кулисы в уборную актрис, в совещательную комнату. Подсудимых увели в тюрьму. Ушли одни, увели других, чтобы расстоянием, дверями разорвать, разрезать то невидимое, но крепкое, что связывало судей и подсудимых в единое целое.

Судьи ушли в тьму кулис, в полумрак, в тесноту, в духоту уборной актрис, чтобы не видеть глаз, лиц тех, кого нужно осудить, чтобы в табачном дыму, в копоти керосиновой мигалки, в запахе дегтя и пота на белой бумаге, черными чернилами написать кроваво-красное слово — расстрелять. Чтобы написать это слово перед рассветом, когда красные от бессонницы будут глаза, когда глаза будут утомлены и, следовательно, не увидят, что слово, чем бы ни было написано, всегда кроваво-красное, что за ним всегда кровь, расколотый череп, мозги, черная яма, черная сырая земля. Чтобы не понять, что слово это, написанное на бумаге,— беззвучно,

но беззвучно, как порох, по бумаге же рассыпанный и таящий в себе гул взрыва, огонь и дым...

В день объявления приговора утром Зуев встретил Кашина на улице; в суд пошли вместе; Кашин был бледен.

— Я не знаю, виноват или нет Аверьянов, но я знаю, что расстрелять его нельзя, немыслимо; когда я обвинял его, я не колебался, но последнее слово, это его какая-то особенная уверенность в своей правоте, его спокойствие... Что-то есть тут неладное...

Зрительный зал не мог вместить всех желающих услышать приговор. Конвой пропустил в первую очередь родственников. Громадная толпа осталась на улице. Милиционеры оттеснили толпу к противоположному тротуару, растянули ее на целый квартал.

На улице было слышно, как в зале громко крикнул комендант:

— Суд идет, прошу встать!

Зал с шумом встал и замер, онемел.

Кашин и Зуев стояли рядом. Зуев смотрел на подсудимых. Кашин в землю.

Гусев, опустив тяжелую, большую голову, ковырял пальцем сукно. Масленников позевывал, равнодушно смотрел куда-то выше очков.

Защитники стояли с вытянутыми шеями. Председатель читал монотонно, чуть-чуть нараспев, как дьячок по покойникам (и доподлинно по покойникам, ибо четверо были приговорены к смерти).

Подсудимые, их головы, лица — снова как бесцветные, бледные бусы, Аверьянов один огненно-рыжий, красный, слушал со спокойным любопытством. Решетка штыков конвоя была удвоена, сгущена.

— «...Рассмотрев дело по обвинению... по статьям... нашла, что обвинение в отношении граждан...»

Председатель перечислил семерых, которых обвинители отказались обвинять.

— «...Не доказано... что... Аверьянов уличается в том, что расхищал совместно со своим секретарем Латчиным и служащими Заготконторы... что взял взятку с Брудовского... что взял с Ползухиной доху в обмен на похищенные продукты... что дискредитировал Советскую власть... что напился пьян, чего и сам не отрицает, что... что... что предусматривается статьями 16 и 180 пункт «З», 114, 116, 113... Что Латчин уличается... что Брудовский... что... Травнин уличается... что предусматривается и статьями...

Аверьянов не понимал приговора, не знал, что значат

все эти статьи. Председатель, не торопясь, перечислил всех подсудимых и, соблюдая все формальности, стал читать уже более понятно.

— «...а посему Травнина на основании статей 16 и 180 пункта «З» подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу... Брудовского на основании статей... пункта «З» высшей мере наказания — расстрелу... Латчина... пункта «З»... высшей мере наказания — расстрелу... Аверьянова... «З»... расстрелу... Ползухину... основания статьи... пункта... подвергнуть заключению в тюрьме на три года со строгой изоляцией, но, принимая во внимание Октябрьскую амнистию, срок наказания... полтора года... Мыльникова... основании... а по совокупности... восемь лет... десять лет... пять лет...»

Аверьянов слышал только одно — «З» и расстрелу... «З» зазвенело в ушах, как пуля, пролетевшая на сантиметр от головы, «З», как разрыв шрапнели, на минуту ошеломило, оглушило. Не дожидаясь разрешения сесть — тяжело опустился на стул. Председатель кончил читать. В зале захлопали, как комьями земли, закидали подсудимых.

— Садитесь. Подсудимые, поняли приговор?

Аверьянов вскочил огненно-красный, с глазами, налитыми кровью, заревел, как зарезанный:

— Поняли-и-и! Вы с ума спятили!.. Язви вашу мааать! Засудили!

И, теряя сознание, завизжал, зарычал по-звериному:

— И-и-и-а-а-а!.. А-а-а!..

Схватил стул, отломил ножку, замахнулся... Комендант скомандовал:

— Конвой, на ррру-ку!

Аверьянова двое взяли за руки, связали ремнями.

И, как в зверинце, как затравленному зверю в клетку, через решетку штыков кто-то снова бросил Аверьянову:

— Не понравилось! Попалась тигра!

Зал аплодировал, истерично визжал, всхлипывал, бился в истерике, ибо было произнесено это слово, кажущееся черным и беззвучным, но всегда кроваво-красное, таящее, как порох, взрыв, огонь, дым, как удар бича, едкое, бьющее, вызывающее дрожь тела, холодный пот, слезы, плач, истерику и обмороки.

Вечером репортер губернской газеты товарищ Быстрый писал:

«Крестьянин, будь спокоен, твои обиды отомщены — разграблявший твое трудовое достояние... вор,

взяточник... «кровожадная тигра», по твоему меткому выражению... Аверьянов приговорен к расстрелу и будет расстрелян...»

Вечером беллетрист Зуев у себя в комнате бегал из угла в угол, хватался за голову:

— Ведь мы же с Кашиным доказали, что он виноват. Стыд, стыд!..

Кто-то беззвучно хихикал в мозгу:

«Беллетристические фантазии».

Зуев махал руками...

— Нет, нет, он не виноват! Стыд, стыд!

И еще были в мозгу беллетриста Зуева разрозненные, бессвязные, такие вот мысли:

«Революция...

...Революция — мощный, мутный, разрушающий и творящий поток. Человек — щепка. Люди — щепки. Но разве человек-щепка — конечная цель. Революция? Через человека-щепку, через человеческую пыль, ценою отдельных щепок, иногда, может быть, и ненужных жертв, ценою человеческой пыли, к будущему прекрасному человечеству!.. Но что это? Я, кажется, начинаю оправдывать Революцию? Разве она нуждается в оправданиях? Она, рождением своим показавшая, что человек еще жив, что у него есть будущее!..»

ГОРЫ

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

...им же высота яко до небесе и в горах тех клич и говор; и секут гору хотящие просещися.

Нестор. Летопись, 1096 год

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Враг топтал хлебные поля, расхищал зерновые запасы, резал молочный скот, ломал плуги. Незасеянные пашни обрастали космами полыни. Некошеные степи сохли и лысели. Иван Безуглый ехал на один из боевых участков. В скором поезде Москва — Новосибирск он записал в своем дневнике:

«Мобилизовали на работу в деревню. Согласился с радостью. Я люблю горячую работу. Есть у меня в горах и еще одна зацепка... Я очень доволен».

Безуглый подолгу стоял у окна. Ноги его были широко расставлены. Он сохранил мускульную память о железе, мешавшем ему полтора года перед революцией. В круговращении кривых, голых березняков и болот Барабы, в мелькании телеграфных столбов, в шуме неостанавливающихся разъездов, в реве колес и в дыме мчался его тридцать третий год. Избы деревень серыми утками мирно плыли мимо, тесными стадами окружая лебединые белые груди церквей. Поля сражений были пусты. Нигде не было ни окопов, ни колючей проволоки.

Война шла незримо.

* * *

Пароход распустил черную гриву дыма. С грохотом втянулись сухие языки сходен. Город закачался и отплыл.

Безуглый любил Новосибирск, город-юношу в гремящей прозодежде. Безуглого никто не провожал. Он махал платком ему — молодому.

По палубе от носа к корме пробежала длинная тень. Город пронес над пароходной трубой свою руку — железнодорожный мост.

Пароход остался один.

Широкая река шуршала на песке отмелей. Правый берег лежал ноздреватым ломтем ржаного хлеба. На берегу у деревень стояли бабы со вздувшимися животами и с ребятами на руках. За околицами плескались гогочущие гусиные стаи, паслись отары овец, стада коров.

Земля была плодородна.

Безуглый улыбался земле и беременным бабам. На горизонте работал городской юноша. Его высокие, угловатые плечи дымились. Безуглый снял шляпу и помахал ему в последний раз. Ветер бросил Безуглому в лицо холодные капли воды и теплый запах свежего хлеба. Он сел на рубчатую белую скамью. Солнце положило ему на лицо, на грудь, на живот горячие золотые полосы. Он зажмурил глаза. Сотни оранжевых пауков закачались в прозрачных тенетах...

Под Безуглым ранили лошадь. Он стал отставать от отряда. Пули догоняли его. Лошадь упала с перебитыми ногами. Всадник едва успел освободиться от стремян. Его тяжелые сапоги скользили по каменистой узкой тропе. Над ним обломками остроносых кораблей громоздились скалы. Далеко внизу чернел хаос сломанных мачт леса, белел смятый парус реки. Шума воды Безуглый не слышал.

Пуля пробила ему спину и грудь. Он упал на колени. Кровь залила горло и рот. Раненый увидел, как погрузились носы, кормы и мачты разбитых кораблей и высоко поднялись крутые, темные волны. Он захлебнулся и выбросил руки вперед, чтобы плыть. Боль ожога опалила живот. На мгновение он понял, что качается с раскинутыми руками на смолистой паутине веток. Кедр затрещал под ним и пополз в пропасть к зеленым омутам ревущей реки.

Безуглову стало очень тепло. Ему казалось, что он лежит животом на печке. Он с трудом открыл глаза, поднял голову. Кругом шумела и пенилась вода. Над ним стоял высокий серобородый мужик с длинным белым удилищем в руках. Река вынесла раненого на большой, нагретый солнцем камень.

Раненый потерял сознание.

Он лежал на спине, на чем-то мягком. Под головой у него — подушка. Светлый четырехугольник искрился

пылью на земляном полу против двери. Окон не было. Полутемные углы заставлены пустыми ульями, бадейками, корытцами. Грудь, живот, руки у раненого туго спеленуты.

Серобородый резал хлеб. Хрустела поджаренная корка. Каравай раскрывался пахучими, мягкими глубинами. Из туеса свисала в широкую чашку желтоватая лента меда. Серобородый склонился над Безуглым и стал класть в рот ему большие, набухшие медом куски.

Ветер заскрипел дверью, взвихрил с пола пыль. За стеной залаяла собака. Серобородый поднял голову, торопливо поднял чашку и вышел. Дверь захлопнулась. Избушка заполосатилась золотыми щелями. Безуглый услышал стук копыт и бряцание оружия. Он перевернулся на бок и прижался лбом к щелявой стене. В прозрачных тенетах качались оранжевые пауки. Жирные травяные заросли закрывали горизонт. Трава шуршала и колыхалась под чьими-то сапогами.

В ранах кипел расплавленный свинец. Глаза слезились. Избушка щелилась дырявой паутиной. Раненый замер в мягких качающихся тенетах...

Безуглый открыл глаза. Избушка серобородого Андрона исчезла. Черные тучи заслонили солнце. Ветер похолодел. К Безуглому подошел помощник капитана, в руках у него были блестящие билетные щипцы.

* * *

Вода в Оби почернела. Туман выбелил берега. Пароход широким ножом прожектора прорубал себе дорогу. Водяная пыль шумела в колесах. В машинном отделении шевелились шестерни. Пароход подрагивал.

Безуглый невидящими глазами смотрел на воду...

Над горами трепетали серые холстины туманов.

Андрон снял с треноги котелок, положил в костер сырых гнилушек. Дым лохматыми шкурами закрыл пасеку. Андрон подошел к избушке, поставил котелок на стол, неторопливо перекрестился на восток, разломил большой белый калач.

— Питайся, Иван Федорыч, бога для.

Безуглый сел рядом. Уха из хайрюзов искрилась жиром и паром лезла через края копченой посудины. Сначала они схлебали щербу, потом выложили в корытце рыбу, крепко

посолили. Брали руками. Ели долго и молча, обжигаясь и пачкая бороды. После рыбы на столе в новеньком корытце появился мед — большая золотистая осотина и глубокое деревянное блюдо с холодной водой.

— Макайте, Иван Федорыч, получайте, бога для.

Андрон несколько раз рыгнул, вздохнул, обсосал с бороды медовые золотинки, облизал пальцы, вытер их о свою пушистую голову и встал из-за стола.

— Ну, Иван Федорыч, пошли со восподом.

Андрон отвел выздоравливающего Безуглого в пчелиный подвальчик, подождал, пока тот лег на свою моховую постель, загородил его бадейками, пустыми ульями и тихо вышел.

В костре шипели гнилушки. В траве путалась, жужжала выпавшая из улья пчела. Хлюпал ключ. В пихтаче за пасекой тихо хрустели сучья, шуршала трава. Медведица с медвежонком спускались с гор. Они шли ключом почти бесшумно. Их шаги терялись в шлепающих всплесках воды. Иногда только медвежонок наступал на сухую ветку или трескучую дудку дидля[1]. Тогда медведица останавливалась, оглядывалась. Она показывала своему детенышу белоснежный острейший клык. Шерсть на затылке и на шее у нее поднималась. Голова делалась косматой, широколобой. Глаза светились зелеными огоньками. Медведица стояла, напряженно обнюхивая невидимые пахучие потоки. Около поскотины она окаменела. В пихтачике открикивал полночь алдодик. Медведица ловким и сильным броском перескочила через изгородь. Медвежонок мышью проскользнул за ней под жердями. В пасеке среди ульев зверьмать выросла бурым мохнатым пнем. Она схватила передними лапами колодку, сорвала с нее крышку и сунула звереныщу. Медвежонок заворчал, взвизгнул, залез в улей по грудь, вымазался в меду до пяток. Медведица сопела, чавкала.

Луна золотым лучом раздвинула туман. Шерсть зверей заблестела в мелких капельках росы. Мед из разодранных ульев сочился янтарем. Пчелы в меду шипели черными кучками углей. Звери жрали жадно и торопливо с воском и пчелами. Языки, носы и губы у них опухли от укусов. Пчелы защищались яростно.

Андрон вышел из избушки, громко зевнул. В костре, в серой куче пепла, краснел уголек. Андрон встал на четве-

---

[1] Дидль (дидель, по Далю — дягиль) — зонтичное съедобное растение лесных полян.

реньки и, заметая бородой золу, подул в ослабевший очаг. Дым заползал по земле серыми космами, задрался кверху, повис над пасекой.

Медведица ударила медвежонка по морде, оттолкнула от колодки. Звери медленно полезли в гору. Животы у них были туги и тяжелы. Сырая трава ложилась за ними двумя бороздами, точно по ней протащили две лодки.

Андрон пробормотал скороговоркой молитву и ушел в избушку досыпать последний час ночи.

Звери долго лакали воду в вершине ключа и там же залегли. Мать стала облизывать своего детеныша.

Андрон встал с солнцем. Неровный огненный ком выкатывался на зубчатые гребни гор. Снежные поля вершин горели. Ниже ходили туманы. Круглые горы, похожие на юрты, дымились. Андрон ладонью закрыл глаза от солнца, поднял голову.

— Топятся горы, к дождю.

Хозяин пасеки неожиданно насторожился. Несколько раз он с шумом носом потянул в себя воздух.

— Шибко медом наносит.

Его глаза забегали по ульям.

— Пчела бунтует.

Сделал несколько шагов и увидел. Три крайних улья были разбиты в щепки. Пчелы старательно собирали с них остатки медвежьего ужина. Около ключа на береговой грязи заметил следы зверя.

— Востропятый зверь, медведуха.

Следы шли в гору двумя полосами.

— С дитенком была. Самка свежая.

Из подвальчика вылез Безуглый.

— Федорыч, гости у нас медку откушали.

Андрон издали показал Безуглому следы зверей.

— Не одушняй, близко не подходи. Зверишко шибко чуткий. Седни караулить будем.

Андрон, улыбаясь, полез под крышу подвальчика.

— Баушку надо припасти... Примай.

Он подал Безуглому тяжелую кремневую винтовку. Ложа у нее была самодельная, полутороаршинный шестигранный ствол кончался широким раструбом.

Андрон старательно прочистил ружье, продул. Из кожаного мешочка достал самодельную тяжелую пулю (восемь штук выходило из фунта), положил ее на ладонь и стал засыпать порохом. Когда свинцовый орех исчез в кучке сизых песчинок, Андрон заткнул пороховницу. Так он мерял звериные заряды.

— Ронкое у меня ружье, Федорыч.

Охотник поднял перед собой обеими руками дедовскую фузею и, откинув голову назад, любовно оглядел ее от макушки до конца корявой березовой ложи.

— Из рук плывет вешшина.

Андрон весь день был весел, работал легко и быстро. Его жгло охотничье нетерпение, и работой он торопил время. Он часто посматривал на небо.

В полдень на другом берегу Талицы выросли четыре всадника. Безуглый спрятался за избушку. Андрон весело и успокаивающе крикнул:

— Свои, сын, старуха моя, сноха, стряпка едут. Чай пить с мяконькими будем, выходи.

Всадники спустились с бома[1]. Лошади напились и осторожно побрели через реку. Вода шипела и кудрявилась белой пеной около их блестящих медных колен. В пасеку они вошли мокрые. Рыжие ноги их и груди потемнели. Лошади тяжело дышали.

Первым ехал Мартемьян. Он напоминал неоперившегося гусенка — узкоплечий, с большим острым кадыком на длинной, тонкой шее, с рыжим редким пухом на подбородке и губе. Не слезая с коня, Мартемьян снял войлочную шляпу, поклонился и сказал басом:

— Здорово ночевали, крешшоны?

Андрон взял за повод коня жены и не спеша ответил на приветствие.

— Сами-то здоровы ли, скотина как, домашность?

Лошадей поставили под тесовый навес, разложили курево, расседлали, сняли с них большие кожаные сумины. Пышнозадая жена Андрона, широко расставляя короткие ноги в полосатых половичных чембарах[2], подволокла сумины к избушке.

— Мяконьких, отец, привезла.

Работница быстро оглядела Безуглого и отвернулась. Безуглому показалось, что у нее едва заметно дрогнули брови и чуть порозовели щеки. Безуглому стало вдруг легко и весело. Он, сам не зная для чего, зашагал к реке, остановился на берегу и стал тыкать палкой в воду. Голубая река гремела галькой на шиверах, закипала молоком на порогах. Сырые пихтачи зубчатыми зелеными стенами берегли обильные воды. Безуглый долго бездумно стоял на берегу с палкой в руках.

---

[1] Б о м — скалистый обрыв на дороге или тропе.

[2] Ч е м б а р ы — широкие (обычное холщовые) мужские штаны.

На пасеке толстая хозяйка собирала обед и спорила с мужем. Андрон говорил строго и властно.

— Мольчи, ково ты понимашь. Власть ноне не крепкая пошла — круть-верть. Седни алтайцы Карманка Телезеков с Кадыткой придут мужикам головы рубить — власть, завтри красный Укке Уковец придет мужиков к стенке ставить — власть, послизавтри наши мужики-бандиты с капитаном Огородовым заявятся нас судить — тоже власть. Вот и привечаю человека. Може, ихняя возьмет и возьмет надолго.

Увидев Безуглого, Андрон замолчал.

Обедали под навесом около избушки. Стол был накрыт пестрой скатертью. Женщины сидели в цветистых ситцевых сарафанах. Безуглый и работница часто встречались взглядами. Она отводила блестящие глаза в сторону и краснела. Он задерживал руку с полной ложкой и расплескивал суп.

Теплый дождь быстро отшумел на крыше избушки и ушел за реку, закрыл пихтачи прозрачной, зыбкой сеткой. С гор потекли хмельные медовые запахи. В пасеке зажужжали приводные ремни невидимой машины, и сладкий цветочный сок закапал в восковые граненые сосуды. Пчелы гудящим дождем лились на ульи. Андрон без шапки, в длинной белой рубахе стоял среди пасеки с ножом и курящейся гнилушкой в руках. Румяное, круглое лицо его сияло. Он был похож на деревенского косматого жреца. Мартемьян громыхал железным баком медогонки. Безбровая белесая сноха несла свекру корытце для меда. Толстая Лепестинья Филимоновна одевала сетку. Работница мыла посуду, стучала деревянными чашками.

Сетки потом одели все и с длинными, узкими ножами по двое расселись около ульев. Работница широкими корытцами таскала мед в большую кадку, в подвал. Безуглый безучастным зрителем сидел на обрубке около костра. Работница быстро проходила мимо, и Безуглый чувствовал каждый раз на своем лице теплые волны воздуха и видел пестрый плеск складок ее сарафана. Он не поднимал глаз, но знал, что она смотрит на него, и ему хотелось, чтобы она чаще проходила мимо.

Сетки закрывали работающих от головы до живота. Оттого у них не было ни плеч, ни шей. Они стояли перед ульями серыми каменными бабами. Перед ними на тоненьких ниточках были привязаны маленькие, качающиеся облачка дыма.

Из рамочных ульев мед вынимал только Андрон и сам

носил к медогонке. Проходя мимо Безуглого с белыми медовыми рамами, он бросил ему:

— Вот, Федорыч, мои книги.

Безуглый посмотрел и согласился, что рамы были похожи на толстые книги. На полке около медогонки они стояли ровным рядом. Андрон ткнул пальцем:

— Библиóтика.

Мартемьян стал крутить ручку медогонки. Медогонка загудела, и мед полился из восковых сосудиков в железный бак. Безуглому казалось, что кругом в траве бьются медовые жилки и мед течет по ним со всех гор прямо в пасеку, в хитроумную машину Андрона.

Ворота поскотины скрипнули. Безуглый обернулся. В пасеку вошел коротконогий, большеголовый человек. Толстые, прямые, колючие волосы, точно пучки засохшей и покрасневшей сосновой хвои, закрывали его щеки, и губы, и подбородок, торчали из-под шляпы. Неподвижные глаза казались сделанными из зеленых камней. Густые рыжие брови походили на прижатые уши филина. Нос напоминал клюв.

Андрон потемнел.

— Медку ли, чо ли, тебе, Елоп?

Елоп сел за стол, снял войлочную шляпу и пискнул тонким, птичьим голосом:

— Медку.

Он медленно повернул свою тяжелую голову в сторону Безуглого. Левый глаз у него был полузакрыт. Он точно целился. Безуглый чувствовал, что Елоп только повернул в его сторону лицо, а смотрит куда-то мимо. Ел он, не глядя в чашку, ронял мед на стол и себе на рубаху.

Андрон оглядывался и вполголоса говорил Безуглому:

— Сумной он, говорю, Елоп-то, все в себя глядит. Никому никовда ни здравствуй, ни прощай не сказывливат. Боль в ём глубокая.

Елоп на четвереньках припал к ключу, напился и, не взглянув ни на кого, вышел за ворота. На правом боку на поясе у него болтался большой, прямой нож в грубых деревянных ножнах.

— От народа он отдалился, сколь годов теперь все один в тайге.

Андрон посмотрел на тропу, по которой ушел Елоп.

— Фарт ему большой на зверя. Никто боле ево не добыват.

Андрон переступил с ноги на ногу, помолчал, покосился на Безуглого.

— Стрелец он у нас первый... Бывало, и я ему не удавал. Он у сына яйцо с головы сшибал из малопульки. Я у Тяночки, Мартемьяна тоись, серебряный гривенник из пальчиков выдергивал тоже пулей... Выпили мы с им однова на масляной неделе, и зашел у нас спор. Я, говорю, признаю тебя за стрельца, но и сам могу не хуже. Он смеяться. Свету я не взвидел, взяла меня зарась. Давай, говорю, распилим сутунок, отовда и стрелим. Распилили мы бревно, смешалась у нас кровь у обоих. Я поставил Тяночку с гривенником, схватил винтовку, мушка козлом скачет, руки у меня чужие. Стоит сынок мой, улыбчиво смотрит на меня, ждет. Испугался я, вразумил, видно, восподь, и подумалось мне, что понапрасну из гордости глупой могу я погубить руку помощника своего скорого, взял и слукавил, побочил ружьишко и стрелил мимо.

Андрон замял в рот кусок бороды. Безуглый шагнул к нему.

— Ну?

Борода заскрипела на зубах Андрона.

— Становит и он своего парнишечку, кладет ему на самое темечко кружочек деревянный, нарочи излажен был, на кружочек — яичко и отходит на полста шагов. Парнишечка у ево сметливый был, даром что малой. Понурился он и серьезно так и жалостно говорит отцу: «Убьешь ты меня, тятя, руки у тебя ослабли». Елоп аж ногой топнул, изматерился и захрустел курком. Жаль мне стало мальчонку несказанно. Хочу схватить Елопа за стволину, нарушить спор наш неразумный и не могу. Отвернулся я, зубы сожал, мольчу. Он и лупанул его прямо в лоб. Так парнишечка и пал снопиком.

Безуглый шумно вздохнул, схватился за голову.

— Насилу я Елопа от станового откупил, сколь меду, масла свез, медовухи сколь выпоил.

Безуглый махал руками и быстро уходил к реке.

К вечеру костер на пасеке был потушен, курево убрано, женщин с Мартемьяном затворили в избушке, запретили им разговаривать, кашлять и выходить. Андрон и Безуглый залегли под разлапистым кустом черемухи ждать зверя.

Звери пришли с темнотой, неслышно подкрались к самой поскотине, затаились. Над пасекой тянул теплый ветер. Трава с шелестом покачивалась. Осины хлопали листьями. Медведица фыркнула, ощетинилась, отскочила от изгороди. Медвежонок жался к ее заду. Звери пошли к реке. Их когти зазвенели на береговой гальке. Они обошли пасеку с другой стороны, перелезли через кучу бурелома. Мертвые

листья зашумели, треснуло несколько веток. Андрон защекотал ухо Безуглому пушистыми усами, зашептал:

— Ветер вредный, нанесло, учуяла.

Запах меда непреодолимо тянул зверей. Звери были голодны. Медвежонок скулил. Медведица тихо ворчала. Два раза они обошли вокруг пасеки и остановились. Ноздри медведицы трепетали, уши стояли неподвижно. Ветер залег, трава и осины замолчали. С гор поползли охлажденные сырые слои воздуха. Андрон взял щепоть сухой мелкой травы и подбросил ее около лица Безуглого. Соринки, падая, сместились в сторону.

— Потяга добрая с гор.

Андрон пощупал мокрую от росы ложу винтовки. Небо было в тучах. Безуглый с трудом различал ближние белеющие ульи. Он лежал на животе. Его лицо почти касалось земли. Земля, сытая и мягкая, пахла закисшим тестом. Андрон повел носом.

— Чую, здесь зверишка, псиной от него наносит.

Безуглый положил голову на землю. Он слушал, как шевелятся и сосут влагу корни травы. Человек был счастлив. Он был жив и здоров.

Резко щелкнул курок кремневки. Безуглый подумал, что кто-то сломал сухую ветку. Он вздрогнул и сразу увидел и большого, черного, горбатого зверя с ульем в лапах, и маленького жрущего звереныша, и красный пучок искр на полке ружья. Порох не вспыхнул. Андрон схватился за пороховницу. Медведица перестала жевать, но не убежала. Безуглый ясно слышал, как чавкал медвежонок. Тучи разошлись. На луне звери были хорошо видны. Они казались больше своего роста.

Андрон снова поднял ружье. Саженный сноп пламени вырвался из раструба кремневки. Земля качнулась под Безуглым. В горах загремело. Огромная пуля не остановила медведицу. Зверь бросил улей, черной кошкой переметнулся через поскотину, зашебарчал галькой. Несколько широких прыжков его схлюпали на воде. Седая полоса речного тумана разорвалась. Темной бороздой между ее закачавшихся концов лег след зверя. За рекой затрещал бурелом.

Медвежонок ничего не слышал и не видел. Он жрал. Андрон с размаху всадил ему под левую лопатку широкое жало охотничьего ножа. Медвежонок пискнул, перевернулся на спину и замахал пушистыми толстыми лапками.

Высоко над пасекой, на другом берегу Талицы закричали вороны и черными листьями осыпались с большой сухой березы. Береза заскрипела в кривых когтях зверя. Зверь

встал на дыбы и, лохматый, огромный, двуногий, тянулся руками к сучьям, ломал их, скреб, всхлипывал, фыркал. Из носа, изо рта, из подстреленных боков у него обильно текла кровь, шерсть, намокая, склеивалась в сосульки. Лапы у зверя задрожали. Он сел на зад, обнял березу, прижался горячей головой к стволу дерева и заревел. Его рев прогрохотал лавиной, ломающей скалы. Зверь поднял окровавленную морду. Круглая, сверкающая льдина в небе рассыпалась мелкими кусками, и куски эти погасли. Зверь рухнул на спину, перевернулся на живот и застыл рыхлой, косматой копной. Из его ноздрей, покачиваясь, потянулись витые струйки пара.

Андрон травою вытер нож, сунул его в ножны. Медвежонок затих, обмяк. Кровь текла из него горячим ручейком. Винтовка в руке Андрона еще дымилась. Дым выгибался из дула едва приметными ленточками.

Андрон прислушался. Талица текла с глухим шумом. Черные зубчатые стены пихтачей на горах были безмолвны. Вершины сияли синеватыми снегами. Под ногами около разломанных ульев беспомощно ползали пчелы. Андрон нагнулся, взял кусок меда, пожевал, пососал, громко выплюнул вощину. Из избы вылезли заспанные женщины. Андрон взглянул на них, стукнул об землю прикладом.

— Говорите — слава богу. Тащите, бабоньки, пива.

Несколько чашек древнего медового напитка опьянили Безуглого. Андрон тоже захмелел. Он обнимал одной рукой Безуглого, другой держал полную чашку медовухи.

— Вот ей, Федорыч, и спасаюсь.

Он щурился, заглядывал собеседнику в глаза.

— Белы ли, красны ли придут у меня коней или скотишко ликвизировать, я сейчас с лаской, с поклоном. В горницу, мол, прошу, господа-товарищи, да как поднесу имя ее ланишной стаканчика три-четыре — и дело с концом. Глядь, и про коней забыли, и лучшее Андрона человека на свете нет. Она, милой, у любого ум вышибат.

Андрон отхлебнул из чашки.

— Мастерица у меня Лепестинья варить ее.

Безуглый поморщился, стряхнул с плеч руку Андрона, встал. Андрон поднялся за ним, смутно забеспокоился.

— Ты, милой, прости меня, мужика темного, если я что не ладно молвил. Я ведь тебя, как дите, с реки на руках принес, от бандитов схоронил.

Андрон пьяно качнулся.

— Жисти для тебя не щажу. Ты это запомни.

Он опять обнял Безуглого.

— Живи у меня, Федорыч, поправляйся. Дух-то чуешь какой на пасеке, голову обносит, захлебнуться можно медом.

Андрон жадно раздувал ноздри, грудь его поднималась. Он обводил горы медленным, отяжелевшим взглядом. Небо лежало опрокинутым синим блюдом. Луна прилипла к его дну светлым куском меда, звезды свисали медовыми каплями. Трава, густо закапанная сладкой росой, светилась.

Андрон широко взмахнул руками.

— Всюю вселённую восподь медом оплеснул.

Утром Андрон на коне перебрел реку, поднялся кровавым следом к сухой березе. Зверь лежал холодный и мокрый. От росы шерсть на нем поседела. Конь беспокойно косился. Андрон слез с седла, ткнул ногой медведицу в зубы.

— Не зори мою пасеку.

Он сел зверю на спину, вытащил брусок и нож, зашаркал сталью о камень. Мясо у медведицы было розовое, жирное. Андрон выпачкался в сале по локти. Ободранный зверь восхитил его своей мраморной мускулатурой.

— Пахать бы на ём. Силищу каку дал восподь дикой твари.

Маленькая баня за пасекой на самом берегу Талицы дымилась с утра. Лепестинья Филимоновна берестяным ковшиком плескала на каменку квас с мятой и с какой-то одной ей известной травкой. Из окна, из двери изо всех щелей банных вместе с печным жаром вырывались запахи цветов, свежего сена и березовых листьев.

Андрон вернулся к обеду веселый. Белая рубаха на нем была в сальных пятнах и в крови. За седлом болталась темная шкура зверя. В руках он держал туяс с медвежьим салом.

— Федорыч, лекарствие тебе везу.

Безуглый поблагодарил.

В бане они мылись вместе. Горячий пар густо стоял в закопченной избенке от пола до потолка. Андрон щедро лил на каменку душистый квас и веником хлестал Безуглого от плеч до пяток. Безуглый покорно перевертывался с живота на спину, со спины на живот и с одного бока на другой. Под конец он не мог пошевелиться. Тогда Андрон тщательно натер его прозрачным медвежьим салом. Безуглый закрыл глаза и задремал. Он чувствовал, что в теле происходит что-то очень важное и нужное, что, несмотря на усталость, в мышцах скапливаются новые силы.

Земля взметнула горы, как зверь широкие рога. Рога

воткнулись в кровяной пузырь солнца, залились кровью. Солнце упало к ногам зверя. Зверь ударил ногами, и по всему небу полетели огненные брызги.

Ночь была звездная и безветренная. В пасеке на осинах чуть дрожали листья. Работница босиком, тихо, не заскрипев дверью, вышла из избушки. Около подвальчика она наколола ногу, вскрикнула. Безуглый проснулся. Он увидел ее, когда она, уже раздетая, входила в воду. Низ живота у нее был темен и лохмат, как у медведицы. Безуглый опустился на колени, прилег за большим камнем. Мускулы у него напряглись, утратили гибкость. Он с трудом повертывал головой за плавающей женщиной.

Речка урчала в каменистых вымоинах, ползала темной гигантской змеей. Пихтачи лежали на горах горбатыми чудищами. Грубая шерсть шевелилась у них на боках и на спинах. Миллионлетья протекли с тех пор, как вымерли земноводные страшилища, но сейчас, как и тогда, самец следил за самкой.

Работница выкупалась и пошла от реки. Безуглый встал навстречу ей и первый назвал ее по имени:

— Анна.

Она вскрикнула, точно снова наколола ногу. Он обнял ее. Она схватилась за ветки пихты. Ее шершавые ладони скользнули по мягкой игольчатой зелени, запачкались клейкими соками дерева. Ноги Анны были упруги и холодны после воды. Она не сопротивлялась.

Тьму веков жила земля. В несчетный раз древний зверь поднял кровавыми рогами солнце и швырнул в небо. Началось утро...

Утро застало Безуглого на палубе. Навстречу пароходу плыли зеленые острова с крикливыми грачиными поселками. Река на восходе была багровой.

* * *

Длинноногая цапля часовым стояла на границе озер и болот. Дальше на рыхлой, тучной земле начинался город. Каменистый костяк его был сожжен и наполовину разломан. Выгоревшие кварталы казались громадными позвонками ископаемого животного. На берегу меловыми отложениями белели мешки с хлебом. Буксирные пароходы около пристаней возникали белобокими чайками.

«Михаил Лашевич» должен был стоять в Барнауле двенадцать часов. Безуглый пошел в город.

В городе мертвые владели лучшим парком. В праздник на кладбище поэтому — нашествие нарядных толп. В воротах ряды торгующих домашним квасом, орехами, конфетами. Над могилами люди грызли и жевали с беличьим проворством.

Безуглый отыскал белую мраморную плиту, на которой было высечено:

Федор Безуглый

красный командир

1900—1921

Он сел на холодный камень. Кладбище было на высоком холме. Внизу, на зеленой подстилке лугов, лежали кривые зеркала озер. Утки летали над ними стайками и парами. Селезни, вытянув шеи, гонялись за самками. Безуглый думал о брате. Веснами они охотились вместе. Теперь труп брата тлел в земле...

Федор погиб в горах накануне последних боев с бандитами.

Остатки отрядов Огородова и Телезекова засели в Кобанде. Взять Кобанду без артиллерии было нельзя. Деревня жалась в небольшой долине за высокими стенами хребтов. С востока и с запада ее бока были голы и круты. С юга горы стояли над ней обмерзшим поднятым воротником шубы. Они были белы от снега. В деревню вела только узкая тропа с севера. Один пулемет делал тропу совершенно неприступной. Артиллерии у Безуглова не было.

Безуглый разделил свой отряд. С меньшей частью остался Федор. Он и с небольшими силами мог удерживать противника, потому что из Кобанды выбраться было так же трудно, как и попасть в нее. Своих всадников Иван отвел на двадцать верст в сторону, на заброшенный рудник. Они взяли там несколько пудов веревок, кайлы и лопаты. Безуглый решил брать Кобанду с юга. Его расчеты были просты. Он знал, что бандиты считали ледяной воротник вполне надежной защитой для своего затылка. Отряд полез к врагу на ворот.

Федор ослушался брата. Ночью он с тремя красноармейцами пополз к Кобанде. Он хотел заколоть заставу и напасть на спящих бандитов, не дожидаясь прихода Ивана.

Тучи, тяжелые и черные с вечера, к полночи поредели, посветлели, стали кучами сваливаться за хребты. Луна вражеским прожектором загорелась над горами. Красноармейцы замерли на четвереньках. Они были похожи на медведей. Бандиты заметили их, подняли винтовки. По ущельям пронеслись гулы выстрелов. Красноармейцы были убиты. Федор ранен в левое плечо и бок.

Сознание вернулось к Федору на рассвете. Он лежал на нарах в сельской каталажке. В разбитом решетчатом оконце выл ветер. Федору было холодно. Он застонал, встал с нар, подошел к окну, положил горячую голову на подоконник. Над Кобандой стыли розовые ледяные пустыни.

Отряд Ивана лез медленно. Люди и лошади падали на обледеневших склонах, вязли в снегу. Животные дымились, шерсть на них мокла, покрывалась белой пеной. Красноармейцы широко раскрывали рты, утирали рукавами потные лица. Отряд взбирался выше, выше уходила последняя ледяная вершина. Снег становился толще, крепче. Люди бросали лопаты, ложились. Вперед пускали лошадей. Лошади грудью рвали снежные пласты. Люди поднимались и брели за ними.

Федора повели на допрос. На улице около домов кучками стояли бандиты и местные крестьяне. На пленного показывали пальцами, смеялись, целили в него из винтовок.

Допрашивал Огородов — низколобый, черноусый человек в зеленой гимнастерке. Федор отказался отвечать. Огородов сказал пленному, что ему не дадут ни капли воды, ни крошки хлеба и что если он будет упорствовать, то у него снимут повязки. Бандит предложил красному командиру подумать и сделать выбор. Его снова увели в каталажку.

Федор почти весь день простоял у окна. Голова у него была тяжелая. Под ней расслабленно гнулась спина и дрожали ноги.

Горы голубели ледяными полями. Под вечер на их обрывистых скатах запрыгали быстрые тени облаков. Раненому показалось, что он видит отряд Ивана, слышит стук лопат, топот и ржанье лошадей и крики красноармейцев. Он упал на нары.

В вершинах гор рождались льды и воды.

Отряд брел водой, врубался в лед, в камень. На узких и скользких бомах работали, обвязавшись веревками. Шли день и ночь. Ночами льды были сини. На них дрожали огненные звезды. Длинные снежные полосы были похожи на млечные пути. Они обрывались в темные пропасти, упирались в остроребрые черные скалы. Отряд червем пере-

ползал через каменные гребни, ущелья, через снега, льды и воды.

Федор метался на нарах, бредил. Он видел, что Иван взбирался на горы. Горы колебались, росли. Лошади валились с утесов, тащили за собой людей. Скалы текли кровью. Иван долбил громадной кайлой. Камни сыпались огненными кусками. Иван учащал удары, поднимался. На голой последней вершине он остался один. Федор бросился к нему на помощь и упал на пол. Пленный проснулся. Над ним стоял бандин с дробовиком в руках и толкал его в бок тяжелым сапогом.

При свете жировика голова Огородова качалась на стене расплывчатой, неверной тенью. Разговаривать Федор опять отказался. Его вывели за деревню, поставили на краю ущелья. Бандиты завозились с дробовиками. Федор посмотрел на пустынные горы, повернулся и легко прыгнул в пропасть. Над ним прогремел одинокий запоздалый выстрел. Горящий пыж падающей звездой проводил его до дна.

В темноте отряд протискивался тесной щелью. Люди лезли ощупью. Безуглый слышал скрежет железа, шорох снежных комьев, храп лошадей и ругань красноармейцев, но никого не видел. Он остановился в полной нерешительности.

Отряду и командиру нужен был отдых. Люди и лошади шатались. Ночь вторых суток подходила к рассвету.

Красноармейцы вытащили из сумок сухари. Лошадям дали овса. Безуглый лег на спину, вытянул ноги, раскинул руки. В нем точно развязался тугой узел. Он мгновенно заснул. Бойцы дремали сидя, засыпали, уронив головы на винтовки, храпели на льду около жующих лошадей.

Безуглого разбудил его помощник — безусый, голубоглазый Обухов. Он стоял с биноклем и смотрел вниз, Безуглый встал с трудом. Красноармейцы позевывали, потягивались. У всех свинец усталости серым румянцем проступил на щеках.

Склон был крут, как стена. Спускаться пришлось на веревках. Лошадям стали связывать ноги. Лошади бились большими темными рыбами в сетях. Вороной жеребец Обухова разорвал путы. Веревки выскользнули из рук красноармейцев. Двое потеряли равновесие, сорвались вместе с конем. Они исчезли в глубокой расщелине, оставив на камнях красные пятна. Безуглый подполз к краю щели. Из каменных глубин тянуло сыростью и холодом. Дна он не увидел. У него закружилась голова.

Над отрядом с клекотом летала большая рыжая птица. Красноармеец Разбежкин вскинул винтовку.

— Красноармейского мяса захотел.

Орел кувырнулся и, роняя перья, с шумом рухнул к ногам стрелка. Выстрел тяжелым молотом упал на льды. Большое голубое поле затрещало и, выворачивая камни, понеслось вниз. На нем, как на ковре, летели красноармейцы и лошади. Безуглый не успел сосчитать даже людей. Грохот их гибели затих быстро.

Снизу к вершине поднялась мелкая снежная пыль. Она тронула горячие щеки бойцов холодными ладонями их мертвых товарищей. Безуглый бросился к Разбежкину. Его плеть поднялась над головой красноармейца кривой черной саблей. Разбежкин сел в снег. Кровь из расхлыстнутого лба залепила ему глаза. Он не увидел бледного лица командира. Он только услышал:

— Болван!

Безуглый выстроил отряд. У многих на щеках и на носах мороз выжег свои багровые клейма. Бойцов не хватало на четверть. Лошади погибли наполовину. Безуглый спешил здоровых, посадил в седла слабых и обмороженных.

Снега обрушивались под ногами, как минные поля. Белая гвардия вершин колола глаза нестерпимым блеском ледяных штыков. Бойцы сковыривали с ресниц сосульки слез. Лошади по-собачьи садились на зады, визгливо ржали. Люди ласково гладили их мускулистые шеи, тянули за повода. Отряд канатоходцев двигался под темным куполом огромного цирка. На головы им спускались нити елочной звездной канители. Белая гвардия стояла кругом, как галерка. Она гоготом и гулом отмечала каждое падение — бойца, коня или обоих вместе.

Ночью четвертых суток Безуглый почувствовал пустоту за спиной, оглянулся. Отряд остановился самовольно. Командир круто повернул коня. В спутанных рядах вертелся Разбежкин, взвизгливо выкрикивал:

— Пропадем! Заворачивай оглобли! Кому нужно наше геройство?

В руке у Безуглого кривился синий наган.

— Отряд, вперед!

Из рядов вышли только два человека — Обухов и Помольцев. Остальные не пошевелились.

— Трусы и предатели могут разбегаться по домам!.. Им только придется промаршировать мимо дула моего револьвера. Стреляю я не плохо, поэтому предлагаю для

вашего удобства сначала убить меня. Стреляйте, гады, своего командира!

Головы красноармейцев опустились скошенной травой. Один курносый Разбежкин смотрел Безуглову в глаза.

— Ну, кто из вас самый храбрый трус, стреляй!

Безуглый злобно и длинно выругался.

— Разбежкин, десять шагов вперед!

Слова командира, как багор погонщика, зацепили красноармейца за ухо, выдернули его из рядов.

— Стой!

Разбежкин видел черный кончик взведенного курка и не мог остановить своих заплетавшихся ног. Его остановил выстрел. Он взмахнул руками и упал лицом вниз, точно споткнулся о камень.

— Я буду расстреливать каждого десятого. Раз! Два!..

Револьвер поднялся над отрядом и повис в руке командира, как кнут пастуха. До десяти он не досчитал. Отряд пошел. Он опустил руку. Отряд снова остановился. Под ногами лежала голая челюсть ущелья.

— Взводный первого взвода, вперед!

Взводный закрыл обеими руками глаза. Безуглый хрустнул курком. Взводный шагнул в каменные зубы. Отряд спустился по его следам.

На дне отряд в первый раз за весь переход разложил костры. Четырех лошадей закололи на шашлык. Мясо их было красно, как огонь. Бойцы вооружились шомполами. Обгорелое мясо жгло пальцы. Бойцы бросали его в снег, припадали к нему жадными губами. Жир и кровь чавкали в их глотках. Желудки сладостно растягивались. Хмель сытости качал головы. Бойцы с хохотом валились у огней. Сон, как смерть, раскладывал их на снегу.

На последнюю вершину въехали на лошадях. Громадные тени всадников легли на редеющие тучи. Кобанду было хорошо видно. Ее избы казались не более ульев. Над ними дымками снарядных разрывов клубились мелкие белые облака. В деревне горели какие-то постройки. Можно было подумать, что Кобанду обстреляла и подожгла неприятельская артиллерия. Бандиты беспечно пили самогон. Они не видели, что высоко над ними тучи несли тени их врагов.

Отряд спустился к поскотине Кобанды. Шальная весенняя метель путала гривы лошадей, трепала полы шинелей. Всадники подняли воротники, плотнее надвинули шлемы. Лошади пошли крупной рысью. У ворот в лицо отряду засвистел снег, смешанный с пулями. Застава отстрелива-

лась и убегала. Всадники скакали за ней, топтали раненых и убитых.

Огородов выскочил на крыльцо. Пуля свалила его у порога. Он успел только увидеть белый клинок шашки в руке Обухова. Обухов отрубил ему голову.

На выстрелы вошел в деревню отряд Федора. Пленных заперли в кержацкой молельне. Красноармейцы столпились около головы Огородова, ногами гоняли ее, как мяч. Их растолкал маленький Помольцев. Он поднял голову, присолил, завернул в рваные портянки, спрятал ее в свои сумины. Красноармейцы гоготали, как гуси. Помольцев поплевал на руки, обтер их о штаны.

— Наши так не поверят, им пошшупать надо. По всему райвону буду звонить.

Он поставил ногу в стремя. Огненный клинушек его бороды мелькнул над черной гривой коня.

Федора нашли вечером. Иван опустился около брата на колени, взял его за руку. Рука не гнулась и была холодна...

Иван встал на ноги. Мраморная могильная плита была холодна, как рука мертвого брата. Ему показалось, что брат лежит не в земле, а рядом, как тогда в ущелье. Он вспомнил длинное, изломанное тело Федора, его лицо — чужое, синее, в кровоподтеках, но с таким знакомым мягким русым пушком на верхней губе. Иван провел рукой по лицу, точно хотел убедиться, что сам он еще жив. Братья походили друг на друга, как близнецы, хотя Иван был старше, более круглолиц, шире в плечах и на голову выше Федора.

Иван понимал, что считать Федора живым нелепо, и вместе с тем думал прийти на пароход, разыскать брата, сесть с ним рядом и сказать ему:

— Федя, я сейчас был на твоей могиле.

* * *

Солнце обильно полило полноводную Обь жиром. В густой воде медленно плыли тяжелые плоты. Пароход причалил к последней пристани. Баржи, берег, склады в Бийске были завалены хлебом так же, как и в Барнауле.

Безуглый нанял в городе лошадей. На переправе через Бию он неожиданно встретился с Петром Парамоновым. В гражданскую войну они служили в одном полку. Парамонов заставил Безуглого заехать к нему на текстильную фабрику. Безуглый пробыл у него остаток дня и ночь. Лег он перед рассветом. В комнате, как в каюте, дрожал пол,

дребезжали стекла. На сотни сажен кругом земля колебалась, как вода у бортов парохода.

Днем Безуглый обошел все фабричные корпуса. Красные вымпелы над станками ударников шелестели, как боевые знамена в походе. Безуглый думал о боях в селе. Армии собственников отступали. Отряды победителей закладывали свои опорные крепости — фабрики зерна, масла, мяса.

Безуглый не мог уснуть. В город всю ночь двигались обозы с хлебом. Он слышал ржанье лошадей, тяжелый скрип телег, голоса возниц и удары бичей. Он чувствовал близость полей войны.

Утро зазвенело бубенцами. Ямщик кнутовищем постучал в окно. Безуглый свалил на пол стул с одеждой, уронил дневник. Из тетради выпал синий конверт, склеенный тестом. Безуглый поднял письмо и перечитал его в двадцатый раз. Он сам расставил в нем знаки препинания.

«Дорогой товарищ Иван Федорович, посланные ваши деньги — пятьдесят рублей — и письмо с запросами получила и двадцать копеек отдала кольцевику за доставку. Паров припасла на полдесятины, пахать у нас некому, мужик в доме один, и тому только седьмой годик минул. Приезжайте скорея потому, как признаем вас за мужа и за отца и кланяемся, и еще кланяется сын ваш Никита. Известные вам Карманка Телезеков и Кадытка, амнистированные бандиты, живут в нашем селе Белые Ключи, рядом с коммунистом Помольцевым. Карманка служит по пушнине и в охоткапирации. Андрон Морев замазал медом глаза всему сельсовету и живет с песнями. Брат ихний Сюта попал на зуб уполномоченному Обухову и через то сидит в домзаке по сто седьмой статье за хлебные излишки. В ячейке у нас больше молодняк, а баб только мы с учительницей. Еще в ячейку у нас заступил боевой товарищ амурских лесов, партизан и первый тигрятник Петр Рукобилов, назначенный объещиком. В сельсовете в придсидателях ходит Левонтий Желаев. Работник он тихой и начальник не страшный. Мужики поят ево медовухой, и он делает, што им нада, и укрывает объекты. Черного зверя у нас сила, а ружьев добрых ни у кого нету. Летошний год сколько пасек позорил, в совхозном маральнике задавили маралуху и одного рогача, сколь коней у хрестьян испредрали. Охотники дожидают вашу винтовку. Мы, сельактив, просим вас протереть кое-кому глаза и повытряхать некоторых елементов, не питательных для советской власти. Больше писать нечего, как ждем вас лично.

Писала ваша жена, активистка Анна Бурнашева».

Безуглый бросил письмо на подушку и босой, в одном белье, заплясал около кровати.

— Едем! Едем! Едем!

В дверях смеялся хозяин. Гость подбежал к нему, закружился с ним по комнате. Хозяин вырвался, тяжело сел на стул. Его круглое, бритое лицо покраснело. Широкая лысина покрылась мелкими капельками пота. Он был толст. Гость, прыгая на одной ноге, стал надевать штаны. На голове у него закачался длинный русый вихор.

За чаем Парамонов спрятался в газету, спросил:

— Ну, а как ты относишься к соленым огурцам?

Безуглый трубой раскрыл рот, загремел:

— Хо! Хо! Хо!

Парамонов выкрикнул, давясь смехом:

— Жрешь?

— Жру.

Товарищи копытили каблуками пол, ржали.

В полку часто смеялись над непомерной любовью Безуглого к соленым огурцам. Он в каждой деревне тотчас после боя, входя в избу, начинал разговор с неизменного вопроса:

— А соленых огурчиков вы нам не дадите, хозяюшка?

Парамонов поставил на стол тарелку с огурцами. Безуглый схватил любимый свой овощ прямо руками и сочно захрумкал.

За городом Безуглый оглянулся назад. Город лежал кочковатый и серый, как весеннее ледяное поле. Над ним содрогались и скрежетали высокие ледоколы — фабрика и завод. Безуглый даже сказал вслух:

— Мы строим ледоколы.

Ямщик через плечо одним глазом посмотрел на пассажира.

— Закурить у вас не будет, гражданин?

Безуглый не курил. Ямщик вздохнул, вынул кисет, стал крутить собачью ножку. Лошади рвали у него из рук вожжи, гремели бубенцами.

Снег с полей сошел недавно. Поля, сырые и темные, в бурых полосах прошлогодних нив, напоминали шкуру линяющего зверя. Около Катуни остановились, напоили лошадей. На другом берегу стояли обозы с хлебом. Крестьяне с руганью и криком заводили на паром тяжелые телеги. Река набухала толстой голубой жилой.

Безуглый открывал глаза при проезде через деревни — будил лай собак, и на деревянных мостах громко стучали копыта лошадей. Весь день он ехал в полусне.

Вечером ямщик распряг лошадей около поскотины большого села. Безуглый спал. Ямщик разложил костер, повесил над огнем закопченный чайник.

* * *

В тайге было темно и сыро. Рядом с дорогой в буреломе трещал медведь. Лошади лезли из оглобель, храпели. Над дугой летали серые круглоголовые птицы.

Безуглый зябко повел плечами, положил к себе на колени винтовку.

Деревья отошли от дороги. Под ноги лошадям белесым пятном подвалилась небольшая поляна. На дорогу упал теплый клуб дыма. Залаяли собаки. С дальнего края поляны встал темный конус юрты. Над дымовым отверстием метелью рассыпались искры.

Безуглый вошел в юрту. Полуголые алтайцы сидели около пылающего очага. В круглом чугунном котле кипел чай. Старуха в рыжих овчинных штанах возилась с берестяной зыбкой, молодая женщина курила трубку, кормила грудью ребенка. У стен стояли кожаные мешки с кислым молоком, кучей валялись шубы. Над головами сушилась шкура небольшого зверя.

Старуха взяла у женщины ребенка, положила его в зыбку, зажгла пучок сухого вереска.

Тридцатиголовая огонь-мать,
сорокаголовая девица-мать,
варящая все сырое,
оттаивающая все мерзлое,
спустись, окружи и будь отцом,
спустись, покрой и будь матерью.

Безуглый слушал заклинания старухи, смотрел на мускулистые тела, на широкоскулые лица, медно-красные от огня, и вдруг увидел, что он сидит в кругу своих далеких предков, что столетия стремительно протекли назад.

Да посеешь ты
и станешь беззубым стариком...
Чтобы расти тебе со следующим братом
на сотни лет.
Да ездить тебе на скакуне.

Безуглый поднял голову. Сквозь дым на черном небе были видны крупные золотые звезды. Он подумал, что

тысячу лет назад небо было так же черно и звездно и так же сидели вокруг огня полуголые люди.

Передние полы у тебя пусть ребенок топчет.
Задние полы пусть скот топчет.
Пусть детей у тебя будет столько,
сколько у тальника почек.

Старуха отдала ребенка матери, села к огню, набила большую трубку. Вошел ямщик, заговорил с хозяином по-алтайски. Хозяин во время разговора несколько раз показывал на Безуглого пальцем. Ямщик сказал Безуглому:

— Сын у него на курсах в Ленинграде.

Хозяин на четвереньках полез в дальний угол. Он вытащил из сундука номер «Ленинградской правды» и показал на третьей странице портрет своего сына-студента. Газета была так истрепана, истерта и засалена, что Безуглый с трудом разобрал только подпись под фотографией — Езуй Тантыбаров. Алтаец стукнул себя кулаком по груди.

— Наша сын карточка. Наша сын Ленинград.

* * *

За самоваром сидела толстая краснощекая теща ямщика. Безуглый пил последний стакан и смотрел в окно. На дворе ямщик бегал около ходка с помазком и колесной мазью. К воротам подошла высокая широкоплечая женщина в черной кожаной куртке и красном платочке. Ее сухое скуластое лицо показалось Безуглому знакомым. Хозяйка торопливо вытерла чайным полотенцем потный нос, уставилась на приезжего.

— Секретарьша, партейна она у нас, батюшка.

Женщина вошла в комнату. Безуглый вспомнил, что видел ее в двадцать первом году.

— Товарищ Сухорослова?

Он протянул руку. Муж Сухорословой был в отряде Федора и погиб с ним под Кобандой.

У Безуглого застыл недопитый стакан. Ямщик несколько раз входил в комнату, топтался в дверях, кашлял. Безуглый забыл о запряженных лошадях. Он слушал.

— Мужиков в нашем аймаке головой не было, всех поприбили — кого белые, кого наши, остались одни старики да ребятишки. Объявилось у нас безмужичье, а нам, бабам, такая планида пришла, что некоторые сами на себя руки подымали. Ночью тебе всяк хозяин. Лишь бы кто с гор

спустился. Кто в борозду попал, тот и запахал, и засеял. А днем поминай как звали. Меня два раза насильничать принимались — не далась.

Сухорослова поправила платок на голове. Брови у нее сдвинулись.

— Поставили мне на квартиру агента, по продовольствию ездил. Ночью завожу я квашню, постоялец в горнице лежит, и забегает в избу секретарша из сельсовета. Лядащий такой был мужичонка, но на баб лютой, шибко жеребцевал по селу, и говорит он агенту:

— Вы пошто без бабы спите? Я уж от третьей иду.

— А по то, говорю ему, что бабу спросить надо, хотит она спать со всякими или нет.— Он ощерился на меня нехорошо так и опять за свое.

— Спрашивать вас еще. Солдатка — имущество бесхозное, а власть у нас, знаешь, какая, значит, каждый трудящийся тебе хозяин.

— А я, говорю, разве не тружусь?

Изматерился он и ушел. Агент-то и распалился с его слов глупых и полез ко мне. Всю юбку испредрал. Насилу мешалкой отбилась, по переносью угодила ладно — да к соседке. Так дома и не ночевала. Вся квашня у меня на пол вылезла.

Сухорослова достала коробку с папиросами, закурила. Хозяйка зевнула, перекрестила рот.

— Война утишилась, насильство уничтожили, начался обман. Заезжали к нам в неурожайный год из степи за хлебом, ну и понаглядели, что нет у нас мужиков. Поехали мужики из степи в камень, в горы то есть, жениться. Женится мужик, как полагается, в церкви, поживет полгода, нагрузит несколько возов хлеба, запряжет самых первых коней и назад к старой бабе. Многих так у нас женщин пообидели.

Она выбросила в окно окурок, помолчала.

— Рассказывать о себе особенно нечего. Сходилась я с одним тут, забрюхатела. Он бить стал. От побоев я скинула, а мужика прогнала. Живу одна, пустая.

Сухорослова быстро вытащила из кармана куртки носовой платок, зажала его в руке.

— В селе у нас теперь партия, комсомол, пионеры...

Хозяйка остановилась с самоваром посреди комнаты.

— Все, батюшка, есть: и ячейка, и комсомольцы, и барабанщики, всякого сраму много.

Безуглый рукой придавил на губах улыбку. Ямщик вышел из-за тещи, уставился в пол.

— Гражданин...

Сухорослова встала, Безуглый надел фуражку.

* * *

На кремнистой дороге подковы искрились и звенели. Лошади тянули с натугой. Подъемы и спуски стали круче. Безуглый шел пешком. Иногда он садился на большой камень или пенек. Ходок надолго исчезал в глубоких ущельях. Безуглый ждал, пока его догонит ямщик, и снова уходил вперед.

В теплых долинах начинался посев. Безуглый увидел внизу черные борозды пашен. Навстречу громыхали телеги с плугами. Бородатые, тяжелые мужики в войлочных шляпах и толстые, ширококостные бабы в пестрых сарафанах ехали верхом, часто по двое на одной лошади. Земляная работа темной водой стояла у них в глазах. Алтайцы в засаленных халатах, с трубками в зубах тряслись неторопливо, беспечной трухней на низкорослых своих кониках. Алтайки блестели бусами, улыбками, бренчали уздечками и стременами. Безуглый весело снимал перед ними фуражку.

Он остановился, посмотрел кругом. Синие горы с снежными вершинами расселись по всему горизонту толстыми алтайскими баями в белых бараньих островерхих шапках. Он раскинул руки, набрал полную грудь воздуха и закричал:

— Гоп-гоп-гоп-гооп!

Благостный голубой Алтай раскрывал перед ним свои широкие, твердые ладони.

Небольшой холм около дороги шуршал серым быльем прошлогоднего бурьяна. Безуглый узнал братскую могилу красноармейцев своего отряда. В двадцать первом году он стоял здесь с непокрытой головой и звал бойцов отомстить за убитых. На ближнем перевале стрекотали пулеметы, и высоко над долиной свистели свинцовые птички.

Безуглый неожиданно услышал знакомую трескотню перестрелки. Он поднял голову. Губы у него растянула радостная улыбка. В долину в пыли и дыме сползала черная колонна тракторов.

Ямщик догнал Безуглого с оседланными лошадьми. Колесная дорога кончилась.

* * *

Лошадь беспокойно перебирала ногами, пятилась назад, сворачивала в сторону. Безуглый одной рукой тянул повод,

другой держал бинокль. Перед глазами качались дома с высокими крышами, с резными раскрашенными наличниками и воротами. Улицы сходились и расходились косыми углами. Люди двигались скачками. Безуглый слез с коня, отдал повод ямщику. Бинокль дрожал по-прежнему. Безуглый махнул рукой, сунул его в футляр.

В село приехали по-темному. Безуглый без труда нашел дом Анны, быстро взбежал на крыльцо, широко распахнул дверь. Анна цедила молоко. Безуглый увидел, что она покраснела и брови у нее дрогнули, как в первую их встречу на пасеке. Анна перелила кринку. Белые теплые струйки брызнули на стол, на пол, на босые ноги хозяйки и на пыльные сапоги Безуглого. Женщина отдернула подойник и опрокинула глиняную пузатую посудину. Оба бросились ее ловить, больно стукнулись лбами. Кринка кувыркнулась мимо четырех растопыренных рук, рассыпалась на мелкие черепки. Молоко обелило весь пол. У Безуглого и у Анны перед глазами летали огненные мухи, окна и печь лезли на потолок. Он вообразил, что Анна падает. Он схватил ее за плечи. Они оба дрожали от смеха и никак не могли поцеловаться. Безуглый натыкался губами на ее нос и подбородок.

За ужином Безуглый смотрел на Анну и не узнавал. Он помнил ее или, вернее, выдумывал совсем другой. Ему представлялось, что нос у нее был прямее, тоньше, глаза темнее и больше. Губы только остались прежними — яркие, полные. Анна широко раскрывала рот. Ложку тщательно облизывала. Кожа на руках у нее была в мелких темных трещинах.

Анна знала Безуглого бородатым, в зеленой военной форме. Теперь он сидел перед ней бритый, в белой чесучовой рубашке. Может быть, поэтому оба они не находили нужных слов.

Анна убрала со стола.

— Постель вам, Иван Федорович, постлана в горнице.

Анна прятала глаза. Безуглый смотрел на нее не отрываясь.

Она побледнела, стремительно подошла к нему, взяла за голову. Ее руки сплелись у него на шее.

— Беленький ты мой!

Безуглый почувствовал, что под ним зыбко качнулись половицы. Лампа огненной дугой метнулась от стола к двери и потухла. Ветер захлопал окнами. Лунные зайчики заиграли на стеклах.

Над селом качался золотой ковш Большой Медведицы,

расплескивая по небу искристое молоко. Молоко стыло длинными белыми дорогами.

В минуты тишины Безуглый слышал, как шумит у Анны кровь и колотится сердце. Сын сопел на полатях. За печкой шелестели тараканы. На стене тикали ходики. Ветерок шевелил в переднем углу бумажные цветы и дешевые портреты вождей.

Безуглый лежал на полу и смотрел через окно на небо. Голова у него была легкая, пустая, в ушах звенело. Он убеждал себя, что, наверное, звонят в кержацком скиту на Девичьем Плесе или кто-нибудь перекладывает в горах серебряные камни, или, может быть, золотой ковш задевает за звезды.

* * *

Безуглого разбудил стук в окно и окрик исполнителя.

— Антоновна, на сборню!

Он медленно вспомнил, что Анну по отчеству зовут Антоновной.

С крыльца прозвенел детский голос:

— Матери нету. Отес дома.

— Отес?..

Безуглый не расслышал всех слов удивленного исполнителя. Ребенок говорил громко, очень серьезно, даже с долей важности.

— Отес у меня — птиса большая...

Безуглый кое-как оделся и вышел. Исполнитель кричал под окном у соседей. На крыльце сидел белоголовый мальчик, большим ножом резал палку. Несколько мгновений Безуглый молчал. Он увидел себя семилетним ребенком.

— Здравствуй, птиса маленькая.

Безуглый взял ребенка на руки, поцеловал. Мальчик не улыбнулся.

— Меня Никитой кличут.

Отец, смеясь, поставил сына на землю. Сын вытер рукавом губы и снова принялся за палочку.

— Видишь, бичик лажу.

Никита готовился к бороньбе. Мать еще зимой сказала ему, что весной он будет бороноволоком.

Безуглый вернулся в дом и вышел оттуда с букварем и коробкой конфет в руках. Никита уронил нож и палочку. Цепкой белкой он вскарабкался на крышу, вложил два пальца в рот. Безуглый услышал резкий свист и радостные крики сына:

— Семша, Митьша, Петьша, отес конфетки привес, картинки...

Никита поскользнулся, уцепился свободной рукой за трубу и закричал во все горло:

— Многа-а-а!

Безуглого окликнул Помольцев:

— Здорово, командир!

Он подошел к крыльцу, усмехаясь, дергая огненный кустик своей бороденки.

Безуглый отвел глаза в сторону. Щеки у него побелели. Гневная дрожь тронула ноздри и губы.

— Я иду и думаю, с чего бы это у Антоновны изба колышется.

Помольцев не договорил. Он увидел лицо Безуглого. Они сели рядом. Помольцев переменил разговор.

— Слухом пользовался, что на работу к нам и что, пока в отпуску, хотишь на зверя сходить.

Охотники долго говорили о медведях. По селу второй раз побежал исполнитель. Теперь он не подходил к окнам, а кричал с середины улицы:

— Гражданы, на собранию!

На собрании к Безуглову подсел пасечник Андрона Морева старик-бобыль Лопатин.

— Рядом с Антоновной живу, худо не могу сказать. Старый мужик сколь разов лез к ей, в потребность хотел входить. Не допустила. У меня, говорит, новый есть, коммунист бесподдельный.

Буро-зеленые волосы старика топорщились, как заплесневевшее сено на ветру. Веки у него были вывернутые, красные, как надбровные дуги у тетерева, глаза слезились. Он тер их толстыми, корявыми пальцами.

— Доброй бабой, Федорыч, дорожиться надо. Баба — второй бог: захочет — веку прибавит, захочет — убавит.

Помольцев подтвердил:

— Женщина правильная. По первости мы, правда, смеялись над ей. Шибко она круто бралась за грамоту. С книжкой ела и спала. Однако ныне голой рукой ее не достанешь.

Безуглый взглянул на Анну. Она сидела недалеко, почти спиной к нему. Он увидел ее белую кофточку, красный платок и темный загар щеки. Безуглый вспомнил Сухорослову. Анне не хватало только ее кожаной куртки.

Анна прошла свой путь вверх без него. Ее жизнь вставала перед ним сухой схемой — батрачка, роман с красным командиром, вступление в партию. Красный платочек, или

Анна-делегатка. Он давно читал о ней в женотдельских журналах. Она же — странное дело — его жена и мать Никиты.

Сзади подкрался Андрон, схватил Безуглого за руки. Борода его выцветшим лисьим хвостом завертелась на плече коммуниста.

— Иван Федорыч, дружок!

Андрон поднял Безуглого на ноги, крутил его перед собранием, громко кричал:

— Дружок! Радость ты наша небесная!

Спереди набежал Фис Канатич Чащегоров. Он наступал на Безуглого своим тугим брюхом, жирной блинообразной безволосой рожей, ловил его за пальцы.

— Да, слава тебе, всевышнему! Жив, здоров, приехал, судья ты наш справедливый!

Безуглому руки Чащегорова показались быстрыми холодными змеями. Он молчал, темнел и вырывался.

* * *

Секретарь сельсовета Гаврила Подопригора, тучный рыжий человек в черной рубахе без пояса, постучал карандашом по столу, попросил выбрать председателя собрания. Несколько десятков людей в один голос назвали Безуглого. Крестьяне его помнили по двадцать первому году. Его отряд был самым дисциплинированным в то время.

Собрание обсуждало предложение райисполкома об увеличении посевной площади. Первым говорил председатель сельсовета Леонтий Леонтьевич Желаев. Его настоящую фамилию в селе забыли. Он после царской военной службы при встречах со знакомыми пучил глаза и орал: «Здравия желаю!» Он с тех пор и стал Желаемым. Безуглову не понравилось его лицо, серое, рябое, с красным носом и бесцветной щетиной на верхней губе. Говорил он, высоко задирая голову. На шее у него голубиным яйцом перекатывался кадык. Жилистая рука теребила низкий ворот холщовой рубахи.

— Свободы мы действительно такой добились, чтобы никого не бояться, на налог не обижены, но хлебозаготовки для крестьянина есть метла. Власть у нас пишется крестьянская и рабочая, но почему же тогда добытчики одне крестьяне? В городу работают восемь часов, а мы от темна до темна. Достижения высших органов мы признаем, но против прежнего много не видим. Опеть же дароговизня. Отчего

не надбавить площадь. Крестьянину вовсе руки, ноги отшиби, он на брюхе пашню выползат.

Собрание пестрым зверем, многоголовым, многобородым, зашевелилось, зафыркало. Безуглый перевернул несколько страниц в своем дневнике, записал:

«Поставить на первом собрании ячейки вопрос о перевыборе сельсовета».

Желаев покосился на карандаш Безуглого.

— Обществом принимать твердые задания мы опасаимся. Кажный за себя думает, а о другом как скажешь. Мы — не земнамеры. Пашня нонче не шибко манит, таиться нечего, но ввиду поступившей просьбы райисполкома, я думаю, кажный посеет по силе возможности, потому мы для власти завсегда с полным жаланием.

Из дальних рядов кто-то крикнул:

— Сколь сила возьмет!

Собрание молча подняло свои головы на старика Бидарева. Он стал к столу на место Желаева. Большая борода у него белой пеной свисала на грудь. Намасленная голова отливала на солнце серебром. На нем был длиннополый узкорукавный черный кафтан. Бидарев обеими руками опирался на высокий посох. Безуглый посмотрел на розового, синеглазого старика и подумал, что его портрет сошел бы за икону.

— Сеял я, граждане, никогда не ленился и опять посею. Пятьдесят годов писал я вельможам и простым людям, всех звал пахать и ни одной черты ни от кого не получал в ответ, ровно в мертвые руки подавал, в глухие уши говорил. Двадцать пять годов страдал я при царе в ссылке за то, что нашел правду, открыл средствие всем избавиться от нищеты и стать счастливыми. Не любил царь правды.

Старик стукнул посохом.

— Средствие мое не тяжелое, а легонькое, не завитое, а простое и для всякого человека доступное. В короткое время избавились бы люди от нужды и от постыдного убожества и зажили бы на свете фертом, припеваючи. Доискался я, граждане, что хлебопашество сделает всех людей равными и пресечет крылья роскоши и вожделениям. Когда каждый сядет на землю, и у каждого родится свой хлеб, и никто не станет продавать его и покупать, тогда не надо будет прибегать к ласкательству лукавому и к насилию.

Старик повернулся к Безуглому.

— Старой власти не страшился, в глаза говорил и попу, и становому, что белыми руками царь ест не заработанное им, значит, ворованное.

Он поднял руку.

— Вам говорю прямо, учение ваше о разделении труда суть измышление диавольского ума. От него и неравенство, и зависть, и обман. Истинно сказано: «В поте лица твоего снеси хлеб свой». Сейте, граждане, сами, все сейте, тогда царство божие будет на земле.

Бидарев закрыл глаза. Голова его, как отрубленная, повисла на конце толстого посоха.

«Семен Калистратович Бидарев. Маломощное середняцкое хозяйство. Ореол мученика за правду. Философ-самоучка. Переписка с Л. Толстым. Будет с ним канитель...»

Безуглый почувствовал, что все смотрят на него. Он положил карандаш, встал.

Собрание шло около сельсовета. Люди устроились на бревнах, заготовленных для нового здания школы. Бородатые старожилы-кержаки в домотканых белых вышитых рубахах и в кошемных[1] шляпах пирогами сидели широко, по-хозяйски. Новоселы кучкой жались в стороне. Над их картузами колыхались сизые табачные тучи. Вокруг всей площади около ворот цвели праздничные бабьи сарафаны. На собрании их было мало. Парни и девки с гармошками и балалайками ходили из одного конца села в другой, пели. Несколько девок, одетых по-городскому, в кофтах и коротких юбках, прошли мимо сельсовета. Головы в картузах и шляпах повернулись в их сторону. Девки выкрикивали нараспев:

Кержаки, вы, стары черти,
Нераскурливый народ,
Православны помирают,
Кержаков черт не берет.

Картузы затряслись, загоготали. Шляпы опустились на носы. Андрон огрызнулся:

— Дуры христовы, кержаков сменяли на лешаков.

Долина, в которой стояло село, была похожа на глубокую яйцевидную чашу. Безуглый смотрел со дна, заваленного разноцветными кучами домов. Выше лежал черный крупитчатый жир пашен. За ним — светлая зелень пастбищ и темные полосы пихтачей. Зубчатые края чаши были вытесаны из глыб мерзлого молока.

Безуглый минуту стоял молча. Он искал нужные слова.

Безуглый знал, что жизнь первых человеческих скоплений зарождалась здесь, в яйцевидных чашах-долинах. От-

[1] Кошемный — то есть сделанный из кошмы.

сюда людские множества начинали свое победное наступление. Человеческое море растекалось по поверхности земли, заливало все впадины, поднималось к вершинам. На дне долин оседали пестрые полосы поселений. Море росло непрерывно. На боках чаши это было видно, как на водомерной шкале. Черный пашенный пояс ширился, зеленый лесной суживался. Человеческие дома отвердевали панцирями моллюсков. Их многочисленные колонии пожирали все, что росло на горах, и все, что было в недрах. Горы пережили рождение и гибель тьмы живых существ, и теперь мягкотелые моллюски-люди точили их самих. Один вид моллюсков теснил другой. Звероловы и скотоводы с круглыми, мягкими панцирями юрт откочевывали выше. Землевладельцы с твердыми, четырехугольными панцирями домов прочно присасывались к земле. Медведей, маралов и козлов вытесняли алтайцы, алтайцев — русские, русских старожилов — новоселы. Тридцать лет назад около Белых Ключей в двадцати долинах жили звери, в одной — люди. Теперь: в двадцати — люди, в одной — звери.

Безуглый нашел нужное слово. Он сказал, что теснота заставит людей объединиться. Он говорил о новом человеческом обществе, о плане великих работ в стране.

Вдруг он увидел, что его почти не слушают. Собрание замахивалось на него черными камнями зевков. Оно пока прятало их в широкие ладони. Оно скучливо скребло затылки, чтобы скрыть ножевой блеск глаз. Над собранием пучками соломы горели рыжие бороды рослых родственников Андрона.

Андрон западал за спины, шептал:

— Я советской властью много доволен. Она меня человеком сделала. Бывало, сеял я сто десятин, пасеку имел триста ульев, маралов, коней, скотины сколь держал. Лонись[1] пасеку нарушил, конишек лишних размотал, скотинишку поприрезал, пашню сократил.

Андрон дурашливо вздыхал.

— Жизня теперь у меня стала, покойник родитель сказал бы, не дай бог как хороша.

Андрон заводил глаза под лоб.

— Бывало, я ночи не спал, поисть, рожу водой ополоснуть время не было. Шибко я убивался над хозяйством. Нонче я сплю, сколь душа просит. Ем, что мне желательно. Ране дурак был, все на базар вез. В избу читательную стал

[1] Лонись, лонишный — в прошлом году, прошлогодний.

ходить, три газеты выписываю, руки с мылом мою, граждане.

Кержаки заминали в бородах огоньки улыбок.

Безуглый перед собранием посмотрел в сельсовете налоговые списки. Он знал село в двадцать первом году. Некоторые середняки стали кулаками, несколько бедняков перелезли в середняки. Места богатеев, убитых и бежавших с белыми в Китай, были заняты новыми людьми, которые ничем не отличались от прежних.

Бурьян братских могил заскрипел под ногами. Федя и тысячи без имен — напрасные жертвы? Деревня вырастила для себя нестрашных председателей Желаевых?

Собрание колыхалось, как безветренное озеро. Головы листьями лежали на воде. Безуглый вглядывался, словно искал брод. Берег трибуны казался ему слишком удаленным. Он в своих высоких сапогах вошел в первые ряды. Над безликой гладью поднялись плечи, глаза своих — Помольцева, Рукобилова, Игонина, Анны. Вылезли морды врагов — Моревых, Мамонтовых, Чащегоровых. Он говорил, топал ногой. Берег, на котором он стоял, опускался. Вода пошла на него, зашумела. Дальние ряды пересели ближе. Передние уплотнились. Многие встали, обступили докладчика. Горы сдвинулись к самому селу. Ущелья оскалили каменные зубы. Над собранием завыл снег, смешанный с пулями. Все было только вчера. Кровь убитых пачкала ноги живым. Свои теребили поясные ремни, точно на них еще висели подсумки с патронами. Разве деревня была когда-нибудь единой? Теперь он всех хорошо видел. Враги раками отползали назад, уходили с собрания.

Ничего нового он им не сказал. Они сами читали все это в газетах, слышали в избе-читальне из глотки громкоговорителя. Тогда они не кричали и не плескали ладонями. Теперь Безуглый замолчал, оглушенный. Помольцев был громче всех:

— Правильно, командир!

Безуглый настаивал, чтобы собрание приняло твердый план посева. Большинство было на его стороне. Он отошел, сел.

К столу вышел кривоногий Кадытка. Он ранил и взял в плен Федю.

— Наша слова мошна?

Безуглый вздрогнул.

— Мы советский власть на тесять лет отна курочка тавал. Газета нас писал — харошай чаловек педняк.

Кадытка показал на Андрона.

— Прат Сютка твατсать тестин сеял, пятьсот пут хлеп тавал. Газета писал — хутой человек, тюрьма ево сатил. Отнако не сеем — тюрьма не ситим. Зачем сеем?

Кадытка развел руками, воткнул в рот трубку. Кержаки закрывали шляпами хихикающие рожи. Цигарки дымились из-под картузов, как белые клыки. Безуглый поставил вопрос на голосование. Некоторые не голосовали ни за, ни против и не поднимали рук, когда он спрашивал, кто воздержался. Собрание выбрало комиссию, которой поручило сделать подворный учет семян и тягловой силы.

С собрания Безуглый шел, не замечая дороги. Помольцев взял его за локоть. Он не сразу понял, о чем тот говорит.

— Федорыч, покудова комиссия по дворам ходит, слетаем на белки. Снег одеялом плывет. Прозеленки большие стают. Зверю самый разгул.

Безуглый долго молчал, потом торопливо ответил, точно проснулся:

— Завтра едем.

Помольцев отошел. Безуглый догнал Анну.

2

Анна гладила Безуглого по голове, говорила:

— Поедешь мимо пасеки, вспомнишь... Я каждый раз, как бываю, все вспоминаю.

Она прижалась к нему.

— Бывало, рассказываешь ты мне, ровно ведешь меня на высокую, высокую гору, и вся земля с нее — вот она на ладонке подана.

Безуглый поцеловал Анну, ласково отстранил. Он снял со стены винтовку, подошел с ней к окну, вынул затвор. Стальные спирали нарезов заблестели на солнце. Безуглый не нашел ни одного пятнышка ржавчины. Он почувствовал упругий прилив крови в руках, когда представил себе, как его пуля свистнет над безмолвием каменных россыпей и повалит тяжелого зверя.

К окну верхом подъехал Мартемьян. В поводу он вел оседланную лошадь. Безуглый подтянул ремни у сапог, надел патронташ. Анна вынесла большую корзину шанег и калачей, сунула в сумины мешок с сухарями. Никита подал отцу плеть.

— Возьми, сгодится, поди, конишку понужать. Сам изладил, бичик-то добрый.

Безуглый схватил сына под мышки, поднял его несколько раз над головой.

— Хозяин ты мой, заботливый.

Никита поправил смятую отцом рубашку.

— Мидвиденка мне привези.

Безуглый поцеловал его в лоб.

— Двух, сынок, привезу.

Мартемьян передал Безуглому повод.

— Тятя с Нефед Никифорычем ждут вас у поскотины.

Безуглый неловко сел в седло. Он подумал, что ехать с Андроном на охоту накануне хлебозаготовок неудобно. Он рассеянно простился с Анной. На краю села только поднял голову и сам себя успокоил:

«Лучше Андрона никто не знает зверя. Лошадь для охоты в горах надо выносливую. В пахоту такую ни у кого, кроме него, не найдешь...»

Безуглый махнул плетью, усмехнулся.

«Неужели я его на хлебозаготовках помилую?»

Небольшую остановку сделали на Баданной сопке. Помольцев поправил седло. Андрон взнуздал своего гнедого. Безуглый посмотрел вниз, на Белые Ключи. Село разлеглось на берегу Талицы. В Талицу около села впадали две реки — Погорелка и Банная. За поскотиной белели ключи — Крутой, Медвежий и Девичий. Долину обступали со всех сторон горы — Чупрачиха, Шебнюха, Воструха и Оградная. На вершине Оградной острые черные камни стояли плотным частоколом. Гора одним крутым боком повисла над Талицей, другая упиралась в Чупрачиху. Безуглый подумал, что кержаки недаром так ее назвали. Она действительно надежной оградой отделяла их от всего мира.

На Погорелке у кержаков был бой с войсками Екатерины. Во время сражения деревня и лес на реке выгорели. С тех пор реку и стали звать Погорелкой. На ней загустели малинники и кипрей. В цветочных зарослях обосновались пасеки. Безуглый увидел спичечные коробочки ульев и крыши игрушечных избенок.

Долина Банной была мокрая, в мочагах, в ключах. По ключам вытянулись высокие, крепкие изгороди. В них паслись стада маралов.

На Талице работала водяная мельница. Около нее стояли подводы с зерном. За ней блестели новые крыши бараков. На работах звонили в рельсу. Стряпки суетились около котлов. Рабочие шли с реки. От бараков через село и Оградную гору новенькими вешалками торчали телефонные столбы.

Андрон сказал Безуглому:

— Англичаны-арендатели удумали Талицу на горы здымать. Тюрбину ставить хочют.

Безуглый пробовал прочность патфеи[1] и нагрудника.

— Где же рыбачить будете, Андрон Агатимыч, если они рыбе дорогу перегородят?

Андрон пренебрежительно шмыгнул носом.

— Захлебнутся, не дастся им река. Ране их, при царской власти, французишки тут хозяйствовали. Денег закопали большие тыщи, машин навезли, и все уплыло. Талица всю ихнюю хитрую механику в одночасье разбуравила.

Андрон засмеялся.

— Мусье главный бегат по берегу и ревет дурноматом: «Мюжики, мюжики, мюжики». Ну, мужики ково сделают, когда вода чертомелит — берега дрожат. Смеху было...

Охотники стали спускаться с сопки. Безуглый оглянулся и увидел в скиту за селом крышу звонницы с колоколами и крестом и длинный палец радиомачты над Белыми Ключами.

На северных склонах лошади шли по колено в мокром, скользком снегу, иногда проваливались по брюхо, опасливо всхрапывали, косились на седоков. Проталины на солнечных спусках цвели кандыком[2] и подснежниками. Лошади топтали розовые и лиловые головки цветов. Деревья, подмытые водой и поваленные ветром, часто преграждали дорогу. Андрон с седла взмахивал топором, и сучья падали обрубленными лапами зверя.

Проехали полусгнившую охотничью избушку. Она косо вспучилась, осела набок большим старым грибом. Андрон махнул в ее сторону.

— Ране здесь ясашные шибко соболя промышляли. Нонче зверь отшатился.

Помольцев дернул плечами:

— Многолюдство.

Андрон вздохнул:

— Отаптываться стали места наши.

Светлые теплые пальцы солнца шевелились в зеленых сучьях, пробегали по спинам всадников. Безуглов ехал с беспечностью кочевника. Он радовался всему, что видел. Если бы он был один, то, наверное, пел бы и скакал за солнцем. Солнце быстро уходило из долин на далекие вер-

---

[1] Патфея (портфея) — подхвостник, ремень, идущий от задней луки седла под репицу, чтобы седло при спуске под гору не съезжало.

[2] Кандык — многолетнее растение горных алтайских лугов; цветет в первой половине мая; алтайцы ценили его за маленькие клубеньки, которые копали весной и употребляли в пищу.

шины. Безуглый низко нагибался над седлом, теребил гриву коня и смеялся. Душистые ветки пихт хлестали его по лицу.

На закате они расседлали лошадей. Багровые палы пылали в долинах, как жертвенные костры предков. Безуглый думал, что могучие, волосатые охотники недавно покинули свое стойбище, и обильные огни еще не успели потухнуть около земляных жилищ. Они скоро вернутся, сгибаясь под тяжестью теплых кусков сладкого мяса. Может быть, и он пойдет с ними на охоту...

Земля задела за край солнца, загорелась. Облака повисли над ней большими клочьями дыма. От земли вспыхнул воздух и темные волосы лесов. Из скал вылились малинные реки расплавленных металлов. Крутые лбы гор покрылись лиловыми морщинами ущелий. На горизонте бесшумно обрушивались и исчезали высокие хребты.

Безуглый почувствовал, что почва под ним колеблется, посмотрел себе под ноги. Андрон заметил его удивленные глаза, объяснил:

— Вода горы колыбает.

Они остановились недалеко от большого водопада. Шум его был ясно слышен. Тяжелые стремительные струи сотрясали землю.

Безуглый проснулся среди ночи. Его спутники спали. Лошади лежали недалеко от огня. Земля погасла, почернела. В темноте остатками пожарищ тлели полосы палов. Кучи гор остывали, потрескивали. Несколько камней прошуршали по сухой траве вниз мимо Безуглого. Холодный ветерок ударил ему в ухо и щеку. Он отодвинулся, приподнялся на локте. Помольцев закашлялся:

— Федорыч, ты не спишь?

— Нет, а что?

Помольцев промолчал.

В темной тайге таял снег и с шорохом сползал небольшими оплывинами. Под ним звенели ручьи. Вода сочилась из камней, каплями стучала и булькала с круч. Переполненные каменные посудины текли через края. Вода расплескивалась по склонам, лилась из расщелин. В скалистых глубинах гремела Талица. Под ее волнами с ворчаньем катилась вторая река из камней. Горы истекали водой, снегом, льдом, камнями.

— Федорыч, я с тобой согласен, что попы безусловно для трудящегося народа есть религиозный опиум. Бога нет...— Помольцев глубоко вздохнул.— Ну а все-таки, куда вода девается?

Безуглый рассказал об извечном круговороте. Помольцев молча закрыл голову полой шубы.

Густые тучи задели за граненые вершины. Зашелестел редкий дождь. Туман осел до земли. Вода висела в воздухе мелкой пылью, падала крупными брызгами. Стало теплее. В мокрой парной темноте набухали корни деревьев и трав.

Безуглый лег на спину.

Поднялся ветер, изорвал в клочья облака. Охотник увидел большой звездопад. Метеоры падали из одного места, около созвездия Лиры, точно золотые ручьи растекались во все стороны с невидимой вершины.

Небо медленно бледнело.

На пихте около утеса завозился глухарь. Птица опустила крылья, веером подняла хвост, вытянула шею, призывно скрипнула клювом. В тайге запели серые дрозды, за ними проснулись чернозобистые, засвистели рябчики, зачуфыркали тетерева.

Помольцев чихнул. Андрон заскреб бороду. Безуглый набрал в ключе полные пригоршни холодной воды, плеснул себе в лицо, весело фыркнул.

* * *

Анчи Енмаков услышал пьяный запах горячей араки, проснулся. Трехногий котел над огнем очага пучил черное круглое брюхо. В нем ворчливо переливался чегень[1]. Арака по деревянному желобу капала в узкогорлую высокую кадку. Илабас — жена младшего сына — макала в кадку длинную тряпичную кисть, обсасывала ее с чмоканьем и присвистом. Она пробовала крепость вина. Анчи молча протянул к ней руку. Она отвернулась, подала ему кисточку. Сноха не должна смотреть в глаза своему свекру. Анчи помял губами мокрые тряпицы, щелкнул языком. Арака была хороша.

Тойлонг — жена Анчи — стояла на коленях, растирала ручным жерновом зерна ячменя. С ее носа и щек падали крупные капли пота. Старшая сноха — Кысымай — крутила барабан зернодробилки. Старуха-бобылка Иткоден толкла в большой ступе просо. Все женщины работали полуголыми. Они спустили до пояса свои тяжелые овчины. Тела их были худы и смуглы.

---

[1] Чегень — кислое молоко, из которого выгоняется арака (самогон).

Анчи набил трубку, закурил. С трубкой в зубах хорошо молчать и думать.

Он ждал гостей. Их съедется много. Он устраивает весеннее камлание Ульгеню. К нему должны приехать дочь Темирбаш и его старый друг Иван Безуглый. Анчи был единственным человеком, который показал отряду Безуглого переход на Кобанду через ледяные хребты. Анчи о многом надо спросить настоящего городского коммуниста.

Анчи помнит рассказы стариков. В прежнее время на Алтае народа было мало. Тайга лежала на горах, как соболья шкура с горностаевым воротником. Так темны были ее чащи, так белы снега вершин. Горы поднимались, как полные груди матери. Из каменных сосцов бежали реки со вкусом молока. Пастбища в обширных долинах не могла перелететь сорока. Стада бродили, как звезды в небе, не знающие счета. В ту пору не было войн, и оружие служило потехой праздным. Анчи знает — обнищал отец Алтай. Шубу его дорогую изодрали. Остался от нее один белый воротник. Нагота его прикрыта черным сукном пожарищ.

Анчи выколотил догоревшую трубку, вышел из юрты. Солнце остановило его у выхода. Анчи обеими руками закрыл глаза. Сквозь пальцы он видел, как на горах кипел и плавился снег. Он утирал рукавами слезы и тихо смеялся. Весна играла с ним, как с молодым.

Анчи пошел за стойбище. Около последних аилов на него с хохотом и визгом налетели несколько женщин. Серебро пело у них в косах и ожерельях. Анчи едва успел посторониться. Женщины бежали от молодого кама[1] Калтюбека. Он в страшной маске из бересты гнался за ними с метровым деревянным фаллом, выкрикивал:

Я играл с сорока девицами!
Я играл с сорока старухами!

Он прижимал фалл к низу живота, совал его в руки, в бока, в ноги женщинам. Женщины бросали каму сырчики, курут, ячменные лепешки и разбегались в притворном испуге.

Губы девиц — раскаленные щипцы!
Губы старух — засохшие тряпки!

Калтюбек заскакивал в юрты, обещал оплодотворение женщинам, кобылицам, коровам, овцам, козам. С ним вместе

---

[1] Кам — шаман.

кричали и бегали все молодые мужчины. Солнце лило в их раскрытые глотки свою теплую золотую араку. Они, как пьяные, кидались от юрты к юрте. Яростная весенняя молитва шумела над стойбищем, как ветер.

Анчи поднимался на гору, пел.

Алтай добр по-прежнему к своим детям-алтайцам. Он дает им кандык и чеснок из своих непаханых огородов. Он на тучных пастбищах кормит их белый скот. Он наливает их берестяные ведра молоком. Он наполняет котлы аракой.

— Кайран[1] Алтай...

Анчи сел на камень. Справа от себя он увидел своих соседей Ястакопа Ороева и Тохпу Тукешева. Они, как и он, сидели на камнях и пели. Может ли человек не петь весной? Анчи пел до заката.

В стойбище съезжались всадники — гости. Молоко плескалось в подойниках женщин. Облака молоком лились в небе. Дым, как от костров, поднимался от трубок гостей.

* * *

Аилы алтайцев стояли в полугоре, дым рос над ними высокими широкорукими деревьями. Помольцев наклонился с седла, посмотрел вниз. Он сразу увидел юрты Енмековых. Охотники спустились к стойбищу, когда все мужчины с шаманом Мампыем уже уехали к жертвенникам. В юртах были только женщины и дети. Около аила Анчи стояла оседланная лошадь. Девушка-алтайка в синем халате снимала с седла тяжелые сумины. Безуглый быстро посмотрел на ее стриженую голову, соскочил с коня.

— Здравствуйте, товарищ Темирбаш. Давно из Кутву?

Девушка тоже узнала Безуглого, протянула ему руку.

— Я теперь работаю в Улале. Кутву кончила.

Около нее суетилась маленькая старая Тойлонг в высокой бараньей шапке, в праздничной голубой сатинетовой шубе и в бархатном черном чегелеке[2]. На поясе у женщины рядом с кресалом и гребнем гремели большие ключи. Темирбаш положила ей на плечо руку.

— Товарищ Безуглый, посмотрите на мою маму.

Безуглый снял фуражку. Алтайка кивнула ему головой, но руки не подала, Темирбаш показала Безуглому ее ключи.

---

[1] Непереводимое слово, его смысл — милый и уходящий.

[2] Чегелек (чегедек) — верхняя одежда замужних алтаек, теперь уже совершенно забытая.

— Смотрите, какие мы богатые. Сколько у нас сундуков?..

Она быстро сосчитала.

— Целых пять.

Девушка громко засмеялась, подошла к аилу, откинула легкую дверцу из лиственничной коры. Безуглый увидел лохмотья, залатанные мешки, закопченные котлы, треног и единственный ящик, некрашеный, старый, без замка.

К жертвенникам они поехали вместе. На переправе через небольшую речку Темирбаш задела своим стременем стремя Безуглого, показала плетью на воду.

— Вот ключи к нашим богатствам. Они звенят на поясе у хана Алтая.

Девушка хлестнула споткнувшегося коня, натянула повод.

— Один алтаец-студент пишет мне из Ленинграда, что первым его проектом, когда он кончит вуз, будет проект алтайской гидроэлектростанции.

Безуглый обернулся к своей спутнице.

— Езуй Тандыбаров?

Щеки у Темирбаш стали краснее ее комсомольского значка.

— Откуда вы знаете? Вы с ним знакомы?

Безуглый отшутился:

— Я все знаю.

* * *

Береза — священное дерево. Она вся белая. На нее никогда не падает огонь молнии. Время ее цветения — весна.

Берез натыкали вокруг жертвенников. К березе привязали жертвенную лошадь. Березу с тремя вырубленными на ней ступенями и четырнадцатью зарубками вкопали перед открытым шалашом шамана.

Анчи и Мампый стояли на белой широкой кошме около костра. Анчи накаливал над огнем бубен. Он пробовал его колотушкой. Бубен звякал и глухо гудел. Мампый из кожаной бутылки наливал в деревянную чашу свежее молочное вино. Алтайцы жались плечом к плечу. Сзади них валялись кучи седел. Табун стреноженных коней пасся в долине. Гостей было много.

Охотники и Темирбаш сели в стороне. Несколько голов обернулось на них. Эргемей и Эрельдей — сыновья Анчи — молча поклонились Помольцеву. Гости по очереди подходили к шаману с полными бутылями в руках. Шаман араку

каждого наливал в чашу, веткой вереска сплескивал ее на огонь и в стороны — Трехвершинной головы Катуни, Золотого озера и Горы с Изгородью. Мампый был в белом длинном халате с красными нарукавниками, в белой берестяной высокой шапке с красными лентами и в красных мягких бродннях. Красные ленты у него спускались до земли и с шапки, и с плеч. На ветру он весь струился огнем. Огонь лент бегал и в гриве белой кобылицы, и на веревке, протянутой по березам вокруг жертвенников.

Шаман высоко поднял бубен. Над головами алтайцев лопнуло небо. Голубые стекляшки со звоном посыпались на горы. Люди втянули шеи в плечи. Шаман успокоил их ласковой песней.

На белом море с золотыми плесами
белые пены плывут.
На синем море с серебряными плесами
синие пены льются...

Мампый собирался за моря и горы. Он звал оттуда с золотых и серебряных плесов хозяина своего бубна — серого гуся с черными крыльями. Мампый медленно, как на волнах, покачивался из стороны в сторону. Он плыл к далекому жилищу Ульгеня:

Чистый Алтай, земля-вода,
будет ли вечным пламенный очаг в небе?

Темирбаш переводила Безуглому выкрики шамана.

Обширный Алтай с горбами верблюдов и гривами коней,
положенный огонь будет ли жарким?
Будет ли с нагаром огонь, как толокно?
Зажженный огонь будет ли метать искры?
Даст ли род потомство?

Мампый бил в бубен. Подземные урчащие удары раздирали каменные утробы гор. Горы качались. Над вершинами с шелестом и треском взметывались седые столбы снежной пыли. Лавины и каменные осыпи обрывались вниз тяжелыми скоплениями лавы.

Хранитель шести слег юрты,
стерегущий грозное огнище мое,
малых детей охраняющий...

Мампый кружился, скакал. Горы гремели у него под ногами, как море. Соленая пена залепляла ему рот, падала на грудь. Он задыхался, косил глаза.

Создатель широкой красоты,
Алтай в красоте создавший,
ты перекатываешь солнце и луну,
ты все измерил ложкой и совком...

Шаман поднимал ноги, прыгал. Он шел раскаленными песками красной пустыни. Сразу за ней ему преградила дорогу огромная ледяная гора. Мампый скакнул на первую ступеньку березы, закричал:

— Поднимаюсь!

Анчи, Эргемей, Эрельдей и их гости махали руками, подражая движению птичьих крыльев, повторяли:

— Поднимаемся, поднимаемся!

Безуглый закрыл рукою рот. Алтайцы показались ему ребятишками, затеявшими большую игру у огня. Он тронул плечо Темирбаш. Она не оглянулась.

Широкие трещины рвали гору. Шаман нагибался и зашивал их крупными стежками. Он кричал вороном, куковал кукушкой, выл волком, ворчал медведем. От него шел острый запах. Его круглое, красное лицо было иссечено темными полосами пота. Мампый метался в тысячелетней тоске земных тварей по крыльям. В его песнях жила деревня и гордая мечта человека о захвате вселенной. Он бормотал:

Смотрю глазами сквозь гору,
сквозь землю проникая думой...

За огненным кругом костра начинались сумерки изначального хаоса. Люди-дети беспечно пели свои дерзкие песни на самом краю мира. Они утверждали, что вселенная — только пастбище их коней, звезды — колья золотой коновязи. Ведь жертвенная кобыла была привязана не к березе, а к Полярной Звезде.

На скользкой ледяной вершине холодные ветры крутили халат шамана. Он бежал мелкими, осторожными шажками. Под ногами у него хрустели кости — птичьи, звериные, человечьи. Тысячи тысяч тварей погибли бы на последнем перевале. Мампый миновал его, положил бубен.

Эрельдей подошел к шаману с чашей молока первого весеннего удоя. Эргемей зажег пучок вереску, надел его на березовую палку. Шаман вылил молоко на лошадь, окурил ее. В сумерках белые бока животного багровели от огня, точно в них открывались большие кровавые раны. Лошадь тревожно ржала.

Пусть головы наши будут в покое!
Пусть лошади дышат спокойно!
Пусть не стираются наши мясные сердца!

Шаман скакал выше и выше. Его ноги доставали самую верхнюю, семнадцатую зарубку. Одно за одним раскрывались и захлопывались семнадцать железных грохочущих небес. Он проскочил их все. Он встал на березе перед золотыми воротами аила Ульгеня. Алтайцы сидели с полураскрытыми ртами. Они сдерживали дыхание. Мампый тихо дунул в одну сторону, повернулся, подул в другую, в третью, в четвертую. Он вдувал жизнь в травы, в деревья, в скот, в людей, во все, что растет под солнцем. Из его бубна на алтайцев смотрели медленно пуговицы глаз бога.

Алтай даст ли успокаивающее решение,
к скоту моему прибавляя скот,
к головам нашим прибавляя головы?

Шаман просил изобилия молока, ячменя, удачи на охоте, благополучия стойбищам. На небе догорал медно-красный порог юрты Ульгеня. Полная, низкая луна поднималась за плечами Мампыя круглой желтой тенью бубна.

Мампый опять заколотил в бубен. Шерсть на коже его колотушки зажигалась и падала синими огнями. Он стоял высоко. Он сотрясал небо. С неба сыпались звезды.

Луна потускнела за маленьким облаком. Она стала похожа на медный глаз бога из бубна Мампыя. Мампый, как потухшую луну, опустил бубен на белую кошму. Огненные ленты молниями ударили шамана и погасли. Шаман упал на землю, лицом вниз. Он спал. Алтайцы засыпали, отваливаясь на седла. Ломаные линии гор были отчеркнуты на небе густым углем.

Ранним рассветом шаман подошел к жертве. Эргемей и Эрельдей надели на ноги животного четыре длинных волосяных аркана. Несколько человек взялись за их концы. Мампый склонил голову. Безуглый услышал хруст коней и стоны раздираемой лошади. Алтайцы согнулись под тяжестью лямок, как бурлаки. Они тянули дружно в разные стороны. Лошадь оборвала узду, закинула голову на спину, захрипела. Ноги у нее разъезжались, точно земля стала сразу скользкой. Трехлетняя кобылица бессильно билась большой белой мухой в крепкой паутине арканов. Шаман подскочил лохматым пауком и впился ей в морду. Она упала на брюхо. Сломанные ноги торчали из-под нее толстыми березовыми палками. Мампый отпустил руку. Жертве распороли грудь. Она дернулась, уронила изо рта большой

темный язык. Кровь вырвалась из нее, как пламя. Ободранная, растянутая, она была громадна. Она легла во весь Алтай у красного порога зари. Кожу ее повесили на березовую жердь, головой на восток. На нее кричали, ее погоняли. Она пошла через высокую голубую скалу, через скользкие черные камни, через великие пески к ведающему ее головой. Шаман в жертву горам разбрызгивал горячую кровь, раскидывал куски мяса. Алтайцы с криками хватали в воздухе невидимое счастье, бросали вверх девять чашек, чтобы никогда не иссякала в них пища.

Шаман сел на кошму. Алтайцы обступили его плотным черноголовым кругом. Он начал рассказ о своем полете на семнадцатое небо:

— Худые времена настают. Скоро русские прогонят алтайцев с Алтая. Он видел много крови...

Безуглый, почти не глядя на бумагу, быстро записал:

«Мампый, шаман, очень авторитетен. Дискредитировать и устранить в первую очередь. Кампанию начать через газету из Улалы. Договориться с Темирбаш».

Андрон ткнул в бок Помольцева.

— Мотри, опеть пишет.

Он покачал головой.

— Чует мое сердце, оставит нас без угла етот Безуглый. Взгляд ево мне не глянется. Он будто и на тебя глядит, и не гордится, а все свое думает, своя у ево думка завсегда, ровно у зверя.

К Безуглому подошла Темирбаш. Он сразу заговорил с ней о Мампые. Глаза ее были пусты. Безуглый заметил.

— Я прошу ответить прямо, согласны вы со мной или нет?

Темирбаш съежилась:

— Товарищ Безуглый, я знаю, что шаман наш враг. Бороться с ним я буду...— Девушка робко снизу вверх посмотрела в глаза коммуниста.— Не знаю почему, только мне иногда нравятся его песни и хочется самой взять бубен, петь, кричать.

Безуглый сдвинул брови.

Алтайцы сидели вокруг дымящихся котлов. Они держали в руках круглые деревянные чаши, полные хмельной араки. На губах и на щеках у них блестел жир.

* * *

Охотники остановились на опушке последнего леса. Головы лошадей были выше верхушек низкорослых кед-

ров. У конских копыт лежала морщинистая равнина горной тундры. В ее складках и углублениях белел снег. На ней стлались скрюченные бурые стволы карликовых берез. Эрельдей быстро мелькнул с седла, нагнулся над длинной полосой снега. Андрон грузно опустился с ним рядом. Безуглый с лошади увидел глубокие следы зверей. Они шли двумя цепочками. Одна — на юг, другая — на восток. Безуглому стало трудно дышать. Он не мог отвести взгляда от пятипалых отпечатков на снегу. Он не в первый раз видел следы медведей. Они всегда волновали его своим сходством с человеческими. Босые предки пробрели тут в утомительных поисках пищи. Он скоро увидит их волосатые мускулистые спины.

Безуглый, Андрон и Помольцев пошли на юг. Эргемей и Эрельдей — на восток.

Алтайцы были уверены, что охота будет добычливой. У них на этот счет имелись очень веские основания. Во-первых, оба они — Эргемей и Эрельдей — в ночь перед выездом из аилов видели один и тот же хороший сон: им кто-то подарил по шубе. Всякому охотнику известно, что шуба во сне — значит убитый медведь наяву. Во-вторых, Кудан, белобородый начальник, создавший ловушки и самострелы, получил белую овцу. Чаши, брошенные во время жертвоприношения с вопросом об успешности охоты, одна за другой упали дном вниз. В-третьих, сборы и выезд были проведены по нерушимым правилам предков. Дорогой они прошептали обращение к Алтаю:

В старину отцы наши ходили,
теперь мы, молодые, идем,
кружимся и потеем, неумелые парни.
Из охотничьей сумы нам часть дай.
Из твоей дичи нам хотя бы одну покажи...

На первом перевале около священного або сделали вид, что раскладывают жертвенный костер. Набрали сухой травы, сучьев, сложили все кучкой, но не зажгли. На або бросили по пуле вместо обычных пучков конских волос, ленточек или камешков. Разговаривали шепотом, на особом условном языке, чтобы звери не могли их услышать и понять. Ружье называли зятем, пулю — подарком невесты, медведя величали прадедом и великим человеком. Наконец, в-четвертых, Эргемей и Эрельдей очень хорошо знали места медвежьих весенних гульбищ и были далеко не такими неопытными на охоте людьми, какими выставляли себя перед Алтаем.

Алтайцы ехали спокойно, развалившись в седлах.

Русские шли пешком медленно и молча. Андрон часто наклонялся, разглядывал смятую и поеденную зелень. На мху и молодой траве следы едва заметны. Безуглый задевал за камни, спотыкался, скользил на снегу и с робостью школьника смотрел на спутников. Он только тут заметил свои громоздкие городские ноги. Полушубок на нем топорщился, расстегивался. Шапка лезла на потный лоб, на глаза. Нож ерзал по поясу и очень мешал. У винтовки слишком громко стучали антапки[1]. Безуглый был хорошим охотником на равнине. В горах он учился ходить. Сердце качалось у него в груди, как тяжелый язык набатного колокола.

Алтайцы первого зверя увидели на кривой луговине. Он щипал траву с низко опущенной головой. Он был совсем как безрогая и бесхвостая корова. Охотники сошли с лошадей. Эрельдей вытащил из кожаной сумы большой деревянный шар, утыканный длинными, острыми гвоздями с бородками, как у рыболовных крючков. Эрельдей держал его на короткой веревке. Он блестел иглами, как еж. Эргемей взвел курок своей шомпольной винтовки. Братья подползли к медведю. Эргемей поставил ружье на сошки, навел его на голову зверя. Эрельдей встал перед зверем с ножом и игольчатым шаром. Его отец, дед и прадед стояли так же — широко и крепко расставив ноги. Зверь с силой потянул в себя воздух. Шерсть поднялась у него на шее и на спине. Эрельдей размахнулся и бросил ему колючий клубок. Он вскочил на дыбы, обеими лапами схватил железного ежа, накололся, заревел, цапнул колючки зубами. Колючки воткнулись ему в пальцы, в нёбо, в губу, в язык. Задиристые бородки привязали лапу к лапе и обе их к морде. Он бился, как связанный, сопел, урчал. Эрельдей подбежал к нему и, подпрыгнув, воткнул нож до рукоятки в косматую грудь. Медведь мешком свалился на бок. Задние лапы у него дергались, под шкурой ходили короткие волны. Эрельдей оглянулся на брата, крикнул:

— Вот как колю я, Эрельдей!

Шкуру снимали с шутками, старались ими обмануть убитого. Отделяя кожу от лап, уверяли, что только почешут ему пальчики, добравшись ножами до хребта, говорили, что погладят ему спинку, и в один голос клялись, что не они его убили, а русские. Ободранную тушу отстегали плетями, выбили у нее все зубы. Эрельдей отрезал голову, насадил

---

[1] Антапка — скоба, дужка у ружья для крепления ремня.

ее на кол, опалил на костре. Эргемей звенел шомполами, выкрикивал:

Ходивши по земле с дудками,
подарок от невесты получил-де, скажи!
Ходивши по земле с пучками,
голову размозжил-де, скажи!
Видеть не мог — глаза маленькие,
оттого умер, скажи!
Мочиться не мог — он маленький,
оттого умер, скажи!..

Кол с головой воткнули в землю, выстрелили в нее по одному разу. Рядом положили слепленную из глины фигуру медведя. Они знали, что Алтай оживит сделанного ими зверя. Духи поэтому не узнают об убийстве одного из прадедов, не станут преследовать смелых охотников. На всякий случай они, впрочем, в нескольких местах поломали шомполами свои следы. Ведь духи могут гнаться за людьми, если следы их не тронуты. На испорченных они, конечно, бессильны. Отважные звероловы теперь спокойно могут тащить к стану и шкуру, и сало, и мясо медведя.

Русской группе не повезло. Она не нашла медведей. Снег, твердый с утра, к полудню раскис, перестал держать охотников. Безуглый провалился по пояс, отстал. Снег набился в сапоги, в брюки, в дуло ружья. До твердой проталины ему долго пришлось ползти на животе. Андрон был зол. Неудача черной тенью лежала на его лице. Он оглянулся, увидел Безуглого, посветлел: Безуглый без шапки, разутый, сосредоточенно выворачивал карманы, полные снега.

Алтайцы мясо зарыли в снегу, шкуру спрятали в лесу. Люди не должны знать, что сегодня они убили своего великого прадеда. Рассказать об охоте сегодня, показать свою добычу — значит обречь себя на неудачу завтра. Эргемей и Эрельдей это правило твердо запомнили. Они не скажут ни слова русским. Русским можно только дать понять, намекнуть, что братья Енмековы вернулись не с пустыми руками. Они сделали из веток кедра большой шалаш, разложили костер, отметили священную восточную сторону шнуром с девятью цветными лоскутами.

Андрон остановил Помольцева и Безуглого.

— Порядок ихний знаете? Глядите, надулись, ровно петухи, видать, добыли зверишку.

Эргемей и Эрельдей ходили около огня. Движения их были замедленны, спокойствие подчеркнуто. Лица, фигуры преисполнены важности.

* * *

Костер горел всю ночь. Охотники лежали под шубами на мягкой хвое. Звуки, которые издавали их носы, губы и глотки, не уступали по силе и густоте храпу пятерки лошадей. Воздух в шалаше держался горячий. Люди ненадолго вернулись к одному огню.

Дед Андрона Магафор пришел на Алтай с Поморья девяносто лет тому назад. Долину Талицы облюбовали они вчетвером — Магафор, Киприян и Евлантий с женой Милодорой. Киприяну и Евлантию было по тридцати лет. Милодоре было двадцать два года. У нее на лице никогда не угасал румянец. Магафору было двадцать три. У него на щеках и на подбородке желтел пух. В первую их остановку на берегу Талицы, когда все спали, Магафор встал посмотреть коней. Он разжег жаркий костер. Милодора лежала ближе всех к огню. Магафор неожиданно увидел ее могучие, толстые ноги, оголенные выше колен. Он качнулся, неверными руками схватил топор, со всего размаху воткнул его в высокую пихту. Дерево звонко задрожало. В черни прошумел удар, третий, пятый. Никто не проснулся. Евлантий и Киприян храпели. Милодора чмокала губами, бормотала. Лошади паслись спокойно. Магафор подошел к Евлантию. На лоб спящего упал сверкающий четырехугольник топора. Лезвие лязгнуло о камень. В траве зашипела и забулькала кровь. Он подкрался к Киприяну и рубанул его по затылку. Милодора лежала теплая, мягкая. Магафор рухнул на ее круглый живот. Милодора проснулась, тронула руками его щеки, подбородок и закричала. Магафор впился зубами ей в губы. Она сбросила его с себя. Он схватил ее за горло, стал рвать на ней платье. Милодора грызла у него грудь. Магафор ломал ей ребра. Они двумя темными большими рыбами возились на траве, горячей и скользкой от крови. Под ними камнями перекатывались убитые. Руки их шлепали, как плавники. Ноги двумя раздвоенными хвостами бешено били землю, разметывали костер. Угли и головни летели кусками крови. Милодора обессилела и стихла. Магафор навалился на нее, засопел. Тайга тысячеверстной черной пещерой сдвинула над ними свои своды.

Утром стали рубить избу.

Убитых раздели, рубахи и портки с них выполоскали, прибрали. Трупы отволокли в колодник, засыпали мхом и буреломом.

Следом за Магафором и Милодорой на Талицу пришли

несколько семей. Они расселились по ключам в щелях на версту, на две друг от друга.

Земли алтайские были сильны. Они отдавали за каждое зерно, брошенное весной, тридцать к концу лета. Чернь хорошо родила зверя. Завоеватели ели сытно, пили сладкую медовую брагу, одевались тепло и нарядно. Из щелей они спустились на дно долины, на чистое место, срубили деревню. Дома были без окон на улицу, с высокими заборами, с громадными воротами, все из белочных, твердых, как кремень, лиственниц. Деревня крепостью стала на земле вольных кочевников.

Сибирь издавна влекла к себе своим обилием и просторами. Страна, открытая и завоеванная людьми, бежавшими от жестокостей царя Ивана Грозного, стала обетованной землей для всех гонимых. В Сибирь одними из первых пошли раскольники, спасаясь от костров царевны Софьи и от «немецких» порядков Петра. На Алтай раскольники текли с Поморья, с Керженца, с Устюга Великого, с Соли Вычегорской, с Мезени, с Вятки, с Камы, с Волги. За ними шли семьями и селами крестьяне от государевых тягот, от военной службы, от холопьей доли, от нищеты, брели беглые колодники и солдаты, полз пестрый сброд бродяг, любителей легкой наживы, искателей приключений, людей «гулящих». Они шли неутомимо, через таежные чащобы, через болота, озера, реки и горы. Они искали сказочное «Беловодье», где «господь бог щедрою рукою рассыпал всякого добра на поживу человека». Им выпало на долю освоить бескрайние богатые пустыни Сибири.

В восемнадцатом веке на Алтае открылись Колывано-Воскресенские заводы и Змеиногорские северо-свинцовые рудники Акинфия Демидова. Хозяин привез рабочих с Урала, главным образом «беглых» и раскольников. Условия работы были каторжные — длинный рабочий день, ничтожный заработок, недоедание, вонючие казармы, кнут. К заводам приписали большие округи, заставили крестьян в порядке казенной повинности рубить лес, жечь уголь, возить строительные материалы, топливо. Крестьяне, замученные работами, и «бергалы» (рабочие), доведенные до отчаяния, бежали в «камень» (в горы), к «каменщикам» и к «полякам» (к раскольникам, силою возвращенным из Польши Екатериной Второй, куда они ушли из России в поисках древнего благочестия), основывали с ними новые тайные поселения. Беглецы уходили как можно дальше от страшных высоких труб, «чтобы жить в легкости», чтобы их никто и нигде не мог сыскать. С заводов за ними снаряжали

погони. Солдаты стреляли и ловили беглецов, разоряли и жгли их избушки. «Каменщики» вступали с войсками в бой или запирались со «стариком» в своей «молельной», ругали солдат, плевали на них через оконца, поносили веру антихриста и самосжигались. На предложение офицера сдаться и снова вернуться на завод обычно отвечали:

— Будем гореть, потому работать нам весьма натужно.

Они исчезали в дыму и огне.

В горах уживались только сильные и безжалостные. Гонимые по ту сторону Урала и в предгорьях Алтая, раскольники далеко в горах сами становились гонителями. Они жили скрытно, разрозненно. Они сходились и съезжались, как запорожцы на раду, изредка для решения общих дел — для организации походов на алтайцев и киргизов, для поездок за женщинами и солью, для суда и расправы над своими преступниками. Осужденных они привязывали к небольшим плотам и пускали вниз по реке. Преступники погибали на порогах. За солью пробирались тайно, ночами, на озера завода. Женщин подкарауливали в лесах, около деревень и алтайских стойбищ. Им доставались грибницы и ягодницы. Они делали набеги на поля во время уборки хлеба, хватали себе в седла жниц. Полонянок потом переменивали друг у друга, покупали, продавали, воровали. Из-за женщин насмерть рубились, резались, стрелялись. Ни леса, ни зверя, ни рыбы они не берегли. «Иноверцы» бежали в Китай. Русские переходили границу следом за ними. Горная вольница буйствовала на Алтае до конца восемнадцатого века. Она никому не платила дани, не признавала ни русских, ни китайских властей.

В горах задымились рудники Бухтарминские, Риддеровские, Зыряновские. Жизнь стала опаснее и тяжелее. «Каменщикам» надо было «беречься» и алтайцев, и киргизов, и китайцев, и царских солдат. Они решили проситься под китайского богдыхана. Богдыхан в свое подданство не принял. Раскольники поклонились русской царице. Екатерина их «простила», на сто лет освободила от военной службы, обложила ясаком наравне с «иноверцами». Они вышли с заимок, построили деревни. «Каменщики» сблизились с «поляками», смешались с раскольниками из керженских лесов, стали называться кержаками.

В девятнадцатом веке Китай и Россия разделили Алтай. Реки, текущие на север, отошли русским, реки на юг — китайцам. Кержаки оказались хозяевами огромной страны, в которой «воды сладчайшия и рыбы различныя множество», зверь в изобилии, а «на исходящих рек дебрь плодо-

вита на жатву и скотопитательные места пространны зело...»[1]

Долина Талицы была захвачена русскими одной из последних. В меньших размерах история ее слово в слово повторила историю заселения всей страны. В долину вместе с переселенцами из России стекались и беспокойные люди из обжитых углов Алтая. Одни строили прочные дома с расчетом «на век», другие тяпали немудрые избенки, не покрывали их даже крышей в надежде на скорый переезд. Бескрышные жили в селе год, два, три и уходили в Монголию, в Китай, на Мамур-реку (на Амур), на Зеленый Клин (в Приморье). Они упорно разыскивали «Белые воды». Некоторые из них иногда задерживались на одном месте лет на двадцать, доживали до старости, но жилищ своих так и не покрывали, не оставляли упрямой мечты об уходе в страну, которой не было. Случалось, что мечтатели заражали и старожилов своими страстными стремлениями к поиску чудесной земли. Целые села вдруг бросали дома, пашни, пасеки, маральники и уходили на «Беловодье».

Начало Белым Ключам положили пять родов — Моревы, Чащегоровы, Мамонтовы, Бухтеевы и Пахтины. Все — ревностные поборники древнего благочестия, «святой» отеческой старой веры. Они не употребляли табаку и чаю, не пили из одной чашки с «мирскими», не брили бород, крестились широким двуперстным знамением. Разбогатели они быстро.

Магафор Морев начал с топора и пули. Топором он взял не только жену, но и деньги, и лучшую землю. Он зарубил богатого проезжего купца, заночевавшего у него, воспользовался его деньгами. Он засек в пьяной драке своего конкурента мараловода Мамонтова, завладел его звериным «садом» и полем. Пулей Магафор добыл скот на пастбищах алтайцев и пушнину в черни. Односельцы звали его мясорубом. Он был самым богатым в Белых Ключах, поэтому считал себя «первым» человеком, о себе и родном Поморье говорил всегда с гордостью.

— Город наш Кола — крюк, народ — уда, что ни слово, то и зазубра.

У Магафона было пять сыновей. С отцом остался только старший Агатим, остальные ушли искать новые земли. Агатим был хитер, жаден и предприимчив. Хозяйство отцовское он приумножил. Агатим не утруждал себя тяжелой охотой за пушным зверем. Он подкарауливал счастли-

---

[1] Сибирский летописец Савва Есипов, 1636 год.

вых охотников и одним выстрелом добывал сразу несколько соболей, десятки колонков, сотни белок. Осторожный мужик не подвергал себя случайностям боевых набегов на кочевников-скотоводов. Он предпочитал скупать за бесценок лошадей, угнанных другими. Обобранные туземцы нанимались к нему в батраки. Перед расчетом они часто пропадали без вести или тонули в Талице. Агатим в таких случаях с простодушием заявлял уряднику:

— На Вонючем Боме голову, чо ли, у ево обнесло, курнулся в воду. С пасеки мы с им ехали.

Агатим недоуменно разводил руками.

— Известно дело, нехристь, души в ем нет, ровно в звере, пар один, а сожалось у меня серсе. Стою, жалкую, гляжу, шапчонку ево бьет волна...

Агатим опускал глаза, складывал руки. Урядник крякал, косился на лагушок с медовухой.

На своей пасеке Агатим охотно давал приют беглым каторжникам и бродягам. Он искал среди них «фабриканта», который умел бы делать «гумажки». «Фабрикант» в конце концов нашелся, и «фабрика» заработала. Агатим покупал на фальшивые деньги скот, богател. Он был предусмотрителен и умел прятать концы в воду и в огонь. «Фабрика» со станком и с мастером у него сгорела накануне обыска. Становой ничего не нашел, но домой вернулся веселый.

Последним делом жизни Агатима была постройка большой молельни. Денег на нее он не жалел. Плотников хорошо кормил, по окончании работ рассчитал честно и сам вызвался вывести их на тракт кратчайшей тропой через свою пасеку. Вечером на пасеке Агатим в последний раз угостил строителей трехлетней медовухой, сладкой, как виноградный сок, и крепкой, как спирт. Сон пьяных был непробуден. Агатим, как у мертвых, выворачивал у спящих карманы, вытаскивал деньги из секретных мешочков, из-за пазух. Утром обобранные сволокли сонного Агатима с нар, стали бить. Агатим в краже не сознался. Плотники выщипали у него по волоску всю бороду, выбили все зубы, курнали его в Талицу, подолгу держали под водой. Мокрый, ощипанный, пусторотый, багровый от побоев, он ползал на животе, целовал сапоги своих мучителей, клялся всеми святыми, что никогда в жизни никого не обманывал, молил о пощаде. Деньги он не отдал. Плотники устали. Они подняли его за руки и за ноги, несколько раз ударили поясницей о землю и ушли.

Агатима через три дня нашла жена. Он был жив. Муж с трудом сказал жене, где закопал деньги. Она их вырыла из-

под улья, принесла ему сверток бумажек и несколько горстей серебра с медью. Он взглянул на деньги, улыбка загорелась у него в глазах. Он с ней и умер, повеселевший и успокоенный.

Сын Агатима Андрон считал, что убивать человека опасно и невыгодно. На людей он смотрел как на кур, которые при умелом уходе могут нести золотые яйца. Андрон за всю свою жизнь никого не убил, не избил, не обругал, ни с кем не обошелся грубо. С начальством был льстив, с односельчанами приветлив, с батраками снисходительно-ласков. Медовуха часто была для Андрона тем же, что для Магафора топор и для Агатима денежный станок. Все торговые сделки, прием и увольнение рабочих он проводил со стаканом в руке, с улыбкой и поклоном. Он находил, что с охмелевшими людьми разговаривать и рассчитываться легче и прибыльнее, чем с трезвыми. В сенокос, в страду, во время срезки рогов у маралов на него работали десятки «помочан», которые получали за «помочь» только медовуху, дневное пропитание да доброе слово хозяина. Андрон обогатился на широком применении наемного труда, на использовании машин, агрономических знаний и на всяких перекупах-перепродажах. Он первый в селе завел сеялку, жнейку, молотилку, сепаратор, первый стал разводить племенной скот и птицу, кровных лошадей, породистых кроликов. Он ранее других пчеловодов перешел на рамочные улья. Он один сеял клевер. На сельскохозяйственных выставках до и после революции он неоднократно получал награды и похвальные отзывы. Его хозяйство в последнее время было признано культурным и показательным. Революция отняла у Андрона царские и колчаковские бумажки (десятки тысяч рублей), помяла его хозяйство. Андрон выждал, огляделся, рассчитал и начал строить все заново. Основными источниками дохода у него по-прежнему остались наемный труд и машины. Разница была только в том, что он «перестал нанимать батраков», у него работали теперь только «родственники». Посевы его опять были громадны, но три четверти их он скрывал. Он давал неверные сведения и о количестве своих машин, скота, лошадей. Председатель и секретарь сельсовета были на его полном содержании, поэтому он чувствовал себя в безопасности. Некоторой защитой служила ему и вывеска культурника. Он окреп настолько, что стал задерживать в своих амбарах зерно, рассчитывая таким образом поднять на него цену. Цены не поднялись. В Белые Ключи приехал из города коммунист, объявил, что он — уполномоченный по хлебозаготовкам. Андрон одним из

первых получил от него предложение сдать хлебные излишки.

Андрон проснулся с рассветом. Он приподнялся на локте и долго смотрел на спящего Безуглого. Безуглый стонал и морщился. У него болела старая рана. Во сне он снова падал с узкой тропы, качался в ветвях кедра, наваливался на Андрона. Он слышал, как под ним хрустели сучья и кости. Он задыхался в густой зелени дерева и в длинных волосах Морева. Безуглый с трудом поднял тяжелые веки. Солнце кусками спекшейся крови запуталось в бороде Андрона, размазалось на его щеках. Безуглый в первую минуту даже не понял, во сне или наяву раздавил он своего спасителя, окровавил его лохматую голову.

* * *

Костер жгли днем. На горах лежал туман, плотный и серый. Охотиться было нельзя. Безуглый в третий раз разбирал и чистил затвор винтовки. Алтайцы сосали длинные трубки. Помольцев дремал у огня. Андрон грел в дыму руки.

— Глянулся ты мне, Федорыч, в двадцать первом годе. С охотой ходил я за тобой, хорошо ты поправлялся у меня.

Андрон посмотрел на Безуглого.

— Если бы все такие коммунисты да поставили бы тебя над Алтаем.

Безуглый разглядывал пузырек с ружейным маслом.

— Обидно нам, что алтаишка у нас в области председателем. Ужели руйского не нашли?

Безуглый не ответил.

— Мы сознаем, што власти без налогу аль без заготовки нельзя. Не к тому я веду беседу. Тягостью хрестьянина не задавишь, порядок был бы.

Андрон положил в костер дров.

— Не век же, поди, река дурить будет, чертомелить, корежить все?

Безуглый щелкнул затвором.

— Она войдет в берега, Андрон Агатимыч, но потечет по новому руслу.

Андрон не слышал.

— Куропашка птиса, и та за свое гнездо бьется, собственность свою соблюдает, не щадя жисти. Каково же хрестьянину собственности лишаться? Собственности нету, и антиресу нету.

Ветер закрыл Андрона дымом. Он перешел на другую сторону.

— Кумыной ни одно восударство не живет, а нам хочется всех догнать и перегнать. Ежели догонять, то зачем коллевтив, у их этого и в заводе нет. Али это перегон-то самый и есть? Товда почему перегон наперед догону стоит? По первости надо образованность таку поиметь, как у их, дорог железных настроить поболе, фабрик.

Андрон говорил быстро. Злоба мелкой дрожью била его руки и глотку.

— Шутка в деле догнать. Да нам всюю Америку дай, слопам в один год без остатка. Народ обмелел и скотом, и хлебом.

Андрон подошел к Безуглому.

— А мое мление такое, коль хрестьянину плохо, то и власти не сладко. Как бы власть ни была, а должна она подмогнуть хрестьянину. Не о себе, Федорыч, я думаю, о восударстве болеем.

Он сел на обрубок рядом с Безуглым.

— Хто у нас будет работать? Нижние коммунисты одно только званье имеют да билеты в карманах трут. В высшем управлении, верно, есть люди с правильным понятием. Но как могут сделать верхи без низов?

Андрон плечом прилип к плечу Безуглого.

— Читал я в газетке речу вашего большого коммуниста. Фамилию вот только не вспомню... Не то Колбаскин, не то Сырков... золотые слова.

Андрон загнул на левой руке толстый кривой мизинец.

— Слово перво — накопляйте в добрый час.

Он загнул безымянный палец.

— Слово второе — к Тельбесу поедем на корове.

В глазах у Андрона играли липкие медовые блестки.

— На чьей корове Сырков-Колбаскин етот собирался ехать? На моей. Кому говорил — накопляйте? Мне. Дурак, он, думаешь, не понимал, што шпане копить неково и ехать не на ком. Он линию умственную вел на крепково, настоящего хозяина.

Безуглый дернулся всем телом, вскочил. Андрон хвалил коммуниста. Он, конечно, помнил его фамилию и перевирал нарочно для издевки. Андрон поднялся следом за ним, стукнул себя кулаком в грудь.

— Хто больше всех давал восударству хлеба? Хто культурный хозяин? Ково первого премировало областное ЗУ[1] и сибирское ЗУ? Чей патрет был напечатан в газетах?

Он почти кричал.

---

[1] ЗУ — земельное управление.

— Меня наградили земельные органы власти. Меня пропечатали и поставили в пример другим. Я завсегда шел с ласковыми глазами навстречу нашему хрестьянскому советскому правительству. Пошто жа теперя на меня удавку ладят?

Они стояли друг против друга со стиснутыми зубами. У обоих кривились губы.

— Мы корчуем последние корни капитализма в деревне. Понятно?

— Чо же вы зорить нас, хрестьян, будете?

— Кулаков будем ограничивать.

Андрон передразнил Безуглого:

— Обграничивать, ну и обграничивайте на свою шею. На пароходе ехал, видал, поди, сколь хлеба на пристанях навалено?

Он сжал кулаки, удержал в них свою ярость. Глаза его опять стали лживыми и ласковыми.

— Верь моему слову, от тебя, старый ты мне дружок, не таюсь, все со скрытых пашен. На гумаге мы посев увеличили, на фахте сократили. Ране, скажем, иной сеял сорок десятин, показывал пятнадцать. Нонче он посеял двадцать и показал двадцать. По-вашему — увеличение, а по-нашему — уменьшение, потому хрестьянин со скрытого поля не сам ел, а на базар вез. Вы думаете, мужик будет дожидаться, пока к нему на двор придут лишки считать? Он сам свое хозяйство расфуркает.

Андрон помолчал.

— Чо же это будет? Я нарушу хозяйство, другой нарушит. Каково восударству-то придется?

Он снова сел.

— Може одумаетесь?

— Нет, не одумаемся.

— А мужики все надеются.

— Напрасно.

— И меня зорить будешь?

— Конечно, буду.

Андрон осмотрел Безуглого с ног до головы.

— Двадцать первый год забыл? Неминучая тебе смерть, кабы не я. Ужели не поимел Андрон Морев заслуги перед тобой? Сказывай, враг я тебе иль друг?

— Вы — кулак.

Андрон развел руками, опустил голову.

— Виноват я перед вами, товарищи, много работал, много хлеба сдавал восударству. Бейте, завине кругом.

— Никто вас бить не собирается, Андрон Агатимыч.

Я вам многим обязан, может быть, даже жизнью, но... мы строим социализм.

Андрон спросил с ласковым удивлением.

— Федорыч, ужели ты веришь в экую неумность?

Он не дал ему ответить.

— Отчего же выходит в кумынах все широким кверху? Ведь были в ей наши мужики, все имущество утопили, вышли наги и босы и сызнова нажили спроть всей кумыны вдесятеро.

Андрон замахал на Безуглого обеими руками.

— Обожди, Федорыч, послушай. Мы — люди темные и так располагаем, што от насильства у вас все не ладится. Собака — тварь животная, и та ласку обожает.

Безуглый громко плюнул.

— Вам, Иван Федорыч — плевки, а нам — шлепки. В двадцать первом годе нас, ровно скот, загоняли в кумыну. Вот Нефед Никифорыч и другие партизаны, и добрые партейцы не захотели, потому за имя никакой провинки перед советской властью не было, их не застращаешь. Ну, а которы у Кольчака служили иль просто богатые за свои головы опасались, те все взошли. Писались без отказу, потому раз начальство велит и сами про себя знали, што виноваты. Одно только просили объявить, на скольккой срок наказанье назначено. Сроку никому не дали и согнали всех в бараки. Присидатели, сикритаришки, разное кумынное начальство сидели в отдельных избах и паек себе особый брали, на работу не ходили. Жизня была очень печальная. Народ страждал в надежде на манифест. Дай бог, царство небесное Владимиру Ильичу, выдумал он нову политику.

— Разве и вы в коммуне были?

Андрон спрятал в бороде самодовольную усмешку.

— Я откупился.

— Неужели все коммуны были так созданы?

— Пошто, иные беднота организовывали без принуки. Понятия только у них никакого не было. Они думали, што зайдут в кумыну, и все будет, и работать никому не надо. Лежи с бабой и жуй пайку. Видали мы всяки ваши хитрушки-мудрушки. В осьмнадцатом годе беглые от голоду из Петрограду рабочие первый почин сделали. Ничего у них не вышло, никакого согласья и распорядку не было. Один пашет, трое пузо на солнце греют, пятеро ложками котел мерют. Держались они, покудова деньжонки да разное барахлишко разматывали, потом разошлись, и тех хрестьяне поймали и сдали белым на расстрел.

Андрон сверху вниз посмотрел на Безуглого.

— А ты, Федорыч, говоришь — социализьм. Он товда будет, ковда обману не будет, а обман товда унистожится, ковда каждый станет столь хитер, што ни ево никто обмануть не сможет, ни он никого. Пока же выходит по-вашему: не обманешь, не соврешь — веку не проживешь.

Безуглый назвал ряд коммун, которые существовали с двадцатого года и имели большое хозяйство. Андрон кивал головой, почесывал зад, зевал.

— Конешно, вам с горы виднея, мы ково знам, деревня.

Безуглый отошел от огня.

Ночью вызвездило. В шалаш лез холодный ветер. Безуглый ежился во сне, жался к горячей спине Андрона. Костер опять горел до утра.

* * *

Андрон остановился, вытер со лба пот, показал на следы.

— Ровно имя хто ворота растворил, набродили, как скотина.

Помольцев снял шапку. Голова у него дымилась.

— Дивно следу.

Он развел руками.

— А зверишек и духу нет.

Безуглый наступил на скользкий камень, споткнулся. Из-под ног у него с треском вылетела пара белых куропаток. В первое мгновение он принял их за два комка снега. Самец летел сзади самки, подгонял ее тревожным, резким криком: «Ху-ху-ху, ху-ху».

Птицы исчезли из глаз охотников далеко у кромки вечных льдов. Там дальнозоркий Андрон первый заметил два темных живых пятна.

— Федорыч, давай скорея бинокль.

Помольцев закрыл заслезившиеся глаза.

— Зря, Агатимыч, сумняешься. На факте видать, што звери.

Андрон быстро пошел. Помольцев зашагал за ним. Безуглый вытащил из футляра бинокль и тут же ткнул его обратно, побежал за Андроном.

Медведи бродили по льду. Охотники легли. Андрон решил, что звери двигаются в их сторону. Он установил на сошки свою огромную кремневку.

— Мерена бескопытные, сами на пулю лезут.

Безуглый забыл свои длинные ноги и свою неумелость. Он, припав к земле и затаив дыхание, следил за зверями, сам сильный и ловкий, как зверь. С ним рядом лежали его

товарищи — искусные охотники. Они поднялись сюда, на землю, отягощенную льдами, чтобы встать на четвереньки и вступить в бой с четвероногими. Внизу, в пещерах у костров, женщины и дети ждали их возвращения и мяса. Только мгновениями запах ружейного масла напоминал Безуглому, что он — человек, в руках которого машина чудовищной силы. Он до боли в пальцах сжимал винтовку.

Звери вставали на задние лапы, смотрели на небо. Они полгода пролежали в темных берлогах. Запах талой земли был вкусен. Они жадно надували свои легочные мешки, хлопали себя по бокам передними лапами. Из шерсти у них летела зимняя ночная пыль.

Звери они или волосатые люди?

Один хлопнулся на спину, схватил кусок льда и заиграл им, как мячом. Другой сел на зад, скатился с обледенелого утеса, перекувырнулся через голову, снова забрался наверх и снова съехал вниз, как озорник-мальчишка с горки.

Охотников душил смех. Ружья тряслись у них в руках.

— Исхуду иху боль, чо вытворяют.

Андрон смеялся и сердился.

— Нажрались, залягут теперя, испрожабь их.

Он встал на колени, осмотрелся.

— С полночной стороны морок идет.

Медведь швырнул льдину, постучал лапой об лапу, перевернулся на брюхо, закрыл глаза. Катальщик забрался на утес и лег на нем. На боках у него белели большие снежные пятна.

— Скрадать надо скорея, неровен час задурит погода, почнет крутить с мыска на мысок, товда к зверю не подойти. Нефед Никифорыч, Иван Федорыч, со восподом полезайте к имя, а я маячить вам буду отсюдова.

Помольцев и Безуглый спустились в широкую трещину. Андрон встал на высокий камень, как капитан на мостик, чтобы следить за зверями и управлять передвижением стрелков.

Ветер рассказал медведям об охотниках. Медведи встали с неохотой, но побежали быстрым, широким, неуклюжим галопом. Медвежья жизнь в последнее время плохо пахла. Медведи стали похожи на зайцев.

Охотники вылезли из трещин к пустым утесам. Безуглый в бинокль осмотрел южные склоны с зелеными пятнами первой травы. В круглые стекла сразу попал большой медведь. Он пробирался рыхлым снегом, скорее нырял, чем шел, и очень напоминал тюленя. На него налетела белая волна лавины. Медведь повернулся к ней мордой и лег.

Его захлестнуло, но не снесло. Он исчез в снегу и вынырнул с ловкостью настоящего морского зверя.

Охотники нашли место, где медведя захватила лавина. Камни и снег были в крови. От огромного напряжения у зверя на лапах лопнула кожа. Помольцев обрадованно показал Безуглому красные пятна.

— Зверь оследился, сыщем в одночасье.

Они пошли по следу.

Зверь, которого преследовали охотники, был черен, силен и острозуб. Он пришел с осинового мыса, от старой лиственницы, на которой из года в год медведи вели свои брачные разыскные записи. Шерсть на загривке у него приподнималась, когда он обнюхивал на дереве свежие следы когтей. Он встал на задние лапы, вытянулся во весь рост и с силой скребнул кору лиственницы всеми своими десятью крючками. По росту он был вторым. Широкие борозды выше его отметины, ниже и почти наравне с ней были не страшны. По запаху он давно знал всех медведей, сделавших затесы. Самый большой из них — старик, неповоротливый, с тупыми когтями и зубами. Медведи меньше его недавно потеряли молочные зубы, а новые у них были малы, как у щенят. Равный ему по возрасту и по силе недосчитывался одного клыка (жеребец выбил кованым копытом), кроме того, у него плохо действовала левая передняя лапа (была в капкане). Около лиственницы шла хорошо натоптанная тропа. На нее веснами медведи-самцы выходили искать самок. На тропе он нашел следы знакомой медведицы. Зимой она спала недалеко от его берлоги. Он шел последним. Другие были уже с ней. Лавина не задержала зверя. На пораненные лапы он не обратил никакого внимания.

Медведица и семь медведей ходили на круглой поляне. Медведи встали на дыбы, шутливо боролись, сталкивали друг друга с небольших утесов. Один светло-бурый самец держался ближе всех к самке. Он не принимал участия в общей возне. Черный зверь рысью подбежал к медведице. Светло-бурый зарычал. Черный оскалил зубы и молча ударил его по уху правой лапой, по морде левой и еще раз правой по шее. Светло-бурый отошел в сторону. Нос у него был разодран в кровь. Черный кинулся на толстого, серого старика, вырвал у него из бока горсть шерсти с салом. Мимоходом он стукнул по затылку темного небольшого медведя со щенячьими зубами. Лапы зверя топорами обрушивались на черепа, на ребра, на хребты соперников. Он, самый черный, оказался и самым сильным. Он занял первое место около самки. Медведица легла на теплый камень. Черный

лег рядом. Остальные по ветру друг другу в затылок. Самцы лежали неспокойно. Они поднимали головы, привставали, ворчали. Их волновал сладостный запах самки.

Медведи жили в одиночку. Они сходились только раз в году, выбирали сильного, отдавали ему самку. Самки тогда пахли сильнее трав и цветов. Самцы забывали голод, кровь набухала в их жилах, как вода в ручьях. Они свирепели и лезли через обледенелые скалы, переплывали реки, продирались сквозь таежные заросли. Самцы находили самок после долгих и трудных поисков. Самка отдавалась тому самцу, который около нее преодолевал последнее препятствие — когти и зубы всех соперников.

Медведица поднялась, расставила задние ноги, оглянулась. Медведи вскочили с ревом. Зубы мелькнули, как белые ножи. Звери сшиблись в одну бурую кучу. Из-под ног у них полетели камни, земля, снег, шерсть.

Безуглый с Помольцевым взбирались на гору. Андрон стоял «на гляденьи», жадными глазами следил за медведями. Ему не нравилось, что охотники шли медленно. Он сжимал кулаки, шептал:

— Скорея, скорея...

Охотники слышали рев, хорканье, сопенье, видели камни, кувыркавшиеся с вершины. У обоих поднимались волосы. Оба часто поправляли шапки. Идти было страшно. На горизонте от темных туч свешивались на землю косые полосы дождя. Тучи, как древние длинноволосые звери на толстых ногах, медленно волокли над горами свои водянистые животы, надвигались на охотников. За камнями, за утесами шевелились тени. Безуглому и облака, и горы казались живыми зверями. Звери шли на него, ревели, земля трещала под их тяжелыми лапами, осыпалась большими кусками. Безуглый с испугом думал, что он должен будет сейчас вмешаться в дела огромного звериного мира, должен будет останавливать движение и рев стихии. Он — один слабый человек. Охотники малодушно замедлили шаги. Андрон скрипел зубами, стонал.

— Здымайтесь, рядом звери. Упустите. Уйдут.

Медведи кончили драку. Они стояли длинным рядом. Морды, шеи, плечи у них были окровавлены, языки высунуты. Звери дышали тяжко и жарко. Самка немного отошла от самцов и снова призывно оглянулась. Черный бросился на нее, навалился ей на спину всей грудью и животом. Она устойчивее расставила ноги. Победитель ревел и устрашая, и торжествуя. Остальные ходили около, содрогались, яростно ворчали.

Безуглый преодолел страх, открыл у винтовки предохранитель, мысленно сказал себе:

— Командир, смелее.

Он шагнул вперед. Ему навстречу поднялись волосатые лапы туч. Тучи кувыркались с голубых полян неба на горы, вели первый весенний брачный бой.

Андрон впился себе обеими руками в бороду.

— Стреляйте! Самою́.

Безуглый увидел медведей. Они топтались между туч. Они были велики, толсты и лохматы. На оскаленных мордах у них металось белое пламя зубов.

Охотники почти одновременно подняли ружья. Выстрелы обрушились на зверей длинными раскаленными докрасна прутьями. Медведица ткнулась носом в землю. Светлобурый свалился на бок, захрипел. Помольцев судорожно дергал ржавый затвор берданки. У него завязла раздутая гильза. Молодые медведи зайцами скакали в разные стороны. Одноклыкий кинулся на охотников. Помольцев бросил ружье, схватился за нож. Безуглый поймал на мушку короткоухую голову, нажал гашетку. Медведь бессильно лег. Безуглый был спокоен. Он ощущал напористую, радостную силу во всем теле. Помольцев поднял и зарядил берданку.

Черный остервенело теребил самку за загривок. Самка лежала без движения. Он рванул ее когтями. Она рыхло перевалилась на спину. Он разорвал у нее живот и, мгновенно опьянев от крови, стал пожирать горячие внутренности. Зверь давился.

Охотники оглянулись на Андрона. Он стоял на четвереньках. Они насторожились, услышав громкое чавканье. Помольцев пошел на звук. Черный рявкнул. Помольцев вздрогнул и в упор выстрелил в него, не поднимая ружья к плечу. Пуля оторвала у черного средний палец на правой передней лапе. Безуглый заторопился и промахнулся. Медведь шарахнулся от стрелков за утес.

Андрон взволнованно тыкал рукой, направлял охотников на замеченного им зверя и не видел, что черный в сотне шагов бежал прямо к нему. Помольцев замахал Андрону, закричал:

— Задерет! Гляди!

Андрон не слышал, не понимал. Помольцев с тоской взглянул на Безуглого.

— Федорыч, може, твоя донесет?

Безуглый подумал, что его винтовка бьет на триста метров. До Андрона верных четыреста. Впрочем, думать было некогда. Черный свалил охотника, ломал у него кремневку.

Безуглый поднял прицельный щиток и наугад выстрелил. Зверь соскочил с Андрона и скрылся. Андрон лежал неподвижно. Безуглый встревоженно вскрикнул:

— Я в Андрона попал?

Помольцев напряженно вглядывался, молчал. Безуглый дрожал. Оба были бледны.

— Неужели он успел его задрать?..

Помольцев побежал. Безуглый бросился за ним.

С Андроном они встретились недалеко от убитых медведей. Он держал в руках ствол и обломок ложи. Шабур[1] и рубаха его были изорваны, болтались длинными лоскутами. Оголенная шерстистая грудь отливала золотом. На ней краснели четыре неглубокие царапины.

— Поиграл со мной зверишка, трафь его в копалку.

Андрон говорил сконфуженно, точно извинялся за свою оплошность.

— Палец средний ему хто-то из вас отстрелил. Он на меня лапой-то ранетой замахнулся, ровно нечистик вилами. Навалился, язва, из роту душина...

Андрон плюнул.

— По полому месту угадал ты, Федорыч. Пуля аж сгукала у ево в ребрах.

Он протянул Безуглому руку, попытался улыбнуться.

— Настоящий ты мне товарищ и друг.

Андрон задергал губами, заморгал.

— Однометом задрал бы меня зверь...

Он устало сел. Помольцев вздыхал, молчал. Безуглов отвернулся и долго сосредоточенно разглядывал свою винтовку.

* * *

Убитые медведи лежали темными круглыми обрубками. Безуглый садился на них верхом, теребил их за уши, за лапы, мерил длину их когтей, разглядывал густоту шерсти. Он был очень похож на ребенка, занятого интересными игрушками. Андрон, не отрываясь от работы, поглядывал на него с ласковой усмешкой. Он сидел полуголый и чинил свою рубаху. Помольцев старательно точил ножи.

Безуглый обрадовался, когда Андрон встал, оделся, засучил рукава. Помольцев отложил в сторону точильный брусок, спросил:

— Беловать будем?

---

[1] Шабур — домотканый зипун, балахон, армяк.

Андрон посмотрел на солнце.

— Однако, время.

Безуглый начал перевертывать одноклыкого на спину. Андрон остановил.

— Помешкай, Федорыч, я сперва надрез сделаю.

Он быстро, как опытный закройщик материю, раскроил шкуру зверя на груди, на брюхе и на лапах. У всех медведей шкуры с внутренней стороны были в рубцах от когтей, зубов и пуль. У светло-бурого между двух сломанных и неправильно сросшихся ребер завяз многолетний засаленный комок свинца. Охотники неторопливо работали ножами. Для них каждый кусок шкуры раскрывался, как страница звериной летописи. Они иногда вонзали свои ножи в туши, определяли толщину мяса и сала. Медведи были мясисты и жирны. Ножи погружались до рукояток. Охотники сладко жмурились, качали головами. Андрон поднял наравне со своим лицом красное сердце клыкастого.

— Видал, Федорыч, серсе-то у нево маненько не с мою голову? Гляди, машина кака, ни пятнушка, ни полосочки, ровно из чурки выточено. С эдакой колотушкой он на любую гору скачет без задыху.

Капля крови крупной, темной вишней упала Андрону на рубаху, скользнула вниз. След ее вспыхнул, как царапина. Андрон положил сердце, стал вытягивать кишки.

— Меряй не меряй: тридцать два аршина у кажного. Очень они для вожжей способны. На морозе не мерзнут.

Андрон разнимал медведя на куски и, как учитель ученику, объяснял Безуглому:

— Ты слыхивал ковда, што главный струмент у нево костяной?

Андрон отрезал и показал ему фалл зверя. Он постучал по нему ножом.

— Без осечки, паря, навсегда твердой.

Безуглый был искренне уверен, что убил медведей, самых огромных, свирепых и жирных. Никто, конечно, ранее него не убивал таких. Он вышел на борьбу с ними совершенно один. Разве можно считать Помольцева с его ржавой берданкой? Безуглый с трудом скрывал свою радость. Хорошо бы сюда собрать своих друзей и товарищей. Он всем позволит посмотреть и потрогать медвежьи зубы и когти. Он каждому даст мяса.

Мясо и сало охотники таскали к пещере, в которой решили заночевать. Безуглый гнулся под тяжестью медвежьих окороков. Он шагал по камням сейчас так же, как и сто тысяч лет тому назад. Он нес теплую кровавую добычу

самке и детенышам. Он, волосатый пещерный охотник, знал, что человеку хорошо, когда у него много мяса. Он скалил зубы. Он улыбался.

Охотники были утомлены и голодны. У костра они сидели молча. В котле клокотала седая пена. Кусок грудинки, укрепленный на двух шомполах, шипел, капал в огонь жиром. Андрон заговорил, когда его ложка стукнулась о дно опорожненной посудины.

— Человеку от бога положена в пищу тварь копытная. Я же, грешник, оскверняю брюхо свое зверем когтистым.

Помольцев и Безуглый подавились супом. Андрон посмотрел на них, захохотал, отрезал себе толстый пласт душистого медвежьего шашлыка.

Глаза охотников суживались, рты широко раскрывались. Ели они много. Сытые сидели потом, полуразвалившись. Седла заменяли им спинки кресел. Они отдались любимому занятию всех охотников — беспорядочным рассказам о встречах со зверями и птицами, воспоминаниям. Все виденное на охотах извергалось ими из глубин памяти, может быть, в десятый раз и заново обсуждалось с медлительностью и смакованием.

Помольцев пытался рассказать о себе.

— Этта стрелил я бельчонку...

Его остановил Безуглый.

— Нефед Никифорыч, вы лучше расскажите, как у вас патрон завяз, когда одноклыкий к нам кинулся.

Безуглому хотелось, чтобы охотники еще раз поговорили о его смелости и искусстве в стрельбе. Помольцев и Андрон стали вспоминать утреннюю охоту. Они разобрали обстановку, в которой произошла встреча с медведями, выяснили достоинства обоих стрелков, отдали должное твердости Безуглого и особенно задержались на оценке его дальнобойной винтовки. Много времени ушло на рассказы о том, что каждый во время охоты сделал, подумал, крикнул. Андрон закончил всестороннее обсуждение вопроса обращением к Безуглому:

— Можно с тобой, Федорыч, зверя промышлять, сотоварищ ты правильный.

Охотники поднялись размять ноги. Помольцев дернул плечами, топнул. Андрон мотнул головой. Тела их закачались из стороны в сторону. Охотники, как крылья, широко раскинули руки, стали медленно приплясывать. Оба тянули бессловесный припев, похожий на бульканье тетеревов.

— Ле, ле, ле!

Безуглый встал в круг, раскрыл руки. Ему хотелось петь о медведях, об их мясе и шкурах. Он выкрикнул:

— Ле, ле, ле!

Охотники сильнее замахали руками. Пляска их у огня была проста и яростна, как пляска птиц весной.

Спать легли в пещере. Шкуры пахли сырой кровью. Длинная шерсть на них была пушиста и тепла. Безуглый голый бродил по песчаному берегу моря, прятался среди валунов, каменным топором бил медведей, выламывал у них костяные фаллы. Фаллы были похожи на длинные молочно-розовые жемчужины. Он нанизал их на сухую жилу оленя и отнес в пещеру своей густоволосой самке. Она надела ожерелье. Глаза у нее раскрылись черными крыльями бабочки. Он повалил ее на мохнатое теплое ложе.

Безуглый проснулся, потрясенный сильнейшим желанием. Во рту, как след поцелуя, был солоноватый вкус крови. Под шкурой стало жарко. Безуглый выполз к костру. Горы лежали, белые и голые. Впадины их темнели круглыми кратерами мертвых вулканов. Голубые языки ледников висели над чернотой ущелий. Охотник долго смотрел на небо. Над его головой текли синие реки вселенной. Вечность была занята своим обычным делом — переливала из сосуда в сосуд. Недалеко от озера ветер гонял льдины, бил их о берега. Льдины рассыпались со звоном. В пещере громко капала вода. Звон льда напоминал переливчатую игру курантов. Стук воды был четок и мерен, как стук маятника. Безуглый думал, что ход часов вечности неумолимо точен, они одинаковым бесстрастием отсчитывают сроки жизни целых миров и каждой ничтожной козявки. Он взял себя правой рукой за левую. Кровь двигалась по жилам размеренными толчками. Он знал — с годами бег ее будет терять свою правильность, она станет стыть, портиться. Две круглые пружины кровяных часов рано или поздно сломаются. Безуглый не чувствовал страха перед неизбежным концом. Он был слишком здоров и сыт. Он посмотрел на большие, белые от жира куски медвежьего мяса, ухмыльнулся и громко рыгнул.

* * *

Алтайцы сидели в седлах. Русские вьючили лошадей. Охота была удачной. Четыре медвежьих шкуры — у Енмековых. Три — у Безуглого с товарищами. Переметные кожаные сумы раздулись от сала и мяса.

Горы до облаков затоплены прозрачной водой. Облака

покачивались на ней, как белые льдины. Вода текла по глазам охотников. Рукава и кулаки не помогали. Охотники ехали по дну моря. Шумы огромного человеческого мира не доходили до обледенелых подводных хребтов. В них была тишина. Безуглый слышал стук своего сердца. Копыта лошадей на донном льду позванивали, как колокольчики. В суминах густо хлюпал медвежий жир.

В сумерки охотники увидели знакомые аилы. Издали очертания стойбища казались рисунком дикаря на скале. Безуглый теперь внимательно разглядывал нищенские аилы, ничтожные табуны скота, узкие полоски пашен. На межах лежали кучи камней. Горные земледельцы складывали их годами, расчищая неудобные поля. Деревья около кочевья стояли зарезанные, с белой оголенной древесиной. Кора с них была содрана широкими кольцами от корня на высоту человеческого роста. Ею кочевники покрывали свои жалкие жилища. Летовки и зимовки теснились в одной щели. Алтайцы кочевали на полкилометра в одну сторону, на полкилометра — в другую, на километр — вперед, на километр — назад.

У юрт Енмековых охотники съехались с Анчи и его гостями. Они возвращались с камлания — пятого по счету. Пять кобылиц — лучших лошадей стойбища — были разорваны в жертву Ульгеною. В юрте все сели вокруг очага, закурили. Андрон шепнул Безуглому:

— Живут по щелям люди тоже, прости восподи. Заткнут задницу пяткой и сидят цельный день, табак жгут. Тут и вся ихняя занятия.

У Безуглого дернулись губы. Он отвернулся от Андрона.

Длинные, окованные медью трубки сопели. Ни гости, ни хозяева не начинали разговора. Люди должны помолчать и подумать.

Первым поднялся хозяин — Анчи. Он вылил в очаг туяс жертвенного лошадиного жира. Дым толстым нефтяным столбом встал над юртой, уперся в синий потолок неба. Звезды в тяжелой копоти метались мелкими искрами костра, зажженным на весь мир. Анчи стоял как старший над всеми людьми и всем равный. Он роздал поровну каждому мясо, добытое на охоте его сыновьями. Никто не был обойден: ни старик, ни ребенок, ни сильный, ни слабый. Охотник знал, что тайга — мать людям, когда они при разделе дичи — братья. Люди будут счастливы, мясо никогда не переведется в их котлах, если они смогут справедливо делить свою добычу. Алтайцы отходили от Анчи с полными руками.

В растопыренных пальцах куски сырой медвежатины висели стручками красного перца.

Тойлонг молча наливала гостям чегень. Безуглый отхлебывал из деревянной чашки кислую молочную жижу и слушал Анчи. Алтаец мог бы и не говорить. Безуглый сам знал все. Он думал, что рассказ Анчи повторит и негр, и индеец, и индус. В своих колониях русские, англичане, французы, немцы хозяйничали, как родные братья-разбойники. В Африке, в Америке, на островах Тихого океана, в Туркестане и в Сибири у них было одно оружие — пуля, крест и деньги. Безуглому дома и фабрики сибирских купцов показались кораблями рабовладельцев. Вражеской эскадрой развернулись они вдоль хребтов Алтая. С них высадились и бросились на страну отряды завоевателей. Переселенец шел с топором. Он подсек охотничье хозяйство алтайца. Купец наехал с грошовыми безделушками. Он за пятачковое зеркальце брал быка, за нитку стеклянных бус — коня. Туземец сразу оказался у него в кабальном неоплатном долгу. Поп пер с проповедью учения Христа. Крест на его груди был для язычников страшнее ножа грабителя. Лучшие плодороднейшие пахотные и пастбищные земли были захвачены монастырями и духовными миссиями. Войны — мировая и гражданская — расхитили последний скот и лошадей. Анчи в одном не прав: не все русские — враги алтайцам. Революция прогнала попов. Монастыри теперь — школы. В них учатся дети алтайцев. Революция вернула алтайцам земли, отнятые у них белым царем и его слугами. Алтайцы снова стали хозяевами своей страны. Однако большевики, алтайцы и русские, дрались с белогвардейцами, алтайцами и русскими, не для того, чтобы в горах вместо чужих купцов, кулаков и попов появились свои баи и ярлыкчи...

Аргамай Кудачников перебирал пальцами редкие седые волосы своей бороденки. Он решительно вмешался в разговор хозяина с гостем. Он ведь давно говорил, что жить надо по-новому. Он еще в двадцать седьмом году хотел организовать колхоз. Все соглашались. Его выбирали председателем. Он — старый и опытный и большой скотовод. Он не понимает, почему облисполком не резрешил живущим в Крутой Щели объединиться. Аргамай Кудачников много слышал о справедливом коммунисте Безуглом. Слава его на Алтае бела, как вершина Белухи. Может быть, он поможет алтайцам в трудном деле?

Лицо Аргамая Кудачникова, круглое и плоское, напоминало желтую деревянную тарелку. Глаза и рот были пятна-

ми орнамента, положенного серой и малиновой красками. Он сидел в грязном, замасленном синем халате и в вытертой рыжей высокой шапке из лисьих лапок. Аргамай Кудачников при советской власти — полный бедняк. Ранее ни он, ни батраки-пастухи не знали, сколько у него скота. Он был коннозаводчиком двора Николая Второго, ездил в Германию и в Англию. Безуглый сказал, что в Улале решили правильно. Баи не могут быть в колхозах.

Темирбаш согласна с Безугловым. Алтайцам не нужны баи. Без них каждый будет богатым. Отец говорил: Алтай беден. Неверно. Земля сильна. Ее надо положить себе под ноги, как убитого марала. Надо распороть ей грудь, вынуть из нее жир — золото и затвердевшую кровь — руду. Надо распилить ее драгоценные рога — горы. Отец жалел: не стало коней. Есть кони. Езуй Тантыбаров оденет железобетонные хомуты на миллионы неезженых белогривых скакунов. Они будут вертеть колеса машин в Улале, в Риддере, в Зыряновском руднике.

Аргамай и его родственники закрывали рты руками. Они обижены. Девчонка вступила в разговор с мужчинами. Она учила старика. Аргамай не ушел потому только, что не хотел оскорблять Анчи — покидать его юрту и в то время, когда в ней поставлен на огонь котел с аракой. Гордость отца заставила забыть обычаи своего народа. Его дочь говорила умные слова, которым она научилась в большом русском городе. Анчи не остановил Темирбаш.

Дымящиеся куски вареного мяса и чашки горячего вина положили конец спорам. Безуглому был подан первый, самый жирный и почетный кусок грудинки. Он отрезал от него немного и передал соседу Мампыю, Мампый — Аргамаю, Аргамай — Андрону, Андрон — Анчи. Кусок обошел всех мужчин в юрте. Тойлонг непрерывно подливала им араку. Безуглый улыбался каждый раз, как слышал позвякивание ключей на ее поясе. Он пьянел. Он неожиданно подумал, что Папа римский похож на жену Анчи. Папа ведь тоже ходит в громоздкой шапке, в неуклюжем длиннополом халате. У него такие же ключи от рая, как у этой бедной алтайки от сундуков. Безуглый уткнулся лицом себе в колени. Его спина тряслась от смеха. Он увидел Рим, как большой костер в ночном небе. Над ним торчала черная рубаха Муссолини. «Фашизм спасет мир». Изза спины диктатора выглядывала рожа Цаппи. Труп Мальмгрена был распростерт на льду, как красный крест. Ничего у них нет. Их путь — от человека к зверю. Актеры с ключами из бутафории мирового театра.

Собака долго и жадно глодала кость над ухом Безуглого. Безуглый проснулся. Над ним с костью в зубах сидела старуха Иткоден. На юрту сыпался железный лом галопа. Всадник посадил коня на зад у самой двери и закричал на все стойбище:

— Есть новости!

В юрту влез письмоносец-кольцевик Санабас Тукешев. Он едва успел сесть к огню. Люди повисли у него на плечах. Газеты и письма вылетели из сумы белыми птицами, затрепыхались в руках счастливцев. Безуглый заметил почтовые штемпеля Москвы, Ленинграда. Дети, братья, сестры писали из школ, с курсов, со службы.

Темирбаш развернула «Кызыл ойрот». В юрте стало тихо. Девушка читала с торжественной медлительностью. Мужчины подкладывали дрова в огонь и даже выходили за ними наружу. Мужчина может унизиться и взять на себя женскую работу, если женщина так хорошо читает.

Безуглый записал у себя в дневнике:

«К докладу о национальном возрождении Ойротии. До революции у алтайцев своей письменности не было».

* * *

Охотники спускались к Белым Ключам. От села навстречу им поднимался всадник в необыкновенной широкополой шляпе. В усах у Андрона шевельнулась снисходительная улыбка.

— Шалается, мужичонка, праздный, камешки все насбирыват. Всюю избенку завалил, самому и лечь некуды.

Помольцев быстро оглянулся.

— Напрасно так рассуждаете, Андрон Агатимыч, по мне товарищ Детятин — человек очень умственный.

Дитятин подъехал, приподнял тяжелую кожаную шляпу. В кожу он был одет с головы до ног. Помольцев подал ему руку, спросил:

— На разгулку по научной линии отправились, Илья Евдокимыч?

Дитятин опустил голову.

— Горы слушать еду, Нефед Никифорович. Каждый год весной езжу.

Андрон бородой закрыл рот. Он смеялся. Дитятин поднял на него большие, спокойные, серые глаза.

— Андрон Агатимыч, разве вы не брали во внимание, что горы не есть мертвое вещество? Вы, наверное, неоднократно имели свободную возможность наблюдать, как сползают камни, валятся деревья?

— Где нам, товарищ Дитятин, мужикам необразованным, про камешки думать. Мы все о хлебе.

Андрон задрал бороду до глаз.

— Опассимся, как бы ученые голодом не заморили.

Безуглому Дитятин сказал о себе:

— Живу своим счастьем — разрисовываю дуги, опечки, пишу декорации, точу самопряхи.

Лошади стали заглядываться на гору. Охотники тоже подняли головы. Высоко над тропой они увидели медведя. Он стоял на голом утесе и, опустив башку, болтал ею из стороны в сторну. Андрон козырьком приложил к глазам руку.

— Однако это — мой дружок, который мял-то меня. Ишь тошнует, рана-то ево болит.

Андрон не ошибался. Наверху был беспалый черный зверь с простреленными боками. Он учуял охотников. Голова его остановилась. Снизу полз к нему ненавистный и страшный запах. Он круто повернулся и полез в гору. Охотники не стали его преследовать. Они спешили домой. Дитятин опять поднял шляпу:

— Ну, будем знакомы.

Ветер сдирал с земли последние белые лохмотья снега. Земля, разгоряченная, потная, бесстыдная, лежала с оголенным черным брюхом. Она ждала сеятеля.

Андрон свернул с тропы на поле. Конь под ним сразу погрузился до колен, точно ступил в темную, густую воду. Андрон горестно вскрикнул:

— Пахарь пашню покинул! Земля пустует!

Безуглый привстал на стременах. Незасеянные черные полосы на зелени всходов показались ему следами громадного зверя. Ему опять, как на охоте, не хватало воздуха. Он поправил на плече ремень винтовки и сквозь стиснутые зубы сказал Андрону:

— Засеем.

На своей пашне Андрон слез с коня, опустился на колени. Миллионы слабеньких зеленых ножек торчали из теплой утробы матери. Андрон бережно, как живот беременной женщины, щупал землю.

— Прет пашаничка, ровно хто толкает ее, хоть конем топчи, так в ту же пору. Погубит она меня, травка христова.

Он снизу вверх посмотрел на Безуглого.

— Федорыч, пошто у нас жизня какая-то дурная стала? Хозяин урожаю своему не рад. Ране думал — уро-

дилось бы поболе, нонче думашь — посохло бы, градом побило бы, помха[1] бы пала.

На нем лежала плотная тень Безуглого. Безуглый вместо глаз у него видел мертвые дыры глазниц.

Земля неожиданно содрогнулась под ногами охотников. Над Оградной горой возникла воронка грязного дыма. Скала, висевшая над Талицей, мелькнула крылом птицы и исчезла. На крутом боку горы появилась глубокая зазубрина. Взрыв гремел камнями в ущельях.

Безуглый показал плетью в сторону подорванной горы.

— На нас, Андрон Агатимыч, буржуи работают. Большевикам дорожки расчищают.

Андрон пробормотал:

— Агличаны... тракт...

Он думал:

«Восподи, пошли ты погибель скорую на правителей наших неразумных».

В седло он залез с трудом. Ветер смял его бороду. Андрон уронил на гриву коня две темные, кипящие слезы.

Безуглый услышал свое имя. Из боковой долины шла к нему Анна. Безуглый бросил повод и лошадь. Анна остановилась, опустила глаза.

— Пойду, думаю, может, встречу...

Она точно защищалась от него, подняла перед собой руки. Губы ее были горячи и влажны.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Безуглый, босой, заспанный, сидел на пороге. Голова у него напоминала растрепанный ветром сноп пшеницы. Он обеими руками приминал свои упрямые вихры. Анна стояла спиной к нему у кухонного стола. На столе, на подоконниках и на лавке были расставлены листы с белыми сырыми шаньгами. Анна круглой деревянной ложкой накладывала на шаньги сметану. В печи стреляли сухие еловые дрова. Огненные зайцы прыгали на тесте и на голой до локтя руке женщины. Безуглый через плечи Анны видел в верхней половине окна раскаленный круг солнца. Солнце было похоже на пылающее чело русской печи. Снежные вершины вспучивались пышными шаньгами в розовых пятнах печных огней. Ложка Анны поднималась

[1] Помха — помеха, препятствие.

выше гор. Безуглому казалось, что Анна мажет сметаной горы. Он подошел к ней сзади, обнял. Его руки хватанули ее за полные груди, спустились ниже к крутым бедрам. Анна широко потянула ноздрями воздух.

— Иван Федорыч, сдурел? Ночь-то тебе коротка была?

Она взяла решето со стола и, не обертываясь, надела ему на голову. Мучная пыль попала ему в нос, в глаза, запачкала щеки. Он засмеялся, сбросил с головы деревянную шляпу, вышел из избы.

На заднем дворе Безуглый увидел серого коня Анны. Конь подошел к жердяным воротцам, заржал, скосил на Безуглого свой выпуклый темный глаз. Безуглый вытащил из ворот две верхние жерди. Конь перескочил через ограду, рысью побежал к реке.

Безуглый, выходя из дому, не заметил у крыльца маленькую, сухонькую старушку в черном платке. Она чинила растянутую на изгороди рыбачью сеть. Он столкнулся с ней лицом к лицу, возвращаясь с заднего двора. На плече у старушки сидел сизый золотоголовый петух. Безуглый остановился. Петух захлопал крыльями. Старушка поклонилась и сказала:

— За петушка-то извините меня, Иван Федорыч, стара стала, утрами просыпаю, вот и завела будильничек.

Она подала ему руку.

— Анфия Алексеевна Пряничникова, а попросту бабушка Анфя. Слыхали от Анны Антоновны?

Безуглый ничего не знал об Анфии Алексеевне. Он прошел в дом. Анна объяснила ему:

— Заходит она ко мне. Когда неделю проживет, когда и поболе. За хозяйством присматривает, за Никитой. Думаю, не объест она меня. Еда-то ее в семье незаметна. Никита до ее сказок страсть охоч. Все около нее трется. От соседей иной раз ребятишек наберется десяток цельный. Век свой она в чужих людях. Родова-то ее давно начисто перемерла.

Анна загремела заслонкой, заглянула в печь.

— Муж у ней политик был, только не нашей партии. Она с им при царской власти все по ссылкам ездила. В остроге он и зачах, до германской войны еще, однако.

Безуглый передернул плечами. Он вспомнил свою сырую камеру, кандалы. Ему не захотелось говорить с Анной. Он опять вышел на крыльцо. Никита соскочил с полатей, выбежал за ним следом...

Тамбовской губернии помещику Отрыганьеву понравилась пестрая борзая сука его соседа, помещика Красменева. Дед Безуглого по матери, крепостной крестьянин Отрыганьева и лучший его садовник, был отдан Красменеву в обмен на собаку. За дедом и его родом утвердилась уличная фамилия Собакиных.

После падения крепостного права дед Алексей женился и посадил за своей избой пять яблонь. Он стал сажать их каждый год. Его сыновья селились с ним рядом, загораживали свои сады. Внуки шли за дедом след в след — начинали с посадки плодовых деревьев. Собакины расселились на половину села Отрадного. Отрадное и в уездном городе, и в окрестных деревнях перекрестили в Собаковку.

Отец Безуглого не удержался на узкой полосе чернозема. Надел свой сдал в аренду кулаку и ушел бурлаком на Волгу. Жизнь он раскидал по кабакам и публичным домам. Умер тридцати лет — пьяный замерз на крыльце винной лавки. Иван и Федор росли с матерью. Мать стирала белье на помещиков Красменевых. В деревне болтали, что у нее и до замужества, и после ухода мужа на Волгу была тайная любовь с молодым барином, студентом Глебом, и что старшему ее сыну Ивану надо бы носить фамилию своего настоящего отца, помещика Красменева. После смерти мужа Дарья Безуглая с обоими сыновьями уехала в уездный город. Вдову взял к себе на квартиру брат покойного Яков — слесарь железнодорожного депо. Мать по настоянию дяди и с его помощью отдала сыновей в гимназию. Дети не понимали, почему она прятала от них заплаканные глаза и расстиранные в кровь руки.

В Собаковке Иван бывал наездом. Однажды болтун и пьянчужка Сидор Кривошеев обругал Безуглого барчуком и очень подробно объяснил ему, почему вся Собаковка считает его сыном ученого барина Глеба Алексеевича Красменева. Безуглый дома спросил мать. Она долго плакала, потом сказала, что любила только одного человека — Федора Безуглого.

Дядя Яков поручал племянникам разбрасывать и расклеивать листовки. Старшего он ввел в организацию. На каторгу Яков и Иван пошли вместе. Царский суд осудил их за принадлежность к «преступному сообществу» — российской социал-демократической рабочей партии большевиков.

С матерью после каторги Безуглый увиделся только в восемнадцатом году. За несколько дней до приезда сына она

сходила в загс с Глебом Алексеевичем Красменевым. Безуглому не понравилось, что отчим или отец (он так и не знал точно) при регистрации взял себе фамилию его матери. Помещик Красменев был теперь членом коллегии защитников Безуглым.

У деда, как и у матери, Безуглый бывал редко. Безуглый в двадцать пятом году встретил его таким же, каким помнил в пятнадцатом — розовая лысина, голубые блестящие глаза, белый клин бороды. Восьмидесятивосьмилетний старик сидел за столом, с неизменной своей солдатской выправкой, веселый, широкоплечий, прямой, как юноша. Он легко ходил на лыжах за зайцами и редко давал промах по бегущему зверю. Вальдшнепы, неосторожно залетавшие к нему в сад, никогда не уходили от его длинной, букетного дамаска, шомпольной двустволки. Безуглый прожил у деда погожую предосеннюю неделю.

Дед стучал по дорожке кожаными калошами. Ему их шил сапожник по особому заказу. Он вел внука в дальний угол сада. Они сели на широкую скамью. Многорукие яблони тяжело наваливались на скрипучие костыли-подпорки. Родовые муки раздирали крепкие тела деревьев. Яблоки скатывались с их опущенных холодных лбов, как крупные капли пота. Дед положил тяжелую пятерню на колено внука.

— Ваня, слушай сюда.

Пальцы старика были тверды.

— Мальчонкой махоньким ел ты тут на скамейке яблоко. Одно семечко выпало тебе в горстку.

Дед теребнул бороду.

— Повеселил ты мое сердце, внучек, в землю-то семечко воткнул. Память, думаю, по себе Ванюша сажает. Не с пустыми руками пойдет по земле, делу дедовскому будет наследник.

Дед показал на большую яблоню около скамьи. Золотые спелые плоды мигали в ее листьях, как утренние звезды. Безуглый с гордой радостью смотрел на мир, созданный его рукой. Он посадил. Он, который считал себя гостем в саду. Безуглый тогда же ощутил в себе горечь зависти к деду. Его сады разливались и шумели, как реки. На зеленых берегах перекликались крикливые толпы его детей и внуков. Дед после смерти будет жить в их рассказах, в их походке, в чертах лица, в окраске волос и глаз. Яблони, посаженные им, долго будут цвести и ронять на землю отвердевшие румяные капли сладкого сока. Безуглый не посадил своего сада. Он расчищал тайгу для других. На

пасеке у Андрона в двадцать первом году только время оборонило несколько недель для него.

Безуглый сидел на крыльце, держал на коленях Никиту. Он смотрел на свое золотоголовое, вихрастое детство. Отец и сын покачивались друг против друга, как две волны бессмертного человеческого океана. Одна поднимается к своему пределу. Она скоро закудрявится сединой и исчезнет. Другая повторит ее путь — долго будет играть на солнце золотыми брызгами. Отец так думал о себе и о своем сыне.

— Тятя, а яблоки сладкие?

— Сладкие.

— Слаже арбуза?

— Кислее.

— Как квашена капуста?

— Слаще.

— Мы к дедушке поедем?

— Поедем.

— Он маленько не умный?

— Почему?

— А пошто он дался на собаку перемениваться?

— Тогда такие законы, сынок, были. Людей меняли и продавали, как скотину.

— Наши партизаны дали бы им законы.

— Ну!..

— Они Отрыганову етому башку бы оттяпали, а не то ишшо и напополам его пилой распилили.

— Почему пилой?

— А дядя Михей с теткой Пелагеей колчаковских буржуев толстопузых чем пластали?

— Неправда.

— Ты наскажешь, слушай тебя. Я от роду не врал, честное ленинское. Думаешь, я маленький, без понятия.

Никита высвободился из отцовских рук, колен. Он прыгнул через все четыре ступеньки крыльца, схватил хворостину и погнался за свиньей Оксей. Окся мешала бабушке Анфии, лезла носом в сеть. У бабушки вокруг глаз и губ заиграли морщины. Она, поглядывая на мальчика, говорила Безуглому:

— Никита первый мой помощник. В прошлом году мы с ним сажали картошку. Я стара стала, не вижу. Он меня поправляет: «Бабушка, у тебя ямочки криво пошли. Бабушка, опять ты вбок поехала». Посмотрю — и верно, свильнула с борозды, слепая.

Безуглый слушал старуху и смотрел на поля. За поско-

тиной лежали холсты, как узкие полоски снега. Вечные снега на вершинах казались длинными холстинами. Безуглый сидел во всем белом на выскобленном добела крыльце. Свежие сквозняки проносились между резных балясин. На Безуглом трепыхалась рубаха.

Из двери высунулась Анна. От работы у огня щеки ее горели. Она насупила брови и, подражая сельисполнителю, зазывающему на собрание, закричала:

— Граждане, в избу, шаньги поспели, самовар на столе!

За столом Безуглый и Анна переглядывались, беспричинно фыркали. Он рычал на нее:

— Баба, чайку мне погушше.

Они озорничали. Безуглый был зачинщиком. Анна подносила ко рту блюдце. Он стучал по столу кулаком.

— Жена!

Она вставала, поджимала губы, складывала на животе руки, кланялась и спрашивала:

— Что прикажешь, батюшка Иван Федорыч?

Безуглый топал ногами, хохотал.

Самовар был выпит. С большого деревянного блюда исчезли все шаньги. Безуглый обеими руками похлопал себя по животу.

— Лям-пам-пама! Не звучит! Прямо беда. Как я с таким брюхом буду хлебозаготовками заниматься? Крестьяне скажут, помещик российский нас обирать приехал.

Анна ставила в шкаф вымытую посуду.

— Ты бы, гражданин помещик, навоз из стайки у коровы убрал. Дело это самое ваше мужичье.

Анна стояла спиной к Безуглому. Он не видел ее смеющихся глаз.

— Навоз? Вилами?

Анна уткнулась лицом в закрытые дверцы шкафа.

— Ужели топором?

Безуглый пошел к двери.

— Можно. Я это умею.

Безуглый провозился на дворе целый день. Анна заставила его вычистить все стайки. Он починил поломанное звено изгороди, вывез за деревню навоз, вымел ограду.

На закате Безуглый открыл ворота, вышел на улицу. Руки у него были обожжены, в спине и в ногах мешала тяжелая теплота. Анна остановилась на дворе. Она держала подойник и белое полотенце. С Оградной горы сбегало стадо. В пыли мелькали задранные хвосты, морды, рога. Скот ревел. Он точно попал в серую снежную

лавину, и его несло вниз, на крайние избы Белых Ключей.

Селом стадо шло медленно. Вымена у коров были полны, сосцы напряжены. За стадом на дороге стлались мокрые молочные нити. Скот нес в своей шерсти знойные запахи молока и пота. Воздух в улице сразу нагрелся.

Горы поднялись и закрыли солнце. Сумерки и тишина отделили землю от неба. Земля замолчала мгновенно. Безуглый услышал тихие всплески в подойниках и спокойные вздохи коров, отрыгающих жвачку.

Анфия Алексеевна кормила цыплят. Безуглый подошел к ней, присел на корточки. Цыплята заскочили ему на колени, на плечи, стали клевать у него пуговицы рубахи. Безуглый брал их в руки и внимательно разглядывал теплые, пушистые, пикающие комочки мяса. Гусыня привела с реки стаю гусят. Гусята щипали растопыренные пальцы Безуглого, посвистывали. Коровы легли рядом, тяжелобрюхие и громоздкие. Серко в дальнем конце двора фыркал и хрустел сеном. Безуглый заглянул в амбар, зачерпнул в закроме горсть холодного золотого зерна, пощупал его, попробовал на зуб. Амбар Безуглый запер, ключ положил себе в карман. Он долго еще ходил потом по огороду, смотрел на свежую зелень овощей, на могучие побеги сорняка вдоль изгороди. Огород рос на глазах, как будто из земли на поверхность непрерывно выметывались упругие зеленые струи.

Вечером река была слышнее. Безуглый стоял между гряд, слушал. Ему казалось, что он слышит шум зеленых ростков, струящихся у него под ногами. Безуглому хотелось навсегда остаться в Белых Ключах, в своем доме, с своей женой и сыном. Он хотел обсеменять землю и собирать зерно в закромы.

Анна стучала в избе посудой. Она собирала ужин. Безуглый уверенной походкой хозяина поднялся на крыльцо. Ступени заскрипели под ним. Он открыл дверь и шагнул в темное и теплое нутро избы.

Ночью Безуглый положил свои руки на живот Анне и слушал долго, как пахарь землю, потом спросил:

— Анна, ты понесла?

Анна повернулась к нему лицом.

— Пустоколосая я, Иван Федорыч.

Она горячо дохнула ему в ухо.

— Заждалась я тебя, перестоялась, ровно пашня без дождика.

Безуглый с горькой завистью снова подумал о деде. Он

хочет, чтобы и у него дети пахали свои поля рядом с его полем, чтобы и его внуки сеяли со своими отцами. Он хочет жить вечно.

* * *

Фома Иванович Игонин возвращался в Белые Ключи с аймачного совещания секретарей сельских ячеек. Пегий мерин под ним шел спокойным широким шагом. Игонин сидел в седле, бросив поводья. Он усердно набивал махоркой громадную немецкую трубку. Фома Иванович знал толк в табаке и покурить любил. Он прожил большую жизнь — табаков напробовался всяких. Живал он и в Европе, и в Америке. Иноземные табаки казались ему или сладкими до приторности, или слишком горькими, или вовсе пресными. Выше всякого иностранного курева он ставил сибирскую махорку-самосадку. Ей он утешался в трудные времена, ее закуривал в веселые минуты. Он уверял, что она очищает голову, когда поутру нечем опохмелиться. Она в дурную погоду унимала у него ломоту в правом раненом боку. Махоркой Игонин укрощал голод, утолял жажду, боролся с усталостью, разгонял сон, с ней ходил на фронтах в атаки. В одном только случае — во время деликатных разговоров с женщинами — он не прибегал к ее помощи. Тогда Фома Иванович предпочитал действовать благовонными и сладкими заморскими табаками. Однако делал это исключительно в угоду женской слабости. Сам же был убежден непоколебимо, что махоркой по вкусу, по аромату, по крепости и по особому лекарственному воздействию на человеческий организм ни один загадочный табак сравняться не может. Фома Иванович пренебрегал даже высокосортной моршанской полукрупкой, считая, что в нее подмешивают древесные опилки. Он доверял только табаку, выросшему у него на грядках. Махорка собственного производства выглядела, правда, неказисто. Игонин был самым занятым человеком в Белых Ключах, поэтому все, что касалось удовлетворения личных потребностей, делал торопливо и даже неряшливо. Махорку он обычно крошил топором на доске. Крошево получалось вроде плохого силоса. В нем часто попадались куски, не влезавшие в трубку, похожие на обрывки лопуха, и на репейное палочное былье, и просто на мусор и пыль. Всю эту смесь перед употреблением Фома Иванович, насупив брови, долго разминал в кисете своими жесткими желтыми пальцами. Лицо у него прояснялось, как только трубка, по размерам тоже весьма близкая к силосной башне, туго и

доверху наполнялась табаком. С первой затяжкой Фома Иванович преображался. В карих, косо прорезанных глазах начинали играть все семь цветов радуги. Улыбка медными отсветами бродила от тонких бритых губ до широких монгольских скул. Черные волосы на голове становились особенно блестящими.

Игонин распустил такую дымовую завесу, что исчез в ней вместе с конем. Издали казалось, что по дороге перекатывается серое облако, упавшее с неба. Ни седока, ни лошади видно не было. Комары и мошки облетали его стороной. Неосторожные насекомые, попав в сферу действия могучей трубки, падали замертво. Громадные и жадные пауты взмывали вверх со злобным жужжанием. Медведи, сосавшие малину в километре от дороги, фыркали и убегали в горы.

В селе Игонин слыл завзятым табачником. Молодые кержаки и кержачки при встречах с ним плевались, старые крестились. Духом табачным от него действительно шибало на целую улицу. Лепестинья Филимоновна утверждала, что у Игонина от табачного жара кровь в жилах спекается, оттого и лицо у него цвета темной меди, словно у нечистого.

Пегий мерин Игонина был стар и мудр. Чудодейственную силу трубки хозяина он отлично знал, поэтому хотя и чихнул, хлебнув табаку, но на седока покосился глазом, увлажненным слезой благодарности.

Фома Иванович так до самой поскотины и не взял поводьев. Он машинально сжигал трубку за трубкой, по рассеянности принимал обильные дымные извержения своего курительного инструмента за колеблющуюся полдневную испарину над полями...

Конечно, не за одну только трубку не любили Игонина кержаки. Не нравился им и его язык. Игонин умел говорить. Он часто на собраниях начинал со сказки, с шутки, прикидывался простачком. Однако богатые мужики никогда не смеялись от его рассказов. Игонина они слушали настороженно и злобно. Его считали настоящим коммунистом, поэтому и ненависть к нему у кержаков была большая.

Не всегда его иносказания находили уместными и в аймачном комитете партии, и в ячейке, где он был секретарем.

Игонин был недоволен своим выступлением на совещании. Его дельных предложений не приняли, отмахнулись от них, как от очередной выходки чудаковатого коммуниста. Фома Иванович утешался одной мыслью, что

Иван Федорович Безуглый его поймет и что вместе с ним он хорошо поработает в селе. Игонину сильно хотелось поговорить с Безуглым. Они до отъезда, одного на охоту и другого на совещание, виделись только мельком.

Игонин приехал в Белые Ключи под вечер, дома наскоро поел и ушел к Безуглому. У Безуглого сидели избач Улитин, объездчик Рукобилов и школьный сторож Хромыкин. Игонин распахнул дверь. Анна стояла у порога. Она стукнула его кулаком в спину.

— Иди, жених неотвязный, расскажи Ивану Федоровичу, как ты ко мне сватался.

Игонин запнулся за половик. Безуглый встал к нему навстречу из-за стола, загроможденного книгами. Игонин мотнул коротко стриженной лобастой головой, с силой сдавил руку Безуглого.

— Не огорчайтесь на меня, Иван Федорович, в крестьянском деле без бабы полный прорыв.

Смех подсек у Анны колени. Она села на скамью.

— У тебя каждый год новая баба.

Она дернула его за рваную штанину.

— Вот и ходишь с прорывами.

Игонин сел с ней рядом.

— Смысл жизни, Анна Антоновна, не в штанах.

— А где же он? У бабы в юбке?

Анна схватила со стола самовар, спрятала за ним свои покрасневшие щеки. Игонин взглянул на Безуглого. Безуглый смеялся во весь рот.

— Мечтаньям женским я, Иван Федорович, с молодых лет был подвержен.

Анна вышла в кухню и оттуда выкрикнула:

— Мечтательный жеребец ты, Фома Иванович!

Игонин отодвинул от себя книги, облокотился на угол стола.

— Знал я, Иван Федорович, направляясь к вам, что придется мне обрисовать свою линию в женском вопросе. Ввиду такого случая, извиняйте, выпил для облегчения языка.

Улитин щипал жидкие рыжие усики, дергал бороденку, усмехался.

— Уставом всесоюзной коммунистической партии большевиков выпивка будто не предусмотрена?

Игонин покосился на избача.

— Не ржи под руку, Касьян Сергеевич, возжа мне нонче под хвост попала.

В его глазах бродили золотые огни. Он смотрел на закат в окно через голову Безуглого.

— Дедушка Гаврила первый заразил меня своими сказками. В Анделейском царстве-государстве, говорит, жила царевна. Никто до нее доступиться не мог — ни купец, ни генерал, ни прынц. Один сибирский солдат Иван всеми ее деньгами-капиталами завладел и самою за себя взамуж взял.

Игонин молчал минуту. Он не знал, с чего начать рассказ о себе.

— Стою я на военной службе в Питере при часах в Зимнем дворце и мечтаю царевну попробовать. А Татьяна, царская дочь, шуршит юбками по лестнице, и запах ее сладкий голову мою обдуряет. Одна она мне глянулась из всех.

Прочитал я в то время в книжке, что каждый солдат носит в ранце палочку маршала, возмечтал себя Наполеоном. Войну почел за счастье. На фронте, думаю, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Однако ни того, ни другого не случилось, и попал я к немцам в плен без всякого геройства.

Игонин плотно сжал губы, опустил голову. Закат потемнел на его щеках.

— Про Германию много рассказывать не стану, как решил я объяснить свои женские дела, упомяну только об немке Эльзе.

Отдали меня в батраки старушке одной с дочерью, девкой.

Сын ее в окопах. Стал я у них хозяйствовать. В руках у меня все плясало. Конишку раскормил — яйцо на спину клади, не упадет. В ограде иголку брось — не потеряется. Старуха мне на стол белую скатерть. Дочь ее со мной рядом. Сын приходит на побывку, дивуется. На пашне мы с ним весь его отпуск робили, ровно родные братья. В последний день, как ему обратно отправляться, дает он мне руку и говорит: «Русский, бери мою сестру и оставайся за хозяина». Старушка плачет и становит нам кофий.

Ладно, сошлись мы с Эльзой мнением, сделались вроде как муж и жена. Спим на перине, периной укрываемся. В субботу лезу я в ванну. В воскресенье у меня кофий с молоком, а через губу весится матерущая трубка. Густав, шуряк, подарил на память. Теща меня по плечу хлопает: «Зер гут, рус». Жена на ухо шепчет: «Ду, майн зюсер»,— сладкий, значит, мой. Не жизнь мне была, а царствие. Взяло меня сомнение по всем линиям. Вижу я, что никакого немца нет,

начальство его выдумало. Разговор, верно, не наш, а работа и думка с нами одна. Одинаковые с нашими в немцах имеются простые люди и полиция, и кулаки есть, и помещики. Отличка только в одежде да в обличьи. Народ у них шибко чисто ходит и наголо бреется. Духовенство и то бритое.

Прижили мы с Эльзой сына. Карлом по-ихнему окрестили. И зачала тут казна народ обижать. Хлеб, картофель давай солдатам, а себе только норму. Я, конечно, урожай свой спрятал. У соседей погляжу, суп — вода. У нас — ложка в горшке стоит. Дома я так не жил, как там довелось. Останусь, думаю, с немцами навечно. Язык наш забывать стал. Еж по огороду бежит, жена спрашивает: «Как по-русски?» Я: «Игель, игель», а по-своему и не могу назвать. Она закатывается, смеется: «Ду бист айн дойче». Обидно мне было. В горле аж заперхало. Ночью только вспомнил. Эльза спала. Я ее в радости кулаком по боку и ору: «Еж!Еж!»

Игонин вытащил из кармана трубку.

— Однако ошибся я в себе. В одну ночь убег в Россию, не простился с женой, сыном. Земляк беглый забрел и самустил. Три года я до него слова русского не слыхал.

Хромыкин заскрипел зубами.

— Ты, дорогой товарищ Игонин, объясни Ивану Федорычу про свои немецкие манишки-галстучки.

Хромыкин повернулся к Безуглому.

— Он у нас, Иван Федорыч, совсем было склонился к буржуазному классу. Мы его всей ячейкой брали в работу, сдергивали с него немецкую сбрую.

Улитин сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Хромыкин у нас хоть и в коммунистах ходит, а в политике, можно сказать, зеленого от желтого не отличает.

Обида затрясла у Хромыкина нижнюю челюсть.

— Я, гражданин Улитин, твою хромоту на правую ножку давно заприметил, хоть ты и первый книжник. Растолкуй мне, неграмотному партейцу, какая у человека политика получается, если он в своем одноличном хозяйстве начинает водопроводы налаживать, сортирчики утеплять.

Безуглый взял Хромыкина за плечи, усадил его на скамью.

— Товарищи, давайте условимся не прерывать Фому Ивановича.

Игонин точно не слышал нападок Хромыкина. Он сидел спокойно, подперев голову. Голос у него был ровный. Лицо неподвижно. Глаза, как у слепого, бесстрастны. Игонин напомнил Безуглому слепца-сказочника Гаврилу. Он его видел и слушал в двадцать первом году, на пасеке у Андрона. Гав-

рила был родным дедом Игонина. В сумерках внук показался Безуглому обритым стариком...

Игонин набил свою большую трубку.

— Судьба у меня на женщин обширная, Иван Федорович. Жалею, не вел я дневника.

Трубка вспыхнула и задымилась у него в зубах.

— Доскажу, что помню. Обернулся я, значит, в Питер. Дурь женская из головы у меня не выходит. Приглядел одну, дознался — настоящая столбовая графиня. Свела меня с ней старуха, бывшая ее стряпка. Насильничать я не любитель, купил ее за два пуда ржаной муки и фунт сала свиного. Выдача пайковая ей была легкая, как нетрудовому элементу, на день осьмушка семечек подсолнечных. Взошел я в графскую спальную. На полочках безделушки, недотрожки. Постеля — узоры, цветочки, кружева. Взял я свою графиню за белы рученьки, повалил на подушки. Сапоги из озорства не снял. Простыни, одеяло вывозил дегтем и грязью, ровно по ним мужик на телеге проехал. Не поглянулась мне графиня.

Встал я с постели в сердцах, плюнул и матерное выражение сказал. А на Невский вышел между тем в большой гордости. Революция, думаю, она нам, солдатам, ласковая мамка. Мужик ведь я и поимел такое счастье с большой дворянкой, как своей бабой распорядиться. На проспекте никому не даю дороги. Наступаю на ноги ученому лицу в очках. Спихиваю с панели барыню с радикюлем. Опять припоминаю, что Наполеон через революцию пришел, из простых выслужился. Может быть, думаю, она, и наша-то, для того случилась, чтобы мне, сибирскому солдату, весь мир под свои руки положить.

Улитин хихикнул, закрыл рукой щербатый рот. Игонин кулаком стукнул себя по колену.

— Ничего смешного в своих словах не усматриваю, Касьян Сергеевич. Наполеоном, может, и ты имел намеренье сделаться и многие другие. Один только вот за всех вас нашелся рассказчик.

Игонин оглянулся на Безуглого.

— Иван Федорович, дальше желаете слушать?

Безуглый кивнул головой:

— И даже очень.

— Живу я в Питере. Революция идет на углубление. Я изучаю все ее происшествия, как прошедшие, так и настоящие, и нахожу полное утверждение своим надеждам. На юге поднялись краснолампасные Наполеоны — Корнилов, Каледин, Деникин. Из нашей Сибири посуху плывет

черноштатный адмирал Кольчак. В Красной Армии один маленький Наполеонишка выискался — бывший полковник Муравьев. Ума только у них дворянского не хватило на большие дела. На Кольчака я пошел в уверенности и его разбить в мелкие дребезги, и самому встать командующим всей Красной Армии. Втолкал я тогда себе в голову, что Наполеон должен быть из рядовых. Между тем и вторую войну провоевал я опять без особенных подвигов. Домой, выходит, я заявился Наполеоном без войска. Баба моя, пока я по фронтам мотался, прижила двух ребят от разных мужиков. Я ей слова худого не сказал, как сам не воздержан был, от немки имел сына. Порча у меня только от роскошной военной службы получилась в мыслях. Не смог я со своей бабой жить. Уж очень она мне простой показалась. В деревне, гляжу, одна скука и идиотство. Бросил я бабу. Брюхо ей набил и ушел на рудник. Путался с женщинами разных классов и партий.

Не фартовый, думаю, про себя, не вышел в Наполеоны. Однако замечаю, у нас в советских республиках никто и помимо меня Наполеоном не объявился. Власть в руках партии. Начинаю посещать собрания ячейки. Месяц походил и всю свою дурость, ровно грязь, разглядел на себе. Обрадовался я новому направлению своего ума и подал заявление на кандидата в члены. Дивно мне, как в Красной Армии я о наполеонстве промечтал, а коммунизма не заметил. Бывало, политрук или комиссар весь мир по нитке раздергают, разъяснят все от начала земной и небесной жизни до Октябрьской революции и далее. На ячейке повстречался я с Сухорословой, с Бурнашевой и прочими сознательными гражданками и понял, что не в юбке у бабы смысл дела. Хотел сойтись с Сухорословой — отказ. Верю, говорит, всякому зверю, а тебе, кобель, погожу. Сватался к Анне Антоновне. С ума ты соскочил, отвечает, как я за тебя пойду от живого мужа?

Без бабы, без ребят жизнь — чашка пустая. Весной затоскую я шибко по домашности, по пашне, наберу в кооперации ситцов, обутков, пряников — и домой. Бидарев Семен Калистратович увидит меня и сейчас поклон: «Мужичье счастье в земле. Пахать тебе надо, Фома Иванович». Поживу с семейством, отсеюсь, отожнусь и назад.

Игонин быстро протянул через стол руку, нагнулся к Безуглому, схватил его за плечо.

— Болтаю я все пустое. Не об том шел я к тебе разговаривать. Давай, Федорыч, думать, колхоз ли, чего ли у нас начинать надо.

Безуглый положил свою теплую ладонь на его жесткие пальцы.

— Давайте думать, товарищ Игонин.

Лицо Игонина было рядом. Безуглый чувствовал его горячее дыхание у себя на усах. От него совсем не пахло вином. Безуглый не утерпел, спросил:

— Неужели вы пили сегодня?

— Капли во рту не было.

— Зачем же вы тогда?..

— Наврал я тебе, Федорыч, чтобы ты меня за дурака болтливого не понял.

— Не понимаю.

Игонин отпустил плечо Безуглого.

В темноте Безуглый не видел ни глаз, ни лица Игонина.

Анна зазвенела стеклом от лампы. Улица за окнами была черна и тиха, как заброшенная шахта.

* * *

Инженер по гидроустановкам Лидия Борисовна Берг кончила свой доклад в московской радиостанции, отошла от микрофона. Безуглый снял наушники, откинулся на спинку стула. Он знал о выступлении Лии. Она сама предупредила его телеграммой. Лия говорила о проекте гидроцентрали на Золотом озере. Безуглый был знаком с первыми наметками работ по электрификации Алтая. Доклад мало его интересовал. Он слушал голос Лии...

Безуглый с Лией свернули с Пречистенки на набережную. На Лии было скрипучее прорезиненное пальто. Портфель женщины-инженера толстомордым мопсом тыкался Безуглому в колено. Она курила. Дым папиросы мотался над ее головой, как вуаль, задранная ветром. К ним подошел мальчик, продавец цветов.

— Гражданин, купите гражданке.

Безуглый молча улыбнулся ему. Мальчик свистнул и отошел.

— Если кто с понятием, всегда купит.

— Понимаем, маленький гражданин, и очень даже, только в карманах у нас...

Безуглый тоже свистнул. Мальчик вернулся и быстро сунул Лии в руку несколько белых астр.

— Нате вам, красивенькая гражданка, от меня. Кавалер-то ваш свистун несчастный.

Лия блеснула зубами. Ноздри у нее дрогнули. Она отдала мальчику коробку из-под папирос с серебрушками и медяками трамвайной мелочи. Безуглый топтался на месте и не знал, куда девать лицо и руки.

На другом берегу Москвы-реки, у Каменного моста, на постройке, топали паровые молоты. Полчища строителей ломились через старую кривобокую Москву. Кварталы низеньких домишек сдирались с города-матери, как вонючие пыльные юбки. Купола храма Христа торчали оголенными грудями толстой купчихи. Город горел в кострах завоевателей. С Кремля, с заплесневелых зеленых черепичных крыш полз на реку сырой ветер. На реке баба в подоткнутой юбке полоскала белье. Стук ее валька был древен и необычен в шумах миллионной столицы.

Безуглый жил на набережной Кропоткина. Лия не хотела терять времени на поездку к себе в Сокольники. Рано утром ей надо было опять возвращаться в Хамовнический район. Она осталась ночевать у Безуглого.

Они не один раз спали вместе. Любовниками никогда не были. В подпольной типографии после ночной работы падали на диван и засыпали, как брат и сестра. Они мало думали о себе.

Безуглый погладил стриженый колючий затылок Лии и поцеловал ее круглое загорелое плечо. Она скосила на него мудрые человечьи глаза. Ему показалось, что на них блестит тонкая пленка льда.

— Вы это о чем, товарищ?

Безуглый застыдился, спрятал голову в подушку.

Разбудил их ласковый голос преподавателя физкультуры.

— Доброе утро! Начинаем утреннюю зарядку! Доброе утро!

Можно было подумать, что он руководит своей аудиторией из угла комнаты, из-за платяного шкафа. Радиоприемник у Безуглого был хорошо настроен.

Безуглый и Лия в одних трусиках стояли на маленьком коврике, махали руками, приседали, выгибали спины. Они оба были опытными физкультурниками. Неизвестный товарищ заботливо направлял их движения.

— Вдох! Выдох! Раз! Два!

У умывальника они повозились немного, потолкались, поплескались друг на друга водой. Умылись тщательно, до пояса. На улицу вылетели бегом. Москва, как баба вальком на реке, стучала перекрестками и переулками, трясла свои пестрые кофты домов в старомодных мелких кружевах

окошек. Безуглый и Лия смеялись и лезли в плотную злую толпу на площадке вагона...

Безуглый прошагал по комнате от стены до стены и снова сел за стол. Он взял ручку, бумагу, открыл чернильницу.

«Белые Ключи
15/V

Милая Лия, говорят, провинциалы любят большие письма и долгие разговоры по душам. Я сейчас снова стал провинциалом, поэтому тебя не должно удивить мое громадное послание. Вся эта писанина, конечно, только до хлебозаготовок,— когда они начнутся, мне будет уж не до друзей. Жара тут получится прямо среднеазиатская.

В Москве перед отъездом на Алтай мне не удалось повидаться с тобой (ты была в командировке), поэтому тебе не известна самая последняя потрясающая новость международного значения... Можешь себе представить — я женат, у меня семилетний сын, изба, пашня, лошадь, корова, разная яйценосная тварь и всякая вообще домашность. Подробные объяснения (как сие случилось) будут даны Вам, уважаемая читательница, по получении от Вас конверта с подробным адресом и маркой на ответ. Все это совершенно серьезно, несмотря на несерьезный тон моего письма.

В селе меня встретили как старого коммуниста, командированного из Москвы, как уполномоченного по хлебозаготовкам. Местные партийцы мне в рот смотрят, ждут. Казалось бы, все ясно и любой пионер скажет, что я тут должен делать и о чем думать. Между тем я начал выдумывать черт знает какие глупости. Неожиданно обнаружил в себе большую склонность к... ведению единоличного хозяйства. Вообразил себя пахарем, сеятелем, одним словом, настоящим крестьянином. Деда вспомнил, его сад и почувствовал в себе сильнейшее желание получить оное фруктовое древонасаждение как законное наследство. Составляя списки кулацких хозяйств, вдруг с какой-то подлой жалостью подумал, что в Собаковке теперь тоже уполномоченный заготовляет такой же список и что деду моему Алексею его не миновать и, следовательно, никогда мне садом не владеть. До того ожадел, что во сне даже дедовские яблони считать стал. Ночью, раз так размечтавшись, просыпаюсь от шелеста бумаги и вижу: Анна (жена моя) сидит за столом босая, в одной рубахе и, шевеля губами, старательно выводит каракулями очередную свою заметку в областную газету. Стыдно

мне стало как-то сразу. Сразу я тут нашел и себя, и свое место среди кучки подлинно новых людей в этом далеком, как принято выражаться, медвежьем углу. Ты теперь догадываешься, что изжил я свои собственнические вожделения, если так откровенно пишу тебе. Тем не менее сам и сейчас не могу понять, как мог я так попятиться назад, прямо чуть на четвереньки не встал. Невероятная собственническая отрыжка. Никогда я с дедом не жил, никогда не думал о его саде. Особенно мне стыдно было за себя, когда я встретился с секретарем местной партийной ячейки Игониным. К слову, человек он исключительно интересный. Он, к сожалению, не на хорошем счету в райкоме. Его недолюбливают за склонность к некоторому подвиранию и разным фантазиям. Черт, мол, его знает, куда он завтра повернет. Наполеоном хотел сделаться, в партию вступил, может быть, в монахи пойдет. Я не согласен с такой характеристикой Игонина. Мне кажется, что он теперь навсегда с нами. Если же свои прошлые поиски личного счастья при рассказах он и облекает в полусказочную форму, то кому и какой от этого убыток? Впрочем, я пишу тебе об Игонине, как будто ты его давно знаешь. Скажу коротко — есть тут мне помощники.

Завтра в первый раз я собираю ячейку. От разговоров перейду к делу. Я поставлю вопрос прямо — если мы кулака ограничиваем, вытесняем, то мы должны его и заменить, то есть создать вместо его хозяйства свое коллективное. В колхоз, по моему мнению, первыми должны вступить коммунисты. Если завтрашнее собрание пройдет хорошо, то это будет первым моим ощутимым достижением в Белых Ключах. До сих пор я тут только занимался разговорами и охотой.

Хотел написать тебе много, но вижу, что не выйдет. Пришли за мной из сельсовета.

Большой тебе привет, Лия. Жму руки.

И. Безуглый».

2

У деревни на людей долгая память. Она даже случайного приезжего помнит годы. Безуглого в Белых Ключах никто не забыл. В его избе перебывало все село. Народ толкался у него и в горнице, и на крыльце, и под окнами.

За день до собрания ячейки Безуглый решил скрыться от гостей, чтобы без помехи продумать свой доклад. Освободиться ему удалось только к вечеру. Он взял лампу и ушел в баню. Анна снаружи подперла за ним дверь большим камнем. Оконце она заранее заткнула тряпкой. Безуглый

раскладывал на полке бумаги, пока Анна возилась за дверью. Анна ушла в избу. Безуглый услышал стук щеколды. Он в первый раз после приезда в село остался один на один со своими мыслями. Ему захотелось начать работу с разбора отрывочных записей, сделанных в дороге и в Белых Ключах. Он погладил шероховатый брезентовый переплет записной книжки, раскрыл ее на первой странице.

«Она безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, вечна и несокрушима...

Карлейль».

Безуглый прочел злые слова англичанина о России и не сразу вспомнил, зачем он их переписал в свой дневник. Запись была сделана в вагоне на маленьком разъезде среди рыжих весенних земель Барабы. Поезд простоял там шесть часов — впереди случилось крушение. Безуглый налегке ушел в степь. Он не увидел на ней ни дыма, ни крыши. До самого горизонта густыми лошадиными гривами колебался на ветру желтый камыш. На озерах синели толстые льды. По берегам татарскими, кривыми ножками скрипела ржавая прошлогодняя осока. Степь молчала, как кладбище. Безуглый неосторожно зашел очень далеко, и весна посмеялась над ним. Она отстегала его крупным косым дождем, облепила мокрым снегом. Он побежал к поезду, не разбирая дороги, начерпал полные ботинки воды. На площадке вагона солнце встретило Безуглого насмешливым блеском поручней. Теплый ветер из Казахстана сорвал с него фуражку. Безуглый был обижен на весь мир — в его белье не оказалось ни одной сухой нитки. Его особенно раздражало спокойствие главного кондуктора, с которым тот односложно мычал в ответ на нетерпеливые вопросы о времени отхода поезда. Он тогда именно вспомнил суровые строки Карлейля.

Безуглый задумался. СССР — конечно, не Россия. Однако молодая страна еще зияла пустотами необжитых пространств. Из Москвы до Белых Ключей Безуглый ехал трое с половиной суток поездом, почти столько же пароходом и четыре дня лошадьми. До Урала он видел небольшие города с двумя-тремя златоглавыми церквами, соломенные деревни на километр одна от другой, поля в густой сетке межей, узкие ленты лесов. За хребтом, отделяющим Европу от Азии, поезд шел степями, болотами, тайгой. Сибирские селения — богатые, с большими пашнями — были редки и казались только островами в диком океане. Дорогой Безуглый перечитал много книг о Сибири. Он, в сущности, впервые всерьез заинтересовался страной, в которой отбывал каторгу и дрался с белыми.

Безуглый долго водил пальцем по карте советских восточных владений. Невеселая усмешка дергала у него концы губ. Мощный дремучий материк всем своим страшным грузом висел на тонкой стальной проволоке в семь с половиной тысяч километров. От Челябинска до Владивостока — единственная линия железной дороги. Колесные мощные пути почти отсутствуют. Реки глубоки и судоходны, но текут в малодоступный Ледовитый океан.

Безуглый поставил в левом углу чистого листа бумаги единицу и против нее написал:

«Бездорожье».

На землях, в два раза больше всей Европы, жили пятнадцать миллионов человек.

Он отметил в своем конспекте:

«Безлюдье».

Фабрик, заводов было мало, значение их ничтожно.

Безуглый в докладе против пункта «Техническая вооруженность Сибири» старательно вывел большой и жирный ноль.

В Сибири — восемьдесят три процента запасов каменного угля всего Союза. Добыча в несколько раз меньше Донбасса. Белый уголь ставит Сибирь на второе место в мире. Использование — на предпоследнее. Зеленый уголь — в количествах, равных которым нет нигде. Разработка уступает маленькой Финляндии. В одной восточной части Сибири золота больше, чем во всех банках Америки. Золото лежит в земле. В стране с астрономическими цифрами земельных площадей, годных для хлебопашества, зерна собирается меньше, чем на Украине. В стране...

Безуглый не захотел перебирать в своей памяти все несчитанные сокровища Сибири. Он под цифрой «четыре» вычертил только одно слово, отделив в нем букву от буквы длинным тире:

«в-о-з-м-о-ж-н-о-с-т-и».

Сибирь для царской России была вначале «самородным зверинцем; кладовой мягкой рухляди»[1], потом — поставщицей золота, местом ссылки и всегда заброшенной окраиной.

Безуглый стал по пальцам считать города давней постройки — Тюмень, Тобольск, Тара, Томск, Енисейск, Красноярск, Иркутск. Все они — сплошное дерево. Тобольск и вымощен деревом. Каменные кварталы в них — редкие вкрапления. Из камня обычно воздвигались церкви, тюремные замки, дворцы губернаторов, иногда торговые

---

[1] Мягкая рухлядь — пушнина.

ряды и хоромы купцов. В старых городах теперь только дотлевали немногие монументальные осколки эпохи завоевания русской Канады. Новые города — широкие, приземистые — были совсем безлики. Безуглову они казались скоплениями деревянных бараков, неизвестно почему перенесенных с золотых приисков. Ни водопровода, ни канализации, ни хороших зданий общественного пользования, ни мостовых, ни тротуаров. Даже Новосибирск, нравившийся ему, Безуглый называл иногда только строительной площадкой...

Безуглый вспомнил Барнаул — мертвый центр горнодобывающей промышленности. Строгие корпуса плавилен Демидова полуразрушены. Кирпичной сухой кровью сыплются трещины их толстейших стен. В архиве под пеленой тлена лежат дела колывано-воскресенских заводов. На кладбище крошатся каменные плиты могил горных командиров: берг-гешворинов, унтер-шихтмейстеров и царевых управителей — статских генералов. На улицах часами спит тихая непотревоженная пыль. Около домов зеленеют цветущие лужи. Ночью в садике у собора поют синие соловьи. В темной тишине города позвякивают цепи последних каторжан — четвероногих сторожей.

Бедная, отсталая страна, несмотря на все свои чудовищные богатства.

Безуглый перевернул страницу в записной книжке, прочитал ее, иронически прищурился.

«Колонии просвещенного общества, утверждающиеся в безлюдной и малонаселенной стране, скорее всякого другого человеческого общества двигаются к богатству и благосостоянию...

Адам Смит».

Он шлепнул ладонью по дневнику и сказал:

— Да, старина, это тебе не Америка, но мы добьемся...

Он записал:

«Кандальная Канада станет страной социализма».

Безуглый подумал о препятствиях, которые придется преодолеть Сибири. Царь тут сковал столько людей. Природа — дикая и своевольная — была свободна. Она стояла рядом с городами лохматой тайгой, голыми скалами, горькими солончаками. Стихия, враждебная человеку, наступала на улицу пылью, грязью, лезла травяной зеленью между камнями редких мостовых, грибной ржавчиной разъедала стены, осыпала штукатурку. Человек здесь только бередил, а не укрощал стихию. Она отбирала у него назавтра все, что он завоевывал у нее сегодня. Особенно остро Безуглый

почувствовал ее необузданную силу в Бийске, когда ночью возвращался от ямщика в гостиницу. (Он там до встречи с Парамоновым и до заезда к нему на фабрику прожил около суток.)

Безуглый сходил с тротуарных деревянных настилов через каждые пятьдесят метров. Они обрывались в озерообразных лужах, в глубоких ямах, в буграх мусора. С тротуаров надо было иногда даже спрыгивать (так высоко они поднимались над землей). Серединой немощеной улицы Безуглый ступал неуверенно. Дорога под ногами податливо прогибалась. Он с опаской смотрел на редкие высокие дома. Ему казалось, что под ними также зыблется почва и что они каждую минуту могут исчезнуть в колыхающейся утробе земли.

Безуглый остановился около брошенного, забитого дома. Он не знал, куда двинуться дальше — кругом были рытвины и кучи кирпича. Сквозь камни в покинутых комнатах слышались шорохи, скрипы, размеренный стук водяных капель. Дом медленно разрушался. Безуглый задержал дыхание, прислушался. Со всех концов безлюдной улицы шли такие же тихие постуки, трески, всплески, урчащие вздохи. Он понял, что слушает шумы вечного движения мира, его непрерывных превращений. Он знал, что весь мир живет по одним и тем же законам разрушения и созидания. Ветры, воды, льды непрестанно растаскивают, размывают, разламывают. Земля поворачивает к солнцу то один бок, то другой. Горы и моря на ней меняются местами. В ее неостывшие недры погружаются города, страны, материки.

Безуглый взглянул на небо. Бесчисленные миры светились в недоступной вышине. Они возникали, исчезали, рождались вновь, чтобы умереть, гибли, чтобы опять возродиться из праха. Он увидел вселенную, как единый, хорошо работающий огромный механизм. Человек показался ему обидно ничтожным.

Безуглый написал в тезисах к докладу:

«Сволочь природа».

В двух словах он соединил и гнев и восхищение.

На окраинах Бийска, за неустроенными улицами, за темными домами, поставленными на полквартала один от другого, Безуглый увидел мир, в котором человек человеку — медведь. Дома с глухими ставнями на железных болтах, с островерхими заборами в колючей проволоке стояли рядами неприступных фортов. Гарнизон каждого из них готов защищать до последнего вздоха единственную свою святыню — священнейшую частную собственность. В убо-

гих кварталах небольшого города перед Безуглым встал весь мир с его частоколами границ, с вооруженными лагерями — великими и малыми державами. Магафор и Милодора, как Адам и Ева, трудились у истоков его истории. Топор убийцы и захватчика был для него ключом к благосостоянию. Мир был построен на законах так называемого свободного соревнования. В нем наиболее культурной и передовой страной поэтому считалась та, которая располагала самой дальнобойной артиллерией. В этом мире путь к обогащению был открыт каждому, кто поднимал топор и обрушивал его на голову ближнего.

Безуглый в своих докладах, когда ему надо было давать характеристику частной собственности, всегда приводил одно примечание Маркса к его главе о первоначальном накоплении. Он помнил его дословно.

«Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 проц., и капитал согласен на всякое применение, при 20 проц. он становится оживленным, при 50 проц. положительно готов сломать себе голову, при 100 проц. он попирает ногами все человеческие законы, при 300 проц. нет такого преступления, на которое он не рискнул бы...»

Безуглый читал и писал до рассвета. Он не слышал, как Анна открыла дверь. Анна вошла, чихнула, взглянула на мужа и захохотала:

— Рожу-то вытри, докладчик. В саже весь, как негра. Лампа-то у тебя тут наработала, впору мясо коптить.

Безуглый схватился за лицо, посмотрел себе на руки и загоготал следом за Анной. Она толкнула его в спину.

— Иди в реку, вымойся.

Безуглый вышел из бани.

* * *

На собрание ячейки Безуглый с Анной пришли первыми. Михей Хромыкин отпер им просторную избу сельсовета и ушел домой пить чай. Он был уверен, что собрание раньше, как через час, не начнется.

Безуглый разложил на столе свои бумаги. Анна, аккуратно подвернув юбку, уселась напротив.

На другой стороне улицы остановился Бидарев. Анна увидела его в окно и показала Безуглому. Он простоял не менее пятидесяти минут. Его облило дождем, обсушило и

снова вымочило — он не пошевелился. Старик сосредоточенно смотрел в землю и молчал. Анна сказала мужу:

— Семен Калистратыч у нас такой: где его мысли большие пристигнут, там и встанет. Другой раз часа два и более простоит столбом. В бане он все пишет, не хуже тебя. Летошний год была с ним оказия.

Анна прикрыла рукой смеющийся рот.

— День цельный он писал, к вечеру вытопил банешку, выпарился, а одеться забыл. Вышел на улицу в чем мать родила и стоит в сильных размышлениях. Ребятишки собрались, срам. Он, ровно неживой — ничего не слышит. Ум у него очень пронзительный, только кончик, самая острая умственность-то и загинается. Затвердил одно — сейте. Ну, а кто будет железо на плуги добывать, не объясняет.

Анна взглянула в окно.

— Самому графу Толстому писал, знакомство с ним вел.

Безуглый усомнился.

— Мне кажется — лично он не был знаком с Толстым?

Анна удивилась вопросу Безуглого. В Белых Ключах знакомство Бидарева с Толстым считалось неопровержимым фактом.

— По-моему, Семен Калистратыч со Львом Николаевичем никогда не встречался. Они только переписывались. Книгу Бидарева, в Париже изданную, верно, Толстой читал и многое из нее взял для своей проповеди земледельческого труда.

У Анны вздрогнули руки.

— В Белых Ключах у любого старика спроси, правду я говорю или вру, скажет — правду, в Бийске они встретились.

Анна посмотрела на Безуглого. В глазах у нее блестела обида.

— Иван Федорыч, хочешь расскажу?

Безуглый уткнулся в бумаги.

— Расскажи.

Анна оправила на голове платок, опустила голову.

— Однова посылает Бидарев Толстому письмо: ты, мол, сам ко мне приезжай, тогда и поговорим, а то что по бумаге-то наразговариваешь. Толстой берет билет и едет по чугунке. До Бийска доехал, а дальше не может. Ревматизм, что ли, у него был. Все-таки нежный человек. Пишет он Бидареву, зовет его в Бийск, дескать, так и так. Ну, конечно, Семен Калистратыч собрался и поехал. Встретились они, и пошла тут же у них катавасия. Бидарев под конец уже криком кричит на Толстого и кулаком стучит по столу. «Ты,—

говорит,— пишешь-то гладко, тоже зубы заговариваешь, а сам-то в графья записался, сам-то не работаешь. Ты,— говорит,— сроду-то когда косил, нет? Серпом-то пробовал поелозить? А? Ты, Толстой, тож работай, как я работаю». Толстой это не осерчал. «Правда,— говорит,— Семен Калистратыч, вечный работник и земледелец теперь я буду». Уехал домой да с тех пор, до самой смерти, как крестьянин жил. Посконную рубаху носил, косил, жал, без седла ездить даже стал. Ребят начал учить, как наш Семен Калистратыч учит. А от жены в раздел ушел, в избушку.

Безуглый достал в красном уголке с полки энциклопедический словарь, отыскал страницу, посвященную Бидареву, быстро пробежал ее и сказал Анне:

— Видишь, тут ничего не сказано о встрече в Бийске. Зато здесь есть ответ на твой вопрос: кто будет железо добывать, если все станут сеять.

Безуглый прочитал вслух:

— Основная мысль учения Бидарева — утверждение закона «хлебного труда»: все, без исключения, должны «работать своими руками хлеб, разумея под хлебом всю черную работу, нужную для спасения человека от голода и холода...»

Анна оттолкнула от себя том словаря.

— Кто писал, не знаем, а мы, дураки, читаем.

Она встала, торопливо подошла к двери. У порога остановилась, крикнула:

— Машину он опровергает! Какой ты нашел у него ответ? Никакого он ответа-совета человеку не дает, хоть год на одном месте простоит!

Безуглый не мог удержать улыбку. Анна с силой хлопнула дверью.

Безуглый привык к резкости Анны. Она немного стеснялась его только в первые дни встречи. С тех пор как он заговорил с ней о партработе в Белых Ключах, она точно взяла его за руку и повела по селу. Анна слушала мужа с покорностью ученицы, когда он говорил о городе. В делах деревенских она не любила его возражений. Он сначала не доверял ей, думал, что в своих оценках она пристрастна. Он расспрашивал Игонина, Улитина, Помольцева, коммунистов, беспартийных и вынужден был признать, что Анна в деловых отношениях свободна от личных симпатий и обид. Жена говорила ему:

— Кого ты тут знаешь? Один у тебя дружок — Андронкулачок. Ты меня слушай.

Безуглый с каждым днем все чаще прибегал к ее советам. Она распутала ему весь клубок родственных и кумовских

хитросплетений в селе. Он поэтому был совершенно спокоен за хлебозаготовки. Его никому не удастся обмануть.

В избу начали входить коммунисты. Игонин прошел со своей трубкой от двери до стола и сразу надымил, как паровоз. Все подавали Безуглому руки и расписывались на сером листке бумаги. Безуглый потягивал свои светлые подстриженные усы, дружески улыбался, кивал головой. Вернулась и Анна. Она озорно повела на мужа глазами, закрыла концом платка губы и сказала ему:

— Сходила понужнула аккуратистов наших партейных.

Безуглый оглядел скамьи. Он знал в лицо всех коммунистов и комсомольцев. Все были в сборе. На собрание набралось много и беспартийных. Они сидели на подоконниках, на полу в проходах и около стен, толклись в дверях. Безуглый встал, спокойным движением заложил правую руку за борт своего потертого френча, левой оперся на стол. Анна увидела, как он вдруг сконфуженно опустил голову. На щеках у него выступили красные пятна. Она не могла понять причину его неожиданного смущения.

Безуглый поймал себя на желании повторить наиболее характерные жесты Сталина на трибуне — правая рука за бортом френча, левая на столе или мерно рассекает воздух. Безуглый не мог сам себе объяснить, почему он вздумал копировать вождя. Может быть, он сделал это потому, что перед докладом перечитал его том «Вопросы ленинизма», может быть, и потому, что видел его в последний раз очень близко на пятнадцатом съезде.

Безуглого выручил тонкий, дребезжащий, властный голос Бидарева. Он стоял перед столом президиума, опираясь на свой высокий посох.

— Граждане, сборище не тайное ваше?

Безуглый быстро вскинул голову и ответил:

— Пожалуйста, садитесь, Семен Калистратович, заседание ячейки открытое.

Старик показался ему особенно бодрым. В его синих глазах он разглядел переливчатые, лукавые огоньки.

— Верно говоришь, надо сесть. Не к лицу мне стоять перед тобой, потому по чину я в ровнях с самым вашим большим комиссаром.

Посох Бидарева взмыл вверх и громыхнул об пол.

— Да что комиссар, тебе передо мной стоять надобно, мой хлеб ты ешь, я тебя кормлю от трудов своих.

Безуглый спокойно пошутил:

— Стою, Семен Калистратович.

Старику уступили место на первой скамье.

Игонин, как молотком, стукнул по столу трубкой.

— Федорыч, давай бери слово.

У Безуглого всегда на затылке вскакивал большой, как рог, упрямый вихор. Он говорил, немного наклоняя голову, точно бодался.

— Товарищи, некоторые из вас и многие из беспартийных спрашивали меня, почему в д р у г партия решила перестраивать сельское хозяйство, в д р у г взялась за создание тяжелой промышленности. В д р у г, видите ли, налетели на деревню уполномоченные по хлебозаготовкам, по коллективизации, и все пошло и поехало. Должен вас успокоить. В таком большом деле, как хозяйство целой страны, ничего и никогда в д р у г не делается.

Безуглый подробно рассказал о первой пятилетке.

— В Белых Камнях мне не без улыбочки кое-кто говорил, что вот, мол, Ленин завещал пролетариату быть в союзе с крестьянством, а вы, мол, начинаете нас ссорить с рабочим. Найдется, вероятно, немало людей, которые думают, что царству рабочих и крестьян не будет конца. Они забывают, что наша цель — построение бесклассового общества. Советская власть, конечно, есть власть рабочих и крестьян, но не надо упускать из виду, что она только средство, следовательно, явление временного порядка, а отнюдь, повторяю, не цель.

Он порылся в конспекте.

— Владимир Ильич однажды очень едко высмеял плакат, на котором изображалось беспечальное и вечное царство рабочих и крестьян.

Безуглый поднял к лампе исписанный лист бумаги.

— Значит ли это, что мы хотим ссориться с крестьянством? Вовсе нет. Союз рабочих с трудовым крестьянством в нашей стране был и будет, пока мы не уничтожим классы. Вот только ведущая роль в нем была и останется за пролетариатом. Мы не ссориться собираемся с крестьянином, а хотим помочь ему перестроить свое хозяйство на коллективных началах.

Безуглый говорил с обезоруживающей силой. Он был человеком убежденным. Его творческая подготовленность, сложенная с практической деятельностью, давала ему и широту кругозора, и целеустремленность. В партии его считали крепким коммунистом. В подполье, в Красной Армии, в хозорганах он работал и рядовым, и командиром, и в обозе, и на передовых позициях. Не было такого случая, чтобы он отказался от какого-нибудь партийного поручения или его не выполнил. В очень трудные минуты он только сам себе говорил вслух — препятствия, преодоление, победа.

В темных, древних глубинах его мозга, как и у всякого человека, конечно, еще жили и зверь, и собственник. Он вел с ними упорную борьбу. Они очень редко оказывались победителями.

Слушали Безуглого внимательно. Один раз только его прервал Помольцев. Он обратился к нему с просьбой:

— Федорыч, шибко высоко не заносись, объясняй попроще.

Безуглый рассказал собранию о людях, которые поколение за поколением искали «Беловодье» для всего человечества. Он сказал, что оно найдено. Горы препятствий — позади. Он утверждал, что люди могут быть счастливы, если на новой земле станут жить по-новому.

Собрание хлопало Безуглому долго и дружно. После него говорил Игонин. Секретарь ячейки начал свою речь с лукавого предисловия:

— Товарищи, складно говорить я не обучен, если чего лишнего нагорожу, не взыщите.

Улитин скривил свое желчное, ссохшееся личико, проворчал:

— С первого слова, бесстыдник, врать начал.

— Не знаю, с какого бока мне и начинать.

Игонин пососал потухшую, пустую трубку.

— Начну, пожалуй, с Северных Американских Соединенных штатов, а почему именно с них, об этом речь впереди.

Известно вам, товарищи, что работал я на разных местах, ну, между прочим, и в животноводческом совхозе. К скоту я с детства привычен. В долге ли, в коротке ли, дают меня в помощь одному-единственному товарищу и командируют в самую ту Америку на закупку племенных быков-производителей и тонкорунных баранов. Американским газетчикам очень удивительно было и вроде как бы неудовольствие какое им получилось оттого, что оказался я бритым. Побывал я в Чикаго и в Нью-Йорке. В Чикаго на бойнях, гляжу,— грязина. Скотина пропавшая тухнет, неубранная. Я раскритиковываю газетчикам ихние порядки. Опять на них находит недоуменность: как так, сибирский мужик грязь осуждает. Напечатали они мои слова и назавтра же произвели в бойне полную уборку.

Игонин налил из графина стакан воды, не спеша напился.

— В Нью-Йорке дома трубами облака боронят. А люди в них живут, никогда солнца не видят. На площадях торговцы-лотошники стоят с раскрытыми ртами и дышат, как

собаки на жаре. В воздухе у них большая нехватка. Понастроили они много, но зря ума, ровно для того только, чтобы народ мучился. Богатые, конечно, живут одаль от городов в садах, и дома у них небольшие. Богатством своим они выхваляются на весь свет, а подумать пристально — одинаковое у них с нашей деревней идиотство. В двадцать первом году у нас — голод. У них — фермеры хлеб в море кидали, жгли в паровозах. Где ж, думаю, разумность вашей жизни, если вы жилы из себя вытягаете на конвейерах, а что сработаете — в огонь? Какие же вы богачи, если от своего богатства непомерного можете в один день объявиться полными нищими? Никто у вас ни покупать, ни продавать ничего не будет. На горах хлеба пропадете голодом.

Игонин почесал пальцем лоб.

— Газетка с моей фамилией попала в руки известному вам всем односельчанину нашему, Пантюхину Алексею. Мы с ним в германскую служили вместе. Он только после войны прямо из Питера в Америку подался, обиделся, дурной, что его не с музыкой встретили. За морем он и женился на богатой вдове-фермерше. Берет Пантюхин билет на самый скорый поезд и катит в Чикаго. Костюм мне привез и штук шесть галстуков. Ефросинье своей, брошенной с ребятами, накупил барахла цельный чемодан. Таможников наших пограничных насилу уговорил я пропустить в Сессер буржуазную материю. Побывал я у него. Пашет он весело на своем тракторе и трубку из зубов на вынимает. Погостили мы с ним у соседей. Один машины имеет хорошие, другой — того лучше. Большая разница с нашей деревней. Разговоры же совсем с нашими схожие. Почем хлеб? Сколь земли? Когда посеял? Как родилось? Гляжу я на них и так планирую своим умом. Наши кулаки крестьянина смазанным сапогом выпехивают. Ваши богатеи, фермеры, бедняков тракторами топчут. На машине, выходит, до конца вам ближе. На машину, думаю, и мы скоро залезем. Руль только не в ту сторону завернем. Говорю я Пантюхину: «Алексей, едем домой, на Алтай, в противном случае не миновать тебе сумы». Он воззрился на меня, ровно на дурачка. «Куда,— отвечает,— мне от своего капиталу ехать, чего искать? В старое время мог бы продать, деньги перевести и купить в России. Советы,— спрашивает,— собственность на землю отменили? Ну?» Разъехались мы с ним, одним словом, в разные стороны полными врагами.

Ефросинья Пантюхина стояла на другом конце избы, около окна. Она сказала Игонину:

— Фома Иваныч, мужик-то мой беглый письмо прислал, кланяется тебе, хлеб у них шибко дешев.

Игонин посмотрел на ее белый платок и ничего не ответил.

— В обратную дорогу лежу я в каюте. Море в окошко мне хлещет и качает меня, как мать дите. Мысли мои текут по жилам веселым вином. Понял я, той соленой водой едучи, все американское наполеонство. У них кажный в Наполеоны лезет. Кажный хотит весь мир закупить и распоряжаться, как у себя в лавке. Одна помеха — Наполеонов много, и все с ножами друг на друга налетают.

Собрание сидело молчаливо, притихшее. У некоторых рты были открыты, как у ребят. Бидарев не отнимал от уха руку.

— Из плена вернулся я, товарищи, скучно мне было, из Америки приехал — да еще того тошнее стало. Везде вижу, жизнь на одну колодку сшита. Во всем мире сосед на соседа нож навастривает. У нас тут, бывало, из-за покосов деревня на деревню с вилами наступает. У них народ из-за межей по судам мытарится. От малой семьи до большого правительства — одна песня.

Игонин посмотрел на часы. Помольцев сказал ему:

— Мы не соскучились, Фома Иваныч, высказывайся.

— Об Америке к тому я речь завел, что наши сибирские кулачки с ихними фермерами — родные братья. У американца раб — негр, индеец, случается, и белый бедняк, который из Европы залетит понаслуху о райской заморской жизни. У сибиряка рабы — алтайцы, киргизы и лопатоны из-за Урала. Наши сибиряки потому и быстрее российских мироедов оперялись, форсистее в люди выходили. Не знаю вот только, многие ли из нас вспомнят, как до железной дороги в Сибири богатые мужики хозяйство свое, ровно чистые американцы, своими же руками разоряли. Захватит, бывало, мужик покос с целую губернию и без ума все лето сено ставит. Спросят его: «Сено продавать будешь?»— «Нет,— говорит,— у нас этого в заведении нет, кому тут его продашь? Косим для своих коней».— «А на конях-та извозом занимаетесь?— «Пошто,— отвечает,— извозом, сторона наша непроезжая».— «Для чего же коней-то столь держите?»— «Как для чего? Сено возить».

Многие громко засмеялись, зашумели. Безуглый постучал по столу ручкой.

— Придет время, разглядит мужик, что в собственном хозяйстве он и сам, вроде коня на корде, по кругу ходит, схватит топор и ну скотину свою лупить по лбу.

С железной дорогой, конечно, легче стало — есть куда продавать. Однако в Америке-то, товарищи, железных до-

рог множество, а продавать все равно некому. Америка-то, она нам показывает, куда мы упремся, если по ее дорожке поедем.

Бидарев застучал посохом. Все обернулись на него. Он спросил:

— Беспартийным у вас говорить дозволяется?

Игонин встал и объявил:

— Товарищи, слово предоставляется Семену Калистратовичу Бидареву.

Бидарев, вонзая в пол острый свой жезл, медленно подошел к столу.

— Ничего у вас, лжеучители, не выйдет. В колхозах ваших опять человек человеку будет гонителем. Саранчой на поля ваши насядут писцы непашущие, начальство городское с белыми руками, и пожрут труд земледельца. Не разделить вам ни полей своих, ни жен. Было все это в Америке и у нас на Молочных водах между духоборцами.

Безуглый заметил, что слушали Бидарева немногие.

— Веселый, легкий труд ваш на вас же обратится тяжестью непомерной. С прилежанием слушал я Фому Иваныча и так уразумел слова его, что машина американская ни одного человека счастливым не сделала. Был человек рабом у человека, станет теперь рабом машины. Сломайся машина — и человеку напиться нечего, осветиться нечем. Без машины он даже до ветру сходить не сможет, брюхо свое не опростает.

Бидарев ударил в пол посохом.

— А я все своими руками добуду, и никакой у меня нехватки ни в чем не обнаружится, и никакой не заведется роскоши праздной. Надо так сделать, чтобы одна местность в другой не нуждалась, один человек другому в рот не глядел. Когда каждый будет делать все сам, тогда не будет и власти тягостной человека над человеком и не пойдет народ на народ войной. Сказано в писании: «...Ибо будет последние дни явлена гора господня и дом божий наверху горы, и возвысится превыше холмов, и придут к ней все народы. И пойдут народы многи и рекут: прийдите и взыдем на гору господню... И раскуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не возьмет народ на народ меча, и не будет научаться воевать... И отдохнет каждый под лозою своею, каждый под смоковницей своею, и не будет устрашающего... И изобличит господь сильные народы, даже до земли дальней. Пути его видел и исцелил его, и утешил его, и дал ему утешение истинное: мир на мир далече и близ сущим...»

Бидарев обвел собрание торжествующим взглядом.

— Слышите, глухие,— под лозой с в о е ю, под смоковницей с в о е ю. Вы же, прелестники, хотите отнять у человека поля его, скот его и домы. От труда мирного пахарей на битву возбуждаете, брата на брата и сына на отца ведете.

Бидареву никто не хлопал. Все знали заранее, что он скажет. Старик посмотрел на собрание, на президиум, вздохнул и замахал посохом к двери.

На собрании говорили еще долго. Никто не возражал ни Безуглому, ни Игонину. Ячейка решила организовать в Белых Ключах колхоз.

Помольцев спросил Безуглого:

— Федорыч, ужели и коровенку последнюю мне доведется в колхоз свести? Охотник я большой до молочка. Без молока я за стол не сяду.

Безуглый не слышал вопроса Помольцева, поэтому ничего ему и не ответил. Он думал о людях, которые начали переделывать мир с одной шестой его части. На золотой от капель смолы стене сельсовета висел портрет Сталина. Иван Дитятин — единственный художник в Белых Ключах — написал вождя на берегу пустынного, замерзшего Енисея. Он шел по снегу, смеющийся, в высоких оленьих сапогах, в полушубке и меховой шапке-ушанке. В зубах у него дымилась короткая кривая трубка. На правом плече лежала рыбачья сеть. В левой, крепко стиснутой руке Сталин держал связку больших жирных осетров. Круглые куски льда на плавниках и на панцире рыб блестели, как золотые монеты. Безуглый вспомнил позолоту стен Андреевского зала. На трибуну пятнадцатого съезда вышел сухощавый, выше среднего роста человек. На нем — защитный френч, серые штаны и сапоги. На голове у него — нетронутые временем черные пряди волос. Концы усов опущены книзу. Глаза темны и суровы. Лицо в свете юпитеров — бледно. Его слушала вся страна и миллионы за рубежом. Он ни разу не повысил голоса, не сделал ни одного резкого движения. Он был спокоен. Он видел, как в обвалах войн и революций, точно в первозданном хаосе, шли горнообразовательные процессы, возникали материки нового мира.

Безуглый смотрел на стену избы. Сталин смеялся, курил трубку и играл золотыми осетрами.

* * *

Безуглому надо было ехать в Марьяновский рудник на аймачное совещание уполномоченных по хлебозаготовкам. Анне — в Улалу, на областной слет селькоров. Они выехали

на одном ходке. Очередную подводу должна была подать Ефросинья Пантюхина. Брошенка не захотела отлучаться из дому — у нее работали плотники, рубили новую баню. Она уговорила съездить вместо себя Илью Дитятина.

Безуглый обрадовался, увидев на козлах сероглазого подводчика в широкополой кожаной шляпе. Он теперь только разглядел, что Дитятин — человек немолодой. Ему было верных сорок пять лет. У него резко проступали горькие складки около губ и морщины по всему лицу. Дитятина молодила частая улыбка, потому что зубы у него сохранили свою белизну.

Анна влезла в ходок, уселась, оправила юбку и сказала:

— По бабе-то, поди, горюешь все, однолюб несчастный?

Она объяснила Безуглому:

— Илья Евдокимыч наш один раз в жизни насмелился жениться, за одну юбку спрятался и думает, краше ее во всем свете не сыскать.

Дитятин боком посмотрел на нее с козел и сказал:

— Согласен, Анна Антоновна, со справедливым вашим смехом. Юбок, верно, много, человека вот по мыслям найти трудно.

Анна всплеснула руками и громко засмеялась. В окне напротив, на другой стороне улицы, появилась черная, дремучая борода любопытствующего Мелентия Аликандровича Масленникова. Анна потянула Дитятина за хлястик его кожаной тужурки.

— Агафье своей пятерки за какие такие мысли платишь?

Дитятин смущенно закрутил головой.

— Иван Федорович, простите меня, много я превзошел в своей жизни. Хотите, любой камень вам определю: и откуда он, и какая у него кристаллизация. Добровольным корреспондентом Академии наук СССР имею высокую честь состоять. Одного себя не могу научно объяснить.

Бабушка Анфия открыла ворота. Никита свистнул и хлестнул пристяжку кнутом. Она сыграла задними ногами, рванулась, потащила за собой коренника. Ходок вынесся со двора на улицу. Дитятин круто повернул влево, натянул вожжи. Лошади побежали ровной, дружной рысью.

Разговор возобновился за поскотиной. Дитятин сел боком, обернулся к седокам.

— Не могу я понять, Иван Федорович, почему мне одна только моя жена мила. Ни на кого, кроме нее, и глядеть не могу.

Безуглый удивился.

— Чего же тут непонятного? Раз любите, значит, и нравится.

Анна фыркнула.

— Жена-то у него особенная, пятирублевая.

Дитятин опустил глаза.

— Жена меня бросила, Иван Федорович, и живет теперь в Марьяновском руднике на легкой вакансии. Попросту сказать, проститутничает.

Дитятин посмотрел на Безуглого своими большими, потемневшими глазами.

— В гражданскую войну она испортилась. Два раза в наше село белые приходили и оба раза жену мою насильничали. Я-то был в отлучке, ходил в партизанах. Избу у нас тоже белые сожгли в наказанье, скот, конечно, отобрали, все, как полагается. По окончании войны пришел я домой, можно сказать, к чистому, ровному месту, и жена мне дала полный, категорический отказ: «Ты,— говорит,— все провоевал, ничего у тебя нет. Не нужен ты мне, красный герой, бесштанный».

Дитятин усмехнулся.

— На моем месте другой плюнул бы, выматерился, да и дело с концом. Нет, не могу, что хотите делайте. Приеду на рудник и бегаю за ней, словно жених за невестой. Она ничего, смеется и говорит: «За пятерку я хоть с медведем в постель лягу. Пять рублей за визит, Илья Евдокимович, у вас найдутся?»

Дитятин плюнул.

— Анна Антоновна вам правильно сказала: плачу я жене своей за ласку. Другой раз берет она от меня позорную бумажку и плачет, и я с ней зареву. Она гнать меня начнет: «Уйди от меня, от поганой». Я уговаривать стану: «Брось, мол, ты ремесло свое печальное, давай жить вместе». Она вдруг остервится, с кулаками на меня. «Все вы,— кричит,— кобели,— одним миром мазаны. Много вас вокруг меня топчется, лапы, ровно на столбик, задираете».

Дитятин отвернулся, смахнул с глаз слезы. Безуглый и Анна молчали. На пяти километрах новой дороги через Оградную гору не было обронено ни слова.

Старой верховой тропой проехал алтаец в белой барашковой шапке. Крупные камни закрывали его до шеи. Безуглый видел только голову всадника. Алтаец ехал рысью. Его шапка качалась большим, пушистым цветком белоголовника. Небо, словно река в троицын день, несло такие же теп-

лые опаловые шапки облачных цветов. Воздух был душист и хмелен, как мед.

На последнем перевале через Оградную Дитятин дал передохнуть лошадям. Безуглый вышел из ходка. В высовой траве росли пестрые анютины глазки, лиловые кукушкины башмаки, голубые незабудки, золотые жарки́. В стороне от дороги розовели цветущие поляны колючих зарослей маральника, горького миндаля, шиповника. Безуглый лег на живот и стал ползать от цветка к цветку.

Анна засмеялась и крикнула:

— Медведю позавидовал, Иван Федорович, траву-то сосешь!

Безуглый спрятал лицо в цветах. Смех тряс у него плечи. Над ним наклонился Дитятин.

— Иван Федорович...

Безуглый неохотно приподнялся на колени. Дитятин заставил его подойти к толстой березе у края горы.

Внизу Талица делала крутой поворот, сбрасывала со своей спины седую пену, светлела. На мелких местах было видно дно в разноцветных обточенных камнях. Вода неслась над ними голубыми, прозрачными потоками. Камни дрожали, как цветы на ветру. На берегах стояли большие, глубокие каменные чаши. Дожди наполняли их до краев. Мхи делали воду в них похожей на вино — то зеленое, то красное, то золотистое. Девичий ключ, впадавший в Талицу, напоминал пролитую из огромной бутыли пенистую пьянящую влагу.

Дитятин сказал Безуглому:

— Умирать сюда приеду, Иван Федорович. Веселей нашего Девичьего плеса во всем мире места нет.

Он показал рукой на горы.

— Природа тут всегда, ровно на свадьбе, пирует. У меня каждой горе свое названье дадено. Вон самая высокая с белой вершиной — Невеста, пониже ее, темная, кудрявая,— Жених, за ним толстая, лысая,— Посаженный Отец, вот эти две пестросарафанные — Свахи, а там толпятся — Дру́жки, Полдружки и просто Гости.

Дитятин снова показался Безуглому молодым, как в тот раз, когда он впервые увидел его, возвращаясь с охоты. Дитятин сиял белоснежной улыбкой. Восторг искристыми ключами клокотал в его расширенных зрачках.

— Хребты подлиннее — Кони. Глядите, в гривах у них золотые бубенцы.

Дитятин говорил о жарках.

— А березкам у меня одно прозванье — девушки-хоро-

водницы, плясуньи. Обниму одну красавицу зеленую и не почую, как свет уйдет из глаз.

Дитятин прижался к березе, стал смотреть на реку. От быстрого движения воды в глазах у него начали крутиться берега, тронулись со своих мест горы. Безуглому и Дитятину показалось, что на лице у Невесты зашевелилось снежное покрывало. Жених тряхнул кудрями. Гости буйствовали: бросали под ноги Молодым цветы, в гривах свадебных Коней трепыхались и пели огненные бубенцы. Безуглый отвернулся, закрыл глаза рукой, чтобы остановить головокружение. Дитятин пошел к ходку.

— Ненавижу я, Иван Федорович, кержаков за их тупую любовь к природе. Они ее из одной только выгоды любят. Лес увидят хороший — порубить бы. Поляну найдут красивую — распахать бы.

Безуглый спросил его:

— А вы, Илья Евдокимович, для чего в Академию наук образцы горных пород посылаете?

Дитятин стал медленно розоветь. Он ответил Безуглому только после большой паузы.

— Разработка недр — дело необходимое. Я только против жадности. Сами рассудите, Иван Федорович, мыслимо ли без пощады уничтожать все памятники природы.

Он совсем покраснел.

— За индустриализацию я головой, а, сказать по чистой совести, сердце знобит, как вздумаю, что станется с Алтаем.

Дитятин долго молча разбирал вожжи.

— Народ на заработках, безусловно, поправится. Спору об этом быть не может. Всего возможнее, тогда и мы подругому на все глядеть будем. Вот ведь смолоду надеялся я богачом сделаться. Золото копал до помрачения рассудка. Не давалось оно, правда, мне. В настоящий момент считаю свои неудачи за счастье. Богатому теперь согласно революционной законности дорожка короткая.

Дитятин залез на козлы. Безуглый вскочил в ходок. Ехали шагом. Лошади отлично знали дорогу. Кучеру нечего было делать. Он опять повернулся к седокам.

— Илья Евдокимыч, что же ты не просишь у Ивана Федоровича динамиту?

Безуглый с недоумением посмотрел на Анну.

— Разве это обязательно?

Анна махнула рукой.

— У каждого проезжего просит.

— Не для себя, Иван Федорович, прошу, для государ-

ства. Кварц у нас тут сильно вышел в одном месте. По моим расчетам, должна быть в нем золотая жила. Надо было попробовать подорвать.

— Очень он, Иван Федорович, динамит обожает. Ладно бы, золото рвал, а то ведь людей юхает, пчел и тех им зорил.

— Динамитом пчел?

— Однажды взорвал я дикую пасеку. В скале она была. Медом на версту наносило. Медведи к ней тропы набили. Об каменные ульи себе все когти пообломали, языки в кровь излизали. Нарезал я пятнадцать пудиков сотового.

— Про первую Агафью расскажи.

— Могу и про первую рассказать, если про вторую рассказал.

Дитятин намотал на руку вожжи, уселся поудобней.

— Беспокойный я был человек, Иван Федорович. На одном месте больше году не живал. Могу сказать, по всей Сибири все золотые прииски обошел. За жену ходила со мной мамка приискательская Агафья — первая моя любовь. Надоел я ей, и стакнулась она с одним французским техником. В один прекрасный вечер иду я со своей милой под ручку, навеселе, расположение у меня ко всем нациям самое доброжелательное. Откуда ни возьмись — мусье Шатун, хвать мою Агафью за руку, задернул ее себе в квартиру — и дверь на крючок.

Дитятин неожиданно замолчал. Ему явно не хотелось говорить. Рассказ свой он скомкал.

— В рудничной кладовой украл я запальную шашку. Ночью положил ее Шатуну под окно, шнур зажег, сам — в казарму и будто сплю. Толк получился громадный. Все думали, что война, японцы стреляют. Дом треснул, пол расщепило, книги, которые на этажерке стояли, все очутились в стенных пазах. Француза с Агафьей так на кровати и вынесло в окно на улицу. Ей ничего не сделалось. Ему в личность натыкались порядочные щепки. Меня арестовали, но рабочие показали, что я никуда из казармы не отлучался. Ничем дело и кончилось. Ужасно нахальные были эти французы.

Дитятин дернул вожжи, помахал кнутом.

— Ничего мне, Иван Федорович, не надо. Одна у меня теперь мечта — заработать на коня, насушить сухарей и ездить по горам с ломиком да молоточком, служить нашему прекрасному Советскому Союзу — искать руды, открывать новые минералы.

Навстречу стали попадаться верховые бородатые рыбаки с длинными удилищами. Издали они казались каза-

ками с пиками в руках. Рыбаки ловили рыбу прямо с седла и бросали ее в берестяные паевы, висевшие у них через плечо на расшитых опоясках. Лошади почуяли близость ночлега, прибавили шаг. Село, в котором надо было остановиться на ночь, стало на полпути между Белыми Ключами и Марьяновским рудником. Дитятин сказал Анне:

— Думаю заехать к Мелентию Аликандровичу Масленникову-старшему; середняк он, можно сказать, мощный, у него и корм коням будет, и нам яйца с молоком найдутся.

Безуглый спросил, почему у братьев Масленниковых одно имя. Дитятин ответил:

— Старик, который крестил младшего, был на высоком градусе, вот и напутал — и второго назвал Мелентием.

Лошади остановились у нового большого, пятистенного дома с резными наличниками. Ворота открыл сам хозяин. Он был с братом на одно лицо. У него только в бороде запуталось больше серебряных нитей. Хозяин поклонился.

— В горницу прошу, гости богоданные.

На столе зашипел ведерный, сверкающий медью самовар. К чаю не было подано ни хлеба, ни молока. Мелентий Аликандрович сучил обеими руками бороду и смотрел в пол.

— Извиняйте, граждане, угощать нечем. Люди вы грамотные, сами знаете, что в настоящее время крестьянин лишний хлеб сдает государству.

В дверях стояла хозяйка — худая, старообразная женщина с длинным, некрасивым лицом. Она кланялась гостям и причитала:

— Хлебушка и духу не осталось, все повыгребли. Коровушка молочка убавила. Курочки не кладутся.

Хозяйка горестно сложила руки на животе.

— Как и жить будем с малыми деточками...

Анна, пряча смех в опущенных глазах, сказала Дитятину:

— Илья Евдокимыч, тащи из ходка мою корзину с хлебом.

В дальнем конце улицы зазвенели бубенцы. Хозяин высунулся в окошко и сразу засиял, точно его с головы до ног облили лаком.

— Прошу вас, граждане, выйти вон. Недосуг мне с вами чаи распивать. Агличане ко мне едут.

Он заторопился к двери, жадно захлебнулся.

— Медку прошлый раз подал, ково там, чепурышечку с горстку, три рубля дали. Огурец соленый, какая в нем корысть,— рупь. За ночевку полста отвалят.

Три тройки въехали во двор. Мелентий Аликандрович

метался от крыльца к лошадям, затаскивал в сени тяжелые чемоданы с пестрыми наклейками заграничных отелей. Глаза его источали масло, борода готова была мести землю под ногами гостей, спина выражала страстное стремление угодить, руки раболепно и алчно дрожали.

Среди англичан была жена главного представителя фирмы — высокая, рыжая миссис Фрайс. Мистер Фрайс, плотный блондин в клетчатых брюках, выскочил первым из экипажа. Он навел на жену кодак в тот момент, когда ее нога в черном шелковом чулке высунулась из-под юбки в поисках точки опоры.

Безуглый и Анна вышли из избы. Дитятин стал запрягать лошадей. Он посмотрел на Масленникова и пошутил:

— На экспорт середнячок старается.

Безуглый проворчал:

— Давайте заедем к какому-нибудь менее мощному середняку.

Хозяйка вымыла пол, расстелила чистые половичные дорожки. Англичане вошли в дом. Мистер Фрайс освежил воздух особой дезинфицирующей жидкостью. Англичан было пятеро, шестой, поляк, управляющий рудником, Станислав Казимирович Замбржицкий, состоял в британском подданстве. За столом мистер Фрайс возобновил разговор, начатый на пароходной пристани и прерванный в дороге. Говорил, собственно, он один. Остальные глотали яичницу с ветчиной и почтительно слушали.

— Русские большевики могут купить в Европе или Америке любые машины. Они могут построить прекрасные заводы. За деньги можно все сделать. Но я вас спрашиваю, господа, кто у них будет работать? Где они возьмут обученных высококвалифицированных рабочих? Это — первое. Русские, как и все славяне, некультурны и ленивы. Они не в состоянии работать наравне, скажем, с английским рабочим. Это — второе.

Замбржицкий побледнел. Карие глаза его стали совсем черными. Он согласен с мистером Фрайсом. Он считает только нужным заметить, что из славян наиболее действенны и способны к восприятию европейской культуры поляки. Замбржицкий говорит это из чувства объективности, а не как поляк. Какой он поляк? Поляками были его отец и мать. Замбржицкий учился и воспитывался в Лондоне. Он — настоящий англичанин. Мистер Фрайс положил нож с вилкой и сказал:

— Да. Я продолжаю.

Он отхлебнул из металлического стаканчика.

— Русские изделия всегда грубы и низкого качества. Это — третье. Русские товары даже в России дороже иностранных. Это — четвертое. Россия, закрывая свои рынки для иностранцев, лишает работы миллионы рабочих в Европе. Это — пятое.

Мистер Фрайс сделал еще глоток.

— Индустриальный эксперимент большевиков приведет к очень печальным результатам. В России будут стоять новые заводы из-за отсутствия спроса.

Мистер Фрайс улыбнулся. На розовых щеках у него появились пухлые ямочки. Он поднял свой блестящий стаканчик.

— Я пью за великую Британию, которая умеет управлять не только цивилизованными народами, но и варварами.

Служащие фирмы Обьгольдфильдс последовали примеру своего патрона — потянулись к нему с дорожными складными бокалами. Все они были блондинами, одного роста и одинаково тщательно выбриты.

Над самоваром возвышалась медная горбоносая голова единственной миссис. Она не пила вина. Миссис Фрайс зевнула, посмотрела на часы. Наступало время сна. Мистер Фрайс вышел из-за стола, стал посыпать стены и пол желтым порошком против паразитов.

* * *

С ночевки Безуглый решил выехать раньше англичан. Ему не хотелось собирать пыль за хвостами троек концессионеров. Луна была еще полной, когда Дитятин запряг лошадей. Он сказал Безуглому:

— Лишний раз и мне с ними встречаться приятности мало. В прошлом году высудил я у них Звончиху. Очень золотоносная речка. Они ее совсем было зачертили в плане своей концессии. А она и французам никогда не сдавалась в аренду. Я вроде экспертного свидетеля выступал.

На переправу через Талицу приехали до рассвета. Луна с шумом низвергла свое жидкое серебро на заснеженные горные вершины и в воду реки. Серебро плыло серединой. У берегов вода была черна. В черном лесу за рекой журавли чуть слышно играли предутреннюю песню.

Безуглый и Дитятин долго по очереди вызывали перевозчика. Он спал на другой стороне. Безуглый хватал воздух всей грудью и весело огогокал. Воздух был пропитан рассветной чистотой и свежестью, хлебнув которых человек становится моложе.

Лодка перевозчика не могла вместить и людей, и ходок.

Решено было поэтому в первую очередь переправить лошадей. Анна и Дитятин сели в посудину, держа в поводу по коню. Безуглый с разобранным ходком остался на берегу. Лошади погрузились в воду по уши и быстро поплыли. Безуглый до середины реки слышал их осторожное пофыркивание и окрики Анны:

— Ну ты, балуй!

Дальше он только видел на светлом серебре воды черное пятно лодки и темные очертания трех людей.

Недалеко от берега пристяжка сильно дернула повод. Анна свалилась со скамьи. Лодка закачалась, черпнула всем бортом и пошла ко дну. Река сомкнула над головами людей тяжелую воду. На поверхности не осталось ничего. Безуглый не мог разглядеть даже морды лошадей. Человек стоял совершенно один на краю шумящей обледенелой серебряной пустыни. Холод сковал у него все тело. Он закричал протяжно и хрипло. Над лесом взмыла пара журавлей. Безуглый услышал певучее курлыканье, увидел спокойные взмахи птичьих крыльев и сам приобрел способность двигаться. Он быстро сел, стал срывать с себя тяжелые сапоги. С другого берега донесся звонкий голос Анны:

— Чего орешь, дурной, выплыли мы!

Безуглый расслабленно лег на камни. На бледном диске луны он снова увидел черных журавлей. Они кричали ему как старые знакомые. Безуглый блаженно улыбался. Земля теплела, наполнялась суетой живых существ, шелестом трав и листьев. На другой стороне Анна привязывала к дереву мокрых, ржущих лощадей. Дитятин с перевозчиком в километре от переправы отливали пойманную лодку.

Безуглый переправился без приключений. Анна озябла во всем мокром. Она спряталась за его спину, сказала:

— Иван Федорович, загороди меня.

Женщина стала переодеваться. Она пропела ему в ухо:

Милый мой,
Замерзла я.
Закрой полою,
Я твоя.

Вдали пылили тройки концессионеров. Дитятин бросился к лошадям, начал торопливо запрягать. Безуглый воровато оглянулся на него и, улучив минуту, стремительно поцеловал Анну в смеющийся рот.

Перевозчик скрипел веслами навстречу англичанам. Англичане обогнали пару буланых Ефросиньи Пантюхиной у самой околицы рудника. Безуглый ворчал и плевался. Он знал, что сдача недр в концессию иностранцам — дело,

начатое еще Лениным, и все же не мог подавить в себе глухого недовольства.

Талица около Марьяновского рудника текла медленнее, мутнела, зеленела. Можно было подумать, что в ней растворяется зеленая руда, кучами лежащая на берегах, на улицах и на площади поселка. Куски редкостной, тяжелой, полиметаллической руды валялись всюду. Из них складывали в укромных местах тайные очаги для варки самогона, ими укрепляли ямы погребов и уборных, мостили тротуары.

Концессионеры тут несколько лет занимались только геологическими изысканиями, кустарной добычей золота и мелкой починкой дорог. Они даже не откачали воду из шахт, затопленных их предшественниками — французами. На рудник не было завезено ни одной новой машины. Англичане кое-как пустили старую электростанцию и сдали от себя в аренду русским старателям небольшую шаровую мельницу. Старатели мололи руду и мыли на ручных бутарах драгоценный порошок. Шесть миллионов пудов руды, содержащей золото, серебро, свинец, цинк и медь, мертвым грузом лежали на поверхности. Рудник был пуст наполовину. Многие дома стояли с заколоченными ставнями и дверями. Громоздкие корпуса обогатительной фабрики зияли мертвыми дырами выбитых окон. Высокие кирпичные заводские трубы не дымились более десяти лет. На месте вышек над шахтами торчали маленькие будочки, похожие на деревянные нужники.

За поселком горы синели, как граненые ларцы, полные сокровищ. Цветные металлы и самоцветные камни праздно лежали в земле.

Мистер Фрайс зашел в кабинет к своему управляющему. Он ждал ванну. У него было пятнадцать минут свободного времени. Англичанин сел в мягкое кожаное кресло, оглядел просторную, хорошо обставленную комнату.

— Россия — страна невероятных контрастов. Однажды до революции, в гостях у помещика я почувствовал себя как в Европе. Обстановка, стол, язык и манеры хозяев были безупречны. Мне подали вечером автомобиль, чтобы отвезти меня до ближайшей станции железной дороги. На первой миле машина застряла в грязи. Мне пришлось воспользоваться услугами случайного крестьянина с телегой. Я ехал в ужасной колымаге, задрав самым нелепым образом к подбородку колени. Бородатый, вонючий мужик ни слова не понимал по-английски. Он зверски ворочал белками глаз и бессмысленно скалил зубы в ответ на мои мольбы ехать тише. У меня не было уверенности, что мой кишечник

останется целым после нечеловеческого испытания на глубоких выбоинах дороги. В деревнях, которые мы проезжали, я видел отвратительное невежество, нищету и драки пьяных дикарей.

Мистер Фрайс маленькой гильотинкой обрезал сигару, закурил.

— Я не могу спокойно спать в этой стране.

Англичанин вытянул ноги, попробовал носком ботинка мягкость медвежьей шкуры.

— Мы постараемся приручить русского медведя. Мы думаем, что большевики вынуждены будут встать на путь цивилизованных народов, или они...

Мистер Фрайс не договорил до конца. Он играл кольцами дыма.

— Человечество вступило на путь разумного сотрудничества на основе справедливых договоров...

Горничная в белом чепце и переднике доложила, что ванна готова. Мистер Фрайс прекратил разговор.

* * *

На совещании уполномоченных по хлебозаготовкам одним из первых слово получил Безуглый.

— Товарищи, мне кажется, что нам тут нечего разговаривать о том, для чего нужны хлебозаготовки. Грамотный коммунист не нуждается в разжевывании вопроса, давно решенного всей партией. Нам сегодня необходимо поговорить главным образом о методах, которыми мы должны производить заготовку зерна.

Безуглый не любил во время своих выступлений глядеть в пол или прятать глаза в листках конспекта. Он неторопливо посмотрел на каждого участника совещания. Среди уполномоченных было много безусых людей в защитных юнгштормовках. Коммунисту понравились серьезные лица комсомольцев. Ему захотелось говорить в первую очередь для них.

— Деревня, как вам известно, не может состоять из одних только кулаков, поэтому методы голого административного воздействия допустимы по отношению к очень ограниченной прослойке хлебосдатчиков, в первую очередь, конечно, к злостным неплательщикам. Некоторые из нас, к сожалению, забывают, что среди крестьян есть наши союзники и друзья — середняки, бедняки, батраки. Вот почему в хлебозаготовках мы должны главное внимание уделить массовой разъяснительной работе. Если нам

удастся убедить середняка, что ему в конечном счете выгоднее сдача зерна государству, чем продажа его на рынке, то успех хлебозаготовок обеспечен.

Безуглый разобрал не только методы работы. Он говорил о хранении хлеба и о современной вывозке его к пароходным пристаням. Руководитель совещания — член областного комитета партии — после него ничего не смог сказать нового. Ему пришлось повторить мысли Безуглого. Уполномоченные по другим сельсоветам деловито рассказали об ошибках и удачах в прошлую хлебозаготовительную кампанию. Особенное возмущение у всех вызвали местные руководители речного транспорта, не сумевшие наладить погрузку и вывоз зерна. Некоторые вспомнили разверстку двадцатого года как образец неувязки планов. Все указывали на несоответствие в то время заготовок с возможностями перевозок и хранения продуктов.

Безуглого радовала суровая правдивость высказывания коммунистов. Он всегда был сторонником самой строгой самокритики.

Безуглый знал огромное значение хлебозаготовок. Они были первым звеном планового товарообмена между городом и деревней. Они должны были подчинить интересам страны стихию хищной личной наживы. Он поэтому решительно не согласился с предложением председателя прекратить прения. Совещание кончилось на другой день к вечеру.

* * *

Управляющий рудником Замбржицкий до революции жил в Петербурге. В Лондоне он только кончил университет. Замбржицкий принадлежал к российской социал-демократической партии меньшевиков, сидел в «Крестах» и отбыл три года административной ссылки в Туруханском крае. Из России бежал в сентябре семнадцатого года.

Замбржицкому надо было увидеться с Безуглым. Управляющий беспокоился за судьбу своих закупок хлеба в Белых Ключах. Они встретились у дверей райисполкома, куда Безуглый зашел после совещания. Замбржицкий пригласил коммуниста в контору концессии. Деловой разговор иссяк быстро и благополучно.

Замбржицкий предложил Безуглому перейти к нему в кабинет. Горничная подала кофе, фрукты, сигары.

— Вы помните, Иван Федорович, анекдот о большевике и меньшевике, которых жандарм вел вешать и которые спорили так, что забыли убежать в то время, когда палач

уснул по дороге к виселице? Жандарм спросонок даже веревки перепутал и повесил меньшевика на большую, а большевика — на маленькую.

Безуглый засмеялся и ответил вопросом:

— Вы разве меньшевик?

Замбржицкий долго раскуривал сигару.

— Нет, я — теперь просто я, свободная, критически мыслящая личность, а общество — лес, в который ваш покорный слуга ходит на охоту.

Безуглый отказался от сигары.

— Мне, Иван Федорович, надоели мои англичане, очень они узкие и ограниченные люди. Немцами про них хорошо сказано.

Замбржицкий пододвинул Безуглому чашку кофе.

— Один англичанин — ограниченность, два англичанина — острая ограниченность, три англичанина — мировое правительство.

Замбржицкий улыбался, блестел золотым клыком.

— Немцы и про русских неплохо говорят. Не угодно ли: один русский гениален, два русских — революция, трое русских — хаос.

Безуглый спросил:

— Вы с этим согласны?

Замбржицкий поперхнулся дымом.

— Мне это просто безразлично.

— Как вас прикажете понимать?

— Я никому не отдаю предпочтения. Я вообще ни во что и ни в кого не верю. Впрочем, вру — верю в силу своих зубов и когтей. Мне безразлично, с кем бороться и кому служить: против русского вместе с англичанами или наоборот, или против них обоих с третьим.

Замбржицкий поднялся, плотно прикрыл дверь.

— Нас никто не слышит. Я спокойно могу говорить, что угодно. Вы мне не страшны, так как у вас нет свидетелей.

Безуглый встал. Замбржицкий усадил его в кресло.

— Не будем ссориться. Я неспроста рассказал вам анекдот о большевике и меньшевике. Мне очень хочется поспорить с вами.

Безуглый неохотно возразил:

— Не вижу в этом смысла.

— Жизнь вообще бессмысленна.

Замбржицкий зачастил, не дожидаясь ответов Безуглого:

— Немцы не совсем неправы, когда обвиняют вас в неумении работать. Недавно я прочел в «Правде»...

Он рассказал о ряде случаев небрежного хранения овощей в магазинах и на складах Москвы.

Бывший меньшевик стоял перед коммунистом, заложив руки в карманы брюк.

— Если вы говорите правду, что в СССР грамотных больше, чем в царской России, то тем хуже для вас. Очень вам трудно будет убедить грамотного крестьянина сдавать государству овощи. Он, практик, прочитав вашу же «Правду», не захочет губить плоды своего тяжелого труда.

Безуглый раскрыл рот. Замбржицкий поднял руки.

— Минуточку терпения. В «Известиях ЦИК СССР» сообщалось, как рабочие одного московского завода выехали на субботник в овощной совхоз. Они очень старались и... выпололи вместе с сорной травой несчастную морковь. Все они оказались потомственными почетными пролетариями, родились и выросли в городе и никогда, естественно, не видели живых овощей на грядках.

Замбржицкий опять поднял руки.

— Я еще не кончил. Вы, большевик, уподобились этим простодушным пролетариям на огороде в своей политике ликвидации классов. Вы дергали без разбора, забывая, что буржуа,— крупный или мелкий, безразлично,— не только эксплуататор, но и организатор. Вы вытесняете теперь капиталистические элементы в деревне, по существу ничем их не заменив. Бесхозяйственные совхозы и худосочные колхозы надеюсь, в счет не идут.

Замбржицкий сел.

Безуглый вспомнил совещание по хлебозаготовкам. Рассказы Замбржицкого о порче продуктов можно было бы дополнить докладами уполномоченных. Безуглый сказал:

— Ваши примеры не убедительны. Они говорят только, что мы еще не всегда умеем работать без ошибок. Однако вы ломитесь в открытые ворота. Мы сами критикуем свои недочеты, осуждаем отдельные случаи неумелого хозяйствования, следовательно, у нас достаточно сил, чтобы их устранить. Ничего в этом страшного нет. Вы забываете, что мы учимся. Настоящий ужас, по-моему, начинается там, где люди умеют работать и действительно с большим знанием дела отнимают дно у моря, на осушенной земле сеют пшеницу, а потом бросают ее в... море. Скажите мне, что стоят наши временные неполадки по сравнению с вынужденным организованным уничтожением продуктов в так называемых культурных странах? Если советский крестьянин негодует, и совершенно законно, на наше подчас неумелое обращение с овощами или хлебом, то что должен делать и думать европейский земледелец или американский фермер, глядя, например, на умелое сожжение хлопка?

Замбржицкий оторвался от чашки.

— Кризис — явление временного порядка. Об Америке вы напрасно. Она процветает. Никакого кризиса там не будет даже на самое короткое время.

Безуглый повеселел.

— Может быть, цивилизованные народы и вооружаются временно?

Замбржицкий пожал плечами.

— Разрешите рассказать вам об одной встрече немца с французом, которая произошла вскоре после Версаля в Швейцарии на курорте за чашкой кофе. Беседа двух бывших врагов была напечатана. Они говорили о войне, которая кончилась, и о войне, которая должна начаться.

Безуглый не помнил, когда и где прочел о ней. Может быть, она была измышлена литератором. В ней можно было представлять действующих лиц. Она не утратила бы своего правдоподобия, даже если бы и была выдумана от начала до конца. Безуглый рассказал:

— Немец — старик с оливковой лысиной и со слабыми коленями — говорил своему коллеге, юному, черноволосому, темноглазому французу:

— Война последняя мало чем отличалась от грубых битв варваров.

Безуглый, подражая немцу, покачал головой.

— Зачем эти оглушительные взрывы, раздражающий вой снарядов, неприятный визг пуль? Газ полз по земле, извивался и душил, как грубое животное. Люди умирали в муках.

Безуглый склонился над чашкой.

— Варварство.

Он отхлебнул кофе.

— Война просвященных народов должна быть бесшумной. Ни одного разрушенного здания, ни капли крови, ни одной раздробленной кости. Газ будет благоухать, как летнее утро на цветущем лугу. Авиатор сбросит над вашим Парижем несколько изящных шелковых бомбоньерочек. Они не будут похожи на громыхающие стальные бомбы. Они раскроются тихо, как бутоны.

Безуглый представил, как немец потирал руки.

— Рано утром прямо с постели вы подойдете к раскрытому окну. Воздух покажется вам особенно свежим и бодрящим. Вы даже и не подумаете, что ваше тело всеми своими порами впитывает смертельную отраву. Днем вы неожиданно ослепнете. Вам покажется, что потухло солнце. Отчаянию вашему не будет предела. Зрение через несколько

минут вернется. В душе у вас поселятся страх и неуверенность. Вы почувствуете, что находитесь во власти каких-то страшных сил и что бороться с ними вы не в состоянии.

Старик посмотрел на своего собеседника. Француз был бледен. Кофе стыл у него в чашке.

— Вечером вы отправитесь на свидание к своей Жоржетте.

Немец захихикал.

— Вашим объятиям не суждено будет разомкнуться. Вы умрете оба. Весь Париж — мужчины, женщины, дети, старики, старухи, собаки, кошки, лошади — вдруг оцепенеют навеки. Вы понимаете — огромный город, и ни одного живого существа. Умрут деревья, трава и цветы. Они все станут одного цвета — серые. В городе не останется ни зеленых, ни красных крыш, ни пестрых вывесок — все будет только серым.

Француз торопливо заметил:

— Старики и дети не воюют, следовательно, умерщвление их — бессмысленная жестокость.

Немец долго смотрел на него, жуя губами, потом сказал:

— Войну ведет вся нация. Истребление одних только боеспособных мужчин, по-моему, менее справедливо.

Француз вскочил из-за стола, взволнованно прошептал:

— Война ваша — абсурд. Ее никогда не будет.

Немец поглаживал свои острые колени и улыбался. В зубах у него блестело золото.

Замбржицкий скривил губы:

— Ах, как страшно! Вы меня очень напугали. У вас, оказывается, незаурядный талант рассказчика.

Безуглый продолжал:

— В мировую войну в каждой воюющей стране говорили: «Война эта справедливая, освободительная и последняя. Победим — и все разбогатеем». После войны: «Получим контрибуцию, и тогда будем счастливы». Победители: «Немцы не платят, оттого и жизнь плоха». Побежденные: «Непосильные платежи, мы разорены». Победители: «Надо заставить платить». Побежденные: «Необходимо сбросить бремя долгов». Одним словом, почва для реванша готова. В новой войне победители могут поменяться местами с побежденными, чтобы в следующей схватке занять свое прежнее положение. Так после тридцатилетней войны Эльзас-Лотарингия отошла к Франции, в 1871 году — к Германии, в 1918-м — снова к Франции.

Замбржицкий засмеялся.

— Могу вас дополнить. Германия под Ватерлоо дралась

в союзе с русскими и англичанами. В последнюю войну — против них. В Семилетнюю войну против Австрии. В четырнадцатом году — вместе с ней. Россия воевала вместе с Францией и Англией и потом была их союзницей. Она боролась с Японией в 1904 году и через десять лет выступала совместно с ней. История всего мира есть история войн всех против всех. В XIX столетии человечество провело в войнах восемьдесят восемь лет и только двенадцать лет жило мирно. Отношения между людьми покоились искони на одном принципе: «Я скушаю тебя, чтобы ты не проглотил меня». Прибавим сюда еще одно непреложное положение — дивиденд. Остальное — условности. Немец Крупп, продававший англичанам снаряды во время войны Германии с англичанами,— блестящее тому доказательство.

Замбржицкий резким движением правой руки остановил Безуглого:

— Не возражайте. Я знаю ваши громкие слова — классовая борьба, пролетариат, Интернационал. Все, что вы мне скажете, старо. Руссо, Кант и другие еще до Маркса ставили проблему вечного мира. Кант в его трактате «Zum ewigen Frieden» требовал создания в Европе «Федерации свободных республик». Никогда из этого ничего не выходило и не выйдет. Социализм с его наивным «каждому по потребностям, с каждого по способностям» мне прямо смешон. Удовлетворите вы меня, пожалуйста, когда я потребую, как китайский император, холодное из соловьиных языков, или, как Чингисхан, попрошу у вас триста шестьдесят пять девушек в год, или, наконец, пожелаю пройтись по Европе, подобно Наполеону.

Безуглый успел сказать:

— У вас тогда пропадет аппетит к таким вещам.

Замбржицкий посмотрел на собеседника. В глазах поляка мелькнула усмешка.

— Я угадываю благочестивые мысли коммунистического проповедника. Не трудитесь высказывать их. Вы сами только что дали опровержение всем социалистическо-пацифистским бредням своим рассказом о встрече француза с немцем. Что? Опять рабочий класс?

Жирные, бритые щеки Замбржицкого дрожали от хохота.

— Никакого рабочего класса не было и нет. Есть просто имущие и неимущие, работающие на производстве и организаторы производства, причем каждый последний бедняк хочет и может стать Морганом, Ротшильдом. Частная собственность — обмани, ограбь, уничтожь тысячи со-

перников. «Все джунгли твои. И ты можешь убивать все, что в силах будешь одолеть». Кто сказал, что это безнравственно? С точки зрения слабого, конечно, да, безнравственно, сильный же законно считает, что все позволено. Жизнь тем и прекрасна, что безвестный сегодня полковник Бонапарт завтра будет провозглашен Наполеоном, императором французов. Мало тебе Франции — иди и воюй всю землю. Она отдается всякому, кто ее сможет взять. В крепко сшитом так называемом старом мире каждый нищий, даже умирая, еще не теряет надежды сделаться миллионером. Вот в чем его огромная сила. Что можете вы предложить мне взамен всех этих соблазнов? Партмаксимум как идеал индивидуальных достижений? Западные социалисты не поддержат ваших ребяческих попыток переделки мира.

Безуглый насмешливо бросил:

— Это которые голосовали за военные кредиты?

Замбржицкий сделал вид, что не слышал замечания собеседника.

— Для них слова «Коммунистического манифеста» звучат реакционно. «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»? Неверно. У них есть своя легальная партия, профсоюзы и демократия. Они даже на серьезную стачку не пойдут.

Безуглый крикнул:

— Стачка английских горняков!

Замбржицкий не ответил.

— Европейский и американский квалифицированный рабочий — рантье.

Безуглый перебил:

— Скоро он убедится, что его сбережения — простонапросто бумага, которой спокойно можно оклеивать стены.

Замбржицкий упрямо выставил вперед круглый подбородок.

— Поэтому когда волна кризиса начинает покачивать лодочку его сбережений, то он в страхе бежит в церковь и молится об избавлении капитализма от всех его болезней.

Безуглый спросил:

— Значит, да здравствует война всех против всех?

Замбржицкий подошел к нему и сказал:

— Новая война неотвратима, поэтому неразумно пугаться ее или запугивать ею. Вы правы, может быть, все мировые столицы будут обращены в сплошные кладбища, не исключена возможность и гибели целых стран. Человек второй раз будет наказан изгнанием из рая за свое дерзкое желание знать все. Наука — вот главный враг

современного человечества. Мы можем только пожелать, чтобы она скорее сама погребла под развалинами ею же созданного мира. Уцелевшие будут счастливы. Они еще раз начнут старую историю голых людей на голой земле.

Безуглый рассмеялся и взял из вазы большую грушу.

Замбржицкому не нравилось спокойствие Безуглого, с которым тот выслушивал все его выпады. Поляка особенно раздражало нежелание коммуниста спорить с ним. Замбржицкий подумал, что Безуглый нарочно подчеркнуто громко чавкает и захлебывается соком груши. Он, конечно, рассчитывал этим показать свое полное пренебрежение к нему. Замбржицкому хотелось уколоть Безуглого, вывести его из равновесия. Он спросил:

— Вы знаете английский язык?

Безуглый вытер рукой мокрый рот.

— По-печатному мало-мало маракую.

— Советую вам прочесть, если у вас хватит для того знаний, труд замечательного современного английского философа Бертрана Росселя «Jkarus or The Future of Sciene». Вы тогда бы увидели, что все сказанное мною разделяется лучшими мыслителями нашего времени.

— Буржуазными мыслителями?

— Наклеивание ярлыка не меняет сущности дела.

Замбржицкий схватил спичечную коробку. Рука у него заметно дрожала. Он стал зажигать потухшую сигару.

— Если вы прочтете Бертрана Росселя, в чем я, впрочем, сильно сомневаюсь, потому для такого чтения нужно серьезное знание языка, а не маль-мальское...

Безуглый иронически поклонился.

— Вполне разделяю ваши сомнения.

— Бертран Россель очень убедительно доказал, что дальнейшее развитие науки и техники приведет к господству над миром немногих выдающихся людей. Военный мыслитель генерал Фуллер даже считает, что войну в будущем будут вести несколько гениальных умов, управляющих вооруженными машинами.

Безуглый зевнул.

— Фуллер упустил из виду только один пустячок. Он забыл, что машины делают рабочие, огромные массы людей, и что, если они...

Замбржицкий заткнул уши.

— Не повторяйте избитых общих мест об особой, сверхчеловеческой миссии пролетариата. После Шпенглера смешно всерьез говорить о Марксе. Никогда людям не изжить их «свинцовых инстинктов». Чье это выражение? Спенсера? Да.

Замбржицкий, как старьевщик своим товаром, гремел перед Безуглым обломками чужих мыслей и слов. Безуглый почти не слушал. Коммунист решил для себя, что Замбржицкий в прошлом непременно был меньшевиком. Очень он сыпал цитатами.

— Бертран Россель думает, что наука грозит стать причиной разрушения нашей цивилизации. Он видит, что единственно твердая надежда как будто покоится на возможности мирового владычества какой-либо одной группы, скажем, Соединенных Штатов, что, по его мнению, приведет к постепенному образованию упорядоченного экономического и политического всемирного правительства. Но, может быть, говорит он, имея в виду бесплодность Римской империи, следует в конце концов предположить гибель нашей цивилизации такой альтернативе.

Безуглый взял вторую грушу, откусил у нее сразу полбока. Сладкий бунтующий сок брызнул ему на пальцы.

Замбржицкий бегал по комнате, размахивая руками. Во рту у него сверкал зуб, одетый в золотую броню.

Безуглый смотрел на поляка и спокойно молчал. Его не смущали панические рассуждения Замбржицкого. Он знал, что мир не един. Мир делится на господ и рабов. Накануне новой мировой войны господа вынуждены были принять меры для успокоения рабов. Они клятвенно заявили о своем желании начать разоружение. Безуглый не сомневался, что скоро настанет день, когда рабы не поверят никаким клятвам господ.

Коммунист встал, поклонился поляку, пошел к двери. Замбржицкий закричал:

— Подождите, я еще не кончил!

Безуглый отмахнулся. Замбржицкий загородил ему дорогу. Бывший меньшевик был мал ростом. Большевик сверху вниз смотрел на его небольшую круглую лысину и едва удерживался от мальчишеского желания хлопнуть по ней ладонью. Нарядный, надушенный человечек топтался на месте, поднимал и опускал руки в блестящих белых манжетах. Он показался Безуглому хорошо сделанной заводской игрушкой.

— Ну, где же выход, скажите мне?

В голосе спрашивающего совсем не было уверенности. Безуглый усмехнулся, потянул себя за ус, сказал:

— Он давно найден.

* * *

Домой Безуглый возвращался один, верхом, другой дорогой. Он решил сделать крюк, чтобы заехать на заимку Поликарпа Петровича Агапова — своего первого учителя. Агапов раньше жил в Тамбовской губернии, был младшим конторщиком в имении графа Воронцова-Дашкова и ту же должность занимал в совхозе, организованном на землях сановного помещика. Он выучил Безуглого грамоте и до отъезда Дарьи с сыновьями в город к дяде Якову давал Ивану читать книжки в красных обложках. Взвод драгун-усмирителей, расквартированный в имении после разгрома первой революции, выпорол Агапова вместе с тремя десятками крестьян из Собаковки. Конторщик тогда перестал интересоваться пламенными брошюрками, сделался толстовцем. Он одел просторную блузу с широким ременным поясом, отрастил бороду, отказался от употребления в пищу мяса и рыбы, начал толковать крестьянам о непротивлении злу насилием. Последний раз Безуглый виделся с Агаповым у деда в начале двадцать второго года. Конторщик мечтал сесть на землю, расспрашивал об Алтае. Безуглый из писем матери знал его точный адрес. В аймисполкоме поэтому он о нем не справлялся. В Белых Ключах о Поликарпе Петровиче Безуглый ни с кем тоже не разговаривал. Коммунист, таким образом, не знал, что Агапов давно нашел проповедь яснополянского отшельника слишком узкой для себя. От своего последнего увлечения он сохранил только толстовку с большими карманами.

Безуглый помешал самым сладостным занятиям Агапова. Бывший конторщик сидел за столом, постукивал на счетах, разносил по книге остро заточенным карандашом цифры своих расходов и доходов. Он записывал сначала молоко, затем сколько из него вышло масла, и наконец деньги. Расходы были копеечные, доходы рублевые. Рука с сорочьей проворностью перескакивала со строки на строку. Цифры итогов всегда умиляли хозяина. Он обычно подолгу смотрел на них, потом начинал перелистывать толстую книгу счастья. На очках и на лысине у него в это время горели веселые солнечные зайчики.

В книге у Поликарпа Петровича записывалось, сколько коровы съели сена и какой у них удой, количество ульев, с точным наименованием — Дадан, Рутт, местная колодка и вес собранного меда, десятины посева и пуды урожая. Осенью Агапов писал: «Поставлено скота на зимнее содержание в составе — быка Идеал и коров Фея, Русалка, Меч-

та. За лето прибыло в весу у Мечты, у Русалки...» Скотный двор, конюшня, птичник, пасека, амбар были отражены, как в зеркале. Велись и записи народных средств от ломоты в пояснице, от куриной слепоты, от лихорадки, выписки из книги «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», собирались способы изготовления клея для посуды и другие полезные сведения. Иногда Поликарп Петрович заносил в книгу свои размышления или просто писал о состоянии погоды. В первый день приезда на Алтай, 3 июня 1922 года, кратко отмечалось: «Погода очень хорошая. Сам себе поставил вопрос о двух конях. Один — английский, его выводят на поводу, кормят; другой — дикий. На одном ездят, в узде держат, другой — сам себе хозяин. Какому можно позавидовать? Видел члена райкома ВКП(б) товарища Иванова».

Во время набега генерала Мамонтова под окнами у Агапова стонал раненый красноармеец. Поликарп Петрович ничем ему не помог, он только написал в книге счастья:

Голова у него вся порублена,
Грудь у него вся изранена.
На груди у него красный бант горит,
В головах у него конь вороной стоит...

Красноармеец ночью заполз на крыльцо и скребся в дверь. Поликарп Петрович положил на ухо подушку. К утру раненый истек кровью. Агапов каждый раз, когда перечитывал эти строки, вытаскивал носовой платок и вытирал помутневшую бирюзу глаз.

Безуглый слез с коня около ворот. Хозяин вышел на крыльцо босой, в серой парусиновой толстовке, без пояса. В рыжих нечесаных кустах его бороды появились белесые клочья. Он отпер хитроумный деревянный запор и принял у гостя повод коня.

— По твоим рассказам, Ваня, избрал я себе местопребывание. Помнишь, ты мне из своего Алтая указывал на окрестности Белых Ключей?

Безуглому вдруг не понравилось, что Агапов назвал его Ваней.

— Теперь я понял, что Сибирь-то у нас, в Тамбовской губернии, а тут самая настоящая жизнь.

Поликарп Петрович зажмурил глаза, мотнул бородой и крякнул:

— Гм-км...

Острый вздернутый кончик его носа был маслянист и красен.

— Человеку с умом да непьющему на здешних землях за пять лет можно выйти в большие тысячники.

Безуглый удивленно оглядел дом, крытый железом, теплые стайки, амбары из толстых бревен, ограду с блестящими стеклянными шарами на углах и сказал:

— Вы, кажется, к тому и идете.

Он прочел на память:

На прогалине лесной
Виден терем расписной,
Стоит терем, как гора,
Сам литого серебра.
Верх у терема зеркальный,
А вокруг — забор хрустальный...

Лицо и лысина у Поликарпа Петровича стали одного цвета с бородой. Он узнал строки из «Конька-Скакунка». Он сам читал вихрастому памятливому мальчишке Ване сказку Верхоянцева.

Гость притворился, что не видит смущения хозяина, прочел еще две строчки:

Пусть землей владеет тот,
Кто свой пот на пашне льет...

Поликарп Петрович сказал с досадой в голосе:

— Безрассудные мечтания юности.

Он зашептал, как заговорщик:

— Сдерживаю себя, Ваня. Сам знаешь советскую политику. Налог-то ведь подоходный, прогрессивный. Можно сказать, большевики по священному писанию законы сочиняют — кому, мол, больше дадено, с того больше и взыщется.

Агапов задрал голову, оскалил зубы — желтые, громадные, похожие на долота. Улыбка у него была лошадиная.

— Другой раз думаешь и машину лишнюю завести бы, и удобрение искусственное. Ну, а на поверку выходит — нет никакого резону. К чему мне интенсивность в хозяйстве, если сельсовет на меня налогом на каждом шагу грозится, если за ведро молока на маслозаводе мне предлагают полтину.

Хозяин распахнул перед гостем дверь в дом. Безуглый знал жену Агапова — Матрену Корнеевну. Она была дочерью лавочника из соседнего с Собаковкой села Нарядного. Поликарп Петрович женился по расчету на ширококостной,

рябой, плосколицей, засидевшейся в девках дурнушке. Отец давал с ней большое приданое. Матрена Корнеевна неловко сунула Безуглому свою шершавую руку.

— Гостю дорогому, почтеньице.

Голос женщины, не по росту слабый и тонкий, рассмешил Безуглого. Он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Хозяйка поспешно ушла в кухню. Она успела заметить веселые глаза гостя. Над ней смеялись часто.

Дом у Агапова был из четырех комнат. В двух хозяин разворочал полы и вынул рамы. Безуглый почувствовал сильный запах меда. На столе стояла тарелка с помятой осотиной. Мухи жужжали над ней, как пчелы. Они черной колеблющейся пеленой покрывали зеркало и фотографии на стенах, потолок и оконные стекла. Хозяин извинился за беспорядок.

— В тесноте, Ваня, живем. Дом приходится ломать. Боюсь, не окулачили бы за большие хоромы.

Поликарп Петрович широкой ладонью смахнул пыль со стула, подал его Безуглому.

— Не понимаю я теперь вашу политику.

Они сели за стол. Матрена Корнеевна постелила чистую скатерть.

— Нэп я одобрил и решил, что лучшего мне ничего не надо. Все, думаю, у нас пойдет, как у больших, одним словом, сказать по-французски — анри-шезé ву.

Безуглый нагнулся, стал снимать с сапога стебелек травы. Лицо у него пылало от сдерживаемого смеха.

— Вижу, власть держит курс на хорошее хозяйство, поощряет накопление благ земных. Я говорю Матрене: «Пришел и на нашу улицу праздник, довольно нам гнуть спину на чужого дядю». Собрались мы с ней и махнули сюда, на молочные реки, на кисельные берега.

Агапов приложил платок к намокшим глазам.

— Ваня, объясни мне, как это случилось, что я теперь кандидат на раскулачивание, а профессор из земотдела, который мне брошюрки писал по разным предметам культурного хозяйства, сидит в Гепеу и сам себя вредителем признает?

Безуглый сказал:

— Не первый вы задаете мне такой вопрос. Недавно разговаривал я с Моревым и объяснял, что при социализме общество не может делиться на классы. Нэп была только стратегическим маневром на подступах к социализму. Вы же полагали, что она есть спуск на тормозах от военного коммунизма к капитализму. Некоторые профессора потому

и оказались вредителями, что пытались использовать нэп для восстановления старого строя.

Агапов горестно вздохнул.

— Ошибся я страшно в большевиках. Не сообразно с обстоятельствами произвел реконструкцию своей жизни.

Он посмотрел на Безуглого.

— Очень ты, Ваня, на своего деда Алексея похож. Сижу с тобой и старика умного вспоминаю. Сколько раз он говорил в семнадцатом еще году: «Жгите помещиков, не оставляйте от их усадеб ни кирпича, ни щепки. Поместья уцелеют — новые помещики явятся».

Агапов ткнул в стол указательным пальцем.

— Правду говорил старик, на погибель крестьянскую в барских угодьях поселились ваши совхозы. Царское правительство ссужало деньгами помещиков. Вы сейчас засыпаете кредитами свои советские имения. Крестьянину что раньше, что теперь никто ничего, и даже наоборот, который если в люди выходить начнет, то его живым манером охомутают, и стоп машина.

Агапов заглядывает в глаза Безуглому.

— Ваня, чего вы России ноги путаете. Сто шестьдесят миллионов ведь со сложенными руками сидят. Вы воображаете, мужик работать будет, когда к нему разные хлебозаготовители в амбар полезут?

— Лезем мы только или к очень злостному несдатчику, или к спекулянту.

Агапов положил Безуглому на плечо руку с бурыми табачными ногтями.

— Ваня, погубите вы Россию. Неужели мы, лапотники несчастные, на самом деле умнее всех Европ и Америк?

Поликарп Петрович сморщился, впился пальцем в локоть гостя.

— В Америке-то я бы тебя разве так принял? Да у меня бы там гараж свой был, дом в два этажа и у дверей негр в белых перчатках.

Матрена Корнеевна подала ужин — в большой кастрюле окрошку с куриным мясом, заправленную зеленым луком и сметаной, на сковороде — жареного, шипящего тайменя. Поликарп Петрович достал из стенного шкафчика графин с домашней малиновой настойкой.

— Далеко нам, Ваня, до американцев. Народ у нас темный, неграмотный.

Хозяин поднес ко рту стаканчик. Граненое стекло стукнуло у него на зубах. Безуглый тоже выпил.

— Грамотному, опять говорю, развернуться нет разрешения. Начал я было дело ставить научно, библиотеку приобрел по сельскому хозяйству; дворы скотные загородил по всем правилам зоотехники, рамочных ульев накупил...

Поликарп Петрович закрыл лицо руками.

— Яблони-саженцы хотел из России выписывать. Дедушки вашего сад у меня и сейчас перед глазами цветет розовым дымом. Мичурину ваш старик не уступит в садоводстве.

Матрена Корнеевна напомнила мужу:

— Отец, наливай гостю.

Агапов взял графин.

— Алексей Иванович вырастил одно сладкое яблочко, наименованное им впоследствии черноморкой.

Поликарп Петрович защелкал языком.

— Ц-ц-ц.

Безуглый хлебал окрошку, молчал.

— Родились из них одни суховатые и рассыпчатые, другие же удавались с золотистым наливом. На солнышко взглянешь, и все семечки в нем видны, как в стакане вина. Нежнейшие и утешительнейшие яблочки. Один в них недостаток — не способны к перевозке. С ветки на землю падают и колются, словно фарфоровые.

Матрена Корнеевна тронула хозяина за рукав.

— Отец, ешь.

Агапов насадил на вилку кусок рыбы.

— Неужели никогда у нас настоящего порядку не будет?

Поликарп Петрович проглотил тайменя и сам подал Безуглому стакан настойки.

— Ваня, вышел бы ты на партийном съезде на трибуну и сказал бы, что довольно, мол, нам, товарищи, с крестьянином в кошки-мышки играть, пора позволить ему запустить в землю корни. Главное мужику — простор инициативы и чтобы мог он без ограничения использовать алтаишек и киргизишек.

— Не по адресу обращаетесь, Поликарп Петрович, в партии у нас такими разговорами занимается, правда, одна группа[1]. Я к ней только никогда не принадлежал.

Безуглый засмеялся и спросил:

---

[1] Имеется в виду группа Бухарина, Рыкова, Томского.

— Мне кажется, вам не запрещали нанимать батраков?

Агапов всплеснул руками.

— Хе.

Матрена Корнеевна пододвинула ему тарелку.

— Отец, рыба простынет.

Поликарп Петрович оттолкнул руку жены.

— Сегодня батрака найму, завтра по миру пойду. Меня ведь за одного несчастного голодранца, которому я кусок хлеба дам, в классовые враги запишут, в эксплуататоры по глупым вашим законам.

Агапов лгал Безуглому. Он не нанимал батраков только в первые два года после приезда с родины. У него постоянно и на покосе, и на жнитве работали киргизы.

— Умнейшего человека ты внук, Ваня, и должен понять, что без настоящего хозяина пропадет Россия. Тысячи неумех — помещиков — прогнали, одобряю, миллионам лодырей — беднякам — зачем землю даете, протестую. Она им как собаке сено.

Хозяин опять стал наливать себе и гостю. Горлышко графина выбивало дробь о края стаканов.

— Из всего крестьянства выбрать бы миллиона полтора-два ха-а-роших хозяев и сказать им: подымайте, ребята, Россию.

Безуглый задал вопрос:

— А остальных куда?

— Неужели бы им работы не нашли?

— Вы, я вижу, стали самым настоящим кулаком.

— Называй меня, Ваня, хоть горшком, только в печку не ставь.

Поликарп Петрович поучающе поднял руку с вытянутым указательным пальцем.

— Без России иные прочие державы заревут, потому без нас нарушение всего мирового равновесия, одним словом, статуса куво.

Агапов пьянел быстро.

— Бога вы тоже напрасно отменили. Он всякому человеку был полезен. Человек любит правду и надеется, что бог ее всегда видит. Другой обиженный до гробовой доски все утешается, что бог его правду знает, да не скоро только скажет. Ну, раз он ждет, то и беспокойства от него никакого быть не может. С богом мир жил в мире.

— Матрена Корнеевна перебила мужа:

— Отец, захмелел ты, и гостю от тебя одна докука.

Поликарп Петрович сердито посмотрел на нее и сказал:

— Стели гостю постелю. Сейчас я еще немного выскажусь.

Он обернулся к Безуглому.

— Без бога даже американцы не обходятся — самые дельные и умные люди на всей нашей планете. Отменять нам скорее надо, Ваня, наши неестественные законы. Американец один, помнишь, сказал про Сесер: «Огромная экономическая пустота».

Агапов в постели бормотал:

— У меня даже есть свои изречения, да керосину мало, записывать не всегда приходится.

Матрена Корнеевна несколько раз рукой закрывала мужу рот. Поликарп Петрович злился, больно щипал жену.

— Я тебе, Ваня, отвечу — не кулак в Сибири только дурак.

Агапов тяжело ворочал языком, ругал себя за лишний стакан вина.

— Человеку тут все дадено, как в раю,— земля, вода, лес, зверь и дикари, идолам поклоняющиеся. Ты не спишь, Ваня?

Безуглый лежал на полу с открытыми глазами.

— Не можешь ты меня осуждать, Ваня, раз я действовал, повинуясь непреложной логике общественных фактов...

Безуглый отозвался:

— Мы это знаем. Ленин давно сказал, что мелкое производство рождает буржуазию ежечасно, стихийно...

Агапов приподнялся на постели.

— Ты буржуем честного труженика... Руки у меня пощупай, барчук... Я тебе припомню...

Он хотел встать. Жена повалила его на подушку. Сон закрыл ему глаза, связал язык.

Безуглый вскочил на ноги и неожиданно почувствовал, что малиновая настойка была очень крепка. Он пошел к выходу, с грохотом свалил стол и стукнулся головой о притолоку. На крыльце ему пришлось присесть. Ртутные, сверкающие пузыри на изгороди, словно бильярдные шары, перекатывались с одного угла на другой, пропадали в темных лузах. Звезды красными мелкими искрами сыпались из темной копоти неба на непокрытую голову коммуниста.

— Неужели я пьян?

Конь услышал голос седока, громко заржал. Безуглый крикнул:

— Обожди, дружок, башку надо провентилировать!

Он пощупал свои руки.

«Ну, мягкие. А отец у меня бурлак. Кривошеев тогда наболтал, теперь Агапов. Не может этого быть. Мать сказывала: нет. Никто не имеет права называть барчуком. Не могу позволить сочинять легенды. Нарвался на толстовца. Думал сделать из него колхозного активиста. Назвонит теперь еще скрытое социальное происхождение. Анна тоже обидела, ненависти, говорит, у тебя нет настоящей, не батрачил ты на кулака...»

Безуглый удивился своим неожиданным рассуждениям. Он не мог понять, почему простое повторение давнишней деревенской сплетни вывело его из равновесия. Он вспомнил расстиранные в кровь руки матери, высокие стены каторжной тюрьмы и трупы врагов на фронте. Положительно ему нечего было стыдиться. Коммунист плюнул, обругал себя дураком. Он не хуже других. Жизнь его проверена и кандалами, и пулями...

Безуглый прислонился спиной к двери, уронил голову на грудь и захрапел. Белые ветви яблонь зашумели у него перед глазами. Ветер рвал с деревьев цветы. В саду побелели дорожки, словно на них намело слой запоздалого весеннего снега. Безуглый с Андроном сидели на террасе дедовского дома. Кержак щупал стены, выходную дверь и говорил:

— Одобряю, Федорыч, изба у тебя прямо первая по нашему селу.

Безуглый подошел к перилам. Стадо ручных маралов стояло у самого крыльца. Рога зверей качались, как сучья яблонь. Звери шершавыми, горячими языками лизали Безуглому руки. Он почесывал у них за ушами, щупал пушистые теплые и мягкие панты. Андрон все говорил:

— Рог у зверя, дружок,— хрустальная посудина. Его тебе шибко беречь надо. Хозяин ты молодой, непривышный.

Длинная очередь босых батрачек в подоткнутых мокрых юбках оттеснила зверей от террасы. Безуглый услышал стук денег и глухой стук костяшек. Дед клал на счетах копейки и гривенники, отсчитывал и раздавал поденщицам дневную плату. Мелкие серебряные монеты на черных ладонях работниц казались белыми легкими лепестками, упавшими с яблонь. Внук разбирал фамилии и имена вызываемых к столу.

— Самохина Марья, четвертак. Круглова Аксинья, двугривенный...

Безуглому стало стыдно. Андрон кричал ему в темной глубине ущелья:

— Федорыч, соседушка ты мой желанный, откушай чашечку за дружбу нашу вовеки нерушимую!

Дед Алексей с силой опустил на плечо внука свою властную лапу.

— Ваня, слушай сюда. Не советую тебе служить в партии. Я сам себе хозяин и того же всем своим детям и внучатам желаю.

Дед сорвал с дерева румяное, золотое яблоко, подал его Безуглому. Лицо у старика было краснощекое и круглое.

— Старая яблоня дает до тридцати пяти пудов.

Яблоки начали сыпаться Безуглому на голову, на плечи, на спину. Они катались у него по рукам, по ногам, по всему двору и забору.

Матрена Корнеевна долго трясла и толкала дверь, пока разбудила Безуглого. Он быстро спустился с крыльца и сказал ей:

— Простите меня, я немного задумался на свежем воздухе и не слышал, как вы подошли.

Гость прятал от хозяйки свое помятое лицо. Стеклянные шары на ограде были тусклы. Рассвет только начинался.

Матрена Корнеевна уселась среди двора на низенькой скамеечке, подставила подойник под толстое рыжее брюхо Мечты. Корова спокойно жевала жвачку. Хвост у нее совершал правильные движения маятника.

Безуглый вытащил из предамбарья седло и, звеня стременами, понес его к коню. Седло нахолодало за ночь. Холод кожи от концов пальцев хлынул по всему телу. Безуглый зябко вздрогнул. В ту же минуту жаром разлились воспоминания. Коммунист держал железный противень с остуженной студенистой массой гектографа. Лия показала ему место на столе. Они начали печатать листовки в две руки с разных концов вареной матрицы. Руки подпольщиков иногда встречались. Они были горячи. Под листами тонкой бумаги колыхался холодный и упругий студень. Безуглый седлал лошадь и оправдывался, как во сне:

«Я, кажется, ничего не сделал плохого? Если выпил по ошибке лишний стакан, то что из этого следует? Заехал к кулаку в гости? Извиняюсь, я знал его другим. В уставе партии к тому же не написано, можно ли коммунисту ночевать у классово чуждого элемента в местности, весьма отдаленной и не имеющей гостиниц. Вы возмущаетесь, что я не спорил с Замбржицким и с Агаповым? Метание бисера

перед свиньями,— давно осужденное дело. Тяните меня к ответу, когда я им поблажку дам. Думаете, поздно будет? Бытовое срастание? Действительно, сросся — на охоту один раз съездил, ночь одну переночевал».

Все же Безуглый никак не мог освободиться от ощущения стыда и от сознания совершенных ошибок. Он думал почти с отчаянием:

«В этом проклятом мире, пока он разделен на враждующиеся лагери, мы ведь не только деремся с врагами, но вынуждены жить вместе в ними. Враг спас мне жизнь. Я вызволил его из-под медведя. Человек, ставший врагом, выучил меня читать, внушил ненависть к царю. Я сегодня пью с ним вино. Завтра моя рука не задрожит от жалости...»

Он вывел коня за ворота, как был, без фуражки. Плеть со свистом рассекла воздух. Конь прыгнул и понес седока карьером.

— Лия... Лия...

Ветер гремел в его рубахе. Над головой летели чайки, похожие на белые лоскуты бумаги.

— Сын мой, я поведу тебя в мир, где не будет прошлого.

Коммунист скакал и испуганно косился назад. Всаднику почему-то казалось, что по дороге, поднимая длинный, серый шипящий поток пыли, невидимо волочится огромная безобразная его пуповина.

* * *

Коня Безуглый кормил в коммуне «Новый путь». Он въехал в поселок совершенно успокоенным. Свои ночные и рассветные страхи коммунист приписал действию малиновой настойки. Он даже обозвал себя сочинителем. Самообвинение в бытовом срастании с врагами показалось ему несусветной нелепицей.

Председатель коммуны был в отлучке. Безуглого встретил завхоз — рыжий, веснушчатый, бородатый человек в куцем черном пиджаке. Руки у него из коротких рукавов торчали, словно громадные волосатые клешни. Брюки темного репса, как рейтузы, обтягивали могучие, отлитые из чугуна ляжки. Костюм затруднял каждый шаг завхоза. Он был им получен в премию от совета коммуны. В Бийске в магазине готового платья на его рост не нашлось ничего подходящего. Одни сапоги — тяжелые, на железных подковах, сшитые по заказу своим сапожником,— свободно облегали ред-

костные по величине ноги коммунара. Безуглому показалось, что он где-то видел этого рослого человека. Завхоз назвал себя:

— Масленников.

Безуглый сразу вспомнил чернобородых братьев и спросил:

— Вы не родственник двум Мелентиям Аликандровичам?

— Я Масленников-средний, а кто зовет и просто Масленников-рыжий. У отца нас было пятеро. Один у немцев в плену помер, другого белые убили.

— Вы тоже Мелентий Аликандрович?

Масленников обиженно нахмурился.

— Пошто же так? У меня свой святой есть — Веденист.

— Простите меня за шутку, Веденист Аликандрович.

Безуглый снял с коня седло.

— Овса у вас найдется немного?

Масленников облапил руками бороду, задумчиво глядя на небо, спросил:

— Вам за наличные или под расписку?

Веденист Аликандрович потупился.

— Очень наша коммуна в оборотных средствах нуждается. Государство на ссуды скупо стало. Долги у нас большие.

Завхоз рассматривал высокие охотничьи сапоги приезжего.

— В единоличном хозяйстве заехали бы вы ко мне, я и разговаривать бы не стал о таком пустяке. В коммуне, сами понимаете, человек грамотный, каждая былинка травная на учете и завхоз за нее в ответе.

Безуглому почудилось, что перед ним стоит Масленников-старший, только синяя, стальная борода у него раскалялась докрасна.

— Сколько я должен вам заплатить?

— Рассчитаем вас сходственно, по средней рыночной цене.

Приезжий попросил разрешения осмотреть жилые и хозяйственные постройки коммуны. Веденист Аликандрович помедлил с ответом.

— Председатель у нас находится в настоящее время в Бийске. Вы по какому вопросу к нам завернули?

— Я заехал покормить лошадь и напиться чаю. Моя фамилия — Безуглый.

У завхоза мгновенно погнулись плечи и спина. Глаза

замаслились, как у Мелентия Аликандровича-старшего, когда тот встречал на дворе англичан.

— Вы, значит, самый Иван Федорович Безуглый и есть?

— Да.

— Наслышаны о вас, как же... С полным удовольствием покажем. Я сам вас и проведу. Учитель у нас тут есть свой, он вам всю историю объяснит с самого начала двадцатого года.

Веденист Аликандрович суетливо топтался вокруг приезжего, дергал себя за полы, за рукава, оправлял под бородой ворот рубахи.

— Хлебоуполномоченный тут нас маленько пообидел. На его место теперь вы, значит, заступили... Очень прекрасно...

Масленников отвязал коня Безуглого, завел его в тень, под навес.

— Об деньгах за фураж не беспокойтесь, Иван Федорович, свои люди — сочтемся.

Он угодливо улыбнулся.

— Запишем в счет нашей хлебосдачи, раз вы человек казенный и проезжаете по государственному важному делу.

Безуглый резко оборвал завхоза:

— Я заплачу.

Коммунары построили свой прямой поселок невдалеке от села. Многие перевезли с собой старые дома. Приезжий остановился перед диковинным сооружением, слепленным из нескольких изб разного размера и возраста. Линия крыши у него была ступенчатая, стены — всех цветов и оттенков, окна — самых неожиданных калибров, со ставнями и без них. Приезжий назвал его домом-деревней. В нем помещалась пекарня и мастерские. Раньше в доме-деревне на двухэтажных нарах жила вся коммуна.

Веденист Аликандрович сказал со вздохом:

— Вот была глупость наша. Всем селом хотели жить в одном доме.

Они подошли к высокому новому зданию школы. Из окна высунулась коротко остриженная голова. Завхоз крикнул:

— Митрофан Иваныч, выйди к нам, пожалуйста!— Безуглому он прошептал скороговоркой:— Учитель наш. Мастер на все руки. Он и на пианинах, и на скрипках музыкант, ребят учит, большим книжки читает.

Учитель был круглолиц, брит, черняв, не высок и не низок. Глаза его показались Безуглому лукавыми.

Митрофан Иванович жил при школе. Он пригласил при-

езжего к себе. Веденист Аликандрович не пошел к учителю. У него не было времени.

— Вы побеседуйте за чайком. Я потом подойду.

Безуглый попросил учителя рассказать ему все, что он знал о коммуне. Митрофан Иванович усадил гостя за стол и подал ему толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете.

— В моей летописи вы найдете прошлое колхозного движения на Алтае, про настоящее поговорим. Вы читайте, я самовар согрею. Хозяйка у меня в аймак уехала.

Безуглый вытащил свою записную книжку и самопишущее перо.

— Вы разрешите мне сделать кое-какие выписки из вашей работы?

— Нашли о чем спрашивать.— Митрофан Иванович подхватил самовар и пошел с ним к двери.— Хоть от корки до корки ее переписывайте.

Безуглый стал читать.

«Историю наших сельскохозяйственных коммун надо разделить на три периода. Первый — с 1920 года до кулацких восстаний в 1921 году, второй — от начала бандитизма до нэпа, третий — с конца 1922 года до наших дней».

Безуглый прочел несколько страниц и записал:

«Лучшая пора — первый период. Взаимоотношения держались на доверии и дружбе. Запоров не существовало никаких. На дворе и в избах был порядок. Рост коммун шел с необычайной быстротой. Выходов почти не наблюдалось. Организация из 15—20 семей делала в 3 раза больше, чем она же потом из 60—70 хозяйств. Ошибки — подмена практического расчета и плановости стихийным самотеком, отсутствие учета труда».

Митрофан Иванович надел очки и заглянул через плечо приезжего в его книжку.

— Над коммунами тогда было ясное небо. Тучки собирались только со стороны сельских обществ. Старики упорствовали особенно сильно. «Кака там коммуния? Кого она может? Не дадим земли».

Безуглый возразил:

— Да, но ведь губземотделы были на стороне коммун?

Митрофан Иванович кивнул головой.

— Совершенно верно, вот вырезка участков с разрешения земельных органов как раз и была началом вражды между единоличниками и коммунарами.

Самопишущее перо быстро скользило по бумаге.

«Второй период — самый тяжелый. Кулацкие банды

уничтожали посевы, поджигали хлебные амбары, угоняли скот, убивали и истязали коммунаров».

Митрофан Иванович тронул руку приезжего.

— Я свои записки немного еще дополню вам.

Безуглый положил ручку.

— Время было такое, что ни один коммунар не раздевался ночью. В избах спали только женщины и дети. Мужчины прятались в банях или на сеновалах. Работали с оглядкой, чуть что — и врассыпную. Коммунары тогда были совершенно безоружны. Конные бандиты налетали на пашни, зарубали работающих или, в лучшем случае, приставляли револьвер к виску и вырывали обещание немедленно выйти из коммуны. Бандиты сидели под каждым кустом, хоронились всюду в тайниках у сочувствующей части крестьян-единоличников.

Митрофан Иванович сам прочел в своей тетради:

«Однако самое тяжкое испытание коммуны выдержали после подавления кулацких восстаний, когда в них кинулись буквально все, кто так или иначе был причастен к бандитскому движению или боялся больших налогов.

Один остроумный коммунар сказал на съезде колхозов:

— В коммуну зашел народ разных категорий, всякая вякота. Кулаки, бедняки, дураки, словом, всех цехов, все с бухту-барахту собрались и давай жить без соображения.

Губительная неразборчивость в людях проистекала тогда из весьма благородных побуждений. Старые коммунары опьянели от радости победы и фальшивое желание врагов войти в коммуну приняли за чистую монету. Впрочем, и те, кто правильно расценивал подлинные намерения новоявленных колхозников, наивно верили, что чуждые люди перевоспитаются под влиянием коллектива.

Возникли громадные колхозы. Наряду с нездоровым распуханием старых поднялись, как грибы после дождя, многочисленные новые. Развал коммун, особенно новых, был предопределен. Все попытки наладить коллективное хозяйство напоминали тщетное стремление сгрести воду в кучу. Все суетятся, все хлопочут, а толку нет. Каждый под маской общественного усердия скрывал или ненависть, или равнодушие к новому делу.

Старик Лопатин из Белых Ключей заявил как-то в совете коммуны:

— На кого ни глянь, ходит как разварной, а ежели б дома жил, разве б он так поворачивался?

Было противно смотреть, как сразу, словно чудом, изменился крестьянин. Кому не известна была его рачительность и бережливость дома. Теперь эти качества превратились в лень, безжалостность и недогадливость в самых простых вещах, в полную безынициативность. Многие втолкали себе в голову одну черную мысль — не мое. Стерла лошадь холку — черт с ней, пусть дальше трет. Опоили другую — тоже не беда, издохла она после того — туда ей и дорога. Лежит в грязи хомут — лежи. Опоздали сегодня на три часа выехать за кормом потому, что вчера неохота было ввернуть завертки в сани,— пустяки. Скрючились и пропадают коровы от холода — пусть пропадают».

Митрофан Иванович спросил Безуглого:

— Может быть, вам не интересны все эти мелочи?

— Очень прошу вас читать. Весь опыт прошлой работы крайне ценен. Нам он необходим, чтобы избежать повторения ошибок. Я в те годы был на Алтае, но, признаюсь, многого не заметил, может быть, потому, что у меня были иные задачи. Итак, с вашего разрешения, давайте продолжать.

Митрофан Иванович перелистнул страницу.

— «В свинарнике свиньи тонут в мешанине по брюхо. Ягнята, только родившиеся, замерзают десятками от недогляда. Телята скучены больные со здоровыми. Телятники — сырые, с заплесневелыми стенами — из рук вон плохи. Подстилки меняются редко, гниют, у телят отопревают целые зады. Понятно, что при таком содержании скота прирост его разве в счастливых случаях составляет одну четверть должного. Об отдельных стайках и теплых дворах для коров и лошадей и говорить нечего. За зиму в общие пригоны скоту сваливались целые горы сена, значительная доля коего затаптывалась, обращалась в навоз. Сена, которого хватило бы при разумном кормлении на 2—3 зимы, едва хватало на одну. Дойные коровы стояли в пригонах в дождливое время по колено в грязи. Они продаивались небрежно, за выменем не было никакого ухода, оно трескалось и кровоточило. Пойлом коров никогда не поили. Летом пастухи ленились даже лишний раз сгонять их на реку. Обращение с лошадьми не лучше. Жеребые кобылицы совершенно не изолировались от табунов и выкидывали. А как обрабатывалась земля? Лошадей в истомную жару гоняли рысью, огрехи оставляли в сажень шириной.

Ссоры, особенно женщин, превзошли всякие ожидания. Заметит Марья, что Дарье раньше времени выдали новые обутки, и пойдут цапаться. Драки прекращали иногда люди из соседней деревни.

А что делали те, кто с часу на час ожидал выхода из опротивевшей коммуны? Дадут какой-нибудь из таких особ сажать огуречные семена. Она, чтобы поскорее отделаться, высыплет их в две-три лунки, и свободна. Пошлют ее на посадку картошки — она по целому ведру валит в одну кучу. Назначат печь хлеб — назло такой завернет, что сам черт об него когти сломает».

Безуглый провел рукой по лицу и громко вздохнул.

Митрофан Иванович замолчал, поднял на него глаза.

— Продолжайте, я слушаю.

— «Крестьяне, вступившие в коммуны по соображениям временного порядка, стали выходить из них с началом нэпа. Выходам предшествовал систематический, с расчетом проводимый саботаж, вредительство и расхищение имущества. Воровали лошадей, коров, плуги, чтобы после ухода из коммуны было чем «пойматься за землю». Коммуны вступили в самую черную полосу своего существования. Началась лихорадка разделов. Ликвидационные комиссии скакали по всему Алтаю. За ними следом саранчой носились коммунары и хапали остатки чужого имущества. Одна коммуна караулила другую, выжидала раздела, чтобы забрать себе живой и мертвый инвентарь. Кулаки и бандиты под маской коммунаров истребляли прекрасных производителей — кровных лошадей, породистых свиней, овец, пожалованных им щедрыми ликвидкомами. Сожрав, перепортив все, что им досталось, саранча-коммунары переходили сначала на устав товарищества, а потом разбегались в разные стороны. Выходцы, обделенные при разделе, разжигали среди крестьян ненависть к уцелевшим коммунам. Ненависть объединила и бывших коммунаров, и единоличников. Во всем стали подозревать и обвинять колхозы. Не понравится декрет — начинаются разговоры:

— Советская власть тут ни при чем. В коммунии закон такой состряпали.

Не уродился хлеб, кричат:

— Кумыния землю спортила!

Женщины изливали свою злобу в разных небылицах. Одна говорила:

— В Белых Ключах, сказывают, планида расшибла всю кумынию. Прямо, деуньки, на нее, грешную, угодила.

Другая подхватывала:

— В Быковой, слыхать, вся кумыния змеями взялась. В горшках со щами, ровно лапша, кишат.

Третья торопилась со своими новостями:

— А в Заречной зашла в кумынию чума да душит, да

душит этих коммунов. Протчего люда пальцем не шевелит. Оглянулась, видно, матушка-заступница наша небесная.

За словами следовали дела. Опять начались потравы коммунарских лугов, полей, поджоги, похищение скота, убийства из-за угла.

Беспрерывная двухлетняя война надломила и старые, крепкие коммуны. Хозяйство неуклонно шло к упадку. Коммунары постепенно проедали и свое имущество, и доставшееся после ликвидации других коммун, и добро, отобранное по суду у кулаков, бандитов, и правительственные ссуды. Люди начали сомневаться в собственных силах и в верности самого дела».

Митрофан Иванович прервал чтение, выскочил в сени. Он крикнул гостю:

— Самовар убежал!

Безуглый стал делать пометки в записной книжке.

За чаем учитель снова раскрыл толстую тетрадь.

— Для полноты картины разрешите, Иван Федорович, прочесть вам еще одну небольшую главу?

Безуглый пододвинул к себе стакан.

— Да, конечно.

Митрофан Иванович откашлялся, наскоро глотнул из чашки.

— «Враги остались в коммунах и после массового отлива. Разномастные проходимцы, пролезшие на руководящие должности, вели себя как удельные князья или крепостники-помещики. Коммунары были для них тягловыми людьми. Коммуна, по понятиям такого довольно пространного типа руководителей, должна была служить только для прославления имени ее председателя. Он никогда не скажет «наша коммуна», а обязательно «моя». Председатель-сатрап окружал себя крепким кольцом холуев и проводил на собраниях все, что хотелось его левой ноге. Он с кучкой дружков был на привилегированном положении, кушал особнячком медок, зажаривал баранчиков, поросяток, гусей, лизал маслице, пил медовушку. Протесты не достигали цели. «Общее собрание» клеймило именем председателя контрреволюционера и выкидывало из коммуны голеньким всякого, кто пытался заикнуться о самокритике. Наушничанье, подхалимство, мелочное политиканство, взаимные подкопы — вот что сменило братские отношения первого периода. На собраниях редко обходились без грызни и ругани, точно там сидели не коммунары, а заклятые враги.

Однажды ночью в сильный мороз я заехал в коммуну

«Большевик». Меня встретил сторож — один из членов, вооруженный вилами. Без разрешения председателя у них ночевать никого не пускали. Сколько я ни просил его постучать к верховному властителю за разрешением на ночлег, он не дерзнул этого сделать.

— Ну его к богу, характерный он шибко, заругается. Теперь спит, как его тронуть?

Так я и уехал. Весной мне все-таки удалось увидеть характерного председателя и его коммуну. Он показал мне все свои владения. С гордостью ткнув пальцем в сторону небольшого духэтажного дома, характерный сказал:

— Вот сюда у меня почти вся коммуна влезла. Пятьдесят четыре души в одной избе.

Я вошел в самобытный фаланстер. В дверях меня ошибло горячей, влажной вонью. На двухэтажных нарах как каша. На полу валяется одежда. У самого порога мокрые синие портки. Всюду грязь. Под нарами парят куры, утки, гуси. От них смердит. На голых досках корчатся в бреду тифозные больные, прикрытые старыми попонами. Над головами больных ткет большая, распотелая баба, ожесточенно грохая бердом. На печке кишит многочисленное ребячье население — худосочное, землистое, в чесоточных струпьях. На голову мне полились помои. Оказывается, вода текла со второго этажа, как только там принимались за мытье полов. Наверху зато задыхались от дыма, когда внизу начинали топить печь. Я выдержал не более трех минут и опрометью выскочил на свежий воздух...»

Митрофан Иванович с силой захлопнул тетрадь, швырнул ее на книжную полку:

— Вопрос ясен, говорят у нас докладчику, когда его не хотят слушать.

— Я слушаю вас с величайшим вниманием.

— Об вас и разговору нет.— Митрофан Иванович стукнул по столу кулаком.— Все, что было, то прошло. Давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Коммуна наша теперь одна из лучших по всему Сибирскому краю.

Безуглый спросил:

— Уцелели ли у вас хоть несколько человек из старых коммунаров? Масленников давно стал коммунаром?

— Ровно год. А почему вы им заинтересовались?

Безуглый неопределенно улыбнулся и смолчал.

Наружная дверь скрипнула. В комнату вошли два коммунара — секретарь ячейки Мартын Мангул и библиотекарь Алексей Лихачев. Секретарь был черноволос (кепи он держал в руках),— курносоват и широк в плечах. Библиоте-

карь выше него, узок, длиннолиц, с редкими льняными волосами. Приезжий смотрел на них с удивлением. Коммунары, бритые, тщательно причесанные, в новых пиджачных костюмах, в голубых мягких сорочках с цветными галстуками, в начищенных штиблетах, показались ему актерами-любителями, одетыми под буржуев. Мангул и Лихачев пришли пригласить Безуглого на обед в столовую коммуны.

Безуглый спросил:

— У вас сегодня в нардоме, кажется, новая постановка?

Мангул ответил:

— Драмкружок ставит пьеса, написанный коммунаром нашей коммуна.

— Вы на репетицию костюмы одели?

— Мы с товарищем Лихачевым не принимаем участия.

Мангул вдруг понял, почему приезжий заговорил о спектакле. Безуглый увидел, как постепенно краснели у секретаря щеки, подбородок, лоб.

— Вы думаете, что мы надеваем на себя декорация? Вы ничего не знаете жизнь в село.

Мангул отвернулся и искоса оглядел Безуглого. Он был сильно рассержен. Митрофан Иванович засмеялся.

— Мы сейчас вам, Иван Федорович, еще такое покажем, что вы всю нашу коммуну сочтете за деревню небезызвестного гражданина Потемкина. Оно со стороны свежему человеку, пожалуй, иначе и не понять. За одно могу поручиться перед вами — жареного поросенка из избы в избу перетаскивать не будем, потому столовая у нас общая.

Безуглый почувствовал себя очень неловко. В дверях все молча топтались, уступая дорогу друг другу. На улице долго не могли наладить разговор. Мангул наконец заговорил первый. В голосе у него еще дрожала обида.

— Прошу вас, товарищ Безуглый, сходить за поселок на реку и посмотреть, какая книга читает наша птичница.

Лихачев показал рукой на босую девчушку с хворостиной около белого табунка гусей. Молодая птичница, запрокинув голову, следила за коршуном в небе. Время от времени она кричала:

— Шу-угу! Шу-угу!

На большом камне, заменявшем девушке стул, лежала толстая книга, обернутая в газетную бумагу. Безуглый взял ее, раскрыл. Мысль об инсценировке горечью скри-

вила губы. Он не сомневался больше, что его морочат. Мангул крикнул:

— Поля, поди сюда и расскажи нам про своя чтение!

Девушка подошла, поклонилась. На ней было серенькое ситцевое платье и такой же платок. Безуглый спросил Лихачева:

— Ваша дочка?

— Она самая. Вы угадали.

— Вы читаете книгу этого?..

Безуглый нарочно не договорил фамилию автора.

— Я очень люблю историю Генриха Гете про Фауста и Маргариту.

Мангул недовольно поправил:

— Гете назывался Иоганн.

Девушка была смущена своей ошибкой.

— Простите меня, беспамятную, с Генрихом Гейне спутала.

Безуглый ничего не понимал. Он совсем тоном дореволюционного экзаменатора задал новый вопрос:

— Вы, может быть, знаете и еще какого-нибудь Генриха?

Девушка подняла голову. Глаза ее были ясны и сини.

— Мы еще с Митрофаном Ивановичем читали Генриха Ибсена.— «Строитель Сольнес и Гильда».

Безуглый пожал плечами и обернулся к учителю.

— Вы, значит, перечитали с ними бездну литературы?

— Иностранных и русских классиков почти всех. Советских писателей до единого.

— Черт знает что такое. Неужели ваша работа никогда не отмечалась в печати? Она, по-моему, имеет всесоюзное значение.

По лицу у Митрофана Ивановича пошли белые полосы. Улыбки у него не получилось, хотя он и старался растянуть губы.

Мангул сказал Безуглому:

— Нас дожидается обед. Мы должны уходить.

На обратном пути секретарь показал приезжему водяную мельницу, лавку с набором крестьянских товаров и все мастерские.

Столовая помещалась в нардоме. Коммунары — мужчины, женщины и дети — стояли перед входом двумя рядами. Над ними крупными складками морщинилось красное знамя. Древко держал седоусый партизан Аким Ильич Иконников. Он сделал три шага навстречу Безуглому, остановился, звякнул шпорами.

— Боевому командиру, товарищу Безуглому, передаю приветствие от старых партизан-коммунаров и всей коммуны.

Безуглый подал ему руку. Старик не шелохнулся. Он стоял навытяжку, как на параде. У него шевельнулись только длинные серебряные усы.

— По поручению совета коммуны честь имею пригласить тебя, дорогой гость, отведать с нами трудового обеда.

Аким Ильич всюду ходил в военной форме. Коммунарам стоило большого труда убедить его не брать на работу шашку, подаренную Калининым. Шпоры снимать старик отказался наотрез. Он питал особенную слабость к их малиновому звону. Они достались ему от польского полковника, командира карательного отряда. Отряд поляков был изрублен партизанами благодаря хитрости Иконникова. Аким Ильич навязался им в проводники и завел в ловушку. Партизаны дали старику шутливое прозвище —«Жизнь за без царя».

Безуглый узнал в рядах четырех своих красноармейцев. Человек пять были одеты одинаково с Мангулом и Лихачевым. Несколько коммунаров пришли для большей торжественности в новых, блестящих галошах. Жена секретаря — Марта Мангул — стояла на правом фланге в желтых ботинках на высоких каблуках и в белых перчатках. Красные галстуки пионеров были поголовно у всех детей. Безуглый опять подумал: «Все подстроено, бутафория». Он шагнул на крыльцо. Аким Ильич навалил знамя на левое плечо и полез за ним следом. Хлопки коммунаров зашумели, словно крылья сотни птиц. Гость сам себе возразил: «Не может все это быть обманом. Оделись, правда, лучше, чем в обычный праздник».

Хозяйкой столовой была Марта Мангул. Клеенки на столах и стены могли поспорить с белизной ее перчаток. Две коммунарки в белых передниках и в туго повязанных красных платках расставляли тарелки, раскладывали ложки, ножи, вилки. На одном столе в молочной глиняной кринке стояли живые цветы. Безуглый пробормотал: «Ну, это уж только для меня поставлено».

Он сказал Мангулу:

— Вы мне какие-то чудеса показываете.

Секретарь отодвинул табурет, предложил сесть.

— В Советском Союзе чудес не может бывать. Мы имеем около десять лет честной работа. В этом есть весь секрет.

Учитель сел рядом. Безуглый наклонился к нему.

— Митрофан Иванович, что хотите со мной делайте, никак не могу отделаться от мысли, что вся ваша коммуна не настоящая. Сижу, точно на сцене, и принимаю участие в агитпостановке со счастливым концом. Вы понимаете, что после всего прочитанного в вашей толстой тетради о прошлом коммун...

Бритые круглые щеки учителя поплыли вширь. Он потихоньку продекламировал:

Бог нашей драмой
Коротает вечность.
Сам сочиняет, ставит и глядит.

— Иван Федорович, мы ведь скоро десять годков как без участия господа бога — любителя трагедий — колхозную постановочку сочиняем и ставим. Неужели мы за столько лет до счастливого конца не могли додуматься?

Дежурные по столовой коммунарки подали миски с мясными щами. Митрофан Иванович взял поварешку и стал наливать гостю.

— Вот мы вам и демонстрируем разрушение всех небесных литературных канонов. Драма у нас получилась, можно сказать, со вкусным окончанием.

Он поставил перед Безуглым дымящуюся тарелку.

— Рекомендую, щи Марта Карловна варит отменные.

На второе подали белую пшенную кашу. Дежурные коммунарки каждому наливали в тарелку ложку русского масла. Масло растекалось по каше, точно расплавленное золото. Гость опять наклонился к учителю.

— Галстуками и сорочками вы меня прямо убили.

Митрофан Иванович с улыбкой посмотрел на Мангула.

— Латышская интервенция — ничего не поделаешь. Мартын Иванович всех нас обратил в свою веру.

Мангул размешивал кашу.

— Мы должны взять все хорошее старой Европа.

Безуглый добавил:

— Не только у Европы, но и Азии.— Он спросил:— Сколько у вас латышей в коммуне?

— Четыре семьи. Они всегда чисто жили. У них и цветочки эти самые на столе, и в дом не войдешь в сапогах, заставят надеть специальные туфли-шлепанцы. Наши сибирячки большие чистотки, но против латышек им не устоять. Нечего греха таить, пошколили они наших коммунаров.

— Все-таки неужели у вас каждое воскресенье так одеваются?

— Не совсем, но вроде. Крестьянина трудно сразу приучить к галстуку. Он хоть и купит его, да в сундук положит. Для вас все понадевали. Хотят перед высоким гостем похвастаться своими достижениями. Один я не успел нарядиться. Врасплох вы меня застали.

Митрофан Иванович, улыбаясь, осмотрел свою черную косоворотку с белыми пуговицами.

— Вот вы удивляетесь, что у нас птичница Аполлинария Лихачева Гете читает. На самом деле, конечно, ничего удивительного тут нет. Мы, русские люди, до того привыкли считать себя и темными, и отсталыми, что иногда забываем о революции, которой, как вам известно, второй десяточек пошел. Я записываю высказывания коммунаров о прочитанном и думаю издать их отдельной книгой. На обязательность нашей критики мы не претендуем, но будем просить советских писателей и с нами посчитаться.

Безуглый положил ложку в опорожненную тарелку.

— Вы меня, Митрофан Иванович, можно сказать, с поличными поймали. Я действительно мыслил словно по инерции. Деревня наша, мол, такая-сякая. Все, что есть плохого,— естественно, хорошее — от лукавого.

Нелепость сомнений стала для Безуглого очевидной. Он вспомнил, что деревня побывала на мировой и на гражданской войнах, ходила за море выручать союзную Францию, работала в концлагерях Африки, видела плен, интервенцию, бегала за счастьем в Америку. Она отказалась драться под знаменем царя и под тряпками временного правительства, побраталась с немцами, отняла усадьбы у своих помещиков. В белой армии деревня вязала руки офицерам и втыкала штыки в землю. Безуглый сам с ней прошел от Волги до Алтая. С ней он лез на обледенелые вершины. Ни война, ни революция, правда, не уничтожили классовой многоликости деревни. Нетронутым уцелел извечный ее алчный собственник. Коммуны росли пока вулканическими островами в океане единоличных хозяйств. Коммунист подумал, что они — первые куски суши, которая скоро поднимется высочайшими горами.

Коммунары разговаривали и работали ложками. Ребятишки за отдельным столом кричали и смеялись. Руки у всех обедающих были грубые. Безуглому казалось, что он сидит в заводской столовой в Москве.

Аким Ильич встал, поправил портупею, откашлялся, выждал. Стук ложек стал стихать. Обед шел к концу.

— Иван Федорович, от имени старых партизан, а также бойцов твоего отряда просим тебя высказаться.

Безуглый поднялся из-за стола. Табурет краем зацепился за ремень его сапога, с громким стуком опрокинулся набок. В столовой сразу смолкли все разговоры.

— Товарищи коммунары, то, что я видел у вас, совершенно замечательно. Ошибки ваши мне трудно разглядеть в один день. Однако позволю себе думать, что они у вас найдутся.

Безуглый взглянул на Масленникова. Он сидел со склоненной головой и пальцем на столе катал хлебный шарик. В аймисполкоме Безуглому сказали, что коммуна «Новый путь» медленно выполняла хлебозаготовки, задерживала уплату давнишних долгов. Изъяны в коммуне были. Ему не хотелось с чужих слов говорить о них собранию.

Гость внимательно разглядывал каждого коммунара, точно хотел еще раз убедиться, что перед ним сидят настоящие, живые люди. В памяти возникло поле без межей, благоустроенный поселок под белыми тесовыми и красными железными крышами, мельница с маленькой динамомашиной, мастерские. Он сам час тому назад ходил по улице и все видел собственными глазами.

— Сегодня утром у Митрофана Ивановича я с огорчением думал, как трудно человеку разделить свой хлеб. Сейчас я с радостью смотрю на людей, которые по доброму согласию поделили землю, труд и все добытое.

Безуглый в городе привык мыслить отвлеченными понятиями. В Сибирь ехал, как архитектор с планом стройки. За столом коммуны он увидел, что мир, открытый в книгах, живет, улыбается ему десятками глаз.

— Товарищи, в Барнауле механик Иван Иванович Ползунов на два года раньше Джеймса Уатта изобрел и сделал паровую машину непрерывного действия. Изобретатель умер за шесть дней до пуска первого в мире парового двигателя. Машина Ползунова работала пять месяцев, потом ее поломали и разобрали. Почему изобретение англичанина не постигла участь русского? Потому, что применение пара было обусловлено всем ходом промышленного развития.

Безуглый ногой отодвинул мешавший ему табурет.

— Коммуны в сельском хозяйстве сыграют роль такого двигателя, который обеспечит его небывалый рассвет. Они не являются исключительной русской выдумкой. Основоположники научного социализма, как вам известно, родились в Германии. Нужды нет, если мы и на этот раз беремся

за дело ранее Уаттов. Мы убеждены, что нам именно выпала честь начать новую эпоху в жизни человечества.

Безуглый расстегнул ворот рубахи. В столовой стало душно. Марта Карловна рукой показала дежурным коммунаркам на окна. Женщины пошли между столов, застучали ботинками. На них зашикало все собрание.

— Наши враги делают вид, что коллективизация сельского хозяйства — затея исключительно русская. Мир так прекрасно устроен, что большевистский опыт представляется им никчемной тратой времени и средств.

Безуглый опустил голову. Мысли, не высказанные в разговорах с Замбржицким и Агаповым, пронеслись в сознании стремительной путаницей.

Коммунист думал, что мир еще напоминает стойбище дикарей. Города дымятся первобытными кострищами, зажженными на тысячелетия. Небо над ними мутно от копоти. Днем и ночью у огней человеческая суета, скрежет и звон металла. Люди куют ножи и поют каннибальские песни. Они с гордостью хранят одежду, снятую с убитых врагов, отнятое в боях оружие, знамена. Человек охотится за человеком, как зверь за зверем. Отцы у очагов рассказывают сыновьям о своих кровавых набегах на соседей. Всемирная история слагается, как эпос зверобоев и завоевателей...

Человек, извлекая из недр природы каждую новую находку, прежде всего думает о пригодности ее для убийства. Изобрел газ — и стал душить им врага. Открыл бактерии — и решил заменить ими пули. Сделал радиопередатчик — и задумался над возможностью истребления армий противника на расстоянии. Все величайшие свои открытия он обращает в мечи и заносит над шеей соседа...

Люди надевают шлемы и латы прорезиненных противогазов. Лицо человека превращается в рыло длиннохоботной свиньи. В маске никому и ничего не стыдно...

Некоронованные фараоны воздвигают себе пирамиды из чистого золота. Негр в белых перчатках, Поликарп Петрович,— плохой сторож. Сюда нужен солдат в свинообразной маске, армия рабов-автоматов. Очень желательно организовать все по Фуллеру и тысячей хороших машин вырубить боеспособное население противника...

Машина вот только отказывается слушаться человека, из раба превращается в деспота. Человек сам создал вторую враждебную стихию,— вещь. Он в страхе тушит домны и проклинает технику. Бидарев в Европе сейчас мог бы сде-

латься самым модным философом. Семен Калистратович выступил слишком рано, во второй половине XIX столетия, поэтому и не был услышан. В наше время капиталистическому миру не найти для себя лучшего пророка...

— Товарищи, перед нами два пути: или включиться в круг мирового идиотизма, или попытаться выйти из него. Ошибается тот, кто думает, что колхоз — дело деревенское, маленькое и только русское.

Безуглый движением головы откинул волосы, спустившиеся на брови, потом рукой расправил их на лбу. Он всегда прикрывал большую родинку.

— Коллективизация сельского хозяйства — задача огромная и трудная. Мы отдаем себе в этом отчет. Управлять — значит предвидеть. Партия с открытыми глазами идет навстречу всем трудностям. Она знает, что они будут преодолены.

Коммунист поискал глазами на столе стакан с водой. Никто не понял, что ему нужно. Он вытер сухие губы носовым платком и продолжал:

— Вы по своему опыту знаете, какое бешеное сопротивление оказали враги первым нашим шагам. Вам хорошо известно, что враг не всегда шел на нас лобовой атакой, он умел маневрировать и действовать тихой сапой. Не нужно быть провидцем, чтобы сказать, что многое из пережитого вами придется еще раз вынести на своих плечах молодым колхозам.

Марта Карловна, наконец, догадалась, что оратору нужна вода. Она сама сходила в кухню и принесла ему холодный запотевший стакан. Он наскоро сделал несколько больших глотков.

Безуглый кончил говорить, сел. Коммунары на руках вынесли его на улицу и стали качать. Из карманов у него вылетели расческа, самопишущее перо, записная книжка, несколько листков бумаги, старая газета. Митрофан Иванович подобрал все карманное имущество коммуниста.

Два листка привлекли внимание учителя. Ему показалось, что Безуглый пишет стихи. На бумаге справа и слева были оставлены большие поля. Запись шла узкой полосой. Митрофан Иванович очень любил художественную литературу, почему и почувствовал сильнейшее желание погрузить глаза в строки поэта. К несчастью, он был близорук, а очки остались дома.

Безуглый последний раз взлетел на воздух и закричал:

— Товарищи, довольно! Стрелять буду! Кишки изорвали!

Коммунары с хохотом поставили его на ноги, окружили тесным кольцом. Безуглый покачивался, как пьяный, приглаживая разлохматившиеся волосы, обдергивал рубаху, щупал пуговицы. Митрофан Иванович бочком протиснулся к нему, подал все собранное на траве и спросил:

— Стихи сочиняете?

Учитель показал листки. Коммунист взглянул на них и посветлел.

— Вы обнаружили у меня действительно большую поэму. Я ее иногда читаю на собраниях. Хотите посмотреть?

Митрофан Иванович покраснел, точно Безуглый знал о его бесплодных потытках.

— Очень интересуюсь. Беда моя — очки забыл.

Безуглый провел пальцем по листку сверху вниз.

— В одну колонку у меня выписаны даты с 1897 года по 1917-й. Видите — 901, 902, 903. Особенно интересны 8-й, 10-й, 11-й и 12-й: арестован в Баку, сослан в Сольвычегодск, бежал, опять арестован в Баку, водворен по месту ссылки в Сольвычегодск, бежал в Петербург, арестован, снова сослан в Сольвычегодск, бежал в Петербург, арестован, бежал, принял участие на конференции в Праге, арестован, сослан в Нарымский край, бежал, приехал в Краков на совещание...

Безуглый засмеялся.

— Вы понимаете, этого человека не могли удержать ни тюрьмы, ни пустыни Сибири, ни границы. Его сажают в каждом городе, где он работает, везут в арестантских вагонах по всей России, от Питера до Иркутска. Он точно ничего этого не замечает и спокойно отправляется по своим делам именно туда, куда ему нужно. Смотрите, какие у него маршруты — из Новой Уды Балаганского уезда в Тифлис, оттуда в Таммерфорс, в Стокгольм, в Лондон. Я подсчитал — он семь раз был сослан и шесть раз из ссылки бежал. Однажды только удалось немного задержать его на Енисее в Курейке. Человек этот, несмотря на совершенно неистовую подпольную работу, ни разу не был схвачен с вещественными доказательствами. Охранке никогда не удавалось создать против него судебного дела. Какими исключительными организаторскими способностями надо было обладать, чтобы так работать.

Безуглый спрятал листки в записную книжку.

— Не каждому дано сочинить такую поэму. Вы знаете, чья это жизнь?

— Шутите, Иван Федорович. У нас пионер любой вам скажет...

Масленников подвел Безуглому коня. Коммунист полез в карман за деньгами. Несколько человек закричали в один голос:

— Обидеть хочешь, Иван Федорович! Неужели у нас для гостя!..

Гость сел в седло. Митрофан Иванович спросил:

— Фуражку, видно, у меня забыли?

Безуглый не ответил на вопрос учителя, хлестнул лошадь.

Митрофан Иванович крикнул:

— Фуражку забыли!

Безуглый работал плетью и, не оглядываясь, скакал к околице коммуны.

* * *

Из Белых Ключей лес сплавлялся и плотами, и молем. Анчи с сыновьями — Эргемеем и Эрельдеем — шел всегда молем до Марьяновского рудника и только там вязал плоты. Безуглый с высокого берега Талицы увидел всех троих. Алтайцы брели по колено в воде с длинными жердями на плечах в синих своих халатах с подоткнутыми полами и в круглых меховых шапках с кисточками на макушке. Бревна плыли по реке табуном коней. Они сбивались плотными кучками на тихих и глубоких местах, останавливались на шиверах или вдруг по два, по три забегали в заводи. Эргемей и Эрельдей гонялись за ними, словно пастухи, с укрюками и собирали раздурившихся на середину реки. Коммунист закричал:

— Эзень!

Он заметил, как у отца с сыновьями блеснули на лицах улыбки. Алтайцы, не останавливаясь, прокричали ему ответное приветствие. Они спешили. У них был жесткий договор. Лес сплавлялся на постройку Турксиба.

Безуглый дернул повод. Впереди, у въезда в ущелье, закрутился вихревой столб пыли. Коммунисту он напомнил шамана в развевающихся лохмотьях. Пыльный шаман поднялся над дорогой и исчез за горой. Всадник въехал в сырую и темную каменную щель. Лошадь пошла по траве вдоль мелководной, шумливой речки.

Безуглый не выспался у Агапова, чувствовал слабость в ногах и спине. Дремота несколько раз пригибала ему голову к луке седла. Всадник вздрагивал от сырости. Он словно мокрой ночью проезжал через всю свою жизнь. Ком-

мунисту чудилось, что длинный синий Нестор Степанович кладет ему на плечи свои холодные ладони. Он был мальчиком, когда Нестор Степанович приходил к ним в дом. Его повесил царский генерал, усмиритель Меллер-Закомельский. Иван и Федор в ночь после казни дважды выскакивали в слезах с постелей. Ивану тогда приснился первый страшный сон. Он увидел виселицу, перекладина которой чернела наравне с золотым крестом церкви. Ноги у Нестора Степановича болтались двумя нитками до самой земли.

Шепот дяди Якова был едва слышен:

— Ваня, иди на улицу и посмотри, не приведет ли кто из наших шпика.

Мальчик одевался в драповую кацавейку с протертыми локтями, нахлобучивал на уши фуражку. Мать заматывала ему шею толстым шарфом. Он выскальзывал из двери и спускался с крыльца в дождливую непогодь, точно сходил по ступенькам купальни на дно холодной и быстрой реки. Мощное течение качало его, как тонкую камышинку. Он затаивался в черной нише калитки, сжимал в похолодевшей руке единственное свое оружие — перочинный нож. К дяде шли люди. Они или торопились, оглядывались, прятали лица под шляпами и в воротник, или разыгрывали из себя гуляющих, беспечно насвистывали, медленно входили на крыльцо. Ваня иногда видел, как за одним человеком на некотором расстоянии шел другой. Один скрывался за дверью, другой, словно его запоздалая тень, оставался на улице. Мальчик заскакивал во двор и бросал в окно маленький камень. Человек выходил обратно, уводил за собой тень, чтобы потерять ее и вернуться одному.

Стремена давили ноги спящему, как кандалы. Он во сне искал подкандальники. Шорох волчка и надоедливый глаз надзирателя были несносны. Крест тюремной церкви торчал, как золотая перекладина виселицы. Безуглый сердился на Анну. Она спрятала подкандальники.

Ущелье расширилось и посветлело. Всадник стукнулся головой о выступ скалы, вскрикнул и стал теребить ушибленное место. Ему пришлось протереть и глаза. Он остановил лошадь. Дорога уперлась в голубой туман. Туман колыхался до снежных гор на горизонте, точно лежал на море. Он менял окраску, лиловел, зеленел. По небу большой стаей плыли звери — темные, горбатые, похожие на тени туч. Звери мелькнули на длинном берегу и скрылись за снежными горами. Облака, словно ледники, широкими торосистыми потоками наполнили белые вершины. Небо за ними было багровое, в полосах седого, горячего дыма вулканов.

Безуглый поднял к глазам бинокль. Мираж рассеялся. Он увидел степь. Овцы бродили по траве белыми тлями. Дороги лежали, как брошенные ременные арканы. Всадник услышал глухой гул моторов. Он нарастал размеренными всплесками, словно прибой. Бинокль переместился вправо. Длинная черная шеренга тракторов двигалась из глубины степи к дороге. Ножи плугов резали землю. Степь за ними, точно вода, распаханная бурей, темнела, волновалась гребнистыми, дымными бороздами.

Безуглый разыскал совхоз — два двухэтажных деревянных дома, службы, улицу белых палаток. Белые палатки виднелись и километрах в десяти от главной усадьбы. На дороге, в небольшой ложбине, он разглядел три неподвижных трактора и около них несколько человек. Всадник пустил коня рысью.

Тракторы, как танки, ровной цепью приближались к дороге. Безуглый теперь видел синие комбинезоны и очки-полумаски. Люди на грохочущих машинах показались ему марсианами из фантастического романа.

Безуглый подъехал к тракторам на дороге. Четверо в запачканных и потемневших спецовках суетились с ключами, один, чистый, стоял в стороне и курил трубку. Коммунист сразу узнал в нем иностранца. Русский тракторист подтвердил:

— Мистер из американцев, по-русски мало-мальски талалакает.

Безуглому хотелось поговорить с американским специалистом о работе совхоза. Американец оглядел его и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Я не говорйю плохо о мой фирм.

Русский тракторист оскалил белые зубы.

— Насчет самокритики они ни бум-бум, молчуны.

Безуглый возразил:

— Я вас спрашиваю не только о недостатках.

Американец мотнул головой в сторону усадьбы.

— Директор разговаривает все вопросы.

Мотор одного из тракторов заревел. Невысокий, широкоскулый тракторист, алтаец, сел за руль. Машина пошла по краю распаханного поля. Русский тракторист закричал:

— Держи колесо по борозде!

Алтаец ответил, не обертываясь:

— Тержу пороззта!

Безуглый еще раз осмотрел в бинокль усадьбу совхоза. Он увидел высокий, золотой от заката сруб. Над ним блестели топоры плотников. Щепки разлетались в разные

стороны кусками золота. В нескольких километрах от дальней группы белых палаток дымились землянки. В них окопались кулаки, выселенные судом из соседнего села. В совхоз коммунист не заехал. У него не было времени. Он свернул в горы.

3

На воротах дома Мелентия Аликандровича Масленникова-младшего белела большая самодельная афиша. Кержаки, проходившие утром в молельню, останавливались около бумаги и качали головами. На афише кривыми зелеными буквами было намалевано:

СЕГОДНЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ ГАСТРОЛЬ ФЕНОМЕНОВ XX ВЕКА ИНДУССКИХ ФАКИРОВ И АТЛЕТОВ БРАТЬЕВ ФЕРДИНАНДА И ФРАНЦА ДЕ ГИБРАЛЬТАРО ДИ КАЛЬКУТА, КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯТ РЯД ГЛАДИАТОРСКИХ НОМЕРОВ В ОБЛАСТИ АТЛЕТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА, МЕЖДУ КОИМИ НА ГЛАЗАХ ЗРИТЕЛЕЙ

П Р О Д Е М О Н С Т Р И Р У Ю Т
АДСКИЙ НОМЕР — ГОЛОВА-КАМЕНЬ
ЭФФЕКТНЫЙ НОМЕР — ГИБ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЙ БАЛКИ
СЕНСАЦИОННЫЙ НОМЕР — ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

ИЛИ
ЖИВОЙ АТЛЕТ-ФАКИР В ГРОБУ
ТО ЕСТЬ
ЗАЖИВО ЗАКОЛОЧЕННЫЙ В ГРОБ И ПОГРЕБЕННЫЙ В ЗЕМЛЮ НА 216 САНТИМЕНТОВ СРОКОМ НА 35 МИНУТ

В Н И М А Н И Е
ЭТОТ СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ИСПОЛНЯЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ЖЕЛЕЗНЫХ НЕРВ ЧЕЛОВЕКА И ЧИСТЫХ ПОР ТЕЛА

Н А Ч А Л О
РОВНО В 12 ЧАСОВ НА ПЛОЩАДИ

П Л А Т А
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ С ПУБЛИКОЙ
Д Е Н Ь Г И В П Е Р Е Д

Индусские факиры Фердинанд и Франц родом были из Костромы и носили в карманах своих пиджаков самые настоящие советские документы на имя Трифона и Тимофея Волосянкиных. Братья — люди любознательные — захотели перед своим выступлением послушать кержацкую службу. Молельня была в ограде Андрона Агатимовича

Морева. Хозяин встретил артистов у крыльца и, узнав, что им нужно, предупредил:

— Не опоганьте, граждане, нам молитву, не вздумайте молиться на наши иконы.

Фердинанд и Франц переглянулись, белесые брови сначала пошли было у них к переносицам, потом они расхохотались и, не сказав не слова, ушли со двора. Андрон Агатимович посмотрел на удаляющиеся пиджачки братьев, на их короткие брюки и пробормотал:

— Скоблены рожи.

Братья были блезнецами. Младшего, Тимофея, отличали от старшего, Трифона, только по синей татуировке на руках. Он долго служил во флоте.

Андрон Агатимович поднялся на крыльцо, вымыл руки и вошел в молельню. В большой комнате, разделенной в длину на две половины синей, китайского шелка, занавеской, плотно стояли молящиеся. Мужчины — по правую сторону занавески, женщины — по левую. Фис Канатич правил службу по старой затрепанной книге в кожаном переплете. Ему подпевали все, кто умел. Андрон пробрался на свое место вперед, широко перекрестился на три ряда полок с иконами.

Морев не мог отдать свои мысли богу. Он думал о разном и глядел по сторонам. Дедушка Магафор стоял у окна под солнцем. Брови, усы и борода у него матово белели, как в густом инее, голова была литого старого с прозеленью серебра. Старик жил второй век. Фис Канатич листал книгу, испещренную замысловатой славянской вязью. Древние, кривые письмена извивались на засаленных страницах, как тонкие черви. Свечи, прилепленные к полкам с иконами, мигали и чадили. В дверь дул жаркий, запашистый, покосный ветер, колыхал синюю занавеску. Луч солнца белым длинным ножом торчал из окна. На нем играли бесчисленные пылинки. Пыли было много в углах и на боковых лавках, заваленных священными книгами. Она вздымалась до потолка каждый раз, как только бороды верующих рассекали воздух в земном поклоне.

Чащегоров читал на один лад о радостях и о страданиях, мерно перевертывал страницы. Голос его жужжал, как вода в камнях, бумага шелестела тихими волнами. Люди пели тоскливо, точно выли на берегу безжалостного моря.

Старики в узких, длиннополых, прозеленевших кафтанах заспорили с начетчиком о молитве, которую, по мнению одних, надо было петь сегодня, а, по утверждению, не

следовало. Морев воспользовался шумом и незаметно вышел во двор.

Морев любил в праздники походить по своему хозяйству. Он заглядывал в каждый угол — в темный голобец[1], где из глиняных корчаг точилось тонкими ручьями пиво, в теплые стайки к скоту. Дом у него был двухэтажный, под зеленым железом, с прирубами. Двор замощен деревом. Ворота резные, нарядные, как иконостас. На наличниках красовались вырезанные из дерева желтые, ветвистые маральи рога. Рога горели, как золотые, на стенах, окрашенных в цвет неба.

Лепестинья Филимоновна сказала снохе:

— Ровно ума лишился наш Андрон Агатимыч.

Много мыслей было у Андрона Агатимыча Морева, думал он долго.

«Что за власть — то ей посев увеличивай, премии тебе, обратно за тот же урожай — в последни люди... Ране знал, кому и сколь дать. Становому — одна цена, уряднику — другая. Нонче не разберешь... Ужели я Ивана Федоровича не куплю».

Морев привык покупать людей, поэтому не мог себе представить иных отношений с Безуглым. Он вспоминал свои встречи с коммунистом, искал скрытый смысл в его словах и поступках.

«На белке товда он со мной разговаривал, вроде упрежденье делал — зорить будем. Скоро, мол, придем, приберем все к месту. Не мог он мне напрямки сказать при алтаишках, при Помольцеве. Може, и из гордости не сказывает себе цену. Намек дает — я вам многим обязан. Спасибо, значит, за старое, давай за новое. Догадывайся, мол, сам, сколь мне с тебя нужно. Не миновать воз, не то два хлеба везти его потаскушке. Некуды тебе, Иван Федорыч, помимо меня податься. На охотку-то мои кони тебя возили. Не таких видали мы на веку. Отец Пантелеймон Спасителев, бывало, аж надуется, скраснеет весь и наровит крестом тебе голову сломать. А как дашь ему рыжичков десяток, он и смякнет, опадет, ровно опара...»

Кержак тихо засмеялся.

«Бедноту наново удумали организовывать. Ково они там без меня, опеть ко мне сбегутся, как маралишки в двадцатом годе».

В 1920 году Морев, чтобы спасти от пуль гражданской

---

[1] Голобец (голбец) — деревянная пристройка к печи с лазом в подполье; использовалась так же, как лежанка.

войны своих маралов, выпустил их из сада в горы. Звери, привыкшие к готовому корму, в первую же зиму вернулись к хозяину.

С 1923 года после массового выхода из коммун бедняки снова стали наниматься в батраки к кулакам. У Андрона Агатимовича с кумом Феепеном в ту пору произошел веселый разговор:

— Как, кум, дела?

— Дела хороши.

— Кумына-то у вас как?

— Нету.

— А шпана?

— Сколь хотишь, в батраки набиваются.

Оба кержака весело зафыркали.

Мореву иногда казалось, что все пойдет по его желанию. Ему только не удавалось убедить себя, что и на этот раз колхозы возникнут ненадолго, потом развалятся и все будет по-старому. Он был достаточно умен, чтобы правильно оценить серьезность надвигающихся событий. Андрон Агатимович бродил по двору, как слепой.

Морев не заметил, как кончилась служба в молельне. Народ начал собираться на площади, где индусские факиры, братья Волосянкины, заканчивали последние приготовления. Дедушка Магафор тоже утянулся вместе со всеми поглядеть на бродячих комедиантов.

Андрон Агатимович остался один в ограде. Он видел в приоткрытую калитку, как мимо провезли большой черный гроб с длинными белыми крестами. В нем Тимофея Волосянкина закапывали в землю. На площади были слышны выкрики артистов, гул толпы и плеск ладоней.

Хозяин ушел в стайку к вороному жеребцу, своему любимцу. Конь, точно цепной пес, скалил зубы, храпел и норовил ударить задом. Андрон Агатимович смело наступал на него, бил ладонью по гладкому крупу.

— Ну, дурачок.

Глаза у коня были лиловые, злые, грива синяя. Хозяин заглянул в кормушку. Овес лежал несъеденный.

Морев вышел из стайки, прислушался. На площади истошно вопила женщина:

— А-а-а-й! А-а-а-й!

Андрон Агатимович услышал тяжелый топот сотен ног. Он мелкими шажками подбежал к воротам и осторожно высунулся на улицу. Люди воровато разбегались по домам. Дедушка Магафор приковылял с палочкой, розовый, веселый. Старик прошамкал внуку:

— Шкоморох жадохся.— Магафор тихо захихикал: — Лопатки шпрятали.

Над факирами зло подшутили. У них спрятали лопаты, которыми надо было вовремя откопать Тимофея-Франца. Факир Франц де Гибральтаро ди Калькута задохнулся в гробу. Актер умер в муках — вырвал на себе все волосы и изгрыз пальцы. Он лежал скрючившись, лицом вниз. Белая «индусская» хламида на нем топорщилась, как измятый саван. Над мертвецом ломала руки и выла его жена — толстая женщина с накрашенными губами, в короткой красной юбке и оранжевой шелковой косынке. Трифон-Фердинанд стоял в полосатом трико, голоногий, бледный, немой, с мертвыми глазами. Площадь была пуста.

Андрон Агатимович задрожал, густая краска вдруг пробрызнула у него по всему лицу.

— Так им и нада! Не отводи глаза! Не омманывай народ!

Ему хотелось бежать на площадь и своими руками задушить второго брата. Он потрясал кулаками и орал на всю улицу:

— Скоблены рожи, легких денежек захотели!

Гнев давил ему горло.

— Земля шутить с ей никому не дозволяет!

* * *

На Алтае наступило веселое время. У маралов спели рога. Мараловоды караулили набухание целебных пантов — подолгу простаивали в своих садах за высокими лиственничными изгородями.

Андрон Агатимович Морев справедливо считал, что корм у маралов в рогах. Он не жалел овса для своих зверей, поэтому рога у них были большие, тяжелые и вызревали в самые ранние сроки. Срезку рогов в Белых Ключах первым начинал Морев. Ежегодно в начале июня Андрон Агатимович созывал соседей «на помочь» и отправлялся с ними в маральник. Маралов у него было тридцать три штуки, быков-рогачей — девятнадцать.

В последний раз на срезку рогов Морев выехал с небольшой кучкой друзей. С ним был его старший женатый сын, недоросль Малафей, и четверо помочан — Мамонтов Ивойла Викулович, Чащегоров Фис Канатич, Бухтеев Евграф Зотеич и Пахтин Феепен Фенопентович. Выехали с вечера, чтобы по утренней заре начать загон зверей.

Ночевали прямо у изгороди сада, около большого костра. Коней расседлали, стреножили и пустили на траву.

Андрон Агатимович спал плохо. Он все думал. За изгородью встревоженно бродили звери. Костер их беспокоил. Стук звериных копыт на твердых взлобках напоминал заглушенные удары о камень. В отдаленье немолчно текла Талица. Вода в ней точно кипела, с шипеньем и бульканьем. Туман нависал густым, белым паром, заволакивал небо. Перепела, как пастухи, били звонкими бичами, остерегали своих самок. Коростели бегали вдоль невидимых частоколов и трещали о них носами.

Угли в костре лопались с треском, как красные орехи. По другую сторону изгороди стояла ручная маралуха, Тонконожка, и смотрела на огонь темными, человечьими глазами. Андрон Агатимович несколько раз вставал к ней и кормил ее из рук хлебом. Он ласкал и баловал молодую маралуху за ее редкостные глаза. Они у нее были такие же большие и печальные, как у погибшей Сусанны.

Морев в молодости любил Сусанну. Она любила другого. Родители девушки были на его стороне. Он считался в селе первым женихом. Другой решил обвенчаться с ней убегом. Родители настигли жениха с невестой на полпути. От побоев жених долго хворал. Сусанна дала отцу слово выйти за Андрона. В ночь перед свадьбой она выбежала из дому и бросилась в Талицу. Труп ее, распухший и изломанный, нашли через две недели в двадцати верстах ниже Белых Ключей. Соперники потом встретились, и Андрон сказал другому:

— Раз не мне, так лучше никому.

Восьмилетний вожак с пудовыми, ветвистыми рогами водил стадо с места на место. Звери долго ходили по глубокой тропе, вдоль изгороди, напрасно искали выход. На крепком заплоте белели черепа погибших при загонах, точно белоголовая звериная смерть стояла у всех углов и берегла дорогу на волю. Человек очертил на земле круг, указал зверю ходить по нему от рождения и до конца дней. Он даровал ему жизнь в неволе и муках. Зверь должен был каждый год отдавать человеку свое драгоценное оружие — золотые окровавленные рога.

Осенями маралы-самцы дрались за самку. Соперники налетали друг на друга, как безрукие борцы. Они бились жалкими, короткими культяпками-пеньками. От беспомощной этой близорукости и неволи любовная трубная песнь одомашненного марала уступала в ярости страстному реву дикого. Она превосходила его своей скорбной певучестью.

Во время гона Илья Дитятин всегда ездил в мараль-

ники, по заре слушал звериные тоскливые страстные песни и нередко у себя на щеке ловил соленую слезу.

За горами поднималось солнце, страшное, как костер. Звери, не останавливаясь ходили по замкнутому кругу. Люди ловили коней, затягивали у них под животами толстые седельные ремни. Из села спешил верхом дед Магафор. Старик ехал пить звериную кровь. В сером рассветном тумане он черной тенью мелькал с горы на гору.

Андрон Морев перед въездом в сад перекрестился и сказал помочанам:

— Со восподом, гражданы.

Он пропустил мимо себя всех четверых.

— Нонче ни зверя, ни коня беречь не будем.

Морев закрыл ворота.

— Своими руками все хозяйство нарушу.

Малафея поставили в конце длинного открылка у ворот в крытый загон. Съемочного станка у Андрона Агатимовича не было. Он предпочитал срезку рогов свалом.

Всадники рассыпались лавой и поскакали.

Мамонтов был толст и высок. Борода у него расползлась по животу черной тучей. У Морева, Бухтеева, Пахтина бороды задрались на плечи рыжими гривами. Чащегоров, голощекий и круглолицый, походил на пожилую женщину в длинных чембарах.

Маралы бурой стаей спугнутых птиц мелькнули по зеленому склону и понеслись над землей. Под острыми копытами трещала и сыпалась искрами мелкая каменная пыль. Ноги у зверей были напряжены, как струны, рога закинуты на спину. Рога почти не колебались в неистовом беге. Звери несли их бережно, как хрустальные хрупкие сосуды. Магафору казалось, что маралы со страшной быстротой плывут по воздуху. Старик, прижавшись лбом к изгороди, жадно следил в щель за гоном.

Тугой холодный ветер бил всадникам в лицо. Они скользили, точно на лыжах, по следам зверей. Рога над стадом, как заросли кустарника, то редели, то густели. Загонщики отжимали рогачей к узкому рукаву, старались отделить их от самок и телят.

Андрон не раз зимой по глубокому снегу гонял на лыжах и ловил живьем диких маралов. Он забыл, зима сейчас или лето, снег под ногами у лошади, лед или камень. Он ничего не видел, кроме бегущих зверей. У него была только одна мысль — загнать.

Первым заскочил в крытый загон поджарый, полнорогий, шестилетний зверь. В стае он был третьим по силе.

Лепестинья Филимоновна и безбровая Пестимея подъехали к маральнику со сменными конями. Хозяйка привезла загонщикам свежих шанег и два туяса медовухи.

Андрон не пустил женщин в загон, чтобы не испугали запертого марала. Загон был щелявый. На зверя легли длинные узкие полосы света. Он стоял весь полосатый, точно опутанный светлыми ремнями, и мелко вздрагивал. Зверь дышал трудно и тревожно. Тренога трепетала у него в точеных, сухих ногах, в тонких, темных ноздрях, на концах мягких, шерстистых пантов. Загонщики длинными палками осторожно подсунули под ноги маралу сыромятные ременные арканы. Палки беспокоили, пугали марала. Он переступал с ноги на ногу и попадал в петли.

Лепестинья Филимоновна полезла в загон с туяском для крови, как только увидела, что ноги зверя накрепко стянуты ремнями.

Загонщики потянули на себя арканы. Задние и передние ноги у спутанного стали сближаться. Зверь задрожал весь, взмахнул своими ломкими сучьями и, как подрубленное дерево, мягко повалился на бок. Помочане легли на него, прижали к земле. Лепестинья Филимоновна положила маралу на глаза белую холщовую тряпку. Андрон давно стоял с пилой наготове. Он упал на колени, схватился за рог и начал пилить. Рог был мягкий и теплый, как волосатая рука. Пила хрипела и хлюпала, точно Андрон пилил в воде. Кровь выметывалась со свистом, пачкала пальцы и расползалась по белой тряпке.

Магафор на четвереньках, лохматый, весь в белом, подполз к окровавленной голове зверя и припал к ней беззубым ртом. Пеньки рогов были, как тугие сосцы на волосатом брюхе медведицы. Старик мял их голыми деснами, захлебываясь и сопя, сосал красное соленое молоко.

Лепестинья Филимоновна стала трясти старика за плечи.

— Дедушка, будя, другого пососешь, зверь заслабнет.

Он с трудом оторвался от головы марала и посмотрел на нее пьяными, блуждающими глазами. Косматый рот у него был в крови, как пасть белого медведя, задравшего тюленя.

Магафор отполз в дальний угол загона, лег и сразу задремал. Лепестинья Филимоновна посмотрела на него и сказала:

— В пользу дедушке кровь пошла, ишь, дремлется ему.

Помочане разом встали с марала. Малафей спрятал у

себя за спиной снятые рога. Марал вскочил, зашатался, как новорожденный теленок, широко расставил ноги. На лбу у него красной бахромой висели сгустки спекшейся крови. Кровь текла из пеньков маралу в глаза, каплями падала на землю. Зверь точно плакал. Андрон помахивал на него арканом, ласково приговаривал:

— Ну, поди со воcподом, поди.

Марал комолой коровой дрябло затрусил из загона.

Магафор сквозь дремь услышал, как опять грузно затопали в маральнике кони и защелкали на камнях легкие копыта зверей.

Рогачи забегали в загон один за другим. Малафей захлопывал ворота ловушки. Звери со спутанными ногами падали на землю, роняли рога, бились под тяжелыми телами людей.

Люди припадали к сладостным сосцам, как дети, чмокали губами.

Кровь пили все: Моревы, Мамонтов, Чащегоров, Бухтеев и Пахтин. Пестимея и Лепестинья Филимоновна вымазали себе щеки. Мужики окровянили бороды. Рога маралов, словно воздетые к небу руки, мелькали перед глазами Магафора. Черепа хрустели, кровь хлюпала, окровавленное золото звенело в сундуках. Он плыл на льдине через всю Россию и промышлял в море. Магафор не разбирал, кто у него на пути — зверь, человек, русский, алтаец, киргиз,— он рубил.

Восьмилеток-вожак не хотел идти в открылок. Загонщики гоняли его одного — марал не давался. Андрон прижал уже запалившегося зверя к горелой сухой лиственнице на середине маральника. Рогатый раб неожиданно взбунтовался. Он по-волчьи защелкал зубами и быстро, как копьем, ударил коня передней ногой в ребро. Ребро проткнуло сердце. Конь грохнулся на землю. У марала серой тряпкой вывалился язык. Он, задыхаясь, сел на зад и тихо лег. Андрон отстегнул от седла топор и с плеча рубанул зверя намного выше глаз, поперек всего лба. Морев вырубил панты с куском черепной кости, крикнул помочанам:

— В каперации получу как за дикого!

Загонщики привязали к изгороди пегих от пота коней и пошли в стан. За ним брела Тонконожка, мордой толкала Андрона в спину. Она просила хлеба.

Андрон остановился, посмотрел на маралуху. Тонконожка шершавым языком начала лизать у него руки. Он закрыл полой пиджака ее покорные, ласковые глаза и закричал:

— Товарищам тебя не покину!

Нож висел у него на поясе. Он резанул ее по горлу от уха до уха. Тонконожка захрипела. Хозяин оттолкнул от себя свою любимицу. Она упала на траву, завиляла коротким овечьим хвостом.

Морев, устало переминаясь с ноги на ногу, оглядел сад. Рогачи, уцелевшие от гона, и самки с телятами жались в одном углу пугливым, дрожащим табунком. Вожак, бездыханный, лежал под лиственницей рядом с мертвым конем. В разных концах маральника валялись и бродили запаленные звери с обезображенными головами. Гон был нехозяйский.

Морев носком сапога пошевелил ухо Тонконожки и вдруг остервенело заплясал, запел:

Ах, тах, тирдарах,
Разобью Матаню в прах,
Чтобы глаз мой не глядел,
Никто б Матаней не владел.

Хозяин плясал с широко раскинутыми руками, один в своем опустошенном саду, пьяно скалил зубы.

Рога под крышей загона висели ровным рядом срезанных сучьев. Охотники храпели, задрав в небо окровавленные бороды. Фиолетовые мухи ползали у них по лицам. Пестимея подкладывала дрова под большой чугунный котел. Дым шел прямо и высоко. Лепестинья Филимоновна, крякая, рубила топором ободранную Тонконожку. Малафей зевал и почесывал свою вершковую бородешку.

Снежные вершины покрылись красными пятнами заката, точно на них упали огромные капли горячей звериной крови. Лиственница торчала над маральником обломанным мертвым рогом зверя.

* * *

Продавец из кооператива Иван Иванович Шеболтасов заехал по делу к Поликарпу Петровичу Агапову вскоре после Безуглого. Шеболтасов прямой дорогой и без остановок обогнал коммуниста, вернулся в Белые Ключи на сутки раньше. Под окна к Мореву, а потом и в дом он угодил к началу пировья, устроенного по обычаю после срезки рогов.

Андрон Агатимович мельком взглянул на продавца и сказал ему:

— Проходи, Иван Иванович, гостем будешь.

Шеболтасов присел у дверей на лавку, фуражкой обмахнул запыленные сапоги, красным платком вытер с лысины пот. Лепестинья Филимоновна с поклоном подала ему полный ковшик. Шеболтасов сквозь длинные, рыжие, редкие усы подул на медовуху и за один вздох втянул в себя сладкое и хмельное питье. Фис Канатич тонким и медовым своим голоском рассказывал индусскую легенду о сотворении земли. Хозяин и гости внимательно смотрели ему в рот.

— И вот, значит, граждане, довелось мне услышать от этого самого знаменитого ученого, от Григория Ивановича Потанина, одну умственную и справедливую сказку. Он своей рукой списал ее в книгу в Индейском царстве. Сказывают эти индеи, что в одно распрекрасное время богиня Жаму позвала к себе богиню Гму, дала ей подол земли и наказала сотворить из нее нашу землю, животных и людей. Землю, говорит, изладь ровной, гладкой, чтобы не было на ней гор. Людей всех сделай равными, ни богатых, ни бедных чтобы не было. Иди, кидай из подола землю и приговаривай: «Где горам быть, чтобы не было гор. Кому богатому быть, не быть богатым. Кому бедному быть, не быть бедным».

Фис Канатич умышленно сделал паузу, зачерпнул себе ковш медовухи. Слушатели томились, смотрели, пока он пил, как у него вздувалось горло.

— И вот возрадовалась богиня Гму, что ей такое великое дело препоручено, да на радостях все приговоры-наговоры перепутала. Идет, из подола землю кидает и говорит: «Где горам быть, будьте горы. Кому богатому быть, будьте богатыми, кому бедными быть, будьте бедны».

Фис Канатич засмеялся первым, за ним захохотали все. Всем сказка пришлась по душе.

— Гму эта самая и сделала нашу землю с горами, а людей неравных, богатых и бедных.

Андрон Агатимович сказал, поглаживая бороду:

— Согласен с тобой, Фис Канатич, умственность в сказке большая. По ровному месту и вода не бежит. Гор бы не было, реки не текли бы. Все будут равны, работать никому не захочется.

Все согласились с хозяином. Хозяин спросил Шеболтасова:

— Откуда бог несет, пошто ко мне завернул, до дому не доехал?

Шеболтасов шмыгнул носом, пощупал свои широкие ноздри.

— Надобность есть в вас, Андрон Агатимович, везу вам поклон от Поликарпа Петровича.

— За поклон — поклон, за память спасибо. Об другом-то сказывай.

— Другое у меня вроде как у богини Гму, тоже с наказом, только не в подоле, а за пазухой.

Шеболтасов вытащил и отдал кепку Безуглого.

— Поезжай, говорит, и сотвори доброе дело, открой людям глаза. Безуглый этот, говорит, есть сын помещика и работает на старую власть, чтобы, значит, возворотить крестьян в крепостное право.

Морев недоверчиво и обрадованно спросил:

— Ну?

— Поликарп Петрович с им из одной местности и всю его родовую знает до единого человека. Дед, сказывает, первеющий садовод и богач изо всей Тамбовской губернии.

— Фуражку каку привез, к чему?

Шеболтасов пососал усы.

— Кепку эту по пьяному делу у Поликарпа Петровича забыл. Он у него на даровщину напустился на малиновую настойку, а она女 жененая.

Морев не понял.

— Это как?

— Ну, значит, с подмесью чистого спирта, со спиртом жененая, на язык, на голову высокое давление оказывает.

Фуражка пошла по рукам. На черной подкладке было отчетливо видно серебряное клеймо — Москвошвей, Москва.

Фис Канатич спросил Шеболтасова:

— Скажи, Иван Иванович, в меру он выпил?

Шеболтасов ощерился. У него недоставало спереди в верхней челюсти трех зубов.

— Вокурат в меру, как вышел на крыльцо, так и свалился. Ночь целую на улке проспал. Хозяйка коров доить насилу дверь открыла.

Шеболтасова расспрашивали долго, рассказ его повторяли со смакованием. Морев спрятал фуражку коммуниста в сундук и отпустил продавца.

— Спасибо тебе, Иван Иваныч. К вечеру приходи, мучицы насыплю. Ступай со восподом.

Шеболтасов покосился на большой лагушок медовухи и со вздохом вышел.

За столом сидели Лепестинья Филимоновна, Малафей, Пестимея, Магафор и помочане с женами. На дворе работали младший сын Мартемьян с батрачкой-сиротой Миримеей,

жившей в доме под видом родственницы. Пировья настоящего не было. Оно скорее походило на вечер воспоминаний или заседание штаба армии перед выступлением на позиции. Хозяин и гости перелистывали толстую долговую книгу, подсчитывали протори[1] и убытки. Они не забыли ничего и не собирались прощать своим должникам. Они строили и обсуждали самые точные планы на ближайшее будущее. Хозяин говорил больше всех. Он был в селе первым человеком.

— В двадцатом годе, в самую разверстку довелось мне мимоездом побывать в Верхне-Мяконьких у своего шуряка Аристарха Филимоныча. Заезжаю и вижу: в ограде у него прямо страсти господни. Шуряк с ножом, кум его Омельян с ножом, баба с топором. Один свинью супоросную пластат, другой ягушек режет, баба гусям головы рубит. Кровища хлещет, перо летит, гагаканье, визг. Я спрашиваю: «Чего, мол, ты робишь?» — «А не говори, Андрон Агатимыч. С переписью завтра придут». Глянул на рыжку его — стоит на себя не похож: мослаки да ребра одни. «Пошто,— спрашиваю,— коня не кормишь?» — «Пла́чу,— говорит,— да не ко́рмлю. Сытый будет,— боюсь, товарищи возьмут». Созвал он меня в избу. На столе полная чаша, ровно в праздник, а дело было в пост, перед рождеством. Я говорю — грех. Он мне: «Ешь, Агатимыч, все равно коммунисты заберут». Вся семья его, родова и знакомство ели аж до блевотины. На улку выбегут, поблюют и опеть за стол, только бы продукцию унистожить.

Гости засмеялись. Андрон Агатимович покачал головой.

— Ночью, бывало, выйдешь, кругом зарево, ровно на войне. Мужики жгли и солому, и сено, и дрова, лишь бы в город не заставили везти. А которые если и возили, более того по дороге раскидывали для облегчения коней. Хозяйство у товарищей такое было, что никто не спрашивал, сколь довез, была бы отметка — трудгуж выполнен.

Андрон Агатимович поднял руку.

— Гражданы, может ли хрестьянин позабыть, как по весне товда зачала на складах мука преть, зерно загорелось, мясо, яйца стали тухнуть. Душина пошла, аж дыхание спирает. Хлеба навезли — девать некуда, ни мешков, ни анбаров не хватало. А продагенты знай свое — вези. Ну и везли и валили под открытое небо, под вольный дождичек. Каково было хрестьянину глядеть на труд свой? Народ прямо умом помутился, со страху зачал в камень подаваться. Думали мы товда, что всеобчая эта кумына кончит нас всех голодом.

[1] Протори — издержки, расходы.

Морев посмотрел на Чащегорова.

— Фис Канатич, ты, верно, думаешь, пошто он нам рассказыват, сами, мол, не знаем? Согласен, что дела эти известные. К чему же я речь веду? К тому, дорогие люди, что коммунисты опеть на новый лад запели старые песни. Опеть хрестьянин вези в город последнее.

Морев спросил:

— Гражданы, ужели мы хуже пчел окажемся? Пчелу одну задави, все налетят, жалить начнут.

Мамонтов вздохнул, крепко свел пальцы в темный волосатый кулак.

— Ране народ был доброхочий, дружный.

Магафор ответил ему:

— Теперь штарину как во шне видели.

Пахтин поднялся из-за стола.

— Правдедушки наши от китайца, от кыргыза отбились, неужто коммунистишек не спихнем?

Андрон Агатимыч возразил куму:

— Не дело говоришь, Феепен Фенопентович. Восстанье подымать нонче дураков не сыщешь. Нам теперь надо гнуть линию другую.

Андрон Агатимыч хитро прищурился.

— Наша линия такая — от дела не бегай и дела не делай. А главное — яма. Хлеб спрячь, скотинешку под нож, машины приломай, дураки в Металлторге хоть цельный плуг в лом примут, одним словом, хозяйство наруши и сиди около ямы, кормись с семейством потихоньку.

Нефед Никифорович Помольцев остановился под окном с длинным удилищем и паевкой через плечо. Морев замолчал. Помольцев поздоровался.

— Андрон Агатимыч, просьба у меня, отрежь волосков от счастливой своей бороды. Хариус на нее берется што-ись на лету, закинуть удочку не даст.

Морев захохотал и, задрав бороду, щедро махнул ножом. Он подал рыбаку клок своего золотого руна.

— Для друга я не то бороду, голову себе отрежу. Пивка выпьешь?

Помольцев оглянулся и сказал:

— Пожалуй, не откажусь.

Морев сунул ему из окна полный ковш.

— Нефед Никифорович, запомни — от Андрона плохого никто не видел. Из партизан пришел — кто тебе помог? У Андрона будет — и у всех будет. Андрон на боку лежать не любит, оттого у него и достаток.

Помольцев ничего не ответил Мореву. Он свернул в пе-

реулок к реке. Длинное белое удилище покачивалось высоко над заплотами.

В селе было известно, что у Моревых пьют. На медовуху, как муравьи на сладкое, стали сползаться друзья.

Жена Улитина, сероглазая, круглолицая нарядная Фекла, была давнишней любовницей Морева. Она пришла как к себе в дом. Лепестинья Филимоновна помутнела лицом и подала ей ковшик. Андрон стал расспрашивать ее о делах ячейки. Фекла пила и похохатывала. Она спела ему:

Ты, миленок, мне не льсти,
Тебе меня не провести.
Я на то сама пойду,
Тебя скорее проведу.

Горбуна Пигуса Фекла встретила шутливым приветствием:

— Хозяину веселого завода почтеньице.

Морев спросил его:

— Как завод?

Пигус бледной тонкой рукой обтер свою голую лисью мордочку.

— На полном ходу, достижения выше государственных, сто один градус крепости.

Он захихикал.

— Уполномоченный Безуглый мне говорит: «Ты вредитель». Я ему отвечаю: «От самогону хрестьянину одна польза, вред от нее не мне, а государству».

Андрон Агатимович посмотрел на расписной потолок.

— Иван Федорович сам не дурак выпить.

Хозяин рассказал о заезде Безуглого к Агапову. Рассказ свой он повторил потом каждому новому гостю — конокраду и контрабандисту Хусанину, красноглазому пасечнику Фалалею Ассоновичу Лопатину, бедняку и пьянице Епифану Покатидорожке, председателю Желаеву, секретарю сельсовета Подопригоре, гармонисту и лодырю безусому Женьке Шераборину.

Морев был разговорчив и ласков со всеми. Он вспоминал все ошибки или преступления отдельных советских работников, обобщал и делал вывод:

— Слепому видать, куда тянет советская власть хрестьянина. Одно слово — барщина. Сынки помещичьи за наш же хлеб нам глаза копают.

Он спрашивал гостей:

— Слыхивали ковда пословицу: «Не привязан медведь — не пляшет»? В колхозе хрестьянин будет ровно медведь на цепи — и в лес охота, и железа не перекусишь.

Чащегоров поучал:

— За старое держись. Что старо, то свято, что старее, то правее, что исстари ведется, то не минется, ветхое лучшее есть.

Морев на последнем своем пировье был добр, как никогда. Хлеб он раздавал пудами и возами. Всю ночь в амбарах у него шла возня, гремели весы. Малафей развешивал зерно и приговаривал:

— У тяти есть — и у всех есть. У тяти не будет — ни у кого не будет.

В темноте по селу из двора во двор шмыгали люди с мешками, заезжали и выезжали телеги и верховые.

Ночью много было выпито пива. Не стало от него веселее хозяину. Песня, привезенная Магафором с Поморья, сама запросилась к столу. Поморы с ней выходили в море. Она была похожа на покойнишний вой. Андрон всегда запевал ее первый. Он схватился руками за голову, опустил лицо, закачался.

Ай, и где мы, братцы, будем день дневать,
Ночь коротати?

Гости хором ответили на вопрос запевалы:

Будет день дневать во синем море,
На большом взводне,
На белом гребне,
Ночь коротати глубоко на дне.

Магафор задрожал и, пришептывая, запел вместе со всеми:

Одеялышко нам — желты пески,
Изголовьице — горюч-камень.

Люди пели древнюю песнь зверобоев-рыбаков и плакали. Магафор, жилистый, костистый мясоруб и грабитель, тер глаза. Пальцы у него были темные, узловатые, как коренья. Андрон, землепашец, колонизатор и бандит с ковшом отравленного меда в руке, обливался слезами. Лепестинья, его тихая сообщница, утирала щеки концом головного платка. Головы певцов были опущены. Они точно смотрели на дно водяной своей могилы и томились предчувствием гибели.

Сине морюшко разгуляется,
Добрых молодцев позовет гостить...

Андрон напряженно вытянул из себя последние слова:

Позовет гостить — в вековечный сон.

Он черпанул ковш, выпил и еще выпил, и еще.

В крытых темных сенях Мартимьян обнимал Меримею. Меримея шептала:

— Проходу он мне, Тяночка, не дает, лапает.

Мартемьян больно сжал руку девушке.

— Сходи к Ивану Федоровичу, заяви на него, старого черта... В голобце хлеб за фальшивой стеной... На хранение роздал Масленникову, Фис Канатичу, Желаеву...

Лепестинья Филимоновна вышла из дому. Она мочилась шумно, на всю ограду и пьяными толстыми губами шептала молитву:

— Богородица в дверях, пресвятая в головьях, андели по стенам, архангелы по углам, вокруг нашего дома каменна ограда, железный тын, на каждой-то тынинке по маковке...

Она икнула громко, с утробным выкриком.

— ...на каждой маковке по крестику, на каждом крестике по анделу и по архангелу...

Хозяйка домолилась на крыльце.

— ...анделы, архандели, спасите нас...

Гости остались ночевать у Моревых.

Андрон с Лепестиньей легли на свою широкую, кедрового дерева кровать.

Сон у Андрона был тревожен и страшен. Он увидел, что дом его насквозь проточили черные тонкие черви. Дом стал щелястым загоном для срезки пантов. Хозяин стоял в нем весь полосатый, словно марал, опутанный светлыми ремнями.

* * *

Пировье у Морева гремело на всю округу. Безуглому не удалось проехать мимо. Андрон выскочил из ворот, схватил за повод.

— Здорово ночевал, Иван Федорович.

Глаза у кержака были красны. Нос и губы опухли. Он пил вторые сутки подряд.

— Очень нам хотится пригласить тебя в нашу канпанию.

Безуглый отказался.

— Должность не дозволяет, значит, на людях выпить?

— Я вообще мало пью.

Андрон засмеялся громко и нагло. Коммунист увидел во рту у него мелкие, острые, как у лисы, зубы и вишневые десны.

— Жалко мне тебя, Федорыч. Пашня у твоей бабы — одно званье, жалованье получаешь малое... Друзья мы с тобой до скончания века. Однако пришлю тебе мешочков пять пашанички, медку туясок...

— Я вас сегодня арестую.

— Не строжься, Федорыч, не таись от меня. Человек ты знанья высокого, родитель у тебя не кто-нибудь... Думаешь, я не знаю?

Безуглый потемнел, изо всех сил рванул повод. Андрон повис у лошади на морде.

— Помещику без богатого мужика с деревней не совладать...

Коммунист закричал на всю улицу:

— Сейчас же отпустите повод, или я стопчу вас!

— Не шеперься, Федорыч, кепочка твоя у меня в руках. Одно только слово скажу Игоне, и не видеть тебе партии, как своих ушей.

Всадник вздыбил коня. Кержак навзничь упал на дорогу.

Безуглый проскакал галопом по дому. Во дворе белоголовым кружком сидели ребятишки. Они были совершенно поглощены игрой. Никто не заметил рассерженного отца. Никита изображал председателя собрания. Он тыкал в грудь пятилетнюю Настю Помольцеву и говорил ей:

— Наська-делегатка, твоя слова.

Девочка сопела и опускала голову.

— На, бери твоя слова.

Безуглый увидел, как Настя захлопала глазами, надулась и вдруг сказала басом:

— Однако надо в колхоз писаться.

Она звонко засмеялась. Председатель ущипнул ее за бок. Безуглый захохотал следом за делегаткой. Никита оглянулся и закричал:

— Тятя приехал!

Сын кинулся отцу на шею. Отец на руках унес его в дом. Бабушка Анфия сидела с чулком, домовничала. Петух стоял около ее ног, вытянув шею, и с тревогой смотрел на вошедших. Бабушка захлопотала около стола.

Безуглый сел на стул. Никита к нему на колени. Сын пальцем потрогал стриженые усы отца.

— У тебя, тятя, под носом репьи. Колю-ючие.

— Ну, уж так и репьи?

— Верно слово.

Прикосновения тонких пальцев сына были необычайно приятны. Безуглый зажмурил глаза и начал бодать Никиту. Сын запустил ему в вихры обе руки. Оба долго смеялись.

За чаем Никита неожиданно опечалился, спросил у отца:

— А нельзя отбить телеграмму мамке, пускай скорей приезжает?

— Тебе зачем ее?

Никита стал чертить пальцем по блюдцу.

— Пускай бы она самовар ставила, стряпала.

— Это и бабушка может.

Никита готов был заплакать. Голова у него опустилась. Глаза наполнились слезами. Он еле выговорил:

— Ну, еще чего-нибудь будет делать.— Мальчик встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел на огород.— Октябрятам воровать огурцы нельзя.— Он вздохнул.— Тетя, отчего бывает жара?

— От солнца.

— Залить ее нельзя?

— Нет.

Никита опять глубоко вздохнул. Отец дал ему большую конфету в цветистой бумажке. Он сразу повеселел и сказал бабушке Анфии:

— Фартовый мне тятька попался. Гляди, опять какая конфетина мне отломилась.

Безуглый поцеловал сына в голову, попросил его сходить в сельсовет за председателем и дежурным исполнителем. Никита зажал в кулаке сладкую драгоценность и выбежал на улицу. Отец услышал, как зашлепали по пыльной дороге босые ноги сына. Он, конечно, пустился бегом.

Коммунист достал бумагу и сел писать заявление уполномоченному ОГПУ в Марьяновском руднике.

«Мною по рассеянности оставлена фуражка в доме кулака Агапова Поликарпа Петровича, у которого я ночевал».

Безуглый сам не знал, почему он уехал с заимки с непокрытой головой. Не то стыдно было, что заснул на крыльце, не то не хотелось еще раз встречаться с Поликарпом Петровичем.

«Названный Агапов использует названную фуражку как средство моей дискредитации и распространяет ложные сведения о моем социальном происхождении».

Коммунист перечитал написанное, зачеркнул слово «названную».

«Кулак Агапов — враг советской власти, в чем мне сам признался с полной откровенностью. Считая Агапова элементом социально опасным, прошу арестовать его и привлечь к ответственности за контрреволюционную пропаганду и подрыв хлебозаготовок».

Конверт Безуглый прошил ниткой и залепил сургучом.

* * *

Андрон встал с дороги, погрозил кулаком спине Безуглого. Дома он сунул за пазуху фуражку коммуниста и немедленно отправился к Игонину. Гости не расходились. Бабы затянули протяжную и печальную песню.

Полынь ты моя, полыньюшка, горькая трава...

Секретарь ячейки удивился приходу Морева, во все время разговора с ним был сух и настороржен. Андрон начал издалека.

— Вам известно, Фома Иванович, что с товарищем Безуглым у нас знакомство и дружба давнишние?

— Знакомы с ним с 21-го года, знаю. Насчет дружбы ничего не слыхал. У коммуниста с кулаком, по-моему, она быть не может.

— Восподи, ужели вы меня, Фома Иванович, признаете за кулака?

Игонин, подражая Мореву, пропел елейным голосом:

— Ужели нет, Андрон Агатимович?

— Да вы спросите любого бедняка в Белых Ключах, ковда я кого изобидел? Ивану Федоровичу жизню спас. Грамоты почетные имею от земельных органов. Отроду против советской власти слова не вымолвил.

— Рассказывайте, зачем пришли?

Морев закрыл рот бородой.

— Не вышло бы подрыву партии от Ивана Федоровича. Верный человек говорил, что фамелия у него смененная, родом он как бы из помещиков.

Игонин зло сдвинул брови.

— Давно ли вы сохнуть стали по партийным делам?

— Я завсегда, Фома Иванович, душою болею за всю нашу дорогую революцию, опасаюсь, обвострения не получилось бы в крестьянстве.

— Вот бы вам, кулакам, радость была.

Морев сделал обиженное лицо, вынул из-за пазухи фуражку Безуглого.

— Не со сплетнями бабьими пришел я к вам, Фома Иванович.

Он положил фуражку на стол.

— Ошибся Иван Федорович у Агапова в гостях, лишнего малость выпил. Нетрезвый и уехал, кепочку даже оставил.

Игонин недоверчиво оглядывал Морева.

— Оно, слов нет, один бог без греха, с кем не случается. Однако если партия тебя послала на такое восударственное дело, держись крепко за генеральную линию.

Морев прижал руку к сердцу.

— Спасибо скажите мне, что кепочку я прибрал и человеку, который ее привез, строго-настрого наказал, чтобы никому ни боже мой. Я ведь понимаю — один коммунист проштрафился, а на всю партию пятно.

— Зачем же вы мне его фуражку принесли? Друга своего вздумали топить?..

Морев, как на молитве, завел глаза под лоб.

— Восподи, да для партии, советской власти я не то друга, отца родного не помилую. Вам, Фома Иваныч, как первому лицу в нашем селе, одному и заявляю, от вас секретов никаких быть не должно.

Игонин больше не мог слушать кержака. Он закричал, не помня себя от злобы:

— Катись от меня к чертовой бабушке!

Морев поспешно вышел. На лице у него были гордость и смирение.

— Мер если не примете, до Москвы дойду.

Игонин подбежал к нему, схватил за шиворот и вытолкнул на улицу.

Андрон вернулся злой. Гости пели про горькую траву.

Не сама ли ты, полыньюшка, злодей, уродилася,
По зеленому саду, злодей, расплодилася.
Заняла ты мне, полыньюшка, местечко,
В саду место доброе, хлебородное...

Фис Канатич сунулся голой рожей к уху. Андрон отвернулся и громко сказал:

— Не спрашивай.

Он стукнул кулаком по столу.

— Ворон ворону глаз не выклюет.

Фис Канатич еле держался на ногах. Чтобы не упасть, обнял правой рукой хозяина, левой полез ему в бороду, задребезжал тончайшей фистулой:

На лету у сокола крылышки примахалися,
От худой погоды перья приломалися...

Под окнами мычали коровы. Они возвращались с пастбища.

Андрон усадил старика на лавку, высвободил бороду. Ле-

пестинья Филимоновна подала ему большой ковш медовухи. Хозяин выпил, обсосал усы и заорал:

— Лепестинья, лезь в голбец, цеди медовуху в ведра, выноси на двор! Желаю угостить в остатный раз всю свою скотину!

Гости от смеха закланялись, замотали пестрой травой по ветру.

— Жеребцу тащи катанки! Пущай Воронко в обутках по селу погуляет!

* * *

Безуглый услышал скрип ступенек крыльца, посмотрел на дверь. Он ждал людей из сельсовета. Чтобы идти с ними к Мореву. В комнату вошла Меримея. Девушка тяжело дышала, глаза у нее были темны и неспокойны. Она быстро подошла к Безуглому и выпалила:

— Мы надумали сказать вам про хлеб. Морев его распрятал по разным местам.

— Кто это мы?

Меримея заметно порозовела.

— Мы с Тяной.

— Он чего с отцом не поделил?

Румянец неудержимо расплывался по щекам девушки.

— Он давно привержен к советской власти. Ему отец сколь разов говорил: «Тяночка, не в ту сторону тянешь».

Меримея рассказала Безуглому о всех ночных перевозках Андрона и его тайном зернохранилище в подполье. Безуглый встал, погладил Меримею по голове.

— Ну, спасибо тебе, деваха, на добром слове. Мартемьяну своему скажи, что, если он за твоим хвостом только к нам тянется, тогда толк из него небольшой.

Дежурным сельисполнителем был Помольцев. Он шел по улице следом за Никитой. Мальчик свистел и скакал на одной ноге.

Ворота у Моревых были открыты настежь. В ограде Андрон держал под уздцы пьяного всхрапывающего жеребца. Малафей осторожно обувал вороного в валенки. Помольцев и Никита не видели недоросля из-за спины гостей. Гости вдруг захохотали, завизжали и шарахнулись в разные стороны. Жеребец взметнул передние ноги выше головы хозяина, прыгнул, подбросил зад и понесся в ворота, спотыкаясь в старых, стоптанных катанках. Никита увидел длинные с прожелтью зубы, огненные глаза, синие космы гривы и потерял сознание. Жеребец сбил ребенка, рванул его всей

пастью за грудь и наступил ему на правую ногу. Помольцев закричал диким голосом:

— Парня задавили, гады!

Безуглый на крик выбежал из дому. Помольцев нес на руках Никиту. Отец сразу заметил, что одна нога у сына неестественно вывернута.

Жеребец от мальчика шарахнулся на зазевавшуюся желтую собачонку, затоптал ее насмерть и поскакал к коммунисту. Один катанок с передней ноги у него слетел. Он поэтому прихрамывал и мотал мордой. От него с кудахтаньем разлетались рябые куры, и, задрав хвосты, неуклюже взбрыкивали полным махом четыре теленка, бурые и лохматые, как медвежата. Безуглый, задыхаясь и бледнея выхватил маузер. Револьвер прогремел дважды. Первая пуля пронизала у жеребца острое поротое ухо, вторая пробила лоб. Вороной упал на колени, ткнулся зубами в землю и завалился на бок. Селезенка у него громко екнула, точно в могучем брюхе лопнула крепкая, толстая жила. Над улицей повисла пыль, поднятая жеребцом, прозрачная, как дым из револьвера Безуглого.

Гости Андрона, быстро трезвея, разбежались по домам. У Безуглого под окнами стали собираться любопытные.

Никита напомнил коммунисту изломанного Федора на дне ущелья. Отец боялся прикоснуться к сыну. Ему казалось, что он холоден, как брат, погибший в Кобанде. Бабушка Анфия быстро раздела мальчика, ощупала у него голову, ребра, руки и ноги. Она обернулась к отцу, сказала:

— Перелом правой ноги выше щиколотки, на груди выкушен левый сосок, остальное все цело.

Старуха в свое время кончила курсы сестер милосердия, поэтому работала умело, без суеты. Она промыла и перевязала рану, сложила сломанную ногу и скрепила ее бинтом с двумя лучинами.

Помольцев растерянно топтался у порога и в десятый раз начинал и не кончал рассказ о пьяном жеребце.

— Этта мы идем с Никитушкой, а он как вылетит... Я, значит, туда, а он подался сюда...

Безуглый послал его отогнать от окна праздных зрителей и попросил сходить в сельсовет за подводой. Надо было немедленно отвезти сына в больницу.

Никита застонал, открыл глаза. Безуглый подошел к нему, взял за руку. Рука была чуть теплая, влажная и липкая от растаявшей недоеденной конфеты. Ребенок заметил сле-

зы на глазах отца, заплакал. Безуглый уткнул голову в подушку, затрясся от рыданий. Он был уверен, что Никита на всю жизнь останется калекой. Бабушка закричала на него:

— Уйдите, Иван Федорович, от ребенка! Вы его без нужды расстраиваете. Смотрите, какой он молодец.

Никита перестал плакать, сказал отцу:

— Не реви, тятя, я оздоровею.

Безуглый выскочил на улицу. Он бесцельно закружился по двору, стал заглядывать в окна. Бабушка от мух закрыла лицо ребенка кисеей. Никита под покрывалом побледнел и пожелтел, как покойник. Отец со страхом смотрел на его неподвижный профиль и часто вытирал глаза.

В больницу Никиту увезла бабушка Анфия.

* * *

Безуглый нехотя пожал руку Леонтия Леонтьевича Желаева. Он обругал себя за медлительность с перевыборами сельсовета. Желаев и Помольцев стояли у порога. Он подал им стулья.

— Я вызвал вас для производства обыска у гражданина Морева.

У Желаева дернулись бесцветные щетинистые брови.

— Разве что заметили за им? Мужик он будто справный.

— Мы должны будем арестовать его независимо от результатов обыска.

— Чем он вас прогневил, Иван Федорович? Вы ведь у него и от белых спасались, а на охоту с им ездили.

— Он мне предлагал сегодня взятку — раз, пытался шантажировать меня — два, спрятал хлеб — три. Я думаю, что сельсовет не может оставить без внимания историю с жеребцом.

Безуглый подтянул ремни у сапог, пощупал в кармане маузер, надел фуражку. Он не дал мыслям о сыне снова овладеть собой.

Желаев сказал:

— Жеребец, можно сказать, был первый производитель по всему сельсовету.

Безуглый посмотрел на него с изумлением. Он не мог разобрать, издевался Желаев или просто не понимал, что речь шла не о лошади.

На улице Безуглый стиснул в кармане кривую рукоятку револьвера. Ни одной мысли о сыне. Он должен думать

только о деле. Сын поправится. Нога срастется правильно.

Малафей успел ободрать вороного. Конь лежал голый, черный от крови. Около трупа грызлись собаки. Безуглый отвернулся.

Бабушка Анфия — надежная сиделка. Никита не может умереть. Довольно о нем.

Дома застали только Андрона и Малафея. Безуглый попросил хозяина открыть амбары и кладовки. Обыск был непродолжительным. Закромы оказались совершенно пустыми. Морев не оставил ничего даже мышам. Коммунист спросил кулака:

— Где у вас спрятан хлеб?

Андрон стоял среди двора, накручивал на палец бороду и смотрел на темное звездное небо.

— Бог дал, бог и взял.

— Не валяйте дурака.

— Дураков из нас советская власть сделала, Иван Федорович.

Безуглый услышал шепотки и хихиканье за воротами. На улице около дома шмыгали друзья и сочувствующие.

В узкой ограде заднего двора с ревом носились и стучали рогами коровы, опоенные пьяной медовухой. В стайке валялась врастяжку опьяневшая двадцатипудовая свинья и блаженно взвизгивала.

Коммунист приказал коммунисту принести топор и пешню. В голобец они спустились вдвоем. Желаев с Помольцевым остались в горнице. Председатель сельсовета жадно втянул в себя воздух, пропитанный запахом медового пива и воска. Лепестинья Филимоновна поставила на стол туяс. Желаев зачерпнул ковш и торопливо выпил, обливая щеку и рубаху. Помольцев покосился на люк и тоже опрокинул одну посудину. Лепестинья Филимоновна стояла, подперев рукой подбородок, тихо всхлипывала. Малафей, разинув рот, прислушивался к голосам отца и коммуниста. В большом доме было тихо. За окнами только усиливался шум и разговоры. На стеклах плющились носы соседей.

В голобце Андрон обмяк, разрыхлел, растаявшей восковой куклой повалился в ноги Безуглому. Борода его липкими медовыми струями растекалась по сапогам коммуниста.

— Федорыч, дружок... помиримся... у меня всем хватит... ничего для тебя не пожалею...

Безуглый высвободил из рук кержака свои ноги.

— Не тратьте напрасно время.

Андрон по голосу коммуниста понял, что никакие просьбы и обещания до него не дойдут. Он стал с пола взлохмаченный, багровый. Фонарь с тонкой восковой свечкой слабо и неровно освещал лицо кержака. Безуглый не видел его глаз. Пальцы Андрона судорожно вздрагивали на топорище. Коммунист бессознательно опустил руку в карман, на маузер. Они стояли молча друг против друга. Один — с топором, другой — с револьвером. Мгновение было долгим и тягостным. Андрон вздохнул со стоном:

— Спас ты меня от медвежьей казни, видно, на муку вечную.

— Ломайте стену.

Морев повернулся спиной к Безуглому, осторожно отодрал топором несколько досок, пешней продолбил глинобитную перегородку. Свет фонаря упал на серые мешки с зерном. Коммунист спросил:

— Пшеница?

— Сортовая, зерно к зерну.

— Зачем спрятали?

— Свое спрятал, Иван Федорович, не краденое.

— От кого спрятали?

— От воров.

— От каких воров?

— Воры известно какие, которых замки ни днем ни ночью не держат, которы хрестьянина грабят и его же без стыда, без совести расхитителем объявляют.

Андрон нагнулся за топором. Безуглый навел ему на грудь револьвер.

— Положите, он вам больше не нужен.

Морев засопел, разжал пальцы. Топор стукнулся об пол.

— Зря, командер, испужался. Я жить еще не соскучился.

— Поднимайтесь наверх.

В горнице кержак открыл окно и заговорил громко, чтобы его услышали на улице:

— Пиши, Леонтий Леонтьевич, протокол...

Желаев заерзал на лавке.

— Наше дело маленькое, Андрон Агатимыч, как играют, так и пляшем.

— Пиши: так и так, мол, нашли у хрестьянина Морева в голобце хлеб, который он сам посеял, сам со своего поля собрал...

Безуглый перебил его:

— Прошу не заниматься контрреволюционной агита-

цией. Вы арестованы. Товарищ Помольцев, отведите гражданина Морева в сельсовет.

Андрон деланно засмеялся.

— По каким-таким статьям-законам меня за мое кровное добро в каталажку?

— Вы привлекаетесь к ответственности по 107-й статье за сокрытие в спекулятивных целях хлебных излишков и за ряд других преступлений, о которых с вами подробно поговорит судебный следователь.

Малафей зашмыгал носом. Лепестинья Филимоновна заголосила, запричитала:

— Змея лютого на груди у себя пригрел ты, мой Андрон Агатимыч... Не послушался ты тогда меня, бабу глупую...

Морев строго посмотрел на нее и сказал:

— Молчи, не позорься перед народом. За свое страдаем, не за чужое.

Он надел похожую на пирог длинную войлочную шляпу.

— Сухарей насуши. Путь мне дальний.

Андрон с подчеркнутым спокойствием сошел с крыльца, перекрестился на восток, поклонился дому, амбарам, стайкам и народу за воротами.

— Гражданы, вор и злодей Андронка Морев прощения просит. Добром моим теперь честные люди распорядятся.

Он подошел к раскрытому окну.

— Иван Федорович, счастливо вам оставаться в моем доме. Жизня, милый дружок, загогулина не простая. Гляди, еще повстречаемся мы с тобой.

В толпе кто-то крикнул:

— На трудящихся руку подымают!

Толпа молчала. Лицо у Морева окаменело. Помольцев шел сзади со своей ржавой берданкой под мышкой. Кулак спросил конвоира:

— Нефед Никифорович, бороду мне сейчас будешь резать на мушки аль повременишь, покудов меня расстреляют?

Помольцев слова не проронил до самого сельсовета.

Безуглый высунулся из окна, фонарем осветил столпившихся у дома. Головы поникли. Бороды завиляли лохматыми собачьими хвостами. Сообщники Андрона, укрыватели его хлеба, его родственники, дружки стояли перед коммунистом в величайшем молчании.

Безуглый захлопнул окно. Он ни к кому больше не пошел с обыском. У него созрел другой план. В доме Морева коммунист сидел до рассвета, составлял подробную опись имущества.

* * *

Телеграмма мужа о несчастье с Никитой была для Анны новым неожиданным горем в день ее выезда из Улалы. Она и без того чувствовала себя плохо. После слета селькоров Анна ходила во врачебную комиссию. Она хотела прервать свою беременность. Разрешения на аборт не дали. Анна обратилась к бабке. Бабка сделала ей операцию вязальной спицей.

Анна приехала в Белые Ключи осунувшаяся, бледная, с темными подглазницами. Игонин увидел ее в окно, крикнул:

— Бурнашева, зайди ко мне на минутку!

Анна попросила ямщика остановиться.

В избе у Игонина были Улитин, Рукобилов и учительница Алехина. Игонин сказал Анне:

— Видишь, весь актив в сборе. Других членов я не собирал.

Он внимательно посмотрел на нее.

— Дело у нас узкое, касаемое твоего мужа.

Игонин передал ей все разговоры о Безуглом, начавшиеся в селе после приезда Шеболтасова с фуражкой коммуниста. Анна, не задумываясь, возразила:

— Врут. Никакой он не помещик. Кто с бандами в 21-м воевал? Вы сдурели, чего ли?

Игонин отвел ее довод.

— У нас некоторые красные партизаны из партии повыходили и кулаками стали. Мало ли кто кем был, надо поглядеть, кто он есть на самом деле.

Анна совсем побелела.

— Головой ручаюсь за Ивана Федоровича.

Она стала кусать свои посиневшие губы.

Игонин постучал по столу трубкой.

— Голова тебе твоя еще пригодится, не торопись. Ячейка хотит узнать: баба ты, мужняя жена, или сознательный член партии? Подписывай на него заявление.

Улитин подал Бурнашевой исписанный лист бумаги. Она узнала руку Алехиной. В заявлении коммунисты из Белых Ключей просили областную контрольную комиссию начать следствие против Безуглого. Игонин сказал Анне:

— Мне, думаешь, легко было, когда Морев пришел с фуражкой? Я и так, и эдак прикидывал. Социальное происхождение, может, еще и не факт. Ну, а кепку из песни не выкинешь. Одним словом, обязаны мы оследовать все дело.

Бурнашева положила бумагу на стол.

— Вы его спрашивали?

— Кого?

— Ивана Федоровича.

Улитин поддержал Анну:

— Товарищи, на самом деле, надо добавить к заявлению его показания. Нам с ним в прятки играть нечего. Поручим Игонину расспросить его начистоту.

Все согласились с Улитиным. Анна сморщилась от боли в животе, пошла к двери. Игонин закричал ей вслед:

— Смотри, ему пока не заикайся!

Анна с трудом влезла в ходок. Безуглого испугали ее ввалившиеся щеки и невеселые, чужие глаза. Он сначала объяснил все болезнью Никиты, потом увидел, что она и сама нездорова.

Анна разожгла самовар, умылась и легла на кровать. Безуглый устроился рядом на стуле. Она тихо сказала ему:

— Погубила я себя, Иван Федорович.

Он встрепенулся, схватил ее за руку.

— Неладно мне бабка выкидыш сделала.

— Почему ты не пошла к врачу?

Анна облизала синие сухие губы.

— Доктора отказали. У тебя, говорят, муж есть, и можешь ты воспитать дите.

— Совершенно верно. Я был бы только рад. Почему ты со мной не посоветовалась?

Анна протянула к нему руки, взяла его за голову.

— Боялась я, уедешь ты опять на семь лет, бросишь меня брюхатую...

Безуглый поцеловал ее холодный и влажный лоб.

— Дурочка ты моя маленькая.

Она прижала его голову к своей груди.

— Нехорошо про тебя в селе говорят.

— Знаю.

— Ты пил у Агапова?

— Здорово напился малиновой настойки.

— Фуражку спьяна бросил?

— Сам не разберу.

— Как так?

— В другой раз поговорим, все это дело выеденного яйца не стоит.

Анна приподнялась не подушке.

— Гляди мне в глаза.

Безуглый посмотрел, но взгляда не отвел.

— Баб у тебя много было, а жена одна. Не должен ты врать жене. Объясни мне всю свою родовую.

Безуглый встал и раздраженно ответил:

— Мать — прачка, отец — бурлак. Все остальное — сплетни.

Он вышел в сени, принес вскипевший самовар. Анна медленно поднялась с постели, села к столу.

— Тошнехонько мне. Оба мы с Никитой ровно под одну машину угодили.

Она застонала.

— Никита если жив останется, женись на Сухорословой. На городской женишься, мальчонке плохо будет.

У Безуглого стали медленно холодеть руки. Он отвернулся к окну.

— Не говори глупостей. Я тебя лечиться в Москву отправлю.

К окну подошел Игонин, приложил руку к козырьку фуражки.

— Можно к вам, Иван Федорович?

Безуглый почувствовал в голосе и в глазах у него неприятную сухость. Игонин присел на край стула, от чая отказался.

— Мне нужно задать вам несколько вопросов по поручению бюро ячейки.

— Вы хотите узнать о приключениях моей фуражки и о том, кто был мой отец?

Игонин не донес до рта руку с трубкой.

— Вам Анна Антоновна рассказала о собрании актива?

— Ничего она мне ни о каком собрании не рассказывала.

— Откуда вы тогда узнали, зачем я пришел?

— Неужели для этого надо быть ясновидцем? Все село обо мне болтает. Сейчас жена допрашивала.— Безуглый вскочил со стула.— Все чепуха, дорогой товарищ Игонин. Вы вправе, конечно, спросить у меня объяснения. Со своей стороны я написал в ГПУ об Агапове. Вам следует для прекращения всяких кривотолков возбудить в партийном порядке против меня дело. Завтра утром в письменной форме я дам ответы на все ваши вопросы.

Безуглый разговаривал с Игониным и не спускал с него глаз. Он точно искал в его наружности новые, враждебные себе, черты. Игонин сидел прежний — широкоскулый, с косо прорезанными глазами, с толстым носом, и непотухающий вулкан, любимая трубка дымилась в его руке. Бе-

зуглый видел, что он стал для Игонина другим человеком. Он вдруг почувствовал вокруг себя глухую пустоту. Можно, конечно, было протянуть руку и погладить по голове Анну. Она, наверное, даже улыбнулась бы ему. Сам он только никогда ей больше не поверит, что у нее в голове нет затаенного вопроса: «А кто тебя знает?..» Игонин держался совсем как следователь.

В тяжелые для партии дни Безуглый бормотал или напевал свою спасительную формулу — препятствия, преодоление, победа. Себя теперь утешить ей он не мог. Он знал, что его социальное происхождение не имело особенного значения. В партию иногда принимают и выходцев из других классов. Мог и Безуглый родиться в усадьбе помещика. Никогда его никто бы этим не попрекнул. Все разговоры, на первый взгляд пустячные, приобретали значимость оттого, что возникло подозрение в его честности. Он скрыл свое происхождение, обманул партию. Одна мать знала правду. Кто поверит ей после революции?

Сам по себе ничтожный случай с фуражкой тоже разрастался в событие, подобно снежному кому, пущенному с горы. Ни одной контрольной комиссии в мире Безуглый не смог бы толком объяснить, почему он оставил у Агапова свою кепку. Самым правдоподобным оказалось бы утверждение, что он был пьян. Безуглый не мог с этим согласиться, так как утром он встал совершенно трезвым. Вообще опьянение было незначительным и кратковременным. Он проспал на крыльце у кулака два-три часа, вот и все.

Анна зажгла лампу.

Из окна тянуло свежей сыростью и запахом пихты с горьковатым привкусом дыма. Дым шел от костров, разложенных во дворах во время варки ужина. Село затихало. Вода реки с шумом вертела ворчащие каменные колеса вечной мельницы. На высоких полях, в спеющем хлебе, перепела отбивали звонкие секунды, коростели каждую минуту передергивали хриплую цепочку неостанавливающихся часов.

Часы эти Безуглый слушал и раньше. Он никогда не думал всерьез, что они отсчитывают и его сроки. Сейчас он с радостью ощутил неотвратимую мощь времени. Мысль о смерти впервые возникла в его сознании. Она была горька и сладостна.

Анна, кажется, тянет последние дни. Никита может отправиться за ней. Он жил без них, почему теперь... Тогда у него было дело, за которое он боролся всю жизнь... Не бу-

дут его исключать из партии... Ну да, останутся только омерзительные шепотки: «А кто его знает...»

Безуглый выглянул в окно. Луну закрыла лохматая черная туча. Она вздыбилась над горами, словно гривастое, безглазое чудище в стоптанных катанках. На село от него легла широкая и длинная тень. Коммунист пристально посмотрел на Анну и на Игонина. Ему показалось, что и у них потемнели лица.

В узком квадрате окна тихо появилась голова старшего сына Ефросиньи Пантюхиной — комсомольца Павла. Комсомолец глядел на задумавшегося Безуглого.

— Уполномоченный, заснул?

Безуглый чуть вздрогнул. Павел пожал ему руку.

— Выдь на улку. Дело есть к тебе.

Они вышли все втроем. Комсомолец сказал:

— Слышите?

Сквозь размеренный шум реки прорывались тихие, скребущие звуки лопат, визг свиней и мык коров.

— Хлеб, гады, прячут. Скот уничтожают.

Анна прислушалась и сказала:

— Мелентий Аликандрович старается.

Павел возразил:

— Один рази он?

Игонин зашептал Безуглому:

— Ровно германец на фронте окопы роет, скотину у поляка шевелит.

В селе сильно пахло палениной.

Безуглый, как командир в строю, приказал:

— Товарищ Игонин, соберите всех надежных коммунистов и комсомольцев.

Игонин успел сделать только один шаг. В рыхлую тишину ночи гулко рухнул выстрел, загрохотал по улицам села. Около сельсовета кричал дежурный исполнитель:

— Убег! Держитя!

За околицей рассыпалась бешеная дробь копыт.

Второй выстрел был тише. Коммунисты услышали звон железа и взвизг рикошетирующей пули. Игонин крикнул:

— По стремю угодил... созвенело... может, коня охватил по брюху!

Андрон не чувствовал, что пуля оторвала у него мизинец на левой ноге. Он стегал на обе стороны длинным поводом и бил ногами своего гнедого мерина.

Безуглый пожал плечами.

— Ну, что же, в горах одним медведем стало больше.

Пантюхин закричал, выбегая из ворот:

— Догоним!

Андрон Морев скакал далеко в горах. Конь под ним храпел и задыхался. В селе его верные солдаты рыли подземные склады, резали скот, ломали ставшие ненужными орудия земледельца. Они готовились к длительной осаде.

На двор к Безуглому собирались люди с трехлинейками и берданками. На всех улицах скрипели ворота, ржали лошади, звенели стремена. Коммунисты седлали коней.

ПУБЛИЦИСТИКА



ЗАМЕТКИ О РЕМЕСЛЕ

ЛЮБЕЗНЫЙ ТОВАРИЩ И ПИСАТЕЛЬ



На многолюдном собрании во время перерыва один любезный товарищ подошел к молодому писателю и спросил:

— Вы автор книги?..— Любезный товарищ назвал только что появившийся роман молодого писателя.

— Я.

— Как верно у вас описаны расстрелы... Вам что — приходилось самому? Вы участвовали?..

Молодой писатель улыбнулся:

— Вам это, так сказать, на какой предмет?

Любезный товарищ расхохотался.

— Нет, нет, я просто так, из любопытства, из литературного любопытства. Мне это дело, видите ли, очень хорошо знакомо.

Молодой писатель ответил:

— В наше время не нужно участвовать в расстрелах для того, чтобы описывать их. Теперь в каждом доме вспоминают, рассказывают. Писателю надо только слушать, комбинировать, концентрировать. К тому же, писателю совершенно не обязательно делать самому все то, что он описывает.

Любезный товарищ покачал головой, задумался.

— Ну, если не делать, то хоть посмотреть... Знаете что, приходите ко мне, я вам все покажу.

У молодого писателя запершило в горле. Он долго откашливался. Потом сказал чужим голосом:

— Хорошо. Приду.

Мостовые и тротуары были смазаны черным густым маслом. Ветер рвал с бульваров багровые листья. На стынущей грязной жиже они лежали нерастекающимися кровяными лужицами. Молодому писателю было холодно в тонкой шинели. Тяжелые красноармейские ботинки его вязли в грязи. Он очень долго ходил по городу и, в конце концов, решил: все улицы ведут в белый трехэтажный каменный дом. Он вошел.

Любезный товарищ встретил его в своем большом светлом кабинете. Писатель попросил показать ему альбом с фотографиями тех, кого уже нет на земле. На столе появилась большая книга. Гость и хозяин долго перелистывали ее страницы. На них смотрели люди, задыхающиеся от страха. Их лица были перекошены, глаза расширены. Казалось, что чья-то невидимая рука сжимает им глотки. Иногда мелькали люди с наигранным, неискренним спокойствием на лице. Любезный товарищ и молодой писатель задержались на фотографии человека в белой русской рубашке. Его лицо не было искажено страхом, но каждая черточка на нем была скована глубочайшей тоской. Сидел он на стуле с высокой и прямой спинкой так, как будто у него вынули позвоночник. Его тело, раскисшее, изогнутое, едва держалось. Любезный товарищ встал, закрыл книгу, потянулся, прошелся по кабинету.

— Да, никто не хочет умирать.

Молодой писатель молча кивнул головой и попросил показать, как они падают. Любезный товарищ стал к стене лицом и показал. Потом он рассказывал, как они стонут, как переплетаются у них ноги, что говорят, что кричат они в последнюю минуту. Писатель попросил показать ему то место, где они падают в последний раз. Любезный товарищ позвонил. Вошел человек высокий, в красных галифе, с большим револьвером на поясе и молча застыл у дверей.

— Сведи вниз.

Высокий вопросительно посмотрел на своего начальника, потом на писателя. Начальник засмеялся.

— Нет, нет, только покажи.

— Зачем?

— Он тебе объяснит.

Лестница, ведущая вниз, велика. Два человека, спускавшиеся по ней рядом, успели договориться. Высокий, замедляя шаги, отвечал на вопросы писателя.

— Умирают хуже те, кто чином повыше или положением. Люди рядовые гораздо смелее, мужественнее.

— ?..

— Бывает, плачут, молят о пощаде.

— ?..

— Ругаются, дерутся редко.

— ?..

— Наиболее типично состояние полного безразличия, какой-то мертвенной пассивности, равнодушия.

Когда стали спускаться в самый низ по крутой винтовой лестнице, писатель быстро спросил:

— Здесь падают?

— Частенько.

Писатель увидел узкое каменное помещение с земляным полом. Было темно. Высокий светил фонарем, с которым обычно конюхи ночью обходят конюшни. Он стал объяснять:

— Вот здесь они...

Все, что рассказал писателю высокий, все, что потом ему рассказывали десятки других людей, и все, что увидел сам, он тщательно записал. Из этих записей у него выросла повесть, повесть разрослась в роман. Роман этот скоро будет закончен и напечатан, и здесь нет надобности излагать его содержание. Мне ведь только хочется рассказать о первых шагах в литературе моего близкого товарища.

Молодой писатель был бледен, когда снова поднялся наверх и вошел в кабинет любезного товарища. Тот посмотрел на него внимательно и, едва заметно усмехаясь, спросил:

— Ну, что же — придешь ночью?

Молодой писатель понял, что ему пора поставить точку. Он быстро решил, что его роль праздного зрителя будет гораздо тяжелее ролей действующих лиц. Писатель твердо сказал:

— Нет, не приду, я и так себе все ясно представляю.

МОЙ ТОВАРИЩ

Познакомился я с ним очень давно. В моих тюремных дневниках, относящихся к временам отдаленным, я нашел записи, явно указывающие на это знакомство. Мой товарищ еще тогда пытался заниматься литературой. Он послал както даже рассказ в одну из «Правд», но его не пропустила цензура. Товарищ этот советовал и мне заняться беллетристикой. В дневнике у меня записано, что он часто старался помочь мне разложить имевшийся у меня материал по полочкам романа. У него к роману особое пристрастие.

Конечно, в гражданскую войну и в годы военного коммунизма некогда было писать. Но в 20-м году, очнувшись после трех недель тифозного бреда, мой товарищ в тифозном же бараке взялся за перо. В 21-м он издал свой первый роман. Гонораров тогда еще не было. Тем не менее ему выдали в качестве премии 5 000 000 рублей. Пять миллионов рублей! Мой товарищ не был особенно расчетливым человеком, он не положил денег в сберкассу или на свой текущий счет, а истратил их сразу же все на дрова, купил

целых три воза настоящих березовых дров. Помню, мы с ним жарко натопили комнату, и он немедленно же сел за новый роман.

Идея нового романа у него возникла в результате знакомства с любезным товарищем. Он рассказал мне об этом человеке с чувством какой-то особой нежной признательности.

— Ведь любезный товарищ один из немногих людей, говоривших со мной с подлинной товарищеской откровенностью. Когда он мне рассказал о своей тягчайшей работе, я понял, что напал на нетронутые золотые россыпи материала.

Мой товарищ оказался старательным приискателем. Пять лет он упорно разрабатывал найденную жилу. Теперь его работа близка к концу.

Нужно сказать, что за эти пять лет мой товарищ порядочно надоедал и мешал мне. Он, без преувеличения, лишил меня самых простых радостей бытия. Дело в том, что мне редко удается обмануть его и улизнуть куда-нибудь одному. Обычно он ходит за мной по пятам.

Я знакомлюсь с женщиной. Она мне нравится. Товарищ шепчет мне на ухо:

— Эта женщина для нас с тобой сущий клад. Она разденет нам не одного ответственного работника ГПУ.

Я как-то невольно слушаюсь его, и женщина с хохотом бросает мне:

— Вы эксплуататор. Вы подходите к людям как к поставщикам материала, нужного для ваших писаний. Я не люблю писателей. Вы какие-то ненастоящие люди.

Я краснею и пытаюсь возразить. Женщина отмахивается.

— Настоящие люди строят, организуют, творят жизнь. Вы только описываете. Какая это скука писать вечно о том, что делают другие, вечно радоваться чужим радостям, огорчаться чужими неудачами и никогда, ничего не делать самому. Мне вас жаль.

Я встречаюсь на озере с незнакомыми охотниками. На озере люди проще. Мы садимся на кочки друг против друга, и у нас сразу же завязывается бесконечный разговор о том, какое ружье любит крупную дробь и какое — мелкую. Неожиданно появляется мой товарищ. Он долго сидит молча и внимательно изучает лицо собеседника. В конце концов, он по разным, едва уловимым, может быть, ему одному известным, признакам определяет, что раз-

говаривающий со мной охотник работал в Чека. Товарищ тянется к моему уху:

— Наведи его на разговор о его прежней работе. Даю голову на отсечение, что он — чекист. Мы его используем.

Если я встречаюсь с крупным работником ГПУ, товарищ немедленно кладет мне руку на плечо и тоном, не терпящим возражений, говорит:

— Бери его любой атакой. С ним хитрить нечего. Ставь вопросы прямо: что вы чувствовали, когда в первый раз присутствовали на расстреле? Что дает вам большее удовлетворение — процесс борьбы с врагом или его ликвидация?

Я, как суфлер, повторяю его вопросы. Товарищ из ГПУ смеется:

— Вы что это, допрашивать меня начинаете? Я привык больше к роли допрашивающего.

В течение этих пяти лет мой товарищ диктаторски определял круг моих знакомств. Конечно, как и у всякого работника редакции, он вообще велик, но это знакомства, которые, так сказать, приходили самотеком. Мой же товарищ толкал меня исключительно на встречи с работниками ГПУ или с людьми, знавшими работу этого учреждения. Он буквально дрожал, как охотничья собака, почуявшая дичь, когда ему попадался интересный чекист. Часто мне казалось, что он обращает всю мою жизнь в сплошную охоту за людьми.

НЕНАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ

Мне иногда завидуют. Мне говорят:

— Вы такой счастливый. Вы близко знакомы с писателями.

Мне тогда хочется рассказать о писательском счастье. Зайдемте в редакцию одного известного сибирского журнала, там каждый день толпится добрый десяток писателей и поэтов.

Люди, стоящие в стороне от литературных дел, нередко считают писателя существом особенным, чуть не «божественного» происхождения... Финотделы, например, при обложении налогом писателя ставили его на второе место после служителей религиозного культа. Только в последнее время, вероятно, по настоянию опытных фининспекторов, изучивших быт писателя, он облагается как кустарь-одиночка без двигателя.

Конечно, были и есть учреждения, которые не верят в

«божественное» происхождение писателя и весьма ласково при случае говорят ему:

— Как же, читали, читали, знаем вас, а все-таки давайте заполним анкету.

Хозяйственники — так те еще проще подходят к писателю. Они его считают совсем никчемным человеком. У них даже слово такое есть ругательное — беллетристика.

Заведующий типографией мне однажды сказал:

— Художественный журнал — четвертое блюдо на сытое брюхо. Будем печатать вас в последнюю очередь.

С тех пор, как финотдел объявил писателей кустарями-одиночками без двигателей, мне стало казаться, что каждый писатель ходит с громадным лубяным коробом через плечо и громко предлагает свои изделия.

Чего только нет в этих коробках! Пахнущие трупы расстрелянных и улыбающиеся женщины, бандиты и честные труженики, звери и птицы. Они лежат, покорные и тихие, потому что они... ненастоящие. Они химеры, созданные писательским воображением.

Мне каждый день приходится рыться в этих коробках, отбирать, покупать наиболее удачно сделанные вещи и вещицы. Цены назначаются самые дикие. Например, хорошо сделанный контрреволюционер идет в одинаковой цене с хорошо сделанным коммунистом. Плохо написанная кокетливая, изящная женщина ценится дешевле хорошо написанной канарейки. Но, сказать по совести, мы все-таки, в конце концов, всегда набавляем немного за свои фигурки и недоплачиваем за враждебные.

Свежему человеку, случайно попавшему к нам, делается несколько неловко. Он слушает и руками разводит.

Поэт кричит на всю редакцию:

— Моя лирика выше барабанных стишков с гражданскими мотивами, а вы мне по тридцать копеек за строчку предлагаете. Ведь это гнусность.

Я улыбаюсь и советую:

— Пишите лучше с гражданскими мотивами — заплачу от семидесяти копеек до рубля.

Прозаик угрюмо басит:

— Вы совершенно не поняли моей основной мысли. Вы не правы. Я вовремя убил предсовета, и, конечно, я хорошо сделал, что дал скрываться убийцам.

Другой прозаик:

— Посоветуйте, пожалуйста, когда мне лучше свергнуть советскую власть — до женитьбы Стрельникова или в момент его развода с женой? К слову, нужна, по-вашему,

любовница Стрельникову или лучше свести его жену с кем-нибудь?

Робкий беллетрист спрашивает шепотом:

— Мне очень хочется посадить на нос секретаря окружкома большую бородавку или родинку. Это не сочтут за?..

Я машу рукой:

— Садите!

Счетовод Симонов, ведающий выдачей гонораров, слушая наши разговоры, горестно вздыхает:

— Господи, и за что деньги людям платят? На что расходуют народные средства.

Но писателей и поэтов не смутят укоризненные вздохи и всей бухгалтерии. Они закуривают папиросы и трубки, садятся с ногами на столы, подоконники, стулья. Дым, треск, шум, сжатые кулаки, крики, хохот. Они переплывают моря, переходят горные хребты, они летят на аэропланах, скачут на степных скакунах, они женят, расстреливают, убивают, родят.

Редакция делается похожей на сумасшедший дом. Не преувеличиваю. Недавно был в нескольких психиатрических лечебницах. Пока еще не лечился сам, а искал там «героев» из романа своего товарища.

Работать в редакции невозможно. Теряет работоспособность и весь издательский отдел. Г. М. Пушкарев идет к Басову. Басов вызывает меня, морщится.

— Слушайте, гоните вы в шею своих поэтов. Нельзя же ведь так.

Но как разогнать! Лучше и легче «разогнать» самих себя, чем поэтов и беллетристов, заспоривших о своем ремесле. Мы с Николаем Ивановичем Ановым посматриваем друг на друга понимающими глазами и... одновременно поднимаемся. Я забираю рукописи и иду домой. Он берет корректуру и уходит в типографию. Заведующий подписным отделом товарищ Абдулин хватает меня за рукав.

— Если вы их не выгоните, я не отвечаю за распространение журнала. Подписчиков пугают, уверяю вас.

Я вырываю руку и ускользаю в коридор. На углу около магазина ЦРКа я останавливаюсь. Из редакции вываливается на улицу ватага молодых людей. Они становятся в кружок под окном кабинета заведующего Сибкрайиздатом, загораживают весь тротуар, возобновляют прерванные споры. К ним подходит человек в красной фуражке.

Дома меня встречает растерянная соседка.

— Я не знаю, хорошо ли я сделала или плохо, но я приняла на хранение ваши вещи.

— Тут был фининспектор. Я сказала, что никого нет дома, но он сам открыл вашу квартиру и описал у вас самовар и умывальник.

Хорошо, что он не описал у меня рукописи и не сдал их на хранение моим соседям.

На другой день мне объяснили в финотделе, что произошло недоразумение, что три рубля (последний налоговой взнос за мое кустарное писательское производство) давно мной внесены и что самовар и умывальник у меня продавать не будут.

Я сажусь за стол. Передо мною гора рукописей. Сейчас я буду читать, как люди плывут по морям, как лезут через горные хребты, как они женятся, расходятся, родятся. А мой товарищ будет меня дергать за бороду и советовать:

— Отложи хоть на час чужие рукописи — займись своими. Вчера мы оставили с тобой автомобиль с приговоренными в воротах Губчека. Сегодня надо его вывести за город и начать расстрелы.

Я не успеваю возразить, как мой товарищ уже вытаскивает свою толстейшую папку, и мы начинаем думать о том, что думал чекист, когда ему пришлось расстреливать женщину, которую он любил. В процессе работы мы приходим к заключению, что нам надо выяснить, что читали наши герои в 21-м году. Тогда мы бегаем по книжным магазинам и библиотекам. В нашем книжном шкафу становятся рядом: «Геология Сибири», «Государство и революция» и «Дрессировка домашних животных». Наши гости, подходя к нашему книжному шкафу, покачивают головами и смотрят на нас недоумевающими глазами.

— Что за странный подбор книг у вас?

— Эти книги чужие. То есть они наши, мы их купили, но они чужие.

Гости ничего не понимают.

Мы живем чужими радостями и горем. Мы страдаем и радуемся за тысячи людей, которых мы сами выдумали.

Наш мир многоплоскостен и призрачен. Мы ненастоящие люди. Но у нас бывают настоящие радости. Мы бываем самыми счастливыми людьми на всей земле, когда ставим последнюю точку на последней странице своей новой книги и когда видим, что рука читателя, ее читающего, радостно вздрагивает и на лбу у него мелькают облачка раздумья.

НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ

Близился XV съезд. Я пошел к С. И. Сырцову и заявил ему, что мне надоела литература, что я хочу побыть среди настоящих людей. Много я говорил и писал отсеку Сибкрайкома. В конце концов, он согласился, что мне нужно самому себя выбрать на съезд партии. Конечно, без его помощи такие «выборы» не имели бы под собой никакой почвы. Он помог. Я пишу эти строки как выражение признательности человеку, который понял, что литератору надо быть на съезде, так как съезд — это колоссальный аккумулятор волевой энергии масс. Я пишу так потому, что лишь один человек сказал мне просто:

— Я полагаю, что беллетристу надо быть на съезде. Думаю, что это можно будет устроить.

Другие же очень удивлялись:

— Зачем тебе на съезд? Ты же ведь сплошная беллетристика!

Их недоумевающие взгляды ложились на мои щеки краснотой пощечины. Я сжался, замолчал и в поезде на вопросы знакомых отвечал, что еду в Москву только по делам Сибирского Союза писателей.

Может быть, эти строки попадут на глаза кое-кому из работающих на местах, и, может быть, они задумаются над своим отношением к писателю. Вот почему я и не боюсь обвинений в подхалимстве.

На съезде С. И. Сырцов подошел ко мне улыбаясь.

— Вы не очень-то стесняйтесь. Пробирайтесь вперед, поближе к трибуне.

Я уже успел заметить, что вторая от трибуны ложа Коминтерна никогда не бывает занята целиком. Я нерешительно сел на один из ее стульев. Нечего и говорить, что мой неизменный спутник сел со мной рядом и потребовал, чтобы я немедленно вытащил записную книжку и карандаш.

Мне хотелось просто слушать, смотреть и жить одной жизнью со всей этой многотысячной массой людей, заполнившей Андреевский и Алексеевский залы Большого Кремлевского дворца. Но товарищ толкал меня в бок.

— Пиши. Ведь ты запишешь то, что ни один стенограф в мире не запишет.

Я хватал карандаш и писал.

...Здесь собрались настоящие люди. В их сознании планы грандиозного перестроя огромной страны.

Мне как-то хорошо от сознания того, что вся эта многотысячная толпа — люди одной партии и единой воли. Пусть

это общество еще иногда раздирается распрями, потрясается противоречиями нашей сложнейшей действительности, но оно в стальных рамках дисциплины, организованности и точной целеустремленности.

Коммунистов сейчас сотни тысяч. Скоро их будет миллионы.

Как-то немного даже странно, что вся эта многотысячная разноликая, разнополая толпа — исключительно коммунисты. На несколько тысяч человек — ни одного беспартийного. Мы привыкли к обратному «соотношению сил».

Наши городские партсобрания обычно очень однополы. Мужчины составляют подавляющее большинство. Здесь же много женщин.

В одной ложе со мной сидит какая-то изящно одетая женщина. Мне показалось, что она забыла на своем стуле маленькую пудреницу, когда уходила в обеденный перерыв. Вечером я сказал ей об этом. Она спокойно возразила:

— Нет, это не моя пудреница. Мне ее уже предъявили в комендатуре.

Она сделала паузу:

— Я таких грубых вещей не имею.

Улыбнулась и вынула из своей сумочки изящную блестящую коробочку.

— Вот моя пудреница.

Парикмахер смотрит на бороду, на усы, на волосы, портной — на рост, на фигуру, сапожник — на ступни, писатель — на лицо, на жест, на голос, писатель слушает слово.

Председательствующий Г. И. Петровский гораздо добродушнее, проще в действительности, чем на своих портретах. Он — типичный рабочий. Он иногда говорит «будуть» вместо «будут». Когда оратор говорит долго, Петровский тихонько, бочком, проходит за спиной президиума, берет в зубы бутерброд, в одну руку стакан чая, а другой, осторожно отодвигая стулья, снова садится на свое место.

Рыков говорит, положив руки в нижние карманы жилета. Он откидывает голову назад и сияет белизной воротничка и манжет. Синтаксис его очень своеобразен. Он ставит восклицательные знаки в средине фразы. Он говорит:

— Я считаю, что наши успехи известны! теперь не только каждому члену съезда, но и каждому гражданину Советского Союза! о них хорошо известно и за границей.

Поэтому я считаю излишним иллюстрировать сейчас перед вами всю гигантскую работу, которая проделана трудящимися нашей страны! в области хозяйственного и культурного строительства.

Возможно, этот органический недостаток — заикание — заставляет его говорить с ударением на словах, которые он, может быть, и не хотел бы подчеркнуть. Вероятнее всего, упираясь палочкой восклицательного знака в одно слово, он прыгает к другому через канавку заикания. Но эти невольные и неожиданные ударения очень хорошо действуют на аудиторию. Они взбудораживают, заставляют иногда вздрогнуть, они усиливают, освежают внимание. Рыков постоянно откидывает голову, даже когда сидит или ходит. На губах у него часто усмешка. Кажется, что он говорит уверенно:

— Я везу. Я могу.

Иногда Рыков нервничает, волнуется.

Сталин всегда спокоен. Ходит по президиуму с трубочкой, улыбается. Остановится, положит руку кому-нибудь на плечо и слегка покачает, точно попробует — крепок ли. Возьмет за талию или за плечи двоих и толкает их друг на друга. Сталин тащит на своей спине тягчайший груз. Он — генсек. Но съезд видит только его спокойное, улыбающееся рябоватое, серое лицо под низким лбом с негнущимся ершом черных волос.

В докладе он был как-то по-настоящему, по-большевистски груб. Ему трудно, вероятно, было бы ходить в туго накрахмаленном высоком воротничке и тщательно выглаженных брюках. Он носит неизменный свой зеленый френч, серые, мятые, свободные штаны и простые сапоги. Он не оратор — он собеседник. Он не выступает перед собранием, он беседует с собравшимися, в особо важных местах спрашивает:

— Слышно ли? Товарищ, направь радио!

Зал слушает его с живым вниманием.

Утрами у входа в гостевой зал — цветные лоскутки билетов. Контролирующие отрывают у разовых билетов уголки. Каждый день около дверей цветистый коврик из тысячи картонных лоскутков. Каждый день окрашен в свой цвет.

Утром холодок, пустота. Радист выходит на трибуну и металлическим голосом говорит в пустоту зала:

— Алло! Даем пробу. Даем пробу. Раз, два, три, четыре, пять. Вчера товарищ Сталин был встречен бурными аплодисментами всего съезда. Раз, два, три, четыре, пять.

Выступление нашей делегации в Женеве. Даем пробу. Даем пробу.

За столом президиума появляются Сырцов и Орджоникидзе. Вспыхивает свет. Блестят золоченые колонны зала. Места президиума постепенно заполняются. Зал оживает в многотысячном гуле голосов.

На съезде нет Ленина, но ораторы так часто на него ссылаются, что создается впечатление, будто он несколько минут тому назад выступал и сейчас куда-то вышел.

Набальзамированный труп Ленина лежит под стенами Кремля. Ногти на руках у него чернеют. Неправильная или не к месту приведенная цитата из книг Ленина кажется мне его мертвой рукой с почерневшими ногтями.

Зачитывается резолюция по докладу Сталина. Шелестят листы, засыпающие оппозицию. Гремят камни аплодисментов. Резолюция принята единогласно. Полыхнул красный огонь карточек. После голосования над президиумом виснут облачка дыма. Дым, конечно, от папирос. Но кажется, что это дымок после взрыва. Что-то рухнуло.

Бухарин, улыбаясь и потирая руки, как на крылечке дома, присел на ступеньках, ведущих в президиум. Был он как маленький рыженький попик, с петушиным легким хохолком на голове, вышедший побеседовать в ясный, погожий денек с прихожанами.

На трибуне в ответ на овации он очень простенько и застенчиво облокотился на кафедру. Минутами казалось, что он говорит на сходке, где-то в ссылке, что Сталин только что пришел с рыбалки и довольно посасывает трубочку.

В Туруханске когда-то Сталин был неплохим рыбаком. Не один десяток осетров попал в его крепкие руки. Сталин, смеясь, разговаривает с Косиором. Косиор стоит на коленях на стуле. Некоторые члены президиума сошлись группами. Дым над президиумом густеет.

Съезд громко засмеялся, когда Бухарин сказал, что некоторые профсоюзные бюрократы в Америке получают 50 000 долларов в год. Бухарин поднял руку:

— Успокойтесь и не завидуйте.

Бухарин говорит ровным, спокойным голосом о величайших событиях. Он, как хирург, неторопливо вскрывает гнойники классовых противоречий буржуазного мира. Иногда он останавливается и две-три секунды стоит в раздумье с пальцем, приложенным к губам.

Сталин одобрительно и лукаво посматривает на Бухарина, демонстративно ему аплодирует.

В зале начинают кричать о перерыве. Сталин отри-

цательно трясет головой и энергично машет руками. Он первый поднимает красный билет против перерыва. Большинство за то, чтобы дослушать доклад. Сталин хлопает в ладоши, смеется. Меньшинство демонстративно покидает зал, поднимается шум. Петровский, смеясь, встает и объявляет:

— Так как произошло нечто вроде бунта и меньшинство пошло курить — объявляется перерыв.

Зал с озорным хохотом встает и устремляется в двери. Рудзутак дурашливо ерошит волосы Ворошилову. Петровский ласково блестит очками. Сырцов жует бутерброд. Несколько человек толкаются локтями.

Как не похоже все это на чинный парламент.

Костюм Бухарина — какая-то переходная эпоха. На нем черная толстовка, воротничок, манжеты. Толстовка перетянута широким офицерским желтым ремнем. Брюки заправлены в сапоги. Одним словом, до пояса — новая экономическая политика, ниже — военный коммунизм.

Когда он кончил свой «семичасовой рабочий день», съезд встал и заревел. Бухарин мелкими шажками запрыгал по лесенке в президиум. Его встречают десятки хлопающих рук. Сталин подбежал к нему, слегка приседая и аплодируя. Казалось, он сейчас запляшет. В эту минуту в Сталине было что-то глубоко человеческое.

Перед вечерним заседанием зашел в мавзолей. Очередь стояла длиннейшая. При описании надо упоминать об этих толпах, идущих к Ленину.

Заметил, что много пишу о Сталине. Задумался и решил, что Сталин живее всех в президиуме. Он бросает реплики ораторам, он разговаривает с соседями, переходит от одного к другому, перемигивается с кем-то в зале. Он первый при голосовании поднимает руку, потом, спохватившись, хватает делегатский билет. Он живет на съезде каждой частицей своего тела. Нужно было видеть его лицо, сияющее какой-то отеческой нежностью, когда он слушал молодого Ломинадзе.

Все это прошло через мои глаза, как через объектив фотоаппарата, и запечатлелось на бумаге. Я записывал все, что видел. Я ничего не выдумывал и никому не отдавал предпочтения.

Бакинский рабочий Гасан Салим говорил на своем языке. Ему аплодировали, когда сквозь поток незнакомых, непонятных съезду тюркских слов прорывалось понятное всему миру слово — Ленин.

Совещались — Сталин, Рыков, Молотов и Бухарин. Они

стояли тесным кругом. У Рыкова очень длинное лицо и вдавленная грудь. Они со Сталиным одного роста. Сталин курит трубку и пускает дым вниз. Рыков с папиросой закидывает голову назад и дымит через голову Бухарина.

Буденный неожиданно мал ростом. Я смотрю на него равнодушно. Он использован Бабелем. Вот Бабель только не видел его с громадным портфелем. Громаднейшие усы и волосы цвета воронова крыла, ордена Красного Знамени в пылающих красных бантах и огненный румянец делали Буденного похожим на его портрет с гизовского календаря.

Видел Феликса Кона и Менжинского. Менжинский почти не изменился за эти десять лет. Только угрей стало больше на лице. Лицо у него серое от бессонных ночей и пыли тысячи тысяч страниц рассмотренных дел. Феликс Кон, в валенках, в толстых брюках и френче, показался мне похожим на стареющего и слабеющего рыцаря в тяжелых латах.

Чичерин часто поднимает свою большую рыжеватую седеющую голову и умные дуги бровей. Он встает и садится, машет рукой, улыбается, когда оратор говорит вещи, по его мнению, не подлежащие оглашению по радио.

Прения прекращались, как только ораторы начинали повторяться. До этого съезд терпеливо выслушивал каждого. Здесь собирается коллективный опыт масс.

Многие говорят: «пара слов», «в общем и целом», «целиком и полностью», т. е. масляное масло.

И днем, и вечером заседания идут с электричеством. Электрический свет и золото очень утомляют глаза. Я ходил в курильном зале и с досадой думал, что у нас нет еще своих простых, спокойных и просторных помещений для съездов. Мы вынуждены толочься под сводами неудобных царских зал.

У Томского неправильная голова. Две головы на короткой шее.

Ворошилов говорил просто и убедительно. Его голос звучал скорбно, когда он сравнивал нашу химическую промышленность с промышленностью буржуазных стран. Подложная статья Сталина, появившаяся в иностранной прессе, говорит, что мы так сильны, что задушим своими газами весь мир.

Ворошилов, цитируя это место фальшивки, невесело усмехнулся:

— Вот и души их, товарищи, с нашей-то химпромышленностью.

На дворе звенели орудия и подковы. Артиллеристы возвращались с занятий. Был мороз, ночь и снег. У наркома виски как в снегу. Глаза у него утомленные. Он обернулся к президиуму и тоном уставшего человека сказал:

— Я скоро кончу.

Ему продлили время. Аплодировали Ворошилову долго и искренне. Томский ласково хлопнул его по спине.

Литвинов одет безукоризненно. Его костюм нов, чист. Он кажется выходцем совсем из другого мира на этой трибуне среди простых и скромно одетых людей. Откашливаясь, он каркает. Он круглолиц, лыс, толст. Большие роговые очки увеличивают полноту его щек. Литвинов — дипломат. Он умеет отливать свои мысли в тончайшую форму. Ни одного лишнего слова. Его стенограмму не нужно править. Как хорошо, что у нас есть и такие работники.

Микоян молод. Он производит впечатление хорошего командира. Военная форма очень идет ему. Она молодит его еще больше.

Рядом со мной сидят два делегата с Волги. Оба с перевязанными руками. Они ранены еще в гражданскую войну в 19-м году, но на съезде от волнений, от усталости у них вновь заболели старые раны.

Один из лучших хозяйственников Ленинграда Михайлов говорит «зерькало». Это обмолвка выдает социальные корни наших ответработников. Их очень много от станка. Михайлов говорит: «Мы — машиностроители». В нем чувствуется человек, уверенный в своих силах и в своем деле. Мы строим, мы — строители машин.

Молотов — человек с необычайно сильным лицом. Мне кажется, что люди, подобные ему, в домашней обстановке очень громоздки, они должны быть похожи на мощных коней, введенных в гостиную. У Молотова коротка верхняя губа. Он заикается. Кажется, что сильный конь спотыкается, дергает головой, наклоняется, задержанный невидимыми вожжами. Жест в начале доклада у Молотова почти отсутствовал. Начал он скучновато, но глубоко. Потом он оживился, появился и жест. Молотов стал поднимать деревенскую целину и крепкими руками цепляться за все, что есть нового, социалистического в нашей деревне. Он говорил о тех ростках социализма в крестьянской части СССР, которые пробиваются сквозь море мелкобуржуазной стихии, сквозь пласты косности, лени и пережитков старого. Молотов сделал один из глубочайших и обоснованных докладов на съезде.

При выходе из Кремля я каждый день встречаю китай-

цев одного из наших восточных университетов. Они говорят на непонятном мне языке. Но я чувствую, что струйки мировой революции текут около стен Кремля.

Слово получает представитель ЦК Польской компартии. Постоянные выступления иностранцев говорят о том, что сердце мировой революции тепло, что оно бьется. С какой радостью и надеждой мы смотрим на иностранцев. Поляк говорит о выборах в больничную кассу. Какая это для нас страна. Но вместе с тем это показатель того, что путь наш — один.

Здесь тысячи людей получают зарядку. Они разъедутся и будут воспламенять, организовывать новые тысячи.

Мои выписки из записной книжки все растут. Меня могут заподозрить, что я пишу о партсъезде, а не о своем ремесле. Партсъезду надо посвятить отдельную книгу. Со временем я это сделаю. Пока — точка.

КНИГИ И ПОРОХ

Съезд для меня прогрохотал орудийным залпом. Я оглох после него ко всему миру.

Глухой, я спускался с Уральских гор. Чем ближе Сибирь, тем тише суета около поезда, ниже и реже дома, выше снега.

Вот и дом. Неделя, и уши мои и глаза снова жадно раскрыты. Снова пристает ко мне мой товарищ.

Наша маленькая уличка очень напоминает деревенскую. Низкие домики с крепкими воротами и ставнями обложены снегом, как мягкой белой бумазеей. В бумазее глохнут шаги прохожих и вязнут крепкие, как камни, матерки ломовиков.

Наша уличка ничем бы не отличалась от деревенской, если бы не две вывески на ее двух углах.

Портной ТРЕТЬЯКОВ	Склад СИБКРАЙИЗДАТА

Но когда склад закрыт и портной Третьяков неизвестно чем занят за своими плотными ставнями, когда фонари потушены «по случаю луны» и на воротах не разберешь ни номера, ни вывески, тогда уличка наша совсем деревенская. Рощица старого кладбища у самых окон, вероятно, поэтому нам иногда кажется началом тайги.

В мороз на ветру обледенелая березовая роща звенит ветвями, как железными прутьями. Черными тенями стоят кресты, как люди с широко растопыренными и застывшими

руками. На крестах покачиваются железные венки. Железные цветы гудят заглушенно, как пчелы зимой в холодеющем улье. Стальным штыком часового торчит над острой шапкой церкви золоченый крест. За рощей — окна домов, как глаза зверей.

Вечерами, когда мушку на винтовке почти не видно, в роще на спортплощадке увлекающиеся спортсмены расстреливают мишени. Я выхожу на двор, прислушиваюсь к шипящим и протяжным ударам винтовок и иду к соседу. Мой товарищ идет со мной. Он читает ему куски из своей пятилетней книги о тех временах, когда на кладбище еще не было спортплощадки, а мишени заменяли живые люди со связанными руками. Наш сосед слушает внимательно. Перед ним большие листы бумаги с лиловыми колонками цифр. Я знаю, у него свои, другие мысли. Он строит большое дело — издание и распространение книги в безграмотной, отсталой стране. Мой товарищ кончает. Сосед, слушающий себя и свои мысли, спокойно говорит ему:

— Я давно не читал книг о простых вещах и простых людях. Почему их никто не пишет?

Моему товарищу делается неловко за его листки, липнувшие от крови. Он выходит на двор. Его встречает визгом наш остроухий Соболь. Он спускает его с гремящей цепи, и они начинают бегать. Они крепят свои мускулы и легкие для того, чтобы весной погулять на медвежьих свадьбах.

Мой товарищ бросает свои окровавленные листки, отодвигает в сторону книги, заваливает стол порохом, пыжами, патронами. Скоро весна. Полярная мышь у нашего приятеля-зоолога заметно сереет. Наш Соболь линяет. Прилетели галки. Где-то близко колеблют воздух хрустальные лебединые трубы.

Снежной нашей весной в шелесте книжных страниц мой товарищ всегда слышит свистящий шелест птичьих крыльев. Весной моему товарищу писательское ремесло делается особенно тягостным. Я крепко жму ему руку. Мы оба охотники.

Еще Чингисхан считал охоту лучшей школой войны. А теперь каждый пионер знает, что нам надо военизироваться. Будем военизироваться.



НЕЕЗЖЕНЫМИ ДОРОГАМИ

ВЫЛЕТ


октября мы оторвались от земли Новониколаевска. Момент отрыва я ощутил, как въезд на горку. И потом все время воздух казался мне плотной устойчивой средой, не менее устойчивой, чем вода. Только корабль наш «плыл» не по воде, а в «воде», мощные потоки которой с шумом обтекали машину. Временами воздух делался рыхлым, редким, самолет валился вниз, тогда казалось, что почва уходит из-под ног, что мы падаем в бездну. Тогда я ловил себя на невольном желании ухватиться за что-нибудь твердое, несокрушимое...

НА ТОМСК

Иеске по-звериному, чутко, уверенно нюхает воздух, перебирает жесткими щетинистыми губами. Каменная ладонь его тяжело и властно ложится на борт самолета. Иеске дает Брянцеву направление. Бортмеханик Брянцев застыл у штурвала.

Мы летим на северо-восток, на Томск.

Машина иногда покачивается на невидимых волнах воздушного моря. Бешеная скорость полета скрадывается высотой. Мир кажется неподвижным, как крылья нашей серебристо-черной птицы.

Внизу — поля, пахоть. Крестьянин рваной, заплатанной шубой закрыл землю. Лишь местами сквозь рыжую мездру овчины полей упрямыми белыми одинокими волосками продираются, торчат березы.

Я невольно кричу соседу:

— Какое редколесье! Как ободрана земля!

Но он ничего не слышит за шумом мотора.

Домишки деревень кажутся спичечными коробками, телеграфные столбы — спичками. Железная дорога, такая ровная, гладкая на земле, сверху — обычный наш ухабистый кривой большак.

Странно медленно тащатся поезда. Их дымки, едва

замеченные далеко впереди, через десяток секунд пропадают за крылом аэроплана.

Иеске жестами показывает, что ему нужна записная книжка. Передаем. Иеске пишет:

— Мотор работает, как никогда. Через полчаса будем в Томске.

Иеске улыбается, кивает головой. Глаза его насыщены густой сверкающей лазурью.

Налетели на тучи. По земле заходили темные тени. Потемнело, стало сталью серой серебро крыльев самолета. Мир, неподвижный, мертвый, вдруг ожил. Тучи седыми дымящимися клубами со страшной быстротой несутся нам навстречу. Иеске убавляет газ. Мотор ворчит глуше. Аппарат проваливается вниз. Но ниже тучи гуще. Иеске смотрит вниз, вверх, вправо, влево и решительно толстым каменным пальцем своим показывает Брянцеву на альтиметре цифру 2 (две тысячи метров).

Мотор ревет с прежней силой. Мы лезем вверх через седой облачный студень, вверх, к солнцу.

Секунда — и крылья засеребрились, засверкали. Заголубели, засмеялись глаза пилота — тучи под нами. Тучи — горы со снежными дымящимися белками, с отвесными скалами, с глубочайшими пропастями. Мир — прозрачная синь. Рука тянется к записной книжке. Хочется в черных каракулях строчек своих запутать хоть маленький кусочек этой сини, чтобы потом на земле перелистать торопливые, радостные страницы и улыбнуться.

Снова приглушенно-медленно ворчит мотор. Снова ссыпаемся вниз в серую рыхлость тумана. Запестрели заплаты крыш Томска. Трубы кажутся дырами, дома дырявыми, худыми.

В детстве я видел раскрашенную деревянную игрушку — Троице-Сергиеву лавру. Деревянными церковками игрушечной лавры показались мне томские церкви.

Крен направо, крен налево, и Томск, растянувшись пестрыми полосами улиц, метнулся на гору. Горизонт стал коротким, близким. Крыло самолета закрывает полгорода. Самолет мне кажется громадной птицей, оторвавшейся от земли, парящей над ней, освобожденной от ее законов.

Стальная громада неожиданно бросается куда-то вниз, в пропасть. Томск высоко над нами валится на нас с крутой горы.

Мотор смолкает, как укрощенный зверь. Под колесами глухо хрустит земля.

Мотор выключен. Мы выходим на желтую траву, оглушенные молчанием аэродрома.

Томск, ровный, невредимый, стоит за Томью.

До Томска мы летели 1 ч 40 мин.

ТИШИНА

Тихи шаги по желтой траве улиц. Тих университетский сад. Я сажусь на жесткую скамью...

Иногда входишь в комнату и видишь — сидят люди за столом, говорят, пьют чай. Все за столом, все сидят, и вместе с тем видишь, что один только что стоял, другой только что пришел из соседней комнаты. Воздух несколько мгновений хранит едва заметные следы людей, как вода следы лодки или пловца.

Я вдруг увидел на черных дорожках сада следы тысячи ног. Я увидел следы прошедших здесь за десятилетия. Я услышал сквозь желтый шум листопада их шумные шаги. Сколько встреч, радостных свиданий!

И вот я, безусый студент, сижу здесь... Но воздух хранит следы людей лишь несколько мгновений. Сад пуст. Я один. Я никогда не был студентом. Ровно десять лет тому назад я только хотел стать им, но вместо университета попал в тюрьму.

Немного горько, немного смешно в тридцать лет «попасть» в первый раз в университет. Мне неловко в его коридорах. Лишь в библиотеке, среди миллионов тяжелых томов, мне хорошо. Книги — мои молчаливые профессора.

Директор библиотеки — Вера Николаевна Наумова-Широких — водит меня среди дружеских толп кожаных курток — переплетов.

Звонкий голос энтузиастки, быстрые движения и нетерпеливые глаза фанатички не в силах потревожить, поколебать спокойную, мудрую уверенность кожаных курток. В огромном книгохранилище два человека малы и беспомощны. В книгохранилище тишина.

Я думаю о других кожаных куртках, тех, что прошли семимильными шагами великий путь двух войн и трех революций.

Странно — я во власти этих, переживших столетия, молча стоящих на крепких полках. Каждая из них — миллиметровый шаг вперед, каждая — миллиметровый нарезик на стальном винте истории. Подавленный миллиметровой тысячелетней кропотливостью и упорством, я лепечу что-то неуверенным пером в книге посетителей.

Потом у Н. Н. Бакая, в тишине умершей тюрьмы, обращенной в архив, осматривая бесчисленные папки дел, я все думал о библиотеке. Я думал о миллиметровом расчете мертвых. Без этого расчета наши шаги — шаги ветра. «Ветер кружится, кружится и возвращается на круги своя».

Тихи скрипы деревянных тротуаров. Беззвучна и холодна Томь. Звонко нема стынущая земля аэродрома. Первый вскрик мотора, взмах пропеллера оглушителен, как взрыв.

«БЕСПРЕМЕННО НАДО ЛЕТАТЬ»

Мы высоко.

Но наш мотор стучит в окна и двери каждой избенки, и где-то там, глубоко внизу, ответным праздничным гулом закипают деревенские будни.

По селу скачут верхом, бегут люди, величиной с карандаш, которым я пишу. Людские потоки стремительно текут по трубам улиц и переулков за село, на поле, к белому известковому кругу аэродрома. На аэродроме уже сотни плотной толпой нетерпеливо машут руками, бросают вверх шапки. Головы всех круто задраны, глаза неотрывно следят за нами.

Плавный круг над аэродромом, и самолет садится на землю, заколдованный белым кругом. Сотни рук тянутся к серебристо-черным крыльям замолкшей птицы.

— Твердо перо-то, твердо.

Качает головой длиннобородый старик, попробовав на «зуб» и ощупав гофрированные складки дюралюминия. В каком-то религиозном экстазе толпа с вытянутыми вперед руками, с полузакрытыми восторженными глазами лезет к аэроплану.

— Пощупать, пощупать дозвольте, товарищи! Какой он, значит, есть!

Отказ принимается как обида, оскорбление. На секунду по толпе порывом ветра проносится гул протеста, и толпа в полузабытьи снова напирает на машину.

— Гляди, гляди, щупай! Как это не позволяют народу поглядеть!

Вокруг секретаря местного авиахима уже десятки спорящих. Старики настойчиво, с горечью неосуществимых надежд, наседают на молодых.

— Чо это вы стариков-то отпёхиваете? Нам вот полетать, а там и помирать.

Секретарь решает «покатать» несколько стариков. На-

чинается выбор. Четверо счастливцев радостно разгибают спины, запыхавшись, бегут к самолету. Низкий дряхлеющий Калистрат Мироныч жестом юноши передает стариковскую длинную палку своему сорокалетнему сыну:

— Подержи, паря, я слетаю!

Старик для чего-то снял шапку, рукавицы и неловко полез в кабинку.

Бортмеханик Брянцев заботливо и ласково помог старикам, объяснил, как надо привязаться.

С треском металлических крыльев, поднимая пыль, побежала по полю стальная птица. Вот она уже в воздухе. А около секретаря авиахима не ослабевают споры.

— Мне, товарищ секретарь, беспременно надо лететь, потому как мы, значит, дальние и пожертвование делали, и рассказать чтоб в своей деревне, потому мы, как дальние...

Секретарь ищет кого-то в толпе.

— Женщину надо, товарищи, покатать.

Из толпы стремительно лезет, работая локтями, старуха лет пятидесяти. На лице у нее готовность «пострадать», исступленное, прямо религиозное желание — полететь. Так, наверное, она ранее пробиралась к «чудотворной» иконе. Но оказалось, что она проезжая, вятская, а не местная, и ее не взяли. Она отошла от секретаря огорченная, и губы ее, казалось, шептали:

— Не сподобилась, не сподобилась.

Вышли из кабинки старики. Калистрат Мироныч восторженно улыбался, крутил головой, разводил руками.

— Ну и хорошо, товарищи! Просто хорошо! Ну и спасибо, спасибо!

К аппарату подошла другая группа — предрика, агент ГПУ и еще кто-то из местных властей.

Коренастый крепкий предрика, несомненно бывший фронтовик, шел к аппарату твердым, широким шагом солдата на ученье — давал ногу и мерно махал руками. Он шел сосредоточенно, серьезно. Он шел не «кататься», а делать большое нужное дело. И он был прав, конечно.

Толпа чувствовала, понимала, что всех «перекатать» не смогут, но каждый хотел попасть в число тех, которых смогут. Нас хватали за руки, молили.

— Товарищи, полетать бы. Товарищи...

Тогда я записал у себя в записной книжке:

«Деревня, поднятая над своими пашнями и избенками, уже новая деревня. Деревня, почувствовавшая мощь и величие культуры города, деревня, поверившая в нее креп-

ко — ведь сами видели, сами летали,— новая деревня».

Из кабинки вышел агент ГПУ. Лицо его было розово от счастья, как и его фуражка. Глаза еще светились голубизной заоблачных просторов. Он мне сказал с благоговением и серьезностью:

— Принял воздушное крещение.

Мне хотелось крепко пожать ему руку и сказать: «Ну, поздравляю вас, товарищ». Но он уже был далеко и оживленно говорил своим:

— Красота, красота...

При посадке у нас оборвался амортизатор, на последнем полете лопнула покрышка. Аэродром выбран неудачно. На нем недавно потерпел аварию «Сопвич». Все же аэродром не сменили. Иеске, угрюмо ругаясь, ходит по полю, выбирает новую площадку для взлета. Брянцев меняет покрышку.

СИБОВЫЕ ХИМЫ И ГУБОВЫЕ ХИМЫ

Когда кончаются круговые полеты, начинается митинг. Тогда на крыло аэроплана выходят представители местных организаций и говорят:

— Товарищи, вопреки всякому желанию буржуазии мы хотим летать, и мы летаем. Товарищи, вопреки всякому желанию буржуазии мы приветствуем у себя в селе наши сибовые химы и губовые химы.

После местных властей лезут на крыло сибовые и губовые химы. Сибовый хим Архангелов говорит старыми, давно заученными, но крепко пригнанными словами. И здесь, в деревенской глуши, он неопровержим, как пророк. Его не слушают, ему внимают. Ведь он говорит с крыла сказочной птицы, говорит о сказке, ставшей былью.

Губовые химы Тумский и Дольский говорят о международной буржуазной саранче и о саранче обыкновенной, той, которая ест хлеб (саранча буржуазная, как известно, ест только мясо).

Их сменяет Иеске. На него смотрят, не спуская глаз,— он завоеватель неба. Но этот человек, витающий в облаках, имеет весьма трезвый ум. Он говорит о тех серебряных и медных колесиках, разбежавшись на которых, тысячи стальных птиц смогли бы подняться с земли СССР.

Иеске кончает.

Брянцев заводит мотор. Секретарь — местный хим — продает акции авиахима, записывает новых членов.

Колеса «Сибревкома» теряют землю. Мы снова в воздухе. В комфортабельной кабинке, в обществе трех химов

я думаю, что эти летающие люди крепче, чем кто-либо другой, стоят на земле, глубоко запустив в нее свои корни.

Внизу еще идет запись в общество авиахим. Внизу село, разворошенное дружеским, радостным, воздушным набегом.

Иеске плотнее надевает фуражку. Брянцев близоруко согнулся у штурвала.

Снова сияющая синь и простор.

ПОЧЕМУ НЕ ПО-НАШЕМУ?

Над Ленинскими (Кольчугинскими) рудниками черный дым. Воздух кажется мутным от каменноугольного дыма и пыли, серым от степи и осеннего голого редколесья. Земля здесь подобна богачу, нарядившемуся в рубище нищего. Сверху — угрюмая, серая рвань; внизу под этой рванью — миллиарды пудов черного золота.

Нас ждут уже черные толпы шахтеров. Черный дым вечера густеет заметно. Многие пришли на аэродром с зажженными рудничными лампочками.

Круговые полеты делать нельзя — поздно. Открываем митинг.

Местные работники говорят на редкость гладко, горячо и убедительно. Мне показалось, что лицо секретаря райкома кто-то осветил рудничной лампочкой, когда он говорил о стальных птицах, несущих культуру. Я выхватил записную книжку, торопливо ссыпал в нее угольки его слов, бережно спрятал его лицо, освещенное рудничной лампочкой.

Сибовые и губовые химы громили международную буржуазию. Иеске, потрясая каменными кулаками, клялся драться до последней капли крови. Фигуры химов и пилота в густом дыму вечера на высоком крыле аэроплана казались рудничными трубами. Их слова — обычные и надоевшие слова — стертые медяшки, которые все митинговые ораторы бросают в толпу щедрыми горстями,— в черном угольном кольце шахтеров, в дымной черноте вечера звенели золотом новых истин.

Митинг кончился ночью. Тогда шахтер с лампочкой подошел к самолету и долго рассматривал его бока.

Почему не по-нашему написано?

Голос его был горек и недоверчив. Толпа настороженно зашевелилась. Забегали волчьи глаза лампочек. Еще трое стали внимательно разглядывать самолет.

— Не по-нашему. А говорили — наш.

Тогда снова на тусклом небе рудничной трубой выросла фигура Иеске. Иеске опять замахал руками, нападая на невидимого противника. Аэроплан звенел и дрожал под его ногами. Кольцо волчьих глаз разомкнулось, поредело. Черная толпа пропала, тихо расползлась по черным штрекам улиц. Нам подали лошадей. Надо было ехать на ночлег.

ХОРОШИЙ КОНЬ

В шахте я был в праздник. Шахта была глуха, как могила. Мой провожатый оказался неудачным авиатором. В европейскую войну он был взят в авиаотряд. Но на первом же полете испортил белье и категорически отказался летать.

Мы пробирались по узким штрекам, я то спотыкался, то стукался головой о крепи и думал, что лучше разбиться, чем быть раздавленным. Черные пласты угля давили меня, я чувствовал себя ничтожной козявкой. А мой спутник шел, как по земле, и о шахте говорил с любовью.

Работать можно, чего не работать. Уголь у нас добрый. В шахте электричество. Заработок в три раза больше, чем при царе, и рабочий день вдвое меньше. Только вот в кооперативе никогда ничего нет — ни мяса, ни муки. На голом чаю и сидим. В квартирах вот тоже теснота такая, что не продохнешь.

До аэродрома было четыре версты. По дороге шел бесконечный обоз: шахтеры и крестьяне из окрестных деревень с детьми и женами ехали посмотреть на аэроплан.

Ноги мои были мокры, тело ломило от непривычного ползания по шахте, голова болела от неосторожного «соприкосновения» с деревянными стойками в подземелье. Я попросил какого-то старика, едущего со старухой глядеть «ероплан», подвезти меня.

— Вот еду, родной, поглядеть на ево. Три года мы ево ждали. А вечор мы это будто в бане попарились, выходим, слышим, где-то молотят. Потом нет, думаю, ето панабиль. А он, родной, как сблеснет! «Э! — кричу бабе,— ведь это ероплан!» Ну, чистый журавь и журавь летит. Как это, родимый, на ем, таком малом, народ-то сидит? Объясни ты, пожалуйста, мне пуды и фунты.

Я начал делиться со стариком всем, что мне известно о «юнкерсе». Старик в восторге хватает меня за коленку, щелкает языком, теребит бороду, роняет вожжи.

— Ну, скажи мне, пожалуйста, сто двадцать пудов, а глядеть прям журавь и журавь. Ты уж меня проведи, пожалуйста, к нему поближе.

Аэродром — муравьиная куча. С трудом протискиваюсь к аэроплану. Старик — мой подводчик Филипп Иванович Соснин — крепко держит меня за руку. Мотор уже заведен. Я подвожу старика к кабине.

— Долг платежом красен, Филипп Иванович, садитесь,— говорю я ему.

Старик радостно ошеломлен. Ветер от винта срывает с него шапку. Старик прыгает за ней по земле на четвереньках, на четвереньках с опаской лезет по крылу в кабинку.

На высоте 700 метров, когда старик увидел свою Егозовую с домами, маленькими, как рамочные улья, он испугался, стал руками хватать воздух. Ухватиться, конечно, было не за что, и старик только разбил локтем стекло окна. Вылез он из кабинки совершенно мокрый от пота и растерянно говорил мне, что наверху очень жарко, что он зря полетел в шубе. Мы с ним долго молча просидели у костра. Я смотрел, как Иеске, с точностью часового механизма, совершал один за другим круговые полеты, как он сажал аэроплан точка в точку на то место, с которого поднялся. Я видел, как лезли в аэроплан угрюмые, черносерые шахтеры, как выходили они из него сияющие, обмытые и взбодренные синей водой облачных высот. Толпа нетерпеливо и шумно наседала на предрика, требовала новых и новых полетов, требовала держать аэроплан до тех пор, пока не перекатаются все.

— Видишь ты, сон я сегодня видел хороший,— заговорил Филипп Иванович. К нему вернулось спокойствие, и блаженная улыбка растянула его старческие губы.— Нашел будто я коня, хорошего коня. А старуха мне говорит: хороший это сон, старик. Вот видишь, сон-то в руку — вон какого коня нашел. Сроду у нас на эдаких никто не езживал. А мне вот довелось.

И уже гордясь своей смелостью, он вскочил на ноги, ласково хлопнул меня по плечу.

— Ну, паря, будешь в Егозовой — заходи. Медовухой угощу, во!— Он поднял кверху кривой, толстый большой палец.— Прощай, паря, побегу к старухе,— крикнул он мне, уже перебегая от костра к толпе.

КАРУСЕЛЬ И РАБОТЯЩИЙ КЛОУН

На аэродроме в толпе духота, давка, щелканье семечек, хлопки пробок «фруктовой», гул, крики.

К садящемуся самолету мечутся стадом, облепляют его,

как карусель на ярмарке. За поднимающимся самолетом бегут, сшибая с ног очумевших, измученных милиционеров и неутомимого бортмеханика Брянцева, бегут, задыхаясь и чернея от пыли, поднятой пропеллером. Каждый подъем и спуск встречают гулом одобрения, восторженным свистом и улюлюканием.

— А та, та, та! Попер! Понес! Понес!

Милиционеры жирными крупами лошадей теснят толпу.

— Граждане, осадите! Дайте разбежку самолету, граждане! Граждане вы или бабы?

«Граждане» инстинктивно пятятся от лошадей, медленно уступают дорогу самолету. Но неистовые мальчишки продолжают шмыгать по аэродрому. Мальчишки — главные враги Брянцева. Взрослых он просто стыдит и ругает, но за мальчишками бегает, с быстротой белки соскакивая с машины.

— Назад! Назад! Вернитесь!— кричит он, догоняя какого-нибудь вихрастого Сергуньку. А десяток еще таких же Петяшек и Ваняшек бежит следом за Брянцевым, свищет и ревет.

— Клоун, клоун! Ребята, глядите, клоун!

Вельветовый комбинезон Брянцева кажется им клоунским костюмом, а его беготня за ними — обычным клоунским трюком. Задыхаясь, Брянцев подбегает к машине, хватает бутылку минеральной, наспех из горлышка делает несколько глотков, поправляет очки и виновато, вспыхивая обаятельнейшей своей улыбкой, говорит мне:

— Извиняюсь, Владимир Яковлевич, за грубое обращение. Ничего не понимают люди.

Я не успеваю выразить своего сочувствия — он уже одним прыжком заскочил на мотор. С акробатической быстротой и ловкостью он перескакивает с одной стороны машины на другую, соскакивает на землю, вновь прыгает на самолет.

Чтобы не мешать, я отхожу к толпе. Кривая старуха, перебирая губами, долго смотрит на меня единственным своим оловянным глазом.

— Ух и работящий у вас клоун этот, товарищи,— неожиданно говорит она мне.

Я ничего не успел ответить старухе. Иеске дал газ, мотор заревел, самолет побежал. Толпа шарахнулась за ним, увлекая за собой и меня, и старуху, и конных милиционеров.

Самолет высоко. Бежать уже некуда. Тогда толпа затихает, протирает от пыли глаза, дает милиционерам поставить себя на место.

Брянцев следит за полетом. Я подхожу к нему.

— Если бы вы знали, как мне надоела эта карусель.

Я смеюсь, кладу руку ему на плечо.

— Ничего, Николай Евгеньевич, вы славный работящий клоун...

Брянцев хохочет, поправляет очки, бежит за садящимся самолетом, а за ним гикающие ребятишки и толпа сияющих бородатых рож, цветных платочков, и беспомощные красноголовые милиционеры, и пыль столбом, и желтая трава клочьями, и яркое солнце.

Карусель.

БЕНЗИН И КИЗЯК

Далеко внизу летят на юг треугольники гусей и уток. Мы легко обгоняем встревоженные стаи серых птиц.

Солнце греет металлические стенки нашей кабинки. Тепло и тихо. Самолет почти неподвижен. Мы идем высоко, верхними, «крепкими» слоями воздуха. Желтая голая степь под нами перевязана тоненькими, накаленными добела, сверкающими стальными проволочками рельс.

Самолет пошел на посадку. Есть захватывающая радость полета, радость ухода, пусть мнимого, но ухода от земли, и есть радость возвращения на землю. Самолет, спускающийся на землю, скатывается по льдистой, синей горе, ссыпается с глухим шумом тысяч льдинок, взорванных мотором, идет в шуме и свисте крыльев.

Неподвижная земля оживает, встает навстречу лохматой, огромной головой. Земля тяжелая, а самолет — легкая серебристая пушинка. Спуск кажется гибельным. Челюсти крепко сомкнуты, крепко зажата в руках записная книжка, а глаза и губы в гордой улыбке.

Пусть человечество со временем доведет конструкцию летательных машин до предельного совершенства, пусть, но гордую радость полета дано испытать и нам.

Село Бочаты.

Предрика села Бочат, товарищ Брокар — крепко сбитый, плотный человек, в коротеньком пиджачке — стоял в центре известкового круга аэродрома и махал нам белым флагом. Брянцев перегнулся через борт и, хотя знал, что Брокар ничего не услышит, все же обругал его дураком. Брокар мешал нам сесть на лучшее место аэродрома.

Но я понял Брокара. В глазах граждан села Бочаты, толпящихся на аэродроме, он был всемогущей властью,

такой властью, которая даже сажает на землю «мимолетящие» аэропланы.

С Брокаром нас потом свело несчастье, мы с ним хорошо познакомились. Он оказался одним из энергичнейших и знающих свое дело людей.

На митинге, с крыла аэроплана, Брокар с гордостью говорил:

— Наша птица, наши летчики, наша копейка.

Потом Брокар предложил:

— Кто из товарищей крестьян желает взять слово?

Из толпы отозвался крестьянин Синебрюхин:

— Беру слово!

Крестьянин Синебрюхин тяжело влез на крыло.

— Товарищи, наша страна процветает технической обработкой. Мы видим тракторы и ерапланы, давящие саранчу...

Кругом стояла рваная, деревенская заплатанная толпа. Четверых рваных, заплатанных пассажиров Брянцев уже посадил в кабинку. От костра на самолет ложился дым кизяка.

Шубная рвань в строгой кожаной роскоши кабинки, стоптанные катанки и засаленный пиджак на серебре крыла, кизяк, смешавшийся с бензином, и хороший такой, бодрящий морозец. Октябрь... Запах кизяка и бензина — запах звонких октябрьских дней...

Начались полеты.

Вышедший из кабинки восьмидесятилетний старик тяжело, разочарованно вздохнул, опустил голову.

— Не довелось старуху повидать.

— А ты где ее удумал увидеть — в поле или в селе?

Старик посмотрел на меня недоверчиво и сурово.

— Покойная она у меня. Ну вот и думал — слётаю, повидаю.

Односельчане смеялись, бесцеремонно задирали у старика полушубок, щупали у него зад. Оставшегося на земле бортмеханика Брянцева разглядывали с ласковым восхищением. Пожилая крестьянка боком подобралась вплотную к Брянцеву, осторожно, незаметно потрогала грубую ткань его комбинезона.

Куча крестьян подвела к самолету местных агронома и учительницу.

— Так что обязательно нам хотится, товарищи, прокатить агронома для прахтики борьбы с вредителями, а учителку — для показательного разъяснения детям.

Когда агроном и учительница поднялись на воздух,

крестьяне следили за самолетом долгими, внимательными взглядами. Лица их были торжественны и сосредоточенны.

О ТОМ, КАК БОЧАТСКИЙ САПОЖНИК ШИЛ АЭРОПЛАН

Был такой сапожник, который говорил:

— Я, товарищи, первеющий спец наивысших марок. Я шью сапоги с ефектами, чтобы вы могли капитально ступать на пятку и материально на носок.

Сапожник этот действительно был большой мастер — он хорошо шил сапоги и на уродливые ноги, на ноги с дефектами (с ефектами)... Но это присказка. Сказка впереди.

Сказка-быль, быль-чудо — аэроплан в деревне.

Пока «Сибревком» не прилетел, многие сомневались — летают ли вообще люди. Когда «Сибревком» закружил над деревней, решили, что раз он ростом с журавля, то людям на нем сидеть нельзя. Но когда сами полетели, то поверили в машину, как в чудо, как во что-то всемогущее.

Вести о нашем прилете распространялись с быстротой радио. Вести о нас бежали далеко впереди нас.

Всюду нас ждали тысячные толпы. А аэродромы... Но нужны ли «чуду» аэродромы? «Чудо» может сесть и на жердочку (в Кузнецке, например, многие думали, что самолет сядет на мачту с красным флагом).

Чудом сели мы на бочатский аэродром, чудом сделали четыре круговых полета, но на пятом действительность весьма красноречиво лошадиной лопаткой, как мечом, рассекла «чудесные» пелены туманов и иллюзий. Оказалось, что бочатский аэродром, как скотское кладбище, весь усыпан костями. На лошадиных острых лопатках мы расхватили себе покрышку «до ушей».

Надо отдать должное тамошней милиции — она моментально нашла виноватых. Но виноватых этих, увы, поймать не удалось — они очень быстро бегали, так как природа каждого из них снабдила четырьмя ногами (у милиционеров, как известно, только по две ноги).

Бочатские собаки — вот кто оказался врагом авиахима. Это они натаскали костей на аэродром.

И сидеть бы нам в Бочатах и сидеть — ждать покрышек из Новониколаевска (весь свой запас — две покрышки — мы изорвали). К счастью, наш прекрасный бортмеханик оказался... «сапожником», а в Бочатах нашелся друг авиахима... сапожник. Целый день сидели два «сапожника» над колесом самолета, но своего добились — сыромятным ремнем зашили покрышку. Покрышка, правда, полу-

чилась с «ефектом»— с некоторым утолщением. И Иеске долго сомневался в том, что «ефект» этот будет положительным.

О ЛЕВОЙ НОГЕ И ЛЕВОЙ РУКЕ

Недоверчиво, с полной нагрузкой, на колесах прогнал Иеске самолет по аэродрому. «Ефект» выдержал. Иеске решительно надвинул на уши фуражку.

— Летим!

Но при взлете что-то бумкнуло под колесами, задрожало, зазвенело правое крыло.

Опять сомнения — не лопнул ли «ефект»? В пассажирской кабине стало сумрачно, серо. Пролетели гурьевский завод, сбросили агитписьмо-привет. Пересеченная местность дает себя чувствовать. Сильные перекрещивающиеся воздушные токи бросают самолет с крыла на крыло. Качка, как на воде. На языке авиаторов — болтовня.

Молчаливый Брянцев просит Иеске взять штурвал, берет записную книжку и пишет:

«Когда утихнет болтовня, я вылезу на крыло, осмотрю покрышку».

Холодная лапа нервной гримасы скривила наши лица. Архангелов, торопясь, ломая карандаш, нацарапал:

«Категорически протестую, предлагаю не вылезать на крыло!»

В ответ Иеске дурашливо высунул язык, а Брянцев, ласково улыбаясь, закивал головой. Глаза Брянцева мне показались больше его очков. Они сияли черным светом. Я понял, что этого человека не остановишь.

Высота 1000 метров.

Иеске мощной звериной лапой зажимает ревущую пасть мотора. Мотор покорно ворчит. Самолет тихо ссыпается вниз. Брянцев снимает фуражку, отвязывается. Архангелов отвертывается. Ему тошно, как во время исполнения опаснейшего циркового номера. Брянцев за бортом стоит на крыле. Ветер дыбит его короткие волосы. Его черные глаза огромны. На губах мягкие тени улыбки лунатика.

Медленно, спокойно Брянцев опускается на колени, ложится. Иеске левой рукой держит штурвал, правой, как тисками, зажимает высокий ботинок Брянцева. Нам виден только ботинок. Человек висит где-то внизу. Другой — чугунной статуей врос в сиденье.

Лицо Брянцева, как обожженное,— красно и вздуто. Фуражку он не берет, не привязывается. Иеске, как с цепи,

спускает мотор. С ревом мы бешено несемся вверх. Минута, две... как долги они...

Брянцев еще раз лезет на крыло, еще раз головоломное свисание с крыла.

Брянцев привязывается, тянется в кабину за фуражкой. Глаза его мутны, но на красных щеках блестит улыбка.

— Покрышка спустила, но не совсем.

Опять в кабине стало серо.

Под нами Прокопьевское. Черная грязь рудника. Аэродром — корыто с явно видными рядами огородных гряд. Резкий боковой ветер. Иеске пишет:

«На этом аэродроме может сесть только тот, кто его выбирал. Я до такого искусства не дошел. Иду на Кузнецк».

Низко-низко делаем три круга над рудником и, оставляя внизу громадную разочарованную толпу, уносимся.

А прокопьевские шахтеры организовали своими силами полеты для ответственных работников. Катали их по очереди на тачке и брали в пользу авиахима по два рубля с каждого «полетавшего».

Спустившая камера не дает покоя Архангелову. Архангелов знает, что самолет садится на землю со скоростью ста двадцати верст в час, что посадка с подпорченной камерой — есть посадка на одно колесо, что все это, в конечном счете, в лучшем случае пахнет поломкой пропеллера. В худшем... Но кто думает о худшем?

Архангелов, как «хозяин», думал о самолете, заранее подсчитывая убытки от поломки. Иеске, смеясь, передает дурашливый ответ:

— Я ужасно волнуюсь. Но мне ведь легче всех вас и удобнее выскочить за борт...

Архангелов укоризненно качает головой. Архангелов серьезен. Иеске хохочет.

Вправо серые лысины Кузнецкого Алатау, влево — Кузнецк. Высоко над городом крепость.

«Здесь когда-то сидел Достоевский»,— пишет мне губовый хим Тумский.

Горячее волнение на секунду сжало мне грудь. Мне показалось, что здесь я найду неостывшие следы Федора Михайловича, что я буду торопиться за ним, ходящим где-то совсем рядом, я почти физически ощутил теплоту его слегка сгорбленной спины.

Резко ударила по ушам тишина кабины. Иеске выключил мотор. Планируем. Кузнецкий аэродром — небольшая плешина среди болотных кочек и глубоких дорог.

Что-то будет?

На нас валится тяжелая земля Кузбасса, земля, насыщенная углем и железом.

НЕ КУРИТЕ, НЕ ГРЫЗИТЕ, НЕ ПЕЙТЕ

Земля в хрустящем шуме косматится под колесами и пропадает. Мы завязаем в горячем киселе губ. С порога кабинки лицо громадной человеческой глыбины встречающих — красно, оно смотрит на нас красными губами, распяленными улыбками (глаза закрыты или зажмурены от удовольствия). Мы видим красивые волны улыбок, губы в улыбках.

Хорошо в этот красный кисель бросать с крыла самолета свои слова-камни. Смотреть, как тяжело расходятся по толпе густые волны.

Толпы встречающих ждали самолет несколько часов. Толпы рады, веселы, что дождались, что самолет прилетел. Приподнято-смешливо настроены и мы от того, что не смеялись в воздухе. Мы фыркаем в рукава, трясемся в смехе, когда наш губовый хим Дольский, в припадке аскетического самоограничения, призывает толпу не курить папирос, не пить вина, не грызть семечек, не есть конфет.

— Товарищи, бросьте эти мещанские замашки. Подсчитайте, сколько денег вы прокуриваете, прогрызаете, пропиваете! Миллионы, товарищи! Отдайте их на воздушный флот! Международные противоречия говорят за то, что мы должны иметь свой флот.

Осенние сумерки быстры. Они забрасывают нас сырыми, серыми комьями тумана. Мы кончаем митинг и едем в столовку.

В столовке, сидя за громадным столом, Иеске с напускной серьезностью спросил Дольского:

— Курить нельзя, пить нельзя, а еее...сть можно, молодой человек?

Дольский смущенно опустил свое безусое лицо. Ответ на вопрос пилота дала сама «жизнь» в лице заведующего коммунальной столовой товарища Бедеркова, человека в громаднейших подусниках. Бедерков поставил на стол тяжелую миску с дымящимся супом.

ТАМ, ГДЕ ЖИЛ ДОСТОЕВСКИЙ

Город Кузнецк. Здесь я ссыпал в записную книжку целые сокровища. Будет время — я займусь их разбором,

приведением в порядок, шлифовкой. Пока же я не хочу разоблачать своих замыслов, развенчивать родившиеся образы. Сейчас я об этом городе не хочу писать пером художника (ведь художники всегда «преувеличивают»). Я отдаю свое перо бесстрастному протоколисту...

Итак, я с товарищем X еду в крепость. Крепость на горе, над городом. Город расположен на трех террасах. Первая, верхняя — крепость, вторая, средняя — центральная часть города, третья, нижняя — следующая за центром часть и окраина.

Над входными воротами на крепостной церкви вырублено саженное похабное слово из трех букв. Ниже подпись: студент Рычков. Церковь сожжена бандитом Роговым и в настоящее время утилизируется часовыми порохового погреба для известных надобностей. Пол церкви покрыт толстым слоем человеческих экскрементов, стены иссечены и измазаны надписями из «заборного писания». Крепостная одноэтажная тюрьма сожжена и разрушена до фундамента, от нее остались кучи обгорелых камней и кирпичей. В уничтоженной (тем же Роговым) тюрьме, в камере № 6 сидел Ф. М. Достоевский. До нашествия скопищ Рогова камера Федора Михайловича показывалась посетителям.

По крепостному валу, обросшему травой, мы всходим на стену из дикого камня. Несколько орудий смотрят слепыми глазами на степи, на белые плешины гор. На пушках надписи — Екатеринбург на Каме 1802 год.

Несколько орудий мертвыми свиными тушами валяются под стеной.

— Был у нас ответственный секретарь укома Травников да зампредуисполкома Осипов,— говорит мой спутник,— ну, устраивали они пикники здесь, выпивали, конечно, и спёхивали орудия со стены.

Стена церкви, около которой «гуляли» Травников и Осипов, щедро исписана заборными лозунгами. Это, вероятно, в целях «разоблачения поповского обмана».

Едем обратно. Товарищ X показывает мне достопримечательности Кузнецка.

— Вот это собор, а около него старинное кладбище. Здесь схоронены телеутские князья.

Меня интересует двухэтажный собор. Он, как и все церкви Кузнецка, сожжен Роговым. Недавно верующие восстановили нижний этаж и в нем служат. Сторож охотно провожает меня по церкви.

Я медленно иду по рубчатым черно-рыжим чугунным плитам. Мне кажется, что я иду по запекшейся крови. Сюда

в 19-м году роговцы согнали «буржуев, попов и прочих паразитов» и здесь «казнили» их четвертованием, жгли. Здесь, в алтаре, на престоле, была разложена и изнасилована толстая купчиха Акулова. Изнасиловав Акулову, роговцы воткнули ей в живот зажженную рублевую свечку.

Потом собор, заваленный трупами убитых и недобитых купцов и попов, зажгли. От собора остались стены. Колокола свалились с колокольни, расплавились, покололись, как яичная скорлупа.

На базарной площади товарищ X толкает меня в бок.

— Вот роговец идет. Он вам все расскажет.

Товарищ X останавливает сумрачного человека в грязной, заячьей папахе. Я вижу серое оспинное лицо, серые обкусанные усы, серую щетину и мертвые глаза мерзлой рыбы.

— Товарищ Волков — роговский партизан.

Серый, тяжелый человек, человек из серого тяжелого цемента, протягивает мне холодную, негнущуюся, цементную руку. Я уславливаюсь встретиться с ним на квартире у X.

Мы едем к местному культуртрегеру Д. Т. Ярославцеву. Я хочу записать все, что ему известно о жизни здесь Достоевского. Вот рассказ Ярославцева.

— Два месяца Федор Михайлович жил на Большой улице в доме Дмитриева. Большая улица теперь названа улицей Достоевского. Хотя правильнее было бы назвать его именем Картасскую, на которой он жил два года. На Картасской улице (угол Блиновского переулка) Достоевский жил в доме Вагина.

Домик был одноэтажный, старинный, на две «стопы» (два сруба, соединенные сенями), крыт был драньем, с низенькими потолками, с маленькими окошечками в разноцветных стеклах. Дом, к сожалению, не сохранился — разобрали на дрова. На его месте теперь пустырь.

Шатровый одноэтажный дом Дмитриева на Большой улице тоже не сохранился в том виде, как он был при Достоевском. Дом перестроен, перекрыт.

В Кузнецке Достоевский был дважды.

И ГОРШКИ ПОКРЫВАЮТ И МОЛЯТСЯ

От Ярославцева по Картасской улице мы подымаемся по Базарному взвозу к церкви Одигитриевской божьей матери. В ней венчался Достоевский. Церковь сожжена. Сохранилась только на ее наружной стороне икона богомате-

ри. Крестьяне, приезжающие на базар, и базарные торговцы истово крестятся на уцелевшую икону и заходят в церковь по тому же делу, что и солдаты порохового погреба в крепостную.

— Поедемте на кладбище — там та же картина,— смеется X.

Кладбище в Кузнецке старинное. Под чугунными плитами лежат городничие, исправники, майоры, опальные графы и именитые купцы.

X был прав. Старинную маленькую кладбищенскую церковку любящие религиозные родственники покойников, приходящие на могилки, загадили, как мухи.

Мы долго ходили по кладбищу. Я переворачивал чугунные надгробные плиты, читал краткие записи о схороненных под ними (роговцы почти все плиты перевернули тыльной стороной наверх).

— Проходящий, кинь горсть праха на прах мой,— просит покойник. Проходящий не был скуп — он обильно нагадил на плиту.

Кто-то хозяйственно приладил на свежую могилу упавший с церкви крест. Спотыкаясь о камни разбитых памятников, колонн, крестов, мы выбираемся с кладбища. Мой спутник настроен меланхолически. Он спрашивает меня:

— Как по-вашему, изобретут когда-нибудь жизненный эликсир?

Я молчу.

САМОЛЕТ «ЦАПЛЯ»

Аэродром рядом с кладбищем. Мы идем на аэродром. Я вспомнил слова Брянцева.

«Аэродромы всегда устраиваются рядом с кладбищем.— Брянцев смеялся.— Это удобнее, чтобы далеко не таскать нас».

Круговые полеты уже начались. Аэропланы высоко. Брянцев перебегает с места на место, взволнованно следит за самолетом, закрывая глаза от солнца. Вдруг он бросается к куче вещей и инструментов, снятых с аэроплана, хватает красную камеру. Когда самолет снизился, заволновались и мы. Самолет походил на раненую птицу. Одна нога (колесо) у него беспомощно болталась. Мы хватаем старые камеры покрышки, надеваем их на шесты-палки и вместе с Брянцевым сигнализируем. Иеске заметил, понял. Толпа застыла в напряженном молчании. Болтающийся покос (ответственнейшая часть шасси) был явно

виден. При посадке это грозило значительной поломкой аппарата и человеческими жертвами.

Иеске выключил мотор, закрыл бензин и... сделал виртуозный спуск на одно колесо.

Самолет, как пришибленная цапля, заскакал на одной ноге по аэродрому и, слегка накренившись в сторону больного колеса, остановился. Аэродром загремел рукоплесканиями. Пилоту жали руки, поздравляли.

Подкос вылетел из узла крепления при взлете оттого, что колесо ударилось в кочку необорудованного аэродрома. Конечно, в таких условиях благополучно летать мог только необычайно искусный летчик.

Я невольно вспомнил, что немецкое название самолета — «Цапля». Бедная, благонамеренная немецкая цапля! Летать бы ей да летать по тихим благоустроенным бюргерским болотам! В Советской России, в каменных лапах нашего летчика, она «Сибревкомом» носится над дикой тайгой и девственными степями.

МАТРОС ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

Незначительный ремонт задерживает наш вылет из Кузнецка. Идет дождь. Мы сидим у товарища X. Он читает нам свои стихи.

Играла, пела, танцевала.
Труда и времени немало
На это убито. Ну да что ж?
Без этого не проживешь.

На столе у него книга Стендаля (Анри Бейль) о любви, о рождении любви, о надежде, о различии в рождении любви у обоих полов, о красоте, развенчанной любовью, о стремительности и громовых ударах, о женской гордости, о женском мужестве, о лекарстве от любви, об уязвленном самолюбии, о первом взгляде.

Мы зеваем. X переходит на производственные темы.

Стою у станка,
Шлифую работу...

Не доходит и это. И тогда всех нас выручает роговец Волков. Он ищет меня.

Я не узнаю Волкова: из цемента он раскисает в глину, из глины в трясущуюся слезливую труху. Волков дрожит, плачет, скрипит зубами, бьет себя кулаком в грудь.

— Веришь — нет мне, дорогой товарищ Зазубрин, я

ведь вместе с Владимиром Ильичем в Якутске был. И Калинин там был. Ох, башка Ленин! Три шага по комнате сделает, и готово — решил. А Калинин три дня думает, штоб надумать, сколь Ленин. Веришь — нет мне, дорогой товарищ, я за политику пришел из Балтийского флота на каторгу в Якутку. Я-то в семом году пришел, а Ленин позже меня (то же самое, слово в слово, говорил мне другой роговец Копылов Василий, выдававший себя за электромеханика Путиловского завода и члена партии с 6-го года).

— Веришь — нет, вот они, шомпола-то, нагайки где сидят.

Волков истерически заголяет спину.

— Вот, дорогой товарищ, чего они с нами сделали. А у жены моей колчаковцы титьку отсекли. Ну, безусловно, я их бельзином обливал и живьем у тюрьмы сжигал. Тюрьму тую, в крепости, я своими руками спалил. А милиционеров Миляева и Петрова мы с женой распилили, и пила та у меня хранится. Эх, дорогой товарищ, другой раз посмотрю на нее — вот, мол, была моя власть! Посмотрю да поцелую ее.

Я прошу продать мне эту пилу для Новониколаевского музея. Волков соглашается. Я пишу с его слов «бумагу Миколаевскому музею». Вот она.

«Когда-то товарищ Волков Филипп Андреевич был в партизанах со своей женой Антонидой Амельяновной. Приехали мы из тайги с партизанами с отрядом обои с женой и с девочкой пяти лет. Выехал из тайги с партизанскими отрядами, безусловно, которые были мои враги, сердце мое не могло вытерпеть и зачал я их тем оборотом, как они меня казнили, зачал их пилить пилой около тюремного замка, который я спалил своими руками. Жена моя Волкова пилила со мной за ее кровь, за ее отсеченную грудь. Жена у меня без титьки теперь. Это было в девятнадцатом году двадцать третьего ноября.

Вот ту самую пилу, которой я, значит, пилил колчаковских буржуев милиционеров Миляева и Петрова, отдаю на историческую память Миколаевскому музею. Пять рублей на покупку новой от товарища Зазубрина получил, в чем и подписуюсь. Матрос дальнего плавания Балтийского флота

Волков».

«Факт распилки колчаковских милиционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в особых подтверждениях не нуждается.

Подпись Волкова свидетельствуем

ПредРИКА Кузнецка Дудин
Секретарь (подпись неразборчива)
22/X-1925 г. (подпись неразборчива)»
г. Кузнецк

Уходя, Волков подмигивает мне, просит выйти с ним на крыльцо. На крыльце он берет меня под руку, скрипит зубами, хрипит:

— Веришь — нет ты мне, дорогой товарищ, здесь в исполкоме у нас в партии беляки сидят, а нас, партизан, в шею гонют. Ты расследуй это обязательно. Веришь — нет, житья нам от них никакого не стало.

Сейчас Волков — сторож нардома.

ПОДРЯДЧИК ПО ПОСТРОЙКЕ ЦЕРКВЕЙ

В конце 19-го — в начале 20-го года мне пришлось работать в газете партизан Северо-Канского фронта (себя они обычно называли тасеевцами. Во главе стояли Яковенко, Буда и другие).

Это были действительно красные партизаны, красная партизанская армия. Дисциплина, порядок, крепкая организация фронта и тыла, жестокая кара за мародерство, за самочинные убийства. Партизан я видел. И в свое время разделял негодование Яковенко по поводу «Ватаги» Вяч. Шишкова. Сибирский писатель действительно напрасно взял кержаков, неправильно пытался объяснить партизанское движение религиозными побуждениями крестьян. Напрасно нарочито ввел средневековую плаху и топор, подсахарил до приторной неубедительности фигуру Зыкова.

Но если топоры заменить шашками и самодельными клинками, то Шишков кое в чем будет прав. То, что я узнал в Кузнецке и в его районах, убедило меня в этом.

Из четырех тысяч Кузнецка две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто выводили из домов, тут же, у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо «именитых» и «лиц духовного звания» убивали в соборе.

Редкая женщина или девушка в Кузнецке избегла гнусного насилия.

Рубились люди, так сказать, по классовому «признаку».

Именно: руки мягкие — руби, на пальце кольцо или следы от него — руби, комиссар — руби.

При царе подрядчик по постройке церквей, в германскую войну — подпрапорщик и георгиевский кавалер, Рогов в ре-

волюцию стал «красным», стал «революционером». Этот «красный революционер» грабил, сжигал церкви, огнем и мечом стирал с лица земли целые села, опустошал города.

Казнимых Рогов всегда мучил — отрубал у живых руки, ноги, отрезал половые органы, жег живьем. Любопытная деталь: горючим материалом для костров почти всегда служили дела местных архивов (в огне погиб ценнейший Кузнецкий архив).

Но, несмотря на свою прямолинейную примитивность «классового подхода» к людям, в голове у этого «революционера» царила невообразимая путаница. Так, он не сжег, не тронул ни одной церкви, построенной им самим. При соединении с регулярными войсками он начал истреблять наших командиров и комиссаров. Мотивы, конечно, были простые: комиссар, значит, начальник, начальник, значит, насильственник — руби.

В этой войне он был побежден и трусливо кончил самоубийством. Штаб его был захвачен и уничтожен одной из дивизий Красной Армии.

МОСКОВСКИЙ ПЕКАРЬ

Туманы. Брянцев неутомимо возится с мотором. Мы ждем «погоды».

По улицам города веселыми веревочками вьются группы школьников. Дети идут осматривать аэроплан.

Иеске и Архангелов играют в шахматы. Иеске курит, часто смотрит в окно и на серое небо.

— Н-да, влетел я раз в такой вот туманчик. Полчасика в рожу смерти смотрел. Височки у меня тогда тово, побелели. А пассажиры мои, ничего не подозревая, смеялись, пили портвейн.

(Туман, отрезающий самолет от земли,— его смерть. На самолетах еще нет достаточно точных приборов, определяющих положение аппарата по отношению к невидимой земле. В тумане летчик может перейти предельный угол для крена, и аппарат упадет на землю. Так в тумане разбился цвет германской авиации.)

Иеске торжествующе кричит Архангелову «мат» и с хохотом валится на постель. Архангелов для чего-то вспоминает мать и злобно смахивает с доски деревянные фигурки.

Я стою у окна. По площади идет длиннополый, длиннорукий, спокойный человек — московский пекарь большевик Дудин. В Кузнецке теперь главный заправила председатель исполкома большевик пекарь Дудин. Оттого в го-

роде спокойно пекут хлеб, в городе работают школы, нардом, изба-читальня, кинопередвижка.

Город Кузнецк стоит на золоте, угле и железе. И пекарь большевик Дудин знает, что город этот станет центром богатейшего края, что городу этому суждено расцвесть.

Оттого Дудин так спокойно и легко шагает в исполком.

ХЛЕБ И УГОЛЬ

Осмотрен каждый винтик, проверена каждая гаечка. Иеске пробует рули. Самолет шевелит «хвостом» и «крыльями», отряхивается, как птица перед взлетом.

В морозной тишине поля короткие крики авиаторов, как утренний, радостный переклик птиц.

— Контакт!

— Есть контакт!

— Вы-клю-чил!

— Контакт!

— Есть контакт!

В морозе поля, в ледяном ветре винта мы карабкаемся на крыло. Паутиной тянутся под колесами провода телеграфа. Мечется вспугнутое стадо коров. Стрелка альтиметра поднимается. Слегка болтает.

С нами летит предрика Прокопьевского рудника. Затылок предрика мокр от пота.

Пятнадцать минут — и мы на руднике. Наскоро делаем три круговых полета. Я хожу в толпе по хлебному полю. Про старика, севшего в аэроплан, мне говорят:

— Ох, и рисковый у нас этот старик! Он девяносто ульев пропил, а теперь вот полетел. Хотит, значит, до точки дойти.

В нескольких саженях, в чахлом березнике, из-под земли лезут черные пласты угля. Крестьяне берут уголь прямо «сверху». Земля здесь жирна и богата, земля здесь — уголь и хлеб.

БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ ВАТА

Самолет поминутно проваливается в невидимые ухабы нашей надземной дороги. Горизонт курится серыми, дымными громадами туч. В разбитое окно с холодным упорством лезет ветер. Кожа кресел стынет, студит руки. Я пишу в перчатках.

Подозрительно пляшет стрелка счетчика оборотов. Архангелов нервно пишет Иеске:

«Мне не нравится счетчик. В чем дело?»

Иеске смеется, отвечает:

«Счетчик не женщина — понравиться не может».

Но Архангелов серьезен и насторожен. Иеске машет рукой, пишет:

«Счетчик сломался, потому и саботирует. Черт с ним. Разве мы не летали и совсем без него? Слышишь, как ровно работает мотор?»

Архангелов улыбается, раскуривает папиросу, передает ее пилоту.

Мы летим навстречу снежным тучам. Синие ворота горизонта завалены белыми, пухлыми массами ваты.

Иеске внимательно шарит глазами по полям и полянам — он на всякий случай подыскивает площадку для вынужденного спуска.

Ветер навалился на самолет, засвистел, затряс кабинку. Огромная рама ткацкого станка вдвинулась между землей и нашим аппаратом. Самолет юрким маленьким челноком засновал в частых белых нитях. Земля смутным серым пятном пронеслась под нами и исчезла.

Мир наш — белая безмолвная ткань. Самолет наш — челнок, ткущий саван.

Крепкая рука гнет к земле острый нос челнока, челнок дырявит, дерет снежный саван. Земля выбегает к нам широкой спиной пегой родной лошаденки, машет приветливыми космами тайги-гривы.

Неожиданно на нас валятся целые горы ваты. Мотор глохнет. Челнок наваливается всей тяжестью на острый нос, долбит густую смертную белоту.

Восторг гибели овладевает нами. Мускулы рук напрягаются радостным предощущением борьбы. Хочется разломать стены кабины, вырваться наверх, на крылья, рвануться в вихрь, как в воющую реку, и один на один схватиться с быстрым белым потоком.

Но пробиты, пробуравлены рыхлые горы. Невидимым тоннелем мы вырываемся на багровый простор осеннего вечера.

Звонок и четок, как бой драгоценных курантов, стук мотора. Певуче звенят крылья. Хулиган-ветер садится на них, свищет, болтает худыми холодными ногами.

Редкие комья мокрой ваты кусками масла скользят по стеклам. Редкие белые нити тянутся под самолетом. Побелевшая деревня с белыми щупальцами дорог спрутом лежит в жирном янтаре полей. Сопки в черных лохматых папахах бредут гуськом в снежном дыме.

Недавно по этим сопкам и полям прошли белые и красные. На белом снегу следы белых и красных были одинаково красны.

Земля здесь раздобрела от крови. Земля здесь — зверь, золото. Здесь конь, привязанный к дереву, нетерпеливым копытом выдирает из земли самородки. Здесь зверь живет сторублевый.

Закат багров. Поля желты, поля в желтом жире жнив.

Я смотрю на своих спокойно покуривающих спутников, на этих людей с наружностью земских врачей. Я смотрю на спины летчиков, распахавших за одно лето десятки тысяч километров воздушной целины.

Мне крепко радостно. Рука, держащая карандаш, тверда.

Черный пепел, черная легкая вата ночи ложится на угли заката. Черная вата рыхлее белой. Сквозь нее мы видим серое, холодное лезвие реки. Сквозь нее мы увидели на земле электрические звезды Щегловска и Кемерова.

Мы делаем над городом, над рудником, над заводом круг, два, три. Холодно поблескивают звезды на земле. Холодно вспыхивают звезды на небе. Нам нужны маленькие солнца костров. Без них внизу мерцающая неизвестность, без них черная вата ночи отвердевает в камень.

Костров нет. Мотор глотает последние литры бензина. Надо садиться.

Иеске маленьким фонариком пробегает по приборам. Иеске берет рули. Острые зрачки пилота пронизали черную, враждебную вату ночи. Пилот властно направил самолет на землю. Рванулись под колесами едва видимые провода телеграфа, пронеслись крыши низких избенок, забегали по сторонам волчьи спины бугорков... Хруст, короткий прыжок, и самолет стал. Мы сели на полянке старого кладбища. Враждебные стихии белой и черной ваты были побеждены.

Сибовые и губовые химы накинулись на местных химов. Химы ругали химов, грозили друг другу судом, требовали объяснений. Брянцев, как мать ребенка, заботливо затягивал, закрывал самолет брезентом. Иеске лежал в кабинке, курил.

МАШИНЫ И ДЕТИ

Людей нет.

Из-за реки, из черного горла шахты, по стальному канату бегут вагонетки. Вагонетки валят уголь в дробилку, в «зубы» завода. Огненное брюхо коксовых батарей без устали варит

сладкое черное крошево. По толстейшим стальным кишкам расползаются едкие и сладкие газы, возникающие в желудке завода. Из кишечника полуохлажденные газы текут в громадные резервуары, оседают, сгущаются, падают, капают нафталином, креозотом, маслом.

Людей нет.

Бегут, поют над рекой вагонетки. Над вагонетками, над заводом поет аэроплан.

Поют машины.

Дышат ритмически ровно земля и завод. Дыхание земли горько и холодно. Дыхание завода горячо и сладко. Воздух тепл и горько-сладок, как миндаль.

На аэродроме ребятишек больше, чем взрослых (взрослые в шахтах).

Я улыбаюсь и пишу что-то в записной книжке о здешней богатой земле, о машинах и детях.

Старик, исполкомовский кучер, зачарованный сидит на козлах, следит за полетом аэроплана. Старик уронил вожжи и кнут. Старик машинально отвечает мне:

— Едем, едем,— и дергает воздух.

Через секунду он уже не помнит о седоке. Рот его раскрыт, глаза сияют улыбкой.

ПАХОТА

Вечером на собрании ораторы говорили о международном положении, о воздушной газовой войне, о борьбе с саранчой, о перевозке почты и пассажиров. Слова тусклые, как лозунги на выцветшем знамени. И все же гвоздями в сознание вязли и будущая война, и мирная работа, и авиахим. И встал перед глазами длиннейший путь от легенды об Икаре до уничтожения кобылки.

Кемеровские шахтеры постановили построить свой самолет «Горняк Кузбасса».

В это же время шахтеры Бодайбо Перетягин и Юрьев на воскреснике в пользу авиахима проработали по восемнадцати часов. Прииск поднял на воскреснике пуд золота.

За одно лето Сибавиахим распахал 77 тысяч километров воздушной целины. Самолеты Сибавиахима были в Ойротии и Якутии, были на всех копях, были во всех крупнейших земледельческих районах.

77 тысяч километров, 1000 полетов, 3000 человек.

Пахота.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Морозное утро. Грузимся к отлету. Из соседней деревни за семь верст учительница в рваном пальтишке, подпоясанная веревкой, привела учеников своей школы. Дети с записными книжками обошли, оглядели аэроплан со всех сторон. Потом сбились в табунок, зашептались. Я услышал звон медяков. Дети собрали по две копейки с человека в пользу авиахима. Малыш с серьезной рожицей вручил медяки секретарю Сибавиахима Архангелову.

Снова воздух. Человек у штурвала валит землю вправо, влево, на нос самолету. Человек бросает под колеса своей машины синий горизонт. От его машины ложится на землю черная въедливая тень, тень, как первая борозда весенней пашни.



ЗЕРНО, ПОДНЯВШЕЕ КАМЕНЬ

Ему пишут так: Швейцария, остров Кипр, нашему Максимычу. Или — Сорренто, дом отдыха имени пролетарского писателя Максима Горького. Письма с такими адресами всегда доходят, независимо от того, где в то время живет Алексей Максимович — в Италии, в Германии, в СССР. Однажды мне показали конверт с двойным адресом. На нем каракулями было выведено: «Москва, Кремль» — следуют имена двух вождей и дальше приписка — таковых если нет дома, то Горькому. У него тысячи добровольных корреспондентов. Он получает письма со всех концов света. Его имя знают повсюду — в Европе, Америке, в темных закоулках Азии. Из русских писателей Лев Толстой один только может соперничать с ним в широчайшей известности.

К Максиму Горькому в Горки меня привез мой товарищ, литератор. Сам он встретился с Алексеем Максимовичем впервые в двадцать восьмом году в Машковом переулке. Мы приехали в десять часов утра. Дом был тих. Мы знали уже, что хозяин не выйдет из своего рабочего кабинета до двух дня. Мы ушли ждать его в парк, в беседку над Москвой-рекой. Товарищ мой вытащил трубку, спички и, улыбаясь, сказал мне:

— Сейчас я закурю, задумчиво посмотрю вдаль, словом, сделаю все, что полагается рассказчику по правилам доброго старого романа. Я ведь обещал вам рассказать о Горьком.

Товарищ сунул руки в карманы пиджака. Трубка его дымилась.

— Староста крикнул Горькому, когда артель грузчиков после работы купалась в Волге: «Алексеич, дурак ты, не с той ноги ходишь! С левой надо ходить». Он заметил в коленном сгибе левой ноги у Горького синий узел вен. С кладью на спине тот начинал движение с правой, более сильной. Левая не выдерживала непомерной нагрузки. В жизнь Горький вошел, конечно, не с той ноги. Рождением и

средой юность его была отдана на работу в кухне, в пекарне, под деревянную подушку грузчика, а он стал... писателем. Мы знаем, какое нечеловеческое усилие надо было сделать, чтобы сбросить со своих плеч тяжкий груз бескультурья. Он его сбросил. Он сейчас один из образованнейших людей нашего времени. Правда, в советских условиях такая биография — массовое явление. Вчерашний пастух-ойрот — сегодня инженер. В наше время в этом нет ничего удивительного. Но тогда труд Горького был подвигом беспримерным. Горький, а не Толстой, сказал первое настоящее слово. Он — Буревестник.

Как-то на Мало-Никитской я гулял с Горьким по его двору. Асфальтовая дорожка в одном месте вспучилась и лопнула. Из трещины торчала голова шампиньона. Горький остановился и сказал:

— Смотрите, какая силища. Н-да.

У входных дверей в дом он остановился, обернулся:

— А знаете ли вы, что хлебное зерно, прорастая, поднимает целый кирпич?

Горький улыбнулся одними усами, поднял большой палец правой руки:

— Во!

Я часто сравниваю Горького с зерном, вступившим в единоборство с камнем. Он вырвал не один кирпич из стены, которая называется — самодержавие.

Товарищ замолчал, стал набивать потухшую трубку.

— Насчет его биографии я, пожалуй, не точно выразился. Горький-то у нас все-таки один.— Товарищ улыбнулся.— Где в мире можно найти еще такого человека? Его жизнь похожа на легенду. Я бы даже затруднился ответить на этот вопрос. Кто он? Творческая инициатива его совершенно неиссякаема. Он пишет романы, боевые публицистические статьи, редактирует добрый десяток изданий, ведет кропотливую работу с начинающими литераторами, организует антивоенные конгрессы, медицинские институты, лаборатории, мастерские для изобретателей, издательства, редакции. Скоро будет осуществлена его идея создания института экспериментальной медицины, в которой научному эксперименту будет подвергаться человеческий организм, конечно, в пределах возможного. «Соберем ученых человек пятнадцать и старших товарищей». Горький сначала разводит, потом медленно сближает ладони и говорит: «Столкнем их — и готово дело. Институтик такой завернем, в Европе никому не снился».

Горький это может. Он очень многое может. Он из Сор-

ренто видит весь мир. Его перо находит врага в Париже, в Лондоне, в Токио. Он своими письмами поддерживает рационализаторские предложения инженера во Владивостоке, ругает небрежного редактора в Москве, хвалит драматурга в Харькове, указывает на промахи редактора стенной заводской газеты в Новосибирске. Для издания его писем потребуются десятки томов. Откуда у него время для всех? Он ведь все делает сам. Весь его «аппарат» — один секретарь. Откуда у него силы? На его плечах шестьдесят четыре года. В прошлом — туберкулез, простреленная грудь, цинга, тюрьма. У него осталось одно легкое.

От врагов СССР Горький получает письма, полные неумной ругани. Белые эмигранты кричат в своих газетах, что Горький — продажный литератор, предатель. Он, видите ли, предал какую-то интеллигенцию. Горький за чаем читает белогвардейскую газету «Возрождение», смеется и говорит своим гостям:

— Вы же знаете, товарищи, что я всегда кому-нибудь «продаюсь». Черносотенцы, например, в свое время утверждали, что в японскую войну я продавался японцам, в 1905 году — безусловно — евреям. Теперь — большевикам.

Ошибался ли Горький? Конечно, да. Но какое значение имеет все это сейчас, когда Горький стоит в первых рядах людей, поставивших себе тягчайшую задачу — построение бесклассового общества.

На дорожке хрустит песок. Мой товарищ обрывает рассказ о Горьком. Горький возникает перед нами, высокий и широкоплечий. Он загораживает от нас дом с колоннами. Моя рука с легким хрустом исчезает в его руке. Я спрашиваю его, с жалостью глядя на свои пальцы:

— Правда ли, Алексей Максимович, что вы двенадцать раз крестились двухпудовой гирей?

Улыбка, как огонь, пробивается сквозь соломенные заросли его усов, охватывает щеки, лоб.

— Нет, это крендельщик Семка Каргузинский крестился двенадцать раз. Я только девять.

Он зажигает папиросу, покашливает и говорит басом:

— Пойдемте, граждане, собирать грибы. Хорошее это дело, если кто понимает. Бабушка моя носом чуяла грибы. Понимаете, прямо носом в лесу.

Горький начинает один из потрясающих рассказов о своем детстве. Дождь временно затихает. Его губительные струи не падают на погнутые плечи гиганта. Горький

выпрямляется. Мы сворачиваем с дорожки в траву, под деревья. Я смотрю на него и думаю:

«Не состарится, не умрет».

* * *

В начале 1928 года я послал в Сорренто Алексею Максимовичу большое письмо о молодой советской сибирской литературе и о журнале «Сибирские огни». В письме объяснялось, что мое давнишнее желание — рассказать про сибиряков-литераторов — задерживалось исключительно потому, что не хотелось повторять тех назойливых литмладенцев, которые лезут к нему тысячами.

Алексей Максимович немедленно ответил большим письмом, в котором писал:

«Уважаемый Владимир Яковлевич,— сердечно благодарю Вас,— получил журнал; прочитать еще не успел, а прочитав — пришлю Вам «рецензию», если Вы и товарищи Ваши по журналу желаете этого. С 22-го года журнал у меня есть, так что я могу, вероятно, составить себе более или менее полное представление о всей работе «Сибирских огней». Из «Искры» разгорелись,— как Вы знаете,— довольно яркие костры во всем нашем мире,— это дает право думать, что отличная культурная работа «Огней» разожжет духовную жизнь грандиозной Сибири.

А по поводу Ваших слов о «назойливости», с которой ко мне «лезут литературные младенцы», разрешите сказать следующее: неукротимый ненавистник социальной структуры современного мира, я — неизлечимый «антропофил». Люблю человека. «Люблю» — это у меня не слово, а, так сказать, излюбленное мое ремесло и даже, может быть, искусство. Думаю иногда, что себя самого, а особенно — Горького,— я люблю меньше и не так хорошо, как человека, который для меня издревле — чудо и творец всех чудес. Тут, видите ли, дело в том, что я никогда не забываю о себе, малограмотном парнишке 12—16 лет и неуклюжем парне 17—22-х. Сейчас мне 60, и в нашем мире я что-то значу, чем-то ценен, кому-то нужен. Будучи несколько знаком с историей культуры, я не могу рассматривать мой случай как случай частный, а рассматриваю как одно из многих выявлений *воли* человека. Знали бы Вы, Владимир Яковлевич, сколько на путях моих я встретил замечательно талантливых людей, которые погибли лишь потому, что в момент наивысшего напряжения их стремлений — они не встретили опоры, поддержки! Вот отсюда и происходит мое

отношение к «литературным младенцам», дважды родственным для меня — как люди с направлением к лучшему и как люди, желающие идти путем, который мною уже пройден и снабдил меня известной долей опыта, которого у них нет. Многим со стороны,— да нередко и мне самому,— эта возня с «младенцами» кажется смешной, частенько я делаю ошибки, но — ведь ничего нет легче, как ошибиться в оценке человека, весьма сложного, самого сложного существа. Однако нередко удавалось мне и правильно отгадывать истинную цену младенца. Это меня радостно удовлетворяет, а ошибок я — не боюсь, ибо прежде всего я сам и плачу за них. Человек дьявольски хитрый, я пишу все это Вам, литератору, который хорошо чувствует величие и прелесть езды «Неезжеными дорогами»,— пишу со скрытой целью повлиять и на Ваше отношение к «литературным младенцам». Уверенно ожидая появления в нашем мире крупнейших и даже гениальных художников, я не забываю, что Пушкин и Толстой были младенцами.

Вот как я Вас «разделал»! Недавно был у меня здесь Иосиф Уткин, юноша с талантом, несомненно, очень крупным и еще не показавший его даже в той полноте, каков этот талант на данной ступени развития. Вместе с ним были Жаров и Безыменский, отчего — между ними — Уткин весьма выигрывал.

Нина Смирнова, автор «Закона земли», тоже сибирячка?

Г. Гребенщиков в прошлом году затевал сборник в честь Ф. Шаляпина и хотел написать о Федоре статью «Шаляпин и *мировое* искусство». Вот как хватил! Я просил его объяснить мне, какое отношение имеет искусство, несомненно, великого русского артиста к Индии, Китаю, Персии, Японии, наконец,— Сибири, которая не видела и не слышала Шаляпина?

О «Сибирских огнях» напишу в конце марта, в апреле пришлю Вам, конечно.

«Рецензия» об Исаковском попала в «Известия» преждевременно. Этот бедняга Исаковский слепнет, не может читать, с трудом пишет. А живет в Смоленске, где, вероятно, нет хорошего окулиста.

Извините за длинное письмо.

Всего доброго и мой привет Вам, редакции».

За первым письмом последовало второе, третье, установилась постоянная и живая связь с Сорренто.

Я нарочно дал такой большой отрывок из письма Алексея Максимовича. Думаю, что мысли, высказанные

в нем, раскрывают очень многое в его облике. И кроме того, отрывок этот дает мне возможность меньше говорить самому. Тяжело говорить о человеке, боль от утраты которого еще слишком остра. На этот раз поэтому я буду очень краток.

Летом того же 1928 года, после возвращения Алексея Максимовича из Италии, я встретился с ним впервые в Машковом переулке. П. П. Крючков провел меня через столовую в кабинет. В узкой длинной комнате стояли письменный стол и кровать, отгороженная небольшой ширмой. Дверь кабинета была открыта. Из столовой еще я увидел знакомое по портретам лицо Алексея Максимовича, седеющий ерш его волос, прокуренные усы. Новыми для меня были только очки. Он писал, поэтому и сидел в очках. Алексей Максимович, ласково улыбаясь, встал мне навстречу, быстрым движением обеих рук снял очки и сказал:

— Вот вы какой большой. Я так и думал.

Я был смущен первой встречей. Смущение мое усилилось еще больше, когда Алексей Максимович взял стул и, поставив его около меня, предложил сесть. Хотя это была обычная вежливость хозяина, но мне почему-то показалось, что Алексей Максимович, даже будучи хозяином, не должен этого делать. Сразу на меня посыпались вопросы о Сибири, сибирской литературе. Алексей Максимович интересовался не только тем, что пишут сибиряки, как работают в своем журнале, но расспрашивал и об условиях работы, о материальном положении писателя. Потом я узнал, что эти вопросы он задавал постоянно, как только речь заходила о каком-либо новом литераторе. Живой человек всегда точно стоял перед ним.

В Москву я тогда приехал по приглашению Алексея Максимовича для работы в художественном отделе Госиздата. Естественно, и мне были заданы те же вопросы, т. е.— есть ли у меня квартира, есть ли деньги. Деньги Алексей Максимович обычно предлагал каждому литератору, материальная обеспеченность которого была для него не совсем ясна. Однажды я стал благодарить его за очень существенную поддержку. Он, поморщившись, прекратил мои неуклюжие разглагольствования.

— Владимир Яковлевич, прошу вас раз и навсегда не говорить мне о деньгах. Не люблю я деньги, давно не люблю.

Он перевел глаза на конец папиросы, дымившейся у него в руке, и точно с неохотой рассказал:

— Жил я в сырой бане. Углы промерзали. На пальцах рук опухли суставы. Пошел к К., попросил у него несколько

рублей в долг. Рассказ, говорю, напишу, отдам. А он молча, как стоял у стола спиной ко мне, так, не обертываясь, и подал трехрублевку. Я взял, повесил ее на ручку двери его кабинета и ушел.

Алексей Максимович помолчал.

— С тех пор я, сударь, денег не люблю и прошу вас о деньгах со мной не разговаривать. Вот.

За обедом Алексей Максимович в окно увидел мальчишек на крыше соседнего дома. Мальчишки с большим азартом гоняли голубей. Алексей Максимович восхищенно воскликнул:

— Вот чертенята, по самому краю крыши бегают!

Тарелка с супом была забыта. Начались рассказы о голубях,— как держать, как гонять. Алексей Максимович, сжав кулаки, изображал кувыркание турмана. Он щурился, тряс головой от удовольствия, словно у него перед глазами были не собственные руки, а голуби.

Потом он заставил меня рассказать о Сибири. Узнав, что я был в Монголии, стал расспрашивать и об этой стране. Не желая отнимать время у Алексея Максимовича, я комкал свой рассказ, но он просил, когда я замолкал, говорить еще и еще, задавал вопросы. Прощаясь, он сказал мне:

— Завидую я вам. Много вы видели.

На это я с удивлением заметил:

— Вам ли, Алексей Максимович, мне завидовать — вы, кажется, весь мир объездили.

— Ну, знаете ли, это преувеличено, преувеличено.

У него была постоянная и хорошая зависть к знанию. Если в разговоре обнаруживалось, что он еще не читал какой-нибудь новой книги, а вы читали, то немедленно следовало горькое замечание:

— Да, мало я читаю! Нет времени! Раньше, правда, читал, ничего. Досадно, черт возьми!

Про Сталина, про его необычайное умение на все находить время и буквально все знать — говорил с любовью:

— Удивительный человек. Я ему говорю, что, мол, есть неплохая книга Далецкого «Концессия», а он мне: «Знаю!» Я спрашиваю: «Откуда у вас время на такие вещи?» Улыбается. «Надо,— говорит,— уметь организовать себя, тогда на все хватит!»

Любил Алексей Максимович знать, любил, чтобы и другие знали. Бывшая батрачка Галина Грекова, ставшая профессором, или Вера Жакова, девочкой еще поглотившая океан книг, были из тех людей, которых он всегда ценил.

Про Георгия Шторма он как-то сказал мне:

— Есть, знаете, такие краеведческие книжечки 60-х и 70-х годов, в букинистических лавках продаются неразрезанными, а ему известны, он читал, знает. Вот какие у нас имеются литераторы!

Беда была, если вы обнаруживали свое невежество в вещах, по его мнению, всем известных. Алексей Максимович тогда хмурился, стучал всеми пальцами правой руки по столу (в левой обычно папироса) и говорил огорченно и укоризненно:

— Не знать этого нельзя. Нужно это знать каждому грамотному человеку.

Обладая чудовищной эрудицией, Алексей Максимович любил спросить у собеседника его мнение о самых разнообразных предметах. Экзаменовал он обычно очень тонко. Он не задавал прямых вопросов, а рассказывал сам и вдруг начинал щелкать пальцами.

— Забыл, забыл. Ну, как его? Вот, знаете ли вы, вот он написал книгу? — Или: — Вот этот роман З.? Ну, как этот его роман-то?

Для того чтобы подсказывать в таких случаях, нужно было очень много знать. Иногда стол, полный литераторов, смущенно молчал. Никто не мог напомнить Горькому о забытом им авторе или книге.

Случалось, рассказывал он что-либо из своего написанного и напечатанного, а собеседник слушает как новость и даже скажет с умилением:

— Замечательные вещи вы рассказываете, Алексей Максимович, почему не напишете об этом?

Алексей Максимович лукаво улыбнется и ответит, постукивая пальцами:

— Времени все нет, знаете ли. Писателю писать некогда, читателю читать недосуг.

Доводилось и мне проваливаться на экзаменах у Алексея Максимовича. Но один раз провал был с особенным треском. Об этом и расскажу.

Не знаю почему, но замечательную повесть о жизни Клима Самгина я прочел не сразу после выхода ее из печати. Алексею Максимовичу признаться об этом не решился. Отзывы мои о Климе Самгине поэтому некоторое время ограничивались ничего не значащим гымканьем или просто молчанием.

Рассказываю я Алексею Максимовичу про случай один в деревне. Он останавливает меня: «Позвольте, позвольте, ведь это у меня описано». Я сразу краснею. «Где, Алексей Максимович?» — «Да в «Климе Самгине».

Бормочу совсем смущенно: «Не помню». Алексей Максимович улыбается и тоже краснеет. «Да, как раз в «Климе Самгине», отлично помню».

После таких разговоров, наверное, он садился за стол, надевал очки, брал в руки перо... И мы читали в «Правде» его гневные статьи о том, что литераторы наши мало читают, мало знают, что для них надо открыть особый вуз.

Знание — вот первое, что требовал он от каждого.



О ТОМ, КОГО УЖЕ НЕТ

(Унгерн)



а допросе в Штабарме. Он сидит в низком мягком кресле, закинув нога на ногу. Курит папиросы, любезно предоставленные ему врагами. Отхлебывает чай из стакана в массивном подстаканнике. Говорит спокойно, не торопясь.

— Раз войско мне изменило, я буду откровенен.

Режет глаза белый офицерский Георгий, генеральские погоны. Халат яркий, золотистый, лиловый кушак из материи. Острыми концами гнутся мягкие монгольские сапоги. Папиросы очень хорошие, барон не курил таких. Затягивается с удовольствием. Голос тихий. Он знает — его судьба уже решена. Терять нечего. Последние минуты жизни дороги. Не сон ли это? Вместо вонючей и грязной тюрьмы — уютный кабинет, мягкая мебель. Вежливые, интеллигентные собеседники. Один — старый офицер генерального штаба. И это враги? Да, враги. Вежливо, но настойчиво, временами с ласковыми снисходительными советами, старый генштабист умело ведет допрос.

Барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг, 34 лет, из Эстляндской губернии, с острова Даго. Окончил Павловское военное училище. Судился два раза при царе — за пьянство и избиение какого-то адъютанта. Лоб у барона высокий, со шрамом. Сабельный удар справа налево. На поединке получил. Усы длинные, висячие, казачьи. Борода бурой щетиной лезет из подбородка. Прическа, косой ряд белокурых волн, не совсем в порядке. И это он? Смертная казнь разных степеней. Ведь это совсем обиженный богом и людьми человек. Забитый, улыбающийся кроткой, виноватой улыбкой.

Какой он жалкий.

Но это только кажется. Это смерть, держащая его уже за ворот княжеского халата. Это она своей близостью обратила тигра в ягненка. Когти спрятаны, но они еще остры, и они есть.

— Зачем вы выбрали неудобный узкий горный коридор для действий своей конницы?

— Да, да, неудобный. Это моя ошибка.— Барон торопливо соглашается.— Но было соображение.

И это мимоходом. На секунду огоньки мелькнули в больших голубоватых глазах. Он знал, что делал. Сухая тонкая рука скелета с длинными пальцами и такими же плоскими желтыми ногтями с траурной каемочкой жадно тянется к коробочке с папиросами. Допрашивающий — воплощенная любезность. Глаза предупредительно улыбаются.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Но в крепкой, плотной фигуре в черной гимнастерке, в прямой, упругой спине, в безукоризненной военной выправке — сталь. Холодная и неумолимая.

Ягненок хитро ведет свою линию. Кого выгораживает. Кого пачкает.

— Были у вас перебежчики от нас, бывшие офицеры?

— Ни одного. Ни одного.— Утверждение категоричное, безапелляционное.

— А комиссары наши как вели себя у вас?

— Из комиссаров очень были хорошие служаки. Хорошо работали.

Кругом вспыхивают улыбки.

— Да?

Большинство наших комиссаров — бывшие унтер-офицеры. Настоящие унтер-офицеры старых учебных команд. Хорошие бойцы.

— Но ведь вы же всех коммунистов уничтожали?

— Безусловно.

— Ну, а комиссары ведь коммунисты?

Барон уклоняется от ответа.

— Коммунистов — я с семьями, чтобы хвостов не оставалось, лишнего балласта.

Это уже не первый допрос. Барон выжат уже, как лимон. Он сказал очень многое. Крепкая фигура в черном поднимается с кресла.

— Ну-с, сегодня вы поедете дальше.

Встает и барон.

Враги раскланиваются. У Унгерна усы растрепаны, бессильно опущены вниз. Начальник штаба, все с той же любезной улыбкой, трогает свои острые, холеные, задорно лезущие кверху.

— Вы разрешите вас снять? — А тон такой, что об отказе не может быть и речи.

— Пожалуйста, пожалуйста, хоть со всех сторон.

После фотографа Унгерн на четверть часа в моем распоряжении. Сажусь на стул, рядом, напротив.

— Я хочу поговорить с вами не как следователь, я не хочу вас допрашивать. Я знаю, допросы вас утомили и, наверное, надоели вам. Я беллетрист, немного историк. Меня интересует только нравственная сторона, идейное обоснование вашей борьбы.

Кажется, удачно. Барон улыбается. Но он недоверчив немного к человеку с красной звездой на груди. Наверное, какой-нибудь «товарищ» безграмотный.

— А вы человек образованный? — Барону нужно знать, с кем имеет дело.

— Немного по печатному разбираю.

— Ну я готов.

— Скажите, почему вы ссылаетесь на священное писание? Зачем нужен был вам апокалипсис? Вы искренне верили?

— Безусловно. Вот вы знаете Конфуция? У него, как и у вашего Ленина, как в коммунизме, ничего нет о боге, о загробной жизни, все только о том, как бы здесь устроить и установить порядок. Учение Конфуция — религиозное учение. Учение вашего Ленина и коммунизм — тоже религия. Я полагал, что с религиозной идеей и такой сильной, как ваша, можно бороться тем же оружием — религией. Коммунизму я противопоставил христианство.

— Но ваш террор? Разве это по-христиански? С семьями, с детьми?

— Это не террор. Это обычай Востока. У китайца, у монгола враг, глава семьи, неотделим от членов семьи. Убить одного мало восточному человеку, надо всех. Я должен был угождать своим жестоким солдатам. Это я делал для них. Хотя, в конце концов, это была моя ошибка. Так не надо бы.

Клубы дыма стоят над бароном. Он делает долгую затяжку. Сосредоточенно молчит некоторое время.

— Моя идея — создать кочевую монархию от Китая до Каспийского моря. Я за монархию. Без послушания нельзя. Николай I, Павел I — идеал всякого монархиста. Нужно жить и управлять так, как они управляли. Палка прежде всего. Народ стал дрянной, измельчал физически и нравственно. Ему палку надо. Вообще белые никуда не годятся. Я за желтых. Желтые, несомненно, победят. У меня жена китаянка. Я за желтых.

— Кто писал, составлял ваши приказы?

— Я приказывал,— неожиданно у барона прорвалось прежнее, вольное. Сжались сухие кулаки. Глаза провалились под нависший тяжелый лоб.

Я приказывал.

Да, ты приказывал. Не щадил... На секунду почувствовался настоящий Унгерн. Сильный, с огромной инициативой, несомненный организатор, боевик, сорви голова и палач. Палач божьей милостью, по призванию, вдохновенный.

— Вас просят в Ревсовет!

Наша беседа окончена. Барон торопливо вскакивает, оправляет, запахивает халат. На лице прежняя виноватая, тихая улыбка. Смерть напоминает о себе. Барон, придавленный ею, ступает тяжело, немного откидываясь назад... Теперь его уже нет.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПУШНИНА

По поводу пятилетия журнала «Сибирские огни»

ПЕРВЫЙ КРИК НОВОРОЖДЕННОГО



ысяча девятьсот двадцать седьмой год щедр на юбилеи. Маленький юбилей он подарил и нам. Надо сознаться — мы прожили эти годы без предварительно составленного «плана пятилетки». Однако мы можем похвастаться, что баланс у нас активный. Конечно, бухгалтерия Сибкрайиздата скажет, что мы в течение этих пяти лет съели некоторую сумму денег и не дали ни копейки прибыли. Но кто в наше время безоговорочно верит бухгалтерии и кто и когда расценивал литературу на вес золота?

Пять лет прошло с тех пор, как присутствовали т-щи: Басов, Березовский, Правдухин и секретарь Сейфуллина (на заседании редакционной коллегии Сибирского Государственного издательства 9 декабря 1921 года).

Они:

Слушали	Постановили
1. О смете и схеме производственного плана на 1922 год.	1. Смету в расчетной части утвердить, вопрос об издании общесибирского журнала выделить, поручить тов. Правдухину разработать программу журнала к следующему заседанию...

В этом протоколе не хватает Д. К. Чудинова[1], одного из инициаторов создания журнала.

Программа была разработана и принята коллегией.

Старые сибирские писатели и молодые начинающие стали получать письма от правления Сибгосиздата. В письмах каждому предлагалось дать одно из своих произведений в новый общесибирский «литературно-художественный и научно-публицистический журнал «Сибирские огни»,

[1] Чудинов Дмитрий Константинович (1890—1937) — участник революционного движения в Сибири, подпольщик, с 1920 г. зав. Сибоно, принимал участие в основании журнала «Сибирские огни», печатался в нем с 1922 по 1930 г., организатор и участник журнала «Просвещение Сибири» (1923—1936, в Новосибирске).

письма были подписаны секретарем редколлегии Сибгосиздата Л. Сейфуллиной.

В первую редколлегию вошли пять человек — Басов, Березовский, Правдухин, Тумаркин[1] и Емельян Ярославский. Сейфуллина стала секретарем в квадрате. Шестерка начала свою работу в январе 1922 года. Первый номер журнала вышел в марте.

Редакция сразу же захотела опереться в своей работе на общественное мнение. Она отлично знала, что издание литературно-художественного журнала в сибирских условиях — дело нелегкое.

Редакторы с нетерпением ждали первых отзывов читателей.

Сейфуллина замаскировала это нетерпенье в дурашливо написанном приглашении:

СИБАМ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

«Принимая во внимание, что все, с должным благоговением поименованные в заголовке лица, и Вы в том числе, безусловно не уступят Белинскому, Луначарскому, Когану в знании литературы и суждений о ней, Сибирское Государственное издательство просит Вас пожаловать на одну жестяную кружку без сахара, но с собеседованием о литературном отделе номера первого журнала «Сибирские огни», присовокупляя к сему радушному приглашению разрешение захватить бутерброд или что другое съедобное исключительно для себя, гарантируя в данном случае охрану частной собственности на территории управления Сибгосиздата. Все посягательства других заинтересованных лиц на Ваше Вами принесенное съедобное будут пресекаться в корне со всей строгостью революционных законов. Для охраны мобилизованы бурный темперамент тов. Сейфуллиной и внушительное воздействие басистого тов. Басова.

За все вышепоименованные блага приглашаемые обязуются к субботе 25 марта, к 6 часам вечера, прочитать весь литературный отдел номера первого журнала «Сибирские огни» (не возбраняется и остальные отделы) и возыметь свое собственное мнение о нем. Критика и доказательства допускаются во всем их многообразии, за исключением убеждения действием».

На оригинале рукой Басова сделана сердитая приписка: «Не читавших и не имевших собственного мнения просим не являться».

---

[1] Тумаркин Давид Григорьевич (1897 — около 1940) — партийный работник, один из организаторов журнала «Сибирские огни», редактор газеты «Советская Сибирь» (1925).

13—2299

Приглашение подписано Басовым, Правдухиным и Сейфуллиной.

Обмен мнениями был горяч, как края жестяных кружек, из которых спорящие пили чай без сахара. Соседи Сейфуллиной («обмен» происходил на ее квартире) были очень недовольны.

СОРТИРОВОЧНАЯ

Работа редакторов — работа терпеливых старателей, изо дня в день моющих на редакционной бутаре тяжелый песок рукописей для того, чтобы намыть на очередной номер две-три крупинки металла, который не всегда бывает золотом.

Впрочем, заголовок фельетона обязывает нас оперировать терминами пушно-заготовительными, а не золотоискательскими.

Итак, мы в сортировочной. На сортировке литпушнины первое время стоял за главного Валериан Правдухин — человек с большим лбом, с большим носом и в очках. Рубаха у него, конечно, русская, без пояса, и сапоги не чищенные. Толк в вещах он знал и дело свое любил больше жены (жена у Правдухина писательница и часто от его критики плакала).

Плохой рассказ он щупал со всех сторон, как беличью шкурку. Автора увещевал долго и шумно, потом спокойно рассказывал ему историю русской литературы.

От нескольких хороших рассказов или поэм его сердце билось и кипело, как чайник на сухих щепках. И изо рта его, малого и худого, вырывались горячие блестящие ниточки.

Авторам писал он всегда длинно и ласково по-отечески.

Пишет он критические статьи, рассказы, стихи. Но интереснее Правдухин на охоте, на берегу весеннего крякающего, гогочущего озера или в тихом золотом березнике в прозрачный день, когда тетерева в ягдташе долго не стынут.

Работающие в редакции обычно разделяются на сортировщиков и приемщиков. Сортировщики несут всю тяжесть правки вещей, разговоров и переписки с авторами. Они перечитывают горы рукописей. Приемщики читают только отобранное сортировщиками и коротко говорят — да или нет. Сортировщиков бывает меньше, чем приемщиков. Случается, что в этой почтенной роли оказывается один человек — секретарь редакции.

В первой редколлегии сортировщиков было четыре — Правдухин, Басов, Сейфуллина — постоянные и Березовский — перебойный.

Басов носил большую рыжую бороду и такие же усищи, когда ему было двадцать три года. Через год бороду он сбрил, но у него остался густой бас и толстые усы. Это было в двадцать первом году, когда он сидел председателем в редколлегии Сибгосиздата. Никто тогда не заметил, что он очень молод.

Басов написал маленький рассказ «Эвакуация». Рассказ злой и жгучий, как неожиданно вспыхнувшая в кармане спичечная коробка, полная спичек. Басов обжегся. Труд писателя ему показался слишком тягостным для его двадцати трех лет, и он перестал писать, он стал только подписывать и резать написанное другими. Басов стал редактором, издателем и книготорговцем.

Сибирские беллетристы и поэты часто его имя произносят с руганью — скуп. Басов выдумал режим экономии еще задолго до того, как он был декретирован Совнаркомом. Теперь Басов коротко подрезал усы. Ему не надо уже быть солиднее своего возраста. Басов румян, спокоен — он знает, что эти пять лет шел хорошо, что он на своей дороге.

Переписки с авторами Басов предусмотрительно избегает.

У Феоктиста Березовского крепкие волосатые руки с короткими тупыми пальцами, карие самоуверенные глаза и черные седеющие усы, старательно поднятые над губами.

Березовский знает старую Сибирь и умеет ее показать. Березовский мог бы быть хорошим бытописателем кондовой, дедовской Сибири. Но Березовский не хочет писать «рассказов бабушки». Он слишком хорошо знает, какие книги нужны сейчас.

Березовский все свои силы отдает современности. Бросил службу, упорно пишет. Даже сбрил усы, но это ему не помогло — молодым он не стал. Жаль — хорошие усы погубил Березовский.

В редколлегии он делал авторам замечания по части краеведения и текущей политики.

Самыми первыми и самыми лучшими приемщиками в «Сиб. огнях» были — Емельян Ярославский и Д. Тумаркин.

Описывать их мы не станем, так как они люди партийные, у каждого из них есть «личное дело», где все их особые приметы и перечислены.

Но сердца наши теплеют, когда мы вспоминаем их обоих сидящими с жестяными кружками чаю. В вечер выхода первого номера журнала Емельян Ярославский

боролся с Правдухиным прямо на снегу около редакции.

Ярославский как-то резко запротестовал против утверждения Правдухина, что «Сибирь не любит цветов, не любит искусства». Дело было на квартире первого. Ярославский, поминутно подбрасывая в железку дрова, усердно рыл свой якутский багаж. Наконец, он извлек картину, написанную им самим в ссылке. На картине передний план занимали цветы, невероятные по цвету и по размеру. Автор заверил присутствующих, что все это им нарисовано «добросовестно и точно». С «добросовестностью» все согласились.

Тумаркин пишет сейчас с Кавказа, что он мечтает снова о работе в журнале, как влюбленный юноша... Как же нам забыть их...

Лидия Николаевна Сейфуллина, женщина несдержанная по части всяких слов, занимала три должности — секретаря редколлегии Сибгосиздата, секретаря редколлегии журнала и еще была у нее должность на всех литературных заседаниях и собраниях. Должность эта заключалась в том, что Лидия Николаевна защищала литературу и начинающих писателей. Если же с ней не соглашались, то она весьма красноречиво стучала пальцем себе по лбу, потом по столу и говорила несоглашающемуся:

— Вот вы кто, товарищ!

К моменту выхода второго номера в редакции стал работать Вивиан Азарьевич Итин. Сейфуллина прозвала его «спящим царевичем». Но это не совсем верно.

Итин часто смотрит на вас, но не видит, слушает вас, но не слышит. Итин всегда сам в себе. Но у него хороший слух и большие глаза. Итин слушает и смотрит только то, что хочет и когда хочет.

Итин спокойно независим. Он знает, как делаются рассказы и стихи, он учит этому искусству молодых поэтов. Он сам умеет крепко сделать повесть, поэму.

Итин читает американские журналы и чисто, аккуратно бреется. Он иногда кажется джентльменом, смотрящим на мир несколько свысока. Он свои повести стрижет тщательно, как голову, и скоблит бритвой, как щеки. Его работы хорошо отполированы. Они всегда холодят руки.

В 1923 году в редколлегию был введен Вениамин Давидович Вегман. С его появлением началась у нас в журнале «историческая полоса». В. Д. во вред своим прямым обязанностям (заведование Истпартом), во вред ему (Истпарту) тащил в журнал из него и из Сибархива все, что находил ценным. Сибистпарт и Сибархив явно страдали, а централь-

ные печатные истпартовские органы, вместо того, чтобы бить тревогу, стали хвалить наш журнал, объявили его одним из лучших своих изданий.

В. Д. был доволен, но читатели не очень.

Вегман долго жил в Вене. От этого ему легче сидеть в театре, чем в архиве или в редакции. От этого он охотнее пишет рецензии об операх, чем о книгах.

Вегман человек одаренный. Он пишет свои воспоминания, как художник. Но он необычайно молод, несмотря на свои пятьдесят три года. Молодость, конечно, не вина, а беда. Она не дает возможности Вениамину Давидовичу спокойно посидеть за столом и написать то, что он может и что он должен написать.

Пока что Вениамин Давидович бегает, ругается, присутствует и фотографируется.

В редакции «Сибирских огней» В. Д. всегда неожиданный, быстрый и ворчливый гость. Он редко говорит спокойно, он ругается. Но он не может говорить громко. Поэтому можно работать в то время, когда он ругается.

Много людей перебывало в редколлегии за пять лет. Всех не перечесть. Только, надо сказать прямо, такие иногда попадались приемщики, что не только там телеутку, скажем, от енисейской не отличали, но просто не знали — выходная эта белка, невыходная или подпольная. Хорошо ли она посажена и изобихожена. Ничего не знали.

Можно было бы, конечно, порекомендовать им почитать сочинение Сергея Иванович Орлова «Пушная шкурка и уход за нею» (издание Сибкрайиздата, 1925). Хорошая книга для начинающих редакторов и писателей. Ну, да куда там.

Разгорались поэтому в редколлегии бои. Спецы-старожилы воевали с новоселами. По-разному кончались стычки. Но «в общем и целом» спецовская линия восторжествовала. Сортировка у нас теперь, можно сказать, стоит на должной высоте.

25 ПРОЗАИКОВ И 39 ПОЭТОВ

Конечно, дело не в количестве, а в качестве. Но раз мы заговорили о балансе, да еще активном, то надо его выводить.

В журнале появились имена писателей старшего поколения — И. Гольдберга, А. Новоселова[1], Ан. Сорокина,

[1] Новоселов Александр Ефимович (1884—1918) — писатель, в «Сибирских огнях» посмертно опубликованы главы из кн. «Лицо моей родины» (1923.— № 5—6; 1924.— № 2).

П. Драверта[1], А. Оленич-Гнененко, Г. Пушкарева, Ф. Березовского, Ст. Шилова[2], Г. Вяткина, П. Казанского[3] и др.

Напечатались знатные «иностранцы» — Ю. Либединский, Н. Асеев, П. Орешин[4] и др. Один раз прислал «письмо на родину» Всеволод Иванов (рассказ «Амулет»).

Журнал не только собрал старых писателей Сибири, но выявил, выпестовал новых. Через его страницы пришли в литературу 25 прозаиков и 39 поэтов. Среди них — Л. Сейфуллина, А. Караваева, В. Итин, А. Каргополов, М. Кравков, К. Урманов, Ф. Тихменев, Н. Дубняк, П. Далецкий, Р. Фраерман, А. Коптелов, М. Никитин[5], А. Шугаев, П. Стрижков, Е. Анучина, Ив. Ерошин, Л. Мартынов, Н. Изонги[6], Г. Павлов[7], И. Уткин, М. Скуратов, К. Беседин[8], Б. Благодатный[9], С. Марков, А. Козлов[10], И. Мухачев и др.

За семью-восемью десятками печатавшихся и печатающихся идут безвестные шеренги молодняка. Молодняк упорно бомбардирует редакцию сотнями рассказов, стихов, повестей.

Но путь к журнальным страницам всегда лежит через волчьи ямы редакционных корзин и неумолимые колючки редакторских перьев. Не каждому и не многим суждено попасть в печать. Попадают только наиболее упорные и одаренные.

В журнале ежегодно появляются пять-семь новых имен

---

[1] Д р а в е р т Петр Людовигович (1879—1945) — поэт, ученый, в «Сибирских огнях» печатался с 1922 по 1941 г.

[2] Ш и л о в Степан Самойлович (1885—1954) — революционер, писатель, в 1924 г. напечатал в «Сибирских огнях» очерк «Машкина «соль».

[3] К а з а н с к и й Порфирий Алексеевич (1885—1937) — журналист, поэт, выступал в «Сибирских огнях» со стихами.

[4] О р е ш и н Петр Васильевич (1887—1938) — поэт, печатался в «Сибирских огнях» (1922.— № 4).

[5] Н и к и т и н Михаил Александрович (1902—1973) — писатель, с 1925 по 1934 г. интенсивно выступал в «Сибирских огнях».

[6] И з о н г и (Василевская Нина Александровна, 1895—1973) — поэтесса, печаталась в «Сибирских огнях» с 1924 по 1936 г., затем прекратила активную литературную работу.

[7] П а в л о в Георгий Павлович (1895—1943) — поэт, прозаик, в 30-х гг. был тесно связан с «Сибирскими огнями».

[8] Б е с е д и н Константин — поэт, журналист, печатался в «Сибирских огнях» в 1922 и 1925 гг., опубликовал сб. стихов «Странствование» (Новониколаевск, 1923).

[9] Б л а г о д а т н ы й Борис Михайлович — поэт, в «Сибирских огнях» выступал в 1924 и в 1933 гг.

[10] К о з л о в Аристарх — поэт, журналист, печатался в 20-х гг. в газете «Советская Сибирь», в журналах «Сибирские огни» (1925) и «Сибирь» (1925).

поэтов и беллетристов. Они приходят в большинстве случаев из комсомольского, рабочего и крестьянского молодняка. Пять-семь принятых и десятки отвергнутых. Отвергнутые попадают в число обрабатываемых. Редакция правит и режет их рукописи, ругает, хвалит, но не печатает.

В печать обрабатываемые попадают через два года, через год. Первое время они удивляются, что в их рассказах появились вещи, о которых они не думали и не писали. Потом они смиряются и начинают думать и писать о том именно, о чем нужно, и редакция печатает их вещи без поправок.

Так создается активный баланс журнала.

ПУШНИНА ЭКСПОРТНАЯ

У нас установился обычай вывозить все лучшее «за границу». Понравится, не понравится загранице наш товар, нужен он ей или не нужен — неважно. Важно в балансе показать солидную цифру вывоза.

Вывозом своим, впрочем, мы можем похвастаться. Вывезли мы не какую-нибудь заваль, а товар первосортный. Но об этом ниже. Сейчас же уместно сказать о злокозненности нашего заграничного покупателя.

Появляется на нашем рынке хорошего качества литпушнина. Заграница не замечает. В своих бюллетенях равнодушно констатирует — стихи и рассказы бледны, провинциальны... Так было, когда у нас начинали печататься Уткин, Скуратов, Караваева.

Едут Уткин, Скуратов, Караваева «за границу» (в Москву), помещают в московских журналах свои, иногда уже напечатанные в Сибири, вещи. Москва хвалит, отмечает, выделяет. Теперь, если автор, хоть раз хорошо прошедший на московском рынке, вновь выступит в провинции со слабой вещью, а рядом с ними будут вещи более яркие, но авторов еще не «торговавших» с Москвой, Москва обязательно напишет:

— Рассказы, стихи бледны, провинциальны. Выделяются стихи...— Следует фамилия знакомого ей поэта.

Таким образом, мы заранее можем сказать, что отзыв на настоящий номер нашего журнала будет такой:

— Рассказы и стихи однообразны и серы. Выделяются стихи Джека Алтаузена.

Джек Алтаузен слабее Л. Мартынова, но он уже печатался в Москве, Мартынов же еще не печатался, поэтому его стихи замечены не будут.

Видимо, у столичных рецензентов есть свой литературный Госплан или Наркомторг, согласно «регулирующим» предположениям которых выходит, что в провинции могут быть вещи только малоценные, а писатели только начинающие.

Чем же иным можно объяснить, например, что рецензент «Красной нови» квалифицировал на страницах этого уважаемого журнала нашего Исаака Гольдберга как писателя начинающего. Рецензент был так «снисходителен», что даже нашел выступление Гольдберга довольно удачным.

Словом, мы стоим перед фактом жесточайшей уценки продукции сибирского писателя за то только, что она (продукция) сибирская.

Такая несуразная конъюнктура рынка, вероятно, еще долгое время будет вызывать у сибирского писателя стремление к реализации своих заготовок «за границей». Даже больше — она будет стимулировать выезд писателя в центр.

К тому же, страна наша еще не индустриализирована и почти не заселена, и рынок ее малоемок.

Все это, вместе взятое, вероятно, и обусловило выезд из Сибири Всев. Иванова, Лидии Сейфуллиной, Вал. Правдухина, А. Караваевой, Иос. Уткина, М. Скуратова, Вл. Заводчикова[1], Дж. Алтаузена и др.

Всеволод Иванов и Лидия Сейфуллина занимают сейчас в русской литературе одно из первых мест.

Всев. Иванов из Сибири вывез целые пушные сокровища. В Москве он из вывезенного нашил себе таких шуб, что сибиряк, встречаясь с ним, только руками разводит. Люди же российские, и притом не искушенные по части этнографии, ему верят безоговорочно, верят, что в Сибири только такие шубы и носят.

Не будем и мы опровергать своего земляка. Ведь то, что считается недопустимым в этнографии, допускается в литературе. На этот счет придуманы даже специальные оправдательные термины — экзотика, романтика и т. д.

Вообще же Всеволод Иванов не нуждается ни в оправданиях, ни в опровержениях. Он просто крепкий и коренастый человек с круглым увесистым кулаком и с крутой, широкой и жадной ноздрей. Глаза у него, вероятно, очень хитрые, крестьянские (хотя он и рабочий). Но их не видно под полумаской огромных роговых очков.

---

[1] Заводчиков Владимир Павлович (1904—1969) — поэт, печатался в журнале «Сибирские огни» в 1925 и 1927 гг.

Лидия Николаевна Сейфуллина — женщина с наружностью одного из степных южных нацменьшинств. В первое время в Сибири она боялась простудиться, поэтому в литературу вышла в теплом сибирском малахае, туго надетом на оренбургский платок. Но краеведы этого не заметили.

Но писательница быстро акклиматизировалась и стала ходить исключительно в сибирских мехах. Хотя мы подозреваем, что с оренбургским платком писательница все же не расставалась. Успех у нее был шумный. Выехала из Сибири она по собственному желанию. Своими выступлениями способствовала прославлению своей «литературной» родины.

В настоящее время живет в Ленинграде. Но есть слух, что старая сибирская шуба у нее еще цела и тщательно хранится. Нам кажется, что она ей больше к лицу, чем все новые наряды.

Анна Караваева родом с Урала. В Сибири жила долго. «Литературно родилась» в Барнауле. Оттого, что у Караваевой «две» родины, она иногда путает уральскую флору с сибирской. Но это ошибки, так сказать, ботанические, а не литературные.

Разговаривая, она сильно машет руками и старается казаться грубее, чем есть на самом деле. В литературе она тоже старается... вернее, не старается, а торопится, от этого ее вещи хуже того, что она может дать. Как-то Караваева писала:

— О чем бы я ни писала, я всегда думаю о нашей борьбе, о своей партии, о ее великом пути...

Это хорошо. Но плохо, что это видно в ее повестях. Читатель часто видит, как она думает о путях партии и забывает о путях литературы.

Печатается Караваева в «Красной нови» и «Новом мире». Начала литературную работу она в «Сибирских огнях» в 1923 году.

Исаак Гольдберг живет в Иркутске, но часто печатается и перепечатывается в России. Творчество его поэтому можно считать вполне экспортным.

Гольдберг, как и Итин, чисто бреется, аккуратно стрижется, тщательно одевается. Он шапку надевает осторожно, как лавровый венок, боясь помять и ее и свои пышные волосы. Гольдберг знает, что в Сибири он сейчас первый мастер.

Глаза у Гольдберга большие, влажные, и кажется, что они больше думают, чем ненавидят. А ведь этот человек в пятом году бегал по улицам с револьвером за поясом, си-

дел в тюрьме, отбывал ссылку. Царское правительство сделало доброе дело — оно показало сибирскому писателю Сибирь.

Не верится, чтобы Гольдберг сам, по своему желанию, поехал в деревню, в тайгу. Трудно себе представить, как он смог бы лечь спать в избе на полу. Ведь у него так хорошо разглажены брюки и всегда чист цветистый галстучек.

Гольдберг очень грамотен, он никогда не скажет лишнего или корявого слова. От этого бывает скучно.

Гольдберг наметавшейся рукой строит чистенькие деревянные домики своих рассказов. Читатель послушно идет за писателем и заранее знает, что он проведет его через светлые сени в маленькую переднюю. Там писатель предложит читателю снять шубу и проследовать за ним в комнаты, где вымытые полы старательно покрыты пестрыми дорожками половиков...

Иногда Гольдберг заведет в один из этих домиков буйную компанию гуляк или боевую ватагу партизан, подожжет его со всех сторон. В горящем доме даже поднимется стрельба и будут разрывы бомб. Но читатель может быть совершенно за себя спокоен — ни одна пуля не заденет его, горящая балка неожиданно не свалится ему на голову. Опытный писатель своевременно отведет читателя в сторонку.

Иногда кажется, что Гольдбергу нужно поехать в тайгу и срубить себе новую просторную избу.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАМКОВ

Ленин сказал, что каждая кухарка должна научиться управлять государством. Поэтому у нас писателя берут за шиворот и говорят — ты должен быть председателем шефкуста.

Но что писателю куст, когда он уже был председателем земного шара (Велимир Хлебников)?

Каждый писатель и поэт хочет, по меньшей мере, построить один воздушный замок. Им возражают, что это строительство не предусмотрено Сибпланом. Им предлагают удовлетворить свой писательский зуд в стенгазете или стать «министрами».

Наполеон был в таких случаях практичнее. Он говорил:
— Как кокеток не следует брать в жены, так и писателей не надо брать в министры.

Из нас упорно делают «министров», так как эти должности предусмотрены штатами всех наркоматов. Резуль-

тат — из нас выходят плохие «министры» и плохие писатели.

Беда сибирского писателя в том, что у него нет досуга. Писатель не выполняет своей основной работы — он служит, он имеет общественную нагрузку. Писательство же не считается ни нагрузкой, ни основной работой. Иногда доходит до курьезов. Писатель пишет в стенгазету — его хвалят, говорят, что он общественный работник. Писатель печатается в журнале, выпускает отдельным изданием в ГИЗе свою книгу — его ругают, он не ведет общественной работы (?!).

Обо всем этом достаточно говорилось на первом сибирском съезде писателей в прошлом году. Но у нас по-прежнему почти нет времени для своей основной работы.

Отсюда — кустарничество, отрывки из романов, повестей и даже рассказов, которые если и будут кончены, то очень не скоро. Характерно, что ни один писатель, живущий в Сибири, не написал романа. Роман — это досуг, это отрешенность на месяцы от какой бы то ни было работы, это вороха книг, это настоящий воздушный замок. Ухо строителя должно слышать только удары своего молотка и звон кующегося материала.

Но мы ведь должны говорить о пятилетии «Сибирских огней», а не о материально-правовом положении писателя... Да... но будем все же осторожней в наших оценках его работы. Многого он не сделал не потому, что не сумел. Писатель из «Сибирских огней» — сплошь совслужащий, а часто при этом еще и коммунист.

Будем осторожны, но и строги. Кое-что надо поставить в вину и писателю.

Есть у нас неплохой поэт А.Оленич-Гнененко. Он так «заслужился», что с некоторой опаской даже оглядывается на свои поэтические занятия в прошлом. Он боится на службе, на заседании сказать «поэтическую ересь». Оленич засыпает себе рот сухим песком циркуляров. Но бывает, что, «душа поэта встрепенется», и Оленич украдкой ночью начинает писать стихи. Днем на службе, обескураженный своими ночными «галлюцинациями», он полувопросительно, полуутвердительно говорит сослуживцам:

— Я думаю, про меня не могут сказать, что у меня мозги с вывертом...

Говоря так, Оленич забывает ночь, стихи и что он все же поэт.

В «Сибирских огнях» в 1926 году начал работать другой совслужащий и коммунист — А.Каргополов. Человек этот

черняв, густоволос, низколоб и коренаст. Свою фамилию он произносит через два эр. Эр хрустит у него на зубах, как орех. В революцию он пришел из деревни в 17-м году с аттестатом об окончании двухклассного училища. Было ему тогда 17 или 18 лет. Каргополов комиссарил, учился в Гиже, работал в газете.

Его сатирический замах дерзок и обещающ. Но у начинающего писателя нет еще грамотности мастера. Он не знает, что значит композиция вещи. У него мало «выдумки». К сожалению, он много списывает «с натуры» и живых людей выводит, даже не сменив, а только слегка изменив их фамилии. Некоторые читатели почему-то считают его злым «выдумщиком».

Каргополов молод, но уже порядочно поработал в совучреждениях. Советского бюрократа, служилую подхалимствующую мелкоту он знает и ненавидит. Огненная ненависть иногда застилает ему глаза, мешает видеть настоящих, наших подлинных советских работников, строителей и организаторов...

Коптелов — такой же крестьянин, но помоложе Каргополова, склонен, наоборот, идеализировать город. Коптелову деревня намяла шею. Деревня для него — бычье ярмо. Если бы смог человечьим языком заговорить яремный бык, он заговорил бы, вероятно, с коптеловским упорством о пользе машин, о светлой и освобождающей роли фабрик и заводов.

Коптелов умеет ненавидеть. Темную, суеверную, сытую и косную деревню писатель не щадит. Но творчество его не мрачно. Коптеловское отрицание свежо, убеждающе и светло, как его глаза и лоб. Коптелов не только отрицает, но и обладает редкой способностью утверждения.

Технически писатель слаб. Но ведь он молод.

Светлоглазый и светловолосый Максимилиан Кравков 18 лет от роду попал на каторгу. Его молодая ненависть окрепла в железе кандалов и камне стен одиночки. Он один, вырванный из партийного коллектива[1], из коллектива тюремного (одиночка), должен был встретить угрозу смертной казни и четыре года просидеть за дверью, с которой никогда не снимался замок.

Кравков стал идеалистом, индивидуалистом. В своих рассказах он берет сильного одиночку-человека, выходящего на борьбу со зверем, себе подобным, или с целым кол-

---

[1] Речь идет о партии эсеров периода революции 1905—1907 гг.

лективом. Пусть коллектив в конце концов своей тысяченогой пяткой раздавит смелого одиночку.

Одиночка, даже вынужденный пустить себе пулю в лоб или проколоть свое сердце ржавым гвоздем, все же чувствует себя победителем. Он сам уходит от жизни, он никогда не дается в руки врагу. Он свободен. Какая цена этой свободе — дело другое.

Сочувствие Кравкова всегда на стороне этого одиночки. Он рисует его сильным и дерзким.

Сибирь нужна Кравкову как препятствие (тайга, глубочайшие озера, бури, морозы). Он заставляет своих героев бороться не только с коллективом, но и со стихией. Сибирь Кравков любит, но, как чужеземец, старается одеть ее, дикую, в тонкие ткани романтизма.

Леонид Мартынов сильно стучит огромными не по ноге английскими ботинками и оставляет на полу мокрые куски снега. Грудь он старается открыть по-матросски, но шея у него тонка. Голос не ровен, как ни хочется поэту говорить только басом. Он еще растет вверх. Стихи его тверды на ощупь, но музыка их не окрепла, как голос, как грудь юноши.

У Нины Изонги дергаются брови. Черты лица расплывчаты, взгляд рассеян. От этого кажется, что лицо у нее все время меняется. Оно — то широкое, то узкое, то полное, то худое. Оно плывет, как кинопортрет.

Нина Изонги росла и училась в Петербурге. Она интеллигентка с головы до пят. Но она не любит людей «своего круга». От них она ушла. Ее потянуло к людям простым и теплым. Судьба или подотдел учрабсилы сделали Изонги служащей Сибкрайсоюза. Она добросовестно шесть часов в день сидела над английскими словарями. Ее мозг засаривался техническими терминами из области мыловарения и пушнозаготовок, глаза утомлялись иностранной нонпарелью.

Жила она в третьем этаже новосибирского деревянного небоскреба. Из ее окна вечерами была видна узкая полоска степи в багровой ясности заката. Но Изонги еще помнила зарево пионерских заводов. Она писала о них. Сибири она не замечала.

Неожиданно поэтесса бросила английские словари, уехала в глушь и вдруг увидела, что Сибирь — это теплая, пестрая собачья доха, большие катанки, малахай, снега. Теперь она смеется и пишет, что Сибирь — это хорошо.

Кондратий Урманов — человек грузный, большой. Но у него маленькие голубые глаза и тихий глуховатый голос. Родился он и долго жил в деревне. Ближе и роднее ему

крестьяне. Он вполне мастер, когда говорит о мужиках и бабах из хлебных сибирских сел, о киргизах из степи. Тогда его голос звонок и убедителен.

С людьми из города Урманову труднее. В борьбе с ними он грузнеет и голос его глохнет...

У Глеба Пушкарева большой хороший лоб и дергающееся усталое лицо (последствия отравления газами в мировую войну).

Оттого, что лоб у Пушкарева спокоен, а глаза и лицо мятутся, образ его двоится. Кажется, что лоб светлой тяжестью своей должен затормозить беспокойную беготню этого человека, усадить его за стол с пачкой чистой бумаги. Бумага эта должна покрыться торопливыми колечками букв, слов, строк.

Но Пушкарев «министр», у него семья, долг. Он бегает, а бумага лежит чистой.

У писателя служба, семья, собрания, тысячи мелочей, которые снимают голову не «большой горой, а соломинкой».

Только один человек во всем Сибирском Союзе писателей освободил себя от забот о завтрашнем дне.

В редакцию он обычно вбегает, стукает о стол шапкой, валится на стул и кричит вам, не обращая внимания на то, заняты вы или нет.

— Ну, слушай, и книгу я нашел! Вот язык!

Резко щелкает пальцами и подпрыгивает.

— Слово звенит!

Хватает со стола шапку и снова бьет ее о стол. Ваши бумаги вспархивают, как стая вспугнутых голубей.

— Слушай, ты обязятельно почитай!

Можно заранее поручиться, что автором книги окажется или перс, или индус, или китаец.

Этот человек влюблен в слово, как пахарь в зерно. Он ласковой рукой собирает зерна-слова для того, чтобы щедро и густо бросить в глубокие и по-земляному теплые бороздки своих стихов.

Летом живет на Алтае. Проживает семь рублей в месяц. Каждую осень бывает в Москве. Зимует в маленьких сибирских городишках около газет. Все имущество его — несколько книг и смена белья. Но он богаче всех нас, единственный в Сибири свободный зодчий.

Столичные журналы печатают его регулярно. Сибирь он любит больше России, хотя сам из «рассейских», земляк Сергея Есенина. Он курносоват, голубоглаз, ростом не велик, но большелоб. Фамилия его — Ерошин.

СЛИПШИЕСЯ СТРАНИЦЫ

Как трудно перелистывать страницы журнала. Они кажутся слипшимися. Кровь густо пропитала весь художественный отдел.

В пятнадцати-двадцати вещах, печатающихся каждый год, мы найдем заживо сожженных, зарубленных топорами, шашками, утопленных в проруби, убитых прикладами, застреленных из револьверов, убитых из винтовок в спину, заколотых штыками, погибших от самосуда, повешенных, изнасилованных и зараженных сифилисом, подвергшихся истязаниям, поркам, умирающих от голода, сыпняка и т.д.

На войне как на войне.

Тематически до последнего времени на первом месте у сибирского писателя стояла гражданская война, на втором — годы голода и военного коммунизма. К темам послевоенным писатель повернул только в 1926 году.

Были в журнале ребятишки, деревенские коммунисты, красногвардейцы Сейфуллиной, заводские люди Караваевой, питерские рабочие Изонги, партизаны и коммунисты Гольдберга и Уткина, совработники и летчики Итина, крестьяне и красноармейцы Пушкарева, Коптелова, Урманова, «золотые головы» — подпольщики Шугаева, охотники и приискатели Кравкова, Мартынова и Скуратова и т.д. Но в большинстве случаев и новые люди проходят перед читателем на фоне боев, пожаров и голода.

Конечно, время обязывало и навязывало темы, давало фабулу, мясо которой часто оказывалось в прямом смысле человеческим мясом. Но виноват и писатель. Его повести и рассказы за это время прямо какие-то записные книжки охотников за черепами. Действительно, не литература, а литпушнина, притом плохо, торопливо снятая и посаженная (эти упреки в полной мере могут быть брошены и автору настоящего фельетона). Плохо же заготовленная пушнина или правится, пересаживается на складах, или с громадной уценкой идет на местный рынок.

Если мы выделим «партию» экспортной пушнины — вещи Сейфуллиной, Итина, Гольдберга и др.,— то у нас останется порядочное количество «брака». Судьба этого «брака» и его поставщиков может оказаться весьма плачевной. Записные книжки «охотников за черепами» могут быть перечитаны и использованы настоящими мастерами. Мастер, перебрав нашу плохо «посаженную» литпушнину, размочит ее, пересадит (на костяк своего сюжета), выделает, перекрасит и сошьет себе шубу (роман). И никто не узнает имен

безвестных поставщиков сырья. Критики будут правы, если станут говорить только о мастере.

Мы слабы технически. Об этом надо говорить. Мы очень надеемся на свои богатства (пушные, золотые и т. д.), и в результате наш писатель раскладывает по полочкам (по главам) необделанные самородки золота, сырые шкурки соболя. В беспорядке сваленные самородки и соболя еще не литература — это просто куча сырья, из которой волен брать каждый.

Для примера можно указать на таких писателей, как Гольдберг, Итин и Коптелов. Первые двое формально высоки, последний низок. Но скажу, что малозначимое содержание не спасет никакая форма.

Предположим (только предположим), что Гольдберг и Итин делают свои вещи из меди. Но они делают свои вещи. Коптелов же пока только поднимает самородки. Мы радуемся: вот, мол, мы какие богатые, вот у нас какое золотое дно (материала). С радостью, мысленно и весьма приблизительно пересчитав наши «естественные» богатства, мы на них стелем мягкую, настоящую азиатскую кошму и засыпаем. Ехидные люди в таких случаях резонно говорят, что спать на золоте еще не значит владеть им и быть богатым.

Последнее не относится к Коптелову. Молодой писатель работает над собой. Мы просто берем его первые вещи.

Теперь о вещах «медных». «Медные изделия» как будто скорее «золотых» могут окислиться и утратиться. Но, извлеченные из земли, ржавые, они все же упорно будут сохранять свою форму. Если мы отломим от них хоть маленький кусочек, нас уличат в краже. А самородок... он ничей — кто взял, тот и хозяин.

Немного статистики.

За эти пять лет сибирский писатель брал действующими лицами своих повестей и рассказов крестьян и партизан 31 раз, служащих 29 раз, охотников и золотоискателей 7 раз, красноармейцев 3 раза, рабочих 2 раза, алтайцев и киргиз 7 раз, белых 10 раз, «блатных» 5 раз и т. д.

Действие этих произведений развертывалось в деревне и тайге 50 раз, в городе 41 раз, в тюрьме 5 раз, на заводе 2 раза и т. д.

Обнаруживается, что Красная Армия почти не нашла своего отражения в творчестве сибирских писателей. Но ведь сибирский писатель, почти как правило, познакомился с ней не тогда, когда она шла, а когда пришла. Сибиряк шел сначала по солнцу и только с конца девятнадцатого года пошел навстречу ему. Поэтому, когда дело касается граж-

данской войны, он в первую очередь пишет белых, потом партизан и крестьян.

Партизаны и крестьяне пользуются заслуженным вниманием писателя, но ему надо немного сократить себя по части совслужащего. Быт совслужащего часто — штамп. Он почти ничем не отличается от быта российского работника или обывателя из совучреждения.

Мы же вправе требовать от сибирского писателя вещей, построенных на местном материале. Нам кажется, что писатель должен взять на свои страницы сибирского шахтера, золотоискателя, охотника-промысловика (какая соблазнительная задача изучить и дать хотя бы голый быт этого охотника). Необходим в нашей литературе туземец (особенно северный). Писать сибиряка-старожила вообще невозможно без туземного окружения. Сибиряк, по существу, метис. Для того, чтобы в сибиряке проследить и распутать густые узлы перекрещивающихся токов разноплеменной крови, писателю нужно знать ее подземные первоисточники.

Что писатель взял местом действия тюрьму 5 раз, а завод 2 раза, что он оперировал в тайге и деревне 50 раз, а в городе 41 раз — понятно. В Сибири городов немного, а тюрем, конечно, больше, чем заводов (тюрьма есть в каждом городе, и в каждом селе есть каталажка. А заводы?).

Надо посчитаться и с читателем. Читатель законно требует от сибирского писателя «показа» Сибири. (В русской литературе известны писатели вроде некой М. В. Сушковой, которая сочиняла «гишпанские повести, италъянские идиллии, французские оперы и английский гумор».)

К счастью, сейчас в сибирской литературе интересы читателя и писателя совпадают.

Изгнаннику-ссыльному Сибирь казалась «кандальной Канадой» и «гиблым местом». Современному сибирскому писателю она — «сторона родная». Наш писатель — боец и строитель. Если он слаб в литературе, то в повседневной борьбе занимает не последнее место, нередко он в рядах авангарда рабочего класса, в рядах Коммунистической партии.

В основе своей сибирский писатель чужд «ущемленному» восприятию мира. Наоборот, он часто смотрит на свою страну восторженными глазами влюбленного. К слову, нужно сказать о настроениях писателя. Нам уже приходилось говорить (сиб. съезд писателей), что рост писательского молодняка идет за счет роста молодняка рабочего и комсомольского. Здесь нужно оговориться, что, несмотря на это, си-

бирская литература и поэзия пока еще по основным своим настроениям — крестьянские.

Еще о Сибири.

Сибирь надо использовать как «препятствие», она нужна как «фон» для создания «сильного характера» (Кравков это учел).

Сибирь прямо навязывает нам свои богатства. Надо только прийти к ней и «володеть и княжить».

Время наше жестокое. Часто еще и теперь на постройке рвется рабочая команда и леса потрясаются мощным ревом:

— Расстреляааать!

С лесов летят вниз разоблаченные предатели и расхитители.

Но писатель не должен «пугаться» жизни. Он должен понять, что нет утверждения без отрицания. Чтобы утвердить новое, надо перешагнуть через старое. Вот только перешагнуть надо просто, строго и мудро, без ненужного кривлянья (это, мол, нам что, пустяки), без ненужного надрыва и «упадочничества».

Для всего этого нужно только шагать в ногу с тем классом, который сейчас один и может быть назван авангардом человечества.

Идти — значит бороться. Значит, еще и еще раз надо говорить о нашей «технической отсталости», о форме, о стиле, о военизации, индустриализации и т. п.

НЕ БУДЕМ НЕБЛАГОДАРНЫМИ ТЫЛОВИКАМИ

На съезде художников представитель Сибоно сказал, что нам не нужны никакие «измы», кроме реализма. Делегат от Иркутска И. Л. Копылов[1] очень удачно в своем докладе доказал закономерность развития формы в искусстве. Парируя выпады представителя Сибоно, Копылов сказал:

— Крепость возрождения искусств будет взята. Но войдут, и даже с музыкой, тыловики. Проходя мимо уже захваченных проволочных заграждений и заметив на проволоке трупы футуристов, эти «герои» брезгливо отвернутся. Как же, какие-то футуристы вонючие тут висят.

Мы часто вместе с представителями Сибоно говорим — для нас на первом плане должно быть **что**, а не **как**. Мы совершенно упускаем из вида, что **что** без **как** — ничто.

---

[1] Копылов Иван Лаврович (1883—1941) — художник-педагог, его доклад на Первом съезде художников Сибири опубликован в журнале «Сибирские огни» (1927.— № 3).

Каким бы социально значительным материалом ни располагал художник, он ничего не сделает в области искусства, если не овладеет им (материалом). Художник должен из сырья сделать вещь. Мы смотрим, как эта вещь сделана, и в зависимости от того, как она сделана, даем ей оценку. Нам надо раз и навсегда усвоить правило, что **что** и **как** неразделимы. Их синтез дает произведение искусства. Чем гармоничнее, чем полнее их слияние, тем совершеннее вещь (роман, картина и т. п.).

Нет, нельзя пренебрежительно отмахиваться от тех, кто немало поработал в области этого **как**. Нельзя быть неблагодарными тыловиками.

Потом, вообще наивно думать, что художник-реалист только добросовестно зарисовывает «с натуры», что у него в картине все, как «в жизни». Реализм — это одна из высоких форм искусства. Реализм — это не только **что**, но опять-таки и **как**.

Фотография еще не является произведением искусства, и фотограф — не художник. У нас же часто путают реализм с фотографией — или наоборот.

Но, к счастью, в последнее время кое-где замечаются сдвиги в сторону признания литературы как искусства.

Недавно редакция «Советской Сибири» собрала всех новосибирских писателей и предложила им заняться репортажем.

Редакция, привлекая писателей к своей повседневной работе, сделала большое культурное дело — она признала действенную организующую роль искусства. Значимость этого предложения в том, что литература привлекается как форма, как искусство. Ведь содержание репортерской заметки даст любой репортер. Писатель даст то же содержание, но в более высокой художественной форме.

Предложение редакции «Советская Сибирь» обязывает писателя тщательно просмотреть свою форму, свое мастерство.

Ему необходимо топор сменить на рубанок. Газетные статьи и заметки должны быть тщательно пригнаны друг к другу и заструганы, как торцы в мостовой.

Газета должна выбрасывать в массы вещи, хорошо сделанные. Следовательно, вопрос об улучшении качества газетной продукции поставлен своевременно.

Писатель становится равноправным членом газетного коллектива. Он каждый день получает доступ к широкой аудитории. Он теперь уже не дачник, которого специальный

дачный поезд (литературная страница) вывозил раз в неделю за город.

Писателям остается только работать. Если они еще не в состоянии хорошо сшить себе шубу, то надо, чтобы пушные шкурки их материала не были выпачканы в крови, чтобы на них не висели куски мяса. Искусство ведь не мясо и не кровь. Искусство — краска, доведенная до силы цвета. Цвет может быть и цветом крови. Разница только в том, что эта «кровь» не пачкает и не пахнет.

НЕМНОГО О ВОЕНИЗАЦИИ

Стиль — это не только человек, но и эпоха.

По свидетельству Л. Н. Толстого, известная «диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница 30 ноября 1805 года» говорила:

«Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое... для этой цели необходимо... Первая колонна марширует... Вторая колонна марширует... Третья колонна марширует...»

Во время русско-японской войны маршал Ойяма писал проще:

«Утром... числа... года приказываю атаковать позиции Ляояна. Курочкин — правый фланг».

И только. Весь приказ — две фразы.

В 1918 году командующий германской армией писал совсем лаконично:

«Неподвижный заградительный огонь. 77 мм полевые пушки, 100 мм пушки, 105 мм гаубицы — «Синий Крест» — 60%; «Зеленый Крест» — 10%; фугасные снаряды — 30%».

Не приказ, а формула.

Сибирские беллетристы, конечно, не командиры, мы условились, что они даже не министры, но все же им стоит немного военизироваться и поучиться у генералов.

Конечно, стиль — человек и эпоха. Но бывает, что человек отстает, плохо видит и слышит.

Мы живем далеко «за ветром». Но кто посмеет теперь сослаться на дальность расстояния, когда радиоволна, брошенная Москвой, через несколько секунд плещет в Новосибирске?

И все же мы отстаем.

Да, к военизации писателей призывал еще Чехов. Помните — он просил не иметь нестреляющих ружей?

У сибирских партизан вместо ружей были пики и косы. Надо, чтобы у сибирских писателей стреляла каждая партизанская пика, чтобы она у них не ржавела и не пылилась, как в историко-революционном отделе плохо отапливаемого музея.

ОБ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Госплан в декабре 1926 года в своем приветствии первому научно-исследовательскому съезду по изучению производственных сил Сибири «вежливо» напомнил сибирским ученым, что они собрались в Миргороде или Пошехонье и что поэтому им нельзя думать об открытии своей Академии наук.

Из Сибири Госплану был послан ответ с указанием на две его ошибки. Ошибка первая — никто не думал в Сибири открывать Академию наук. Ошибка вторая — Миргород и Пошехонье — города российские, а не сибирские.

Госплан, правда, в своем приветствии сказал несколько теплых слов относительно того, что Сибирь теперь не колония, что она должна будет индустриализироваться.

...Тельбес будет еще не скоро. И потом вообще Тельбес один в поле не воин.

Однако условимся, что Тельбес — начало индустриализации. Индустриализация у нас будет.

Условимся, что журнал «Сибирские огни» и газета «Советская Сибирь» — начало литературной индустриализации. Следовательно, будет у нас местная литература, построенная на местном материале, но по значимости, по высоте качества продукции равная общественной(частично такая «сибирская» литература уже есть — В. Иванов, Л. Сейфуллина, И. Гольдберг, В. Итин, А. Караваева, Ив. Ерошин, Л. Мартынов, Иос. Уткин и др.).

Будет у нас (да не обидится Госплан) со временем не только Академия наук, но и САХН, т. е. Сибирская Академия художественных наук. Пока же у нас строится один завод, но есть уже железная дорога и строится одна еще (Семиречье — Семипалатинск[1]). Пока у нас одна газета и один журнал, но уже создается еще один (ежемесячник).

Итак — вывоз, вывоз и еще раз вывоз.

Будем пока вывозить в столицу наших кустарей-писа-

[1] Имеется в виду Турксиб.

телей для усовершенствования. Будем, значит, писать о наших богатствах, о неисчерпаемой нашей сырьевой базе.

Примиримся, что пока «индустриализация» нашей литературы и писателя за горами (за Уральскими, примерно).

Но будем бороться с теми, кто уценивает нашу литпушнину за то только, что она добыта и выделана в Сибири.

О НЕВЫГОДНОСТИ ОБЗОРОВ

В своем, так сказать, новогоднем фельетоне мы умышленно не цитировали сибирских писателей и поэтов, не излагали содержание их работ. Сделали мы это на основании учета опыта редакции «Сов. Сибири». Дело в том, что редактор газеты т. Шацкий заставляет воинствующего критика С. Родова[1] делать миролюбивые обзоры литературы.

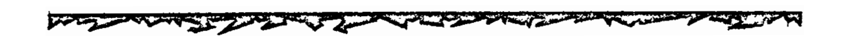
Результаты такой политики плачевны. Во-первых, разоружается Родов, во-вторых, падает книготорговля в Сибкрайиздате.

Кто же будет, особенно из ответственных занятых людей, покупать книги, когда их содержание достаточно полно изложено на страницах «Сов. Сибири»?

Плохо ли, хорошо ли, но мы служим в Сибкрайиздате. К тому же комплекты «Сиб. огней» за прошлые годы уценены до неприличия.

---

[1] Родов Семен Абрамович (1893—1968) — критик, деятель РАПП, в 1927 г. жил в Новосибирске, один из организаторов СибАПП, часто выступал в газетах «Советская Сибирь», «Неделя Советской Сибири».



ПРОЗА «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ» ЗА ПЯТЬ ЛЕТ



оварищи, в конце 21-го года инструктор сиблитпросвета по отделу *ЛИТО*, сибирский поэт Вяткин[1], подал сметные предложения на 1922 год заведующему сибполитпросветом тов. Басову. Он писал: «Считаю необходимым забронировать для снабжения пролетарских писателей Сибири (а попутно и для обслуживания аппарата ЛИТО) 16 стоп писчей бумаги, 8 дюжин карандашей, 8 дюжин ручек, 16 дюжин перьев, 0,8 ведра чернил» (смех).

По отделу *МУЗО* тогда же была сделана заявка на 2000 роялей, на 2000 гитар, на 3000 мандолин, на 6000 скрипок, на 40 000 (сорок тысяч!) балалаек (смех), на 15 тысяч аккордов рояльных струн и т. д. По отделу школьному было запрошено 9000 микроскопов и 4500 телескопов (смех) из расчета по одному микроскопу на школу и по одному телескопу на две школы. Словом, было бы очень неплохо. К сожалению, жизнь рассудила по-своему. В школах нет не только телескопов, но кое-чего и другого, более важного. Струны же, по сообщению «Советской Сибири», при этом не струны Сибполитпросвета 21-го года, а последней закупки из Карской экспедиции, проданы и отправлены на север... на лески. Конечно, леска хорошая вещь, но все же мы считаем такое использование струн мелкобуржуазным уклоном, проявлением крестьянской ограниченности (смех).

Теперь писатель пишет не только на казенной бумаге, но и на своей. К сожалению, только казенная бумага у него отнимает больше времени, чем своя.

Но все же, товарищи, несмотря на скромные сметные предположения сибполитпросвета, мы к 5-летию журнала имеем 250 печатных листков (кругло) прозы. Басов скажет — 190. Не верьте — он скуп (смех, аплодисменты) и недоплатил за эти 60 листов. У нас лист в «Сибогнях» — эксплуататорский. В нем не 40 000 печатных знаков, а

[1] Вяткин Георгий Андреевич (1885—1941) — поэт, был тесно связан с журналом «Сибирские огни», работал некоторое время в редакционном аппарате журнала, печатался в нем с 1922 по 1936 г.

58 000. Для наглядности можно сказать, что у нас есть 10 томов прозы, 10 романов по 25 листов каждый. Мне сегодня нужно рассказать, таким образом, о 10 романах в 25 листов каждый. Задача непосильная, как бы я ни был словоохотлив. К счастью докладчика и слушателей, проза «Сибирских огней» подана читателю так, как подается жареная птица в тайге. Эта птица с перьями жарится в глине. Если мы снимем глину, снимем всю тяжелую и ненужную оболочку, очистим от лишнего и возьмем в руки сибирскую литературу, поспевшую к 5-летнему юбилею, то она будет весить несколько повестей и десяток рассказов. Задача моя, следовательно, облегчается. Рассказать о десятке рассказов гораздо проще.

«Сравнение — не доказательство»,— говорят французы. «Всякое сравнение шатко»,— говорят немцы. Пусть критики изрекают неопровержимые, «нешаткие» истины. Я — беллетрист и о сибирских писателях буду говорить как товарищ о товарищах. Я позволю себе воспользоваться своей, так сказать, терминологией.

Здесь говорили, что «Сибирские огни» есть огни, костер, разложенный в тайге в то время, когда еще хлестал свинцовый дождь гражданской войны. Костер был разложен в чрезвычайно трудных условиях, на снегу, тут же, у пустых окопов.

По огням можно определить характер жилья. У нас, конечно, не светлооконные небоскребы, а огонек где-то у чума. Это несмотря на то, что мы владеем бездной строительного материала. Но мы или варварски портим его, или проходим мимо (как известно, лесу у нас больше сгорает, чем используется).

Как-то я ехал с одним нашим комиссаром. Глядя в окно вагона, он говорил, что у нас страна отсталая, лес гниет, горит и т. д. «Вот,— говорил он,— во Франции к каждому дереву подвешена чашка, и в нее втекает смола». Нам до Франции далеко, у нас домов не хватает, не только чашек. Мы пляшем у костров. Строительство же наше часто развертывается только на бумаге. В газете нередко видим мы жирный тяжелый заголовок — «Новый завод. Новая мощная электростанция». Не думайте, что в заметке под таким заголовком, под такой «шапкой» вы найдете описание этого нового завода, вновь пущенной электростанции. Ничего подобного — вы там найдете описание проекта постройки, на которую еще и деньги не отпущены (смех). В литературе у нас тоже много таких тяжелых «шапок» (роман, отрывок из романа), под которыми или ничего не сидит, или сидит

«птичка-невеличка». Но вы ошибетесь, если скажете, что у нас нет литературы. Литература у нас есть, и даже сибирская.

Термин «сибирская» может встретить много возражений. Могут сказать, что раз наша литература на русском языке, то она русская. Но ведь негр Рензэ Маран пишет по-французски. Однако это еще не значит, что он создает французскую литературу. Но, скажут нам, Пушкин тоже был метис, и тем не менее он глубоко русский поэт, хотя негры и провозгласили его своим национальным гением. Не будем спорить. Это тема особая, требующая особых исследований. Ими займутся профессора. Я же считаю, что нельзя совершенно отмахиваться от этого вопроса, так как факторы биологические, экономические, географические и другие не могут не играть известной роли, не могут не класть своеобразного отпечатка на творчество сибиряков. В Сибири все эти факторы налицо. Здесь налицо взаимодействие культур — русской и туземной. Мы вправе употреблять термин «сибирская» и требовать от писателей в их вещах этого «сибирского».

Если вы придете в фруктовую лавку, то сразу различите тончайший запах чарджоуской дыни и пресную немоту русской. Книга сибиряка-писателя должна цвести всей гаммой цветов Сибири. Слово «сибирская» не должно быть пустым звуком. Сибирский писатель должен сделать его ощутимым на вкус.

Нам скажут, что мы областники. Да, областники, но в лучшем, высоком смысле этого слова. Областники потому, что любим, изучаем, стараемся познать свою страну. Мы не хотим походить на Иванов Непомнящих, мы хотим быть детьми Сибири. Я думаю, что Флобер был карфагенянином, когда писал «Саламбо», так как необходимо проникнуться духом страны, чтобы создать вещь, достойную ее и эпохи. Мы понимаем областничество как изжитие туризма в искусстве.

Конечно, были писатели-областники узкие, сепаратисты. Но сейчас всякий сепаратизм мы осуждаем и отвергаем.

По-моему, всех сибирских писателей можно разбить на три категории. Первая — тоскующие и горюющие, ахающие и любующиеся. Вторая — осваивающие Сибирь, берущие ее крепко, деловито, по-хозяйски, готовые биться за нее.

Если метишь на мой мешок,
Буду метить в башку тебе я...

Для этих писателей Сибирь часто — идеология. Третья категория — использующие Сибирь как материал, как фон. Для них Сибирь — не идеология, а, если так можно выразиться, технология.

В наш век, в век радио, авиации и кино, когда мы чувствуем, как дышит наша страна, и вместе с тем видим и слышим, как вздымается грудь всего мира, о каком сепаратизме можно говорить? Наконец, есть еще один фактор, уничтожающий сепаратизм,— это наш Октябрь как канун мировой революции. Ожидание прихода мировой пролетарской революции, борьба за этот приход объединяет сейчас людей всех цветов кожи. Наша Октябрьская революция — начало того объединения. Вопрос мирового объединения трудящихся жизнь ставит и разрешает диалектически — через национальное самоопределение к Интернационалу. Все это помогает нам чувствовать себя не только детьми Сибири, но и детьми всего СССР, чувствовать себя собратьями всем тем, кто борется за объединение мира под знаком Коммунистического интернационала.

Итак, товарищи, мы у костра. У костра — Березовский, Сейфуллина, Пушкарев, Правдухин, Басов. Березовский, по «рассказам бабушки», знал, какие дрова нужно класть в костер, он положил в огонь сухие, смолистые сутунки своих двух повестей. Сейфуллина принесла «Четыре главы» кизяку, собранного в оренбургских степях. Кизяк, как известно, есть и в Сибири, поэтому такой вид топлива со стороны сибиряков не встретил возражений. Басов свалил остатки дома, подожженного его «Матрешкой»[1]. Пушкарев — «Толпу»[2], белых и красных. Правдухин ходил вокруг костра, подбадривающе покрикивал, посылал даже письма неизвестному «другу» о «взлетах и взмывах революции» и пренебрежительно сплевывал в огонь. «Суровая страна Сибирь! Не любит искусства... Поэзия требует малявинских красок и огромных пламенных образов. А где они в Сибири?..»[3]

Костер разгорался. На огонек подходили новые люди. Березовский почему-то заподозрил, что в дальнейшем дрова стали поступать не с госсклада, плюнул и ушел (смех). А у костра не умолкали рассказы. Сейфуллина рассказывала о

---

[1] Матрешка — действующее лицо единственного опубликованного рассказа М. Басова «Эвакуация» (Сибирские огни.— 1922.— № 5).

[2] «Толпа» — рассказ, опубликованный в «Сибирских огнях» (1922.— № 5).

[3] Мысль, над которой справедливо иронизирует В. Зазубрин, высказана В. Правдухиным в статье «Сибирские поэты революции» (Сибирские огни.— 1922.— № 1), подписанной псевдонимом «В. Шанявец».

правонарушителе Гришке, о большевике Софроне, о красной гвардии. Иногда она вскакивала, становилась в позу и кричала: «Застрамим Европу, товарищи!» Но о Сейфуллиной уже много сказано другими, и я о ней говорить сегодня не буду. Я считаю, что нужно говорить о тех, на ком наши критики не останавливались.

Я буду говорить о писателях в том порядке, по возможности, в каком они подходили к костру.

У Глеба Пушкарева — в одном из лучших его рассказов «Надо воротиться» — предВИКа говорит так: «Товарищи, да разве мы можем молчать!.. ПредВИКа этот в вечной суете, слово сказал — «и летит дальше... Слово бросил, пищу дал — лети дальше, оживляй новых, поддержи...» Писатель часто с читателем обходится по примеру своего предВИКа — «слово бросил — летит дальше». Часто кажется, что Пушкарев пишет конспекты, что всерьез он только еще предполагает писать, но ему некогда, к тому же: «Товарищи, да разве мы можем молчать! Революция требует». И в печать идут конспекты. «Старое кончилось — нового нет, а душа ищет его, рвется: дай его, дай! Люди обновились: песни новые, сказки другие».

Пушкареву не удались алтайцы. Пушкарев пишет о туземце так, как когда-то писали «кающиеся» дворяне о крестьянах. Я думаю, что этой «болезнью» кающегося дворянина страдает не один сибирский писатель, когда подходит к изображению туземца. Уж очень мы его жалеем, боимся обидеть, стараемся представить как можно лучше. Я думаю, что туземцы не нуждаются в этой жалости. Туземца нужно давать стихийно и просто, как стихиен и прост он сам. А то выходит уж очень неубедительно: «Дик Алтай. У него все свое: своя душа, свой склад, своя прелесть, простота. И народ свой: тихий, скромный, с прекрасной душой младенца, младенца гор».

Хорошо показал Пушкарев только мужичонку — Никиту Куликова, до анекдота жадного и ограниченного, ничего не видящего, дальше своей семьи, краюшки хлеба и бабы. «Наше дело маленькое... Нам бы того... Прокормиться...»

Никита Куликов, нищий и голодный, убил старуху с целью грабежа (взял мешок муки). Арестованный, на следствии, он, вспоминая убитую, крестится и говорит: «Царство ей небесно. Може, ей лучше теперя...»

С звериной цепкостью держится Никита за семью. Сбежав из каталажки, он, как крот в нору, ночами таскает домой хлеб. Убил он старуху для того, чтобы накормить своих голодных детей, убил «без сердцев, а так...». (У Пушкарева

вообще убивают «так», без злобы, без особой надобности.)

Никита Куликов — цельная и живая фигура, созданная художником без натяжки и фальши. «Надо воротиться», несомненно, лучшая вещь Пушкарева. В других своих рассказах писатель, к сожалению, часто говорит с ненужным смешком об очень скорбных и тяжелых вещах. Анекдотический разрез, в котором Пушкарев повествует о расстреле красных белыми, кажется неуместным, ненужным, как царапина на зеркале.

Писатель много видел, он богат материалом, но серьезно проработать его не успел.

Из тайги вышел Максимилиан Кравков и в рассказе из своих «Саянских скитаний» заявил, что ему, когда «кончается пустыня... становится грустно...».

Стихия Кравкова — тайга, простор, безлюдье. «Я волен, как зверь в этих каменных задремавших дебрях». «Великое одиночество охватило меня, и как будто прибавилось мне еще свободы». Уйдя из тайги, он говорит: «Я вспоминаю пламенное солнце, синий блеск взволнованной реки и беспредельную свободу таежных дебрей».

Кравков не только любит и знает тайгу, но и умеет ее показать. Он рисует ее со всеми ее противоречиями. Она и жестокая, и добрая, и богатая, и голая. В ней живут честные и наивные, как дети, тунгусы, рыщут хищные приискатели — русские. В тайге режут человека за несколько крупинок золота, и в тайге тунгусы думают, что «великий грех — убить человека», и когда проливается кровь, память об ней навсегда остается у племени... «Вырастет новый лес на иссохших гарях, умрут старики, и за соболями отправятся молодые охотники, а убийство по-прежнему будет жить в их беседах». Тунгусам органически противно убийство. Они поднимают руку на себе подобных в исключительных случаях. Кравков рассказывает, как однажды племя было вынуждено казнить одного из своих охотников, испорченного «водой, которая жжет». Приговор привести в исполнение поручили старухам, так как они все равно скоро умрут.

Кравков берет на свои полотна людей сильных, смелых. Он берет охотника, вырезавшего пучок шерсти со спины у спящего зверя — сохатого. Кравкову для его рассказов нужны сильные одиночки. Человека-одиночку Кравков всегда противопоставляет стихии и коллективу. В этом, собственно, Кравков весь. Современность во многих его вещах подшита белыми нитками. Начинается, например, рассказ с того, что его действующие лица выходят из сельсовета и отправляются в тайгу. Больше сельсовет автору и

его героям не нужен. Упомянут он так, как раньше обычно упоминалась погода... «Однажды в сырой осенний вечер...» А по ходу действия видно, что оно могло развертываться с одинаковым успехом и в сухой летний вечер, и в ясный весенний и т. д. Чаще всего современность у Кравкова выступает только как внешнее обрамление рассказа. Похоже на то, что автор, вводя в начале повести две-три фразы о гражданской войне, торопится намазаться дегтем от надоедливых комаров и уйти в тайгу. Тем современных писатель, конечно, не избежал и умышленно их не обегал вообще, но всю мощь событий революции он использует для того, чтобы еще резче подчеркнуть твердость, независимость и героизм своих бойцов-одиночек. Герои Кравкова мечтают, сидя в тайге, достать такую пушку, из которой бы «пальнуть» раз и смести сразу и Колчака, и всех его приспешников. Плис с Архиповым, окруженные солдатами, сладострастно заряжают патроны и с радостной дрожью предвкушают прелесть поединка. Человек, приговоренный к повешению, мечтает о динамите, о гремучем студне, которым он в момент казни смел бы всех палачей. Словом, для лучших и «любимых» персонажей писателя бомба — панацея от всех бед.

Вслед за бомбой Кравков вводит в рассказ женщину. Она играет весьма немаловажную роль. При этом женщина у него обязательно красивая. В «Эпизоде» красивая женщина делит с Баландиным напряженнейшие минуты опасности и победы, в «Ассирийской рукописи» она неразлучна с героем, в «Медвежьей шкуре» она — исходная точка, ради нее идут на охоту, с мыслью о ней убивают медведя; в «Двух концах» женщина хоть на секунду, но радостно озаряет сознание человека, приговоренного к смерти.

Словом, схема рассказов у Кравкова такова — герой, бомба, женщина. Кравков долго работал в кино. Это, вероятно, сказалось на его умении строить вещи сюжетно. Кравков сюжетен и авантюрен. Читатель с одинаковым интересом следит за действующими лицами его рассказов, независимо от того, где они «приключаются»— в городе или в тайге. Писатель умеет держать читателя в напряжении. Иногда только его герои «приключаются» приключений ради. Тогда читатель, перевертывая последнюю страницу, разочарованно вздыхает. Не всегда удерживается Кравков от соблазна — повесить на таежную красавицу пихту несколько безвкусных елочных украшений.

Приходилось слышать разговоры о том, что Кравков напрасно берется за такие вещи, как смертная казнь при ца-

ре. Это, мол, уже описано Андреевым. Можно, конечно, писать о смертной казни и в революцию, может быть, это даже нужнее, но нельзя утверждать, что Андреев — идеал, предел, его уже не прейдеши и что эта тема уже исчерпана. Товарищи, ведь наши политкаторжане (и Кравков вместе с ними, так как он политкаторжанин) на днях только праздновали десятилетие своего освобождения из тюрем. Всего только десять лет как они сняли кандалы. Разве могут они забыть царскую тюрьму, царских тюремщиков и палачей и разве у нас в литературе есть хоть что-нибудь, более или менее полно отражающее тысячелетия каторги, отбытой нашими революционерами? Таких вещей еще нет, товарищи. Поэтому мы должны приветствовать всякую попытку отобразить героический подпольный период борьбы с самодержавием.

Упрекают Кравкова в чрезмерном индивидуализме, в идеализме. Пусть так. Пусть он не дает массы, борьбы классов, но он дает одно из слагаемых действенной, революционной массы — сильный характер. К тому же не надо забывать, что Кравкову, как писателю, всего пять лет от роду.

Одновременно с Кравковым, вышедшим из тайги, из степи вышел К.Урманов. Урманов рассказал о киргизах, мечтающих, что после переворота (контрреволюционного) каждому из них достанется по две русских бабы. Киргизы Урманова плохо разбираются в событиях гражданской войны и мечутся от одного берега к другому. От его коммунистов сильно несет великодержавным российским душком. Вот как говорит один из них о киргизах: «А хорошо бы им, чертям косоглазым, революцию подпустить! Вот бы забегали! И-их!» И он же в другом месте презрительно цедит: «До революции нам еще дале-ко». С коммунистами у Урманова неблагополучно. В лучшем случае они — крестьяне. Красноармеец-коммунист, говоря, например, о Ленине, для большей убедительности проводит параллель между ним и Христом.

Крестьян писатель знает крепко. Они «настоящие» у него, со всей своей узостью и ограниченностью, их видишь. Крестьяне Урманова дальше деревни и пашни ничего не знают и знать не хотят. Коммуну его крестьянин встречает со злобной иронией: «Не ужиться ей тут... Мороз неподходящий, сурьезный».

Но ведь была же гражданская война в Сибири, были восстания, были белые, красные. Ничего или почти ничего этого мы не найдем в вещах Урманова. Писателя больше занимают маленькие люди в революции («Собеседник»), их

маленькие несчастья. Стержень всех этих личных драм довольно однообразен. В «Занозе» красноармеец, вернувшийся домой, не застает невесты (за другого вышла), в «Пестряди» Петруха Гуляев, вернувшийся с войны, нашел свою жену изнасилованной и беременной, в «Мари» мужик приходит с войны инвалидом и жена убегает от него и т. п. Мир героев Урманова невелик, он покоится на двух китах — на пашне и бабе.

Мы не хотим смешивать мировоззрения Урманова с мировоззрением его героев, но надо поставить в упрек писателю те места, где он за своих мужиков сам начинает махать кулаками и уже за кавычками чужой речи продолжает говорить крестьянским языком. И затем, почему-то все его вещи написаны в минорном тоне. Почти в каждом рассказе в тон автору подвывает унылый ветер и шумит жухлый лист или сухой тростник. Над этим писателю надо задуматься.

Из предгорий Алтая, из Барнаула, пришла к нам Анна Караваева. Она сначала рассказала, пожалуй, неважно о том, какую революцию сделала революция во «флигеле». Потом писательница перешла к темам, более серьезным и значительным. Она интересно и свежо заговорила о рабочих сибирских старых заводов. Страдает Караваева тем недостатком, что старается часто причесать и подогнать под все пункты устава и программы ВКП (б) такие вещи, которые никак туда не влазят. Но ее вещи, безусловно, как говорят критики, «социально весомы и значительны». Караваева умеет взять нужную тему, умеет умно и остро поставить вопрос. В этом отношении особенно удачны ее нашумевшие «Берега»[1]. Но эта писательница ушла от нашего костра в центр, и пусть там о ней говорят. Мы же отмечаем только ту работу, которую она проделала здесь.

Если одни писатели приходили к костру, другие приезжали, то Итин прилетел. Прилетел он не из тайги, а из голубой страны Гонгурии. Недавно мы прочли в газетах, что за границей организуют перепись неба. Недавно же кончилась у нас перепись населения. Есть, как видно, люди, работающие по переписи неба и земли. Итин принадлежит к числу первых. Ученый, изучая небо, служит земле. Итин, странствуя по своей Гонгурии, все время думает о земле, о ее переустройстве. Но беда в том, что он только думает о земле, о людях, а видит их не всегда. Итину люди нужны для того, чтобы их устами сказать о своих идеях в области

[1] Повесть А. Караваевой «Берега» опубликована в альманахе «Красная новь» (М.; Л., 1925.— № 1).

математики, философии, естествознания. Оттого люди Итина часто ходячие формулы, схемы. Итин абстрагирует, обескровливает самые кровяные, земельные вещи. Для него, например, матерщина — общеизвестная формула, а молоко, простое коровье молоко — белая жидкость.

Итин любит преувеличивать. Отсюда: «огромные скитания, чудовищные моря, гигантские ливни, невероятные чудеса, непредставимый свет». Но как прописная буква не становится заглавной, когда ее напишут хоть в сажень, так и моря и ливни Итина не делаются чудовищными и гигантскими от одной только авторской ремарки. Наоборот, эти постоянные ремарки («невероятные», «непредставимые») только раздражают, мешают видеть вещи, не освещают их, а затемняют. К слову о «непредставимом свете». Итин ухитрился ввести его как ремарку в свою пьесу «Власть». В какое положение, спрашивается, ставит он постановщика, если требует, чтобы на сцене был «непредставимый свет»? Постановщик вправе спросить автора: к чему такой особенный свет в кабинете самых обыкновенных буржуазных министров? Простые, всем известные вещи теряют свою «представимость», убедительность, когда их сопровождают такими эпитетами. Такое «отстранение» типично для Итина, оно кладет на его повести отпечаток «нереальности».

Итин читается трудно, так как наряду с блестящими страницами и строками часто конструкция его фразы тяжела, напоминает переводную, язык засорен иностранными словами, научными терминами. Иногда целые вещи писателя кажутся переводами с иностранного (Власть). У Итина нет ни одного рассказа, где бы не фигурировали иностранцы — англичане, немцы. Итин любит иностранные слова, имена. Он играет ими, как способный ученик, хорошо изучивший чужой язык, как ребенок цветными камешками. Его влечет их звучность. Поэтому писатель русскую девушку Зою переименовывает в Заидэ. Поэтому у него «Людвигсгафен», «Варнемюндэ» или просто формулы — Ю. В, ASAD.

Итин — человек очень культурный. Но его культурность, его знания владеют им, а не он ими. Писатель, попадая даже в самые глухие и самобытные уголки Сибири, не в силах отделиться от власти и обаяния чужих слов и чужих образов, от всего того, что узнал он в университете и в бесчисленном количестве книг, им прочитанных. «...Кругозор был странной смесью многих красочных стилей — заоблачные мечты Чурлениса и облака с «Небесного боя» Рериха, нежные дали Нестерова и Левитана и грубоватые контрасты с «Вечных льдов». «...Ночь юга шагала, словно марсиане

Уэльса...». «Морозы, перед которыми градусы Фаренгейта из сказок Лондона — оттепель». Попадаются образы, заимствованные и неоговоренные,— «луна, как бубен шамана» и так далее. Примеров можно привести много.

Итин живет больше отраженным светом, светом искусства, а не действительностью. В его рассказах о туземцах, о крестьянах обязательно мелькнут образы и имена не только таких писателей, как Уэллс, но и наших современников — Л.Рейснер, А.Караваевой и др. Свою повесть «Открытие Риэля» он начал главой, которая называется «Машина времени».

Один из героев Итина говорит: «Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть». Нам кажется, что эти слова мог бы повторить и Итин. Он часто пишет с закрытыми глазами и оттого видит в Сибири Ганг и «ананасы под березой». Образ, созданный на местном материале, писателя не удовлетворяет. Ему нужен образ из района тропиков, полюса или экватора. Все местное, свое, кажется ему недостаточно ярким и реальным. Поэтому: «...прибоем южного моря шумела Катунь». Итин не чувствует даже под руками упругой теплоты груди любимой женщины. Нет, не чувствует. А если бы чувствовал, то как он мог сравнить ее (грудь любимой) с... бездной Тихого океана (!)? Ученый П. Драверт становится поэтом, когда говорит:

Ты забудешь бананы Цейлона,
Ананасы долин Сингапура,
Что мальтийские нам апельсины,
Виноград тихоструйного Дона,
Золотые лимоны Мессины
Или вишни садов Альбиона.
Только здесь на просторах Сибири,
Наклонившейся к тундрам великим,
Зреют лучшие ягоды в мире,
Ароматом проникнуты диким.

Итин становится ученым, когда начинает ронять фразы о «дымчатой субстанции мира», о том, что «кажущееся для нас понятнее действительных соотношений», когда, наконец, вместо того, чтобы сказать, что американцы пьянствовали в Омске, он говорит, что они пили под 55° северной широты. Могут сказать, что это мелочи, но, по-моему, это те мелочи, которые определяют всю абстрактность образов Итина. Писатель забывает, что он пишет не популярные ученые трактаты, а повести, поэмы.

«Разве Башкирия не звучит так же, как Мадагаскар?» — можем мы спросить Итина его же словами. Итин уже ответил на этот вопрос с полной утвердительностью. В своем

«Пути шамана» он доказал, что «Башкирия» или «Ойротия» звучит не только так же, как Мадагаскар, но и сильнее. «Путь шамана» — блестящие страницы. Здесь у писателя выпала вата из ушей, которой он заткнул их во время полета над Алтаем, и писатель вдруг услышал живые голоса земли. Итин нашел путь шамана, несомненно, он найдет и свой путь. Выйти в дорогу ему есть с чем. Хотя Итин сейчас и «снят» с жалования, нигде не служит, но человек он богатый. У него «богатая» выдумка, крепкая форма, местами скульптурная рельефность изображения. Ему только нужно соскоблить со своих чемоданов наклейки и надписи, сделанные в заграничных отелях.

Необходимо сказать еще о «реакционности» Итина. Некоторые склонны считать «Открытие Риэля» реакционной вещью. Это, конечно, неверно. Беда Итина в том, что он трудно расшифровывается, что часто вообще нуждается в расшифровке. Каждый поэтому толкует его вещи по-своему, иногда приписывает Итину то, что ему и не снилось. Так и в данном случае. «Открытие Риэля» написано в 1916 году и было направлено против милитаризма. Повесть эту тогда принял в «Летопись» М. Горький. Теперь Итин подчистил «Риэля», но основная установка антимилитаристическая осталась. Я сомневаюсь, что антимилитаристические тенденции в наше время стали уже реакционными. Всех, обвиняющих Итина в реакционности, я позволю себе отослать к его «Урамбо». В этой повести он, как хирург ножом, вскрывает всю фальшь, всю подлость буржуазного мира (директор-вегетарианец, благословляющий войну, поп и др.).

Итин человек рассудочный. Он пришел к революции, и он несомненно с ней, он наш товарищ, так как он хорошо знает, что путь Октября — единственно верный путь. Итин еще плутает, ищет на литературных дорогах, но он не колеблется в выборе между революцией и «реакцией».

«На вкус и цвет товарищей нет» — кому нравятся бананы или ананасы под березой, кому огурцы. Рассказы Антона Сорокина нам кажутся вот такими понятными, простыми и «выразительными» огурцами. Я извиняюсь за некоторую легкость стиля по отношению к такому законченному мастеру, как Антон Семенович. Но я уже оговорился, что буду разговаривать в ведомственных тонах (смех). Сорокина в дореволюционное время травили, замалчивали, но он не сдавался. Если о нем молчали другие, то он кричал о себе сам. Писатель, подобно Уитмену, писал о себе статьи, письма и рассылал их по редакциям. Уитмен на свои деньги поставил себе памятник, наш писатель ограничился только ог-

ромной вывеской и печатанием собственных денег, денег «короля шестой державы — Антона Сорокина». Все это писатель делал для того, чтобы пробить косность сибирского обывателя-читателя. Он искал читателя всеми доступными ему способами. За это мы на него сетовать не будем. Теперь Сорокин не кричит о себе, не прибегает к шумной рекламе. Теперь он в этом не нуждается — он желанный сотрудник «Сибирских огней» и ряда сибирских газет, его регулярно и охотно печатают.

Сорокин много пишет о туземцах и об аэропланах. Он, как и Итин, опускает аэроплан в темный быт туземца. Но Сорокин не смещает Сибирь по-итински к экватору и показывает свою страну во всей ее первозданной чистоте и силе. Итин Сибирь подает очень тщательно, кажется, что он ее не описывает, а препарирует. Итин многое подает именно в законсервированном, заспиртованном виде. Все у него классифицировано, на всем этикетки, со ссылками на ученых или писателей, ранее работавших в этой области. Сорокин же пишет о Сибири не мудрствуя лукаво, и его образ реален и пахуч, как красный кровяной кусок сырой, парной баранины. Сорокин хорошо показал киргиза, для которого аэроплан — птица, несущая яйца, родящие гром. Читатель вместе с сорокинским киргизом опасается немного, как бы эта «птица» действительно не стала вить гнездо в степи из юрт бедных кочевников.

Писатель показал нам туземца при царе, при белых и при советской власти. Он рассказал нам о драме кочевника-скотовода, которого заставили рыть окопы: «Андрюша, ты сдурел, что ли? Не буду рыть землю. Степь-матери больно, степь кормит. Зачем буду землю портить? Не буду».

Жаль, что мастер Антон Сорокин до сей поры мало известен читателю, жаль, что его рассказы разбросаны по разным газетам и журналам. Собрать и издать их необходимо.

С далекого Амура пришел партизан и интеллигент до мозга костей Рувим Фрайерман. В его рассказах слышно, как воет подо льдом Амур, ревет на голых сопках ледяной ветер, хрустят нарты и тяжело дышат запалившиеся в упряжке собаки. Фрайерман держит на руках перед читателем сияющий и черный, как ночь, мех соболя, гладит пушистую спину лисы-огневки. Писатель прекрасно чувствует Сибирь, тайгу. Впрочем, лучше предоставить слово ему: «Гляжу вперед, гляжу назад — все тайга зубчатая, будто густым, стоячим туманом весь свет застилает, и идет от нее прель гнилая, как от старого гриба, на солнце паром вьется и дымом стоит.

И нет человека кругом». «Знаю я хорошо, что тайга, как море, страху в сердце не любит и дорог суматохе не показывает, чужих не уважает». «Страшна тайга и днем, а ночью еще страшней. Завернет тебя всего темь непроглядная, как в солдатское черное сукно. Пальца своего не увидишь. Посмотришь вверх, звезды вот-вот на тайгу упадут, до того близки и большие, полыхающие, словно костры хвойные в небе горят. Да все без толку, от них не светлей. Ветер трепыхается — слушаешь — не зверь ли идет. Тени от костра шаманят как бешеные, и кажется, что будто на земле нет ничего: ни городов, ни Сахалина, ни села Рыковского, ни людей... весь мир — тайга».

Так говорит о тайге Фрайерман устами сахалинца-таежника, насильника и завоевателя Кузнецова.

Фрайерман щедро раскладывает перед читателями богатства своей страны. Вот «светлое, как солнечный блик, плотное и сильное, как волна, тело горбуши», вот «вялая и робкая, зябко отливающая чешуйчатой сталью селедка...», «как мокрые сучья елей, навага...».

Писатель показывает маленькое счастье рыбаков, «зацепивших» большое руно селедки, и тревогу и арест скрывающихся «на мысу» большевиков.

Если у Кравкова туземец просто охотник, у Антона Сорокина участник гражданской войны, но не отдающий себе достаточно ясного отчета, почему он у красных или у белых, то фрайермановский Васька Гиляк знает, зачем он пришел в отряд к партизанам. Если Кравков белыми нитками пришивает к своим вещам современность, то у Фрайермана она органически сплетена со всем телом его повести. Его Васька Гиляк врастает в восстание, в революцию законно. Читатель чувствует, что писатель не лжет, что все это так и было, что революция действительно захватила туземца, взбодрила и подняла. Туземец Фрайермана действует, участвуя в работе отряда. Он не похож на «экзотических» декоративных «выдвиженцев» из тайги, агитирующих на съездах Советов с помощью объектива фотоаппарата, только своей физиономией. Тайга, туземец и революция у Фрайермана неразрывны. Хороши у него и партизаны. Кажется, что этот писатель способен создать большое, широкое, революционное и насквозь сибирское полотно.

«Географически» несколько дополнил Фрайермана П. Далецкий. Он рассказал о «зеленом клине» Приморья, о Владивостоке. Из его повести мы узнали, что «бухта в июне — самое мягкое масло». Он нам показал трудолюбивых китайцев и праздную жестокую толпу портового

города. Далецкий неплохо перемешал партизанские восстания с несложной жизнью деревни, с песнями девушек и парней, прыгающих через костер. Местами писателю удалось заставить читателя почувствовать холод трагических глубин гражданской войны. Нельзя забыть случай в бане. Белые налетели на деревню. Идет повальный обыск. Несколько партизанских семей, боясь расправы, спрятались в заброшенной бане. Обыскивающие подходят к убежищу прячущихся. На руках у женщины закричал ребенок, «захлебнулся» рукой. Но вырвался.

— Уай... а... аай...

— Маринка,— зашипели,— Маринка, или выметайся... или слышь...

— Уай... аай...

— Маринка, застервишь!

Ребенок стих, точно подавился.

Обыск прошел благополучно. Никого не нашли. Утром, когда ушли белые, из бани вышли прятавшиеся. Женщина вынесла мертвого, ею задушенного ребенка...

К сожалению, Далецкий слишком многословен и медлителен. Медлительность, с какой развертывается действие, отталкивает читателя и губит героев писателя — к концу повести они засахариваются, как передержанное варенье.

Из Канска приехал Федор Тихменев. Он хорошо рассказал о добром, но ограниченном крестьянине «Миленочке» и о мещанине, который в революцию был «сам по себе» [1].

В 1924 году около костра раздалось солидное покашливание. Все оглянулись и увидели худощавого, маленького человека. Человек этот сказал: «Петька шевелит мозгами». Все узнали в нем Ис. Гольдберга. Гольдберг подошел ближе и умело рассказал о том, что в Сибири есть «Путь, не отмеченный на карте». Все согласились, что таких путей много и что один из них Гольдберг действительно отметил.

Мимоходом бродяга К. Паустовский обронил свой тропический цветок «Минетозу», рассказал о чернокожих рабах, изнывающих от жары, лихорадки и эксплуатации.

«Иностранец» А. Шугаев эволюционизировал от тем «российских» к «сибирским»[2]. Он показал нам «Золотую го-

---

[1] Тихменев Федор Иванович (1890—1982) — писатель, в «Сибирских огнях» опубликованы в 1924 г. рассказ «Миленочек» и повесть «Сам по себе», в 1928 г. статья «О литературных «зазубринках» Зазубрина».

[2] Шугаев Александр Порфирьевич (1893—1972) — писатель, в Сибири жил с 1924 по 1936 г., печатал в «Сибирских огнях» рассказы, очерки, рецензии, в 1925—1926 гг. в этом журнале появились рассказ «Золотая голова» и повесть «Судьба Василия Ивановича».

лову» одного подпольщика-большевика, показал втершегося в партию прохвоста, Василия Ивановича.

Девятнадцатилетняя Евгения Анучина[1] заставила нас посмотреть на черные дни голода и разрухи наивными светлыми глазами детей. Анучина показала нам и детей с лицами, затемненными преступлением. Она пишет тщательно, тонко, как вышивает. Но на ее вещах нет и тени слащавости. Она смотрит на мир мужественно и просто.

Жаль, что замолчал Ф. Абрамов[2], сумевший увидеть в черноте «Воскресника» по уборке трупов едва уловимые отсветы нового. Любопытно выступил П. Стрижков[3]. Его миниатюры напоминают рассказы Джека Лондона. Золото, туземка, светловолосый человек. Смерть от пули в глухих горах и кровь на золотоносном песке, как крупная, дикая малина. Герои Стрижкова просты, мужественны и по-хорошему упрямы. Писатель на редкость лаконичен и сюжетен. Но пока еще Стрижков намыл небольшой мешочек (цикл) золота своих миниатюр. Он еще только начинает.

Яблоками, привезенными с Волги, искусно играет М. Никитин. В его рассказах видно, как яблоко растет, слышно, как оно падает в траву. Никитин много времени и сил отдает форме. Он кует форму для того, чтобы с ней подойти к Сибири. Сейчас он пишет о фруктовых садах, о помещиках, о крестьянах. Его герои собираются в Сибирь за землей, за ними, надо полагать, придет и писатель.

А. Коптелов интересен больше сам, чем его вещи. Кержак, начетчик, он пришел к революции и стал ее журналистом и писателем. Партизаны в своих воззваниях фамилию «Колчак» писали с маленькой буквы, вероятно, желая тем самым унизить диктатора. Коптелов часто положительных героев пишет с большой буквы, а отрицательных с маленькой. От этого проигрывают и те, и другие, и автор, и читатель. Но Коптелов — писатель начинающий. У него все впереди. Поэтому сейчас о нем говорить еще рано.

---

[1] Анучина Евгения Николаевна (1907—1985) — писатель и драматург, первые рассказы появились в «Сибирских огнях» (1926.— № 5—6; 1927.— № 2).

[2] Абрамов Федор — личность не установлена, кроме рассказа «Воскресник» (1925), в «Сибирских огнях» других произведений не появлялось.

[3] Стрижков Петр Николаевич (1903—1933) — писатель-очеркист, первые рассказы появились в «Сибирских огнях» в 1925 г., впоследствии постоянный и активный сотрудник журнала.

Н. Дубняк[1] сродни Коптелову по ненависти к деревне. Но Коптелов не утрачивает светлой перспективы, Дубняк же весь черен. От его рассказов веет жутью деревенской дикости и косности. Страницы, где описываются насильственный аборт и избиение крестьянина, заподозренного в краже, нельзя читать без содрогания. Дубняк работает в крестьянской газете. Каждый день через его руки проходят сотни селькоровских писем. Кажется, что писатель отбирает самые мрачные из них и из них, из этих подлинных кусков жизни, монтирует свои рассказы. Писателю надо выучиться не только монтировать, но и обобщать, переваривать сырье материала. Недоваренность его вещей заметна, непроработанные куски материала на зубах, как каша с песком.

Были у костра и такие писатели, как К. Минин[2], которые успели пока обмолвиться только одной фразой-афоризмом, что возможен «Дождь без ветра».

Последним в «Сибирские огни» ворвался, прибежал с криком А. Каргополов[3]. Он начал с повестей о крестьянстве. Он принес в редакцию две повести, такие же растрепанные, как и он сам.

Но за этой растрепанностью чувствовалась какая-то сила. Казалось, что слова распирают Каргополова, как зерно — туго набитый мешок.

Ведь редактировать — значит предвидеть, значит помогать, способствовать или, по меньшей мере, не мешать росту той молодой зеленой поросли, которая поднимается вокруг журнала. Поэтому надо печатать вещи и не совсем зрелые, но печатать надо обязательно, если к тому же пищущий обнадеживает. Печатать — значит облить творческие корни писателя живой водой общения с читателем. Бесспорно, в этом деле нужны такт и мера. (А то можно залить, захвалить насмерть.) Но где и в каком деле эти качества не нужны?

Вот какими соображениями руководствовались мы, когда печатали три зеленые вещи Каргополова («Зеленый тряс», «Повесть полей», «Под голубым потолком»). Карго-

---

[1] Дубняк (наст. фамилия Кудрявцев) Николай Александрович (1901—1944) — писатель, дебютировал в «Сибирских огнях» рассказами «В те поры...» и «Зеленая топь» в 1924 г., в дальнейшем был тесно связан с журналом.

[2] Минин Евлампий Андреевич (1893—1930) — писатель, со стихами, рассказами, очерками выступал в омских газетах, в 1925 г. в «Сибирских огнях» опубликован его рассказ «Дождь без ветра».

[3] Каргополов Александр Дмитриевич (1898—1972) — писатель, печатается в «Сибирских огнях» с 1926 г.

полов пришел в революцию с большой любовью к земле, к пашне и с острой ненавистью к городу. Каргополов — крестьянин, не может не любить землю, в которую, «что ни кинь — растет», на которой «травы ноне не перекосишь. Выдурела трава выше головы. Так куда ни кинь глаз — там и коси». Землю, как мать, у него обнимают и крестьянин Фома Толкач, и интеллигентка Маруся. «Фома Толкач десять раз обегал полосу, десять раз останавливался на углах полосы, и когда перед самым утром замирают и птицы, и человек — замер Фома Толкач, обняв набухшие росою стебли ржи, и не дышал, не говорил, не жил...». «Курганы над озером и воздух, как пена зелени, и оттого грудь на курганах шире и от трав покойная радость. Руки заломив над головой, стояла Маруся, не в силах сдвинуться с места. Как хорошо, закрыв глаза, выть солнцу; как хорошо, заткнув уши, аукать озеру и, упав на землю, как хорошо обнимать травы...»

Землю Каргополов одухотворяет. Она живое существо, она слышит и понимает человека. Поэтому если ты «обидел» ее, то: «Вставай, подлец, на колени: целуй эту землю. Говори, негодяй: целую тебя, родную, трудовую,— и Фома встал на колени и поцеловал полосу, и когда поцеловал, то заныло у всех в костях, и сердца всех качнулись в страшной муке...»

Каргополов берет деревню, разворошенную белыми, красными, войной, разверсткой, конфискациями, деревню, «спящую на топорах». Он молод, поэтому откровенен. Узнать, на чьей стороне его симпатии,— не трудно. Не трудно заметить, где и сам он в повести скрывается. Без ошибки можно утверждать, что наш автор в «Зеленом трясе» и в «Повести полей» носит одновременно несколько фамилий (как вообще всякий писатель), но наиболее любимые у него — Филин, Анбуш и его двойник Екимка — бог Носковой Веры.

Филин — мужик-пастух — делается командиром, вождем партизанского отряда. У Филина силы много, в боях с белыми она у него окрепла, разыгралась и понесла его... на город. Но деревня за Филиным дальше своей околицы не пошла, и Филин погиб от своей силы, как сноп пшеницы, «обессилел от силы».

Над деревней проходят грозы и бури революции. Все оторвавшиеся от земли гибнут (Филин, Федор Петрович), оставшиеся на ней, сохранившие с ней кровные связи благоденствуют: «Корови мои играють, я хлеб им, вино пью... По солнцу, по ковыльному, шел Анбуш Иван,— шел, играл и пел...»

Каргополов, как Анбуш, видел в деревне красных и белых, и наших продагентов. Он знает, что значит для крестьянина такие слова, как «разверстка и конфискация». В город писатель пришел с крестьянской озлобленностью на него (на город). В его вещах нередки страницы, насыщенные этой злобой, страницы, стянутые узостью крестьянского кругозора. В городе Каргополов научился многому, научился говорить «разные городские слова» и очень этому последнему обстоятельству обрадовался. Словами он захлебывается, словами играет, кокетничает. В «Зеленом трясе» партизан, а в «Повести полей» финагент бьют ворон без всякой нужды, бьют потому, что умеют это делать без промаха. Каргополов поступает по примеру этих своих героев — он засыпает читателя словами только потому, что он их знает. Он забывает подумать об интересах читателя... Читатель часто тонет в водянистых потоках его страниц, но иногда словесная вода писателя крепнет до густоты известкового раствора, делается горькой и едкой. Отрывок из романа «Под голубым потолком» написан именно так. Пусть отрывок в целом недостаточно художественно убедителен, но отдельные его места больно и верно бьют в цель.

А. К. Воронский, прочитав одну из повестей Каргополова, говорил ему: «Не пойму, что это у вас такое — реализм, не реализм... не пойму...»

Можно ответить Воронскому: в повестях Каргополова советская действительность. На самом деле, что может быть причудливее, невероятнее нашей действительности? Идешь по улице, видишь колонны пионеров, комсомольцев, войдешь в какое-нибудь учреждение и руками разведешь — какой век, какая власть? Совработники тут сидят или гоголевские Акакии Акакиевичи? Вот уж верно, товарищ Воронский,— не понять...

Каргополов на верной дороге. Он не сделался советским бюрократом, он сохранил зоркость глаза человека из полей. Теперь ему нужно только преодолеть свою техническую малограмотность и изжить крестьянскую узость в подходе к городу, в оценке роли города в революции и т. п. Ему нужно всю испепеляющую силу мужичьей ненависти перенести лишь на тех работников города, желудки и мозги которых загнили от жирной пищи, провоняли от постоянного пребывания в теплых местечках.

Сейчас же в вещах Каргополова — писателя-коммуниста — кажется странным огульное шельмование города и явное сочувствие деревне. Сейчас в его городских вещах лучшие страницы пока посвящены крестьянам. Крестьян он

дает хорошо и сочувствует им не только «на суше, но и на море»...

Каргополов — писатель начинающий, неустоявшийся, но, бесспорно, талантливый. Его смелое, может быть, даже дерзкое выступление надо приветствовать. Сегодня здесь много говорилось о необходимости отражать современность. Мне кажется, что Каргополов один из первых откликнется на выраженные здесь пожелания и даст современность, смело разрезанную, густо присыпанную солью сатиры.

Перехожу к заключительной части своего доклада. Я, конечно, сделал, товарищи, очень беглые характеристики своих собратьев по перу. Я не мог сделать подробного разбора всех наших авторов, так как их у нас 25 человек.

Мне хочется поставить два вопроса: есть ли Сибирь в нашей литературе и есть ли в нашей литературе то, что я называю «бусинкой» эпохи? (В каждой эпохе есть «бусинка».) Нашел ли писатель наш эту «бусинку»— ее всепроникающую коллективность? Сибирь в нашей литературе, товарищи, есть, хотя иногда с елочными украшениями, иногда в заспиртованном виде. «Бусинка» же еще не найдена. Сибирский писатель еще ни разу не ставил в основу своих работ революцию, диктатуру пролетариата, как условие уничтожения всякой власти человека над человеком, всякой эксплуатации человека человеком. Вопросы колоссальных геологических смещений в классовых пластах человечества наш писатель в полном объеме еще не поставил. Для него, по-видимому, важнее или, может быть, ему более по плечу личные драмы, а революция — движение масс — для него были только фоном, на котором развертывались эти личные драмы. Были попытки отойти от личного, перейти к этим колоссальным геологическим смещениям, но эти попытки были более или менее неудачны. Следовательно, пролетарской нашу литературу за эти пять лет назвать нельзя. Она крестьянская и попутническая. Сибирский писатель не показал основных черт пролетарской революции. Сибирский писатель, может быть, и не понял еще, не успел, не сумел понять, осмыслить пролетарскую революцию, все ее величие, всю ее мощь. Сибирский писатель иногда путает революцию пролетарскую с революцией буржуазной, иногда отдает предпочтение последней или дням военного коммунизма, в которых он видит элементы некоторой романтики, особенного подъема. Кое-кто из наших писателей при нэпе вышел даже из партии. Это, конечно, очень показательно. Наш писатель, видимо, не понял, что «буржуазные револю-

ции, как, например, революции 18 века, быстрее стремятся от успеха к успеху, их драматические эффекты импозантнее, люди и события озарены как бы бенгальским огнем, экстаз является господствующим настроением каждого дня; но они быстротечны, скоро достигают своего высшего пункта, и продолжительное настроение похмелья охватывает общество прежде, чем оно успевает трезво усвоить себе результаты периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, каковы революции 19 века, непрерывно критикуют самих себя, то и дело прерывают свой ход, возвращаются назад и заново начинают то, что, по-видимому, уже совершенно, с беспощадной суровостью осмеивают половинчатость, слабость, недостатки своих первых попыток, низвергают противника как будто бы только для того, чтобы он набрался новых сил и встал перед ним еще более могучим, все снова и снова отступают назад, пугаясь неопределенной колоссальности своих собственных задач, пока, наконец, не будут созданы условия, исключающие возможность всякого отступления, пока сама жизнь не заявит властно: «Hic Rhodus hic salta!» (К. Маркс, «18-е Брюмера»)[1].

День сегодняшний — день мелководный, день мелких расчетов. Но ошибается тот, кто скажет, что это мелководье иссыхания, заноса песком. Нет, это мелководье временного отлива. Но так думают немногие сибирские писатели. Большая часть склонна преувеличивать обмельчание дня, склонна принимать его за обмельчание революции.

Сибирский писатель не должен, не может отказаться от постановки проблем пролетарской революции. Могут возразить, что у нас нет рабочих, без которых нельзя говорить о пролетарской революции. Это неверно — рабочие здесь были и есть. Правда, они в ролях красных командиров, в ролях комиссаров, но, повторяю, они есть.

Вопросы мировой революции мы можем в своих вещах ставить уже сейчас и в Сибири во весь рост. Для этого нам нужно только вспомнить, что наши ближайшие соседи — Китай и Индия. Проблема раскрепощения колониальных народов Востока есть проблема мировой пролетарской революции. Восток и мы, Китай, Индия, Тибет, Монголия, Советская Сибирь, СССР — вот где широчайшие возможности для творчества сибирского писателя.

Сибирский писатель, к сожалению, не отметил роль ком-

---

[1] Цитата из произведения К. Маркса «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта» приведена здесь в том виде, в каком она опубликована в журнале «Сибирские огни» (1927.— № 2).

муниста в революции и роль коммунистической партии. В литературу нашу коммунист не попал.

Как-то Владимир Ильич Ленин говорил Горькому после того, как прослушал сонату Бетховена:

«— Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди.

И, прищурившись, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, коротые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм,— должность адски трудная!»

Вот такого коммуниста — многогранного, живого, с его «адски трудной должностью»— у нас еще в литературе, товарищи, нет. Все попытки в этой области пока только первые эскизы, схемы. Они, конечно, законны и нужны, но того, что хотелось бы видеть, пока что нет. Может быть, не истекли еще сроки, но мы констатируем то, что есть.

Я не навязываю темы писателям. Я говорю о том, что у нас сделано еще очень немного, а на всем сделанном — печать коллективной равности. У нас есть хор. Этот хор составился за пять лет. Отдельных голосов в этом хоре почти не слышно. Ни один еще писатель за эти пять лет не наложил печати своего яркого дарования на нашу литературу, не создал своего стиля. У нас есть отдельные яркие фигуры, но погоды они не сделали, к тому же они слишком быстро ушли в центр.

Костер «Сибирских огней» поддерживался все это время дружными усилиями всех работавших в нем. Часто в него попадали сырые сучья, сухих щепок было мало. Иногда писатели просто грели руки у костра, иногда дыму было больше, чем огня. Но важно, что есть огонь, и если не испортится погода и не пойдет дождь, который, как известно, всегда идет сверху и по обстоятельствам независящим, то мы в конце концов будем иметь костер более яркий, станем бросать в него щепки от тех бревен, из которых мы начали уже строить дом своей литературы. Пора нам от «кострового» периода перейти к «домовому». Пора нам прекратить печатание торопливых отрывков из блокнотов, которыми мы спешили рассказать о себе, потому что мы вырвались из страшного пекла, потому что жизнь каждого из нас похожа на кинороман. Нужно писать просто и мудро. Мы должны писать с

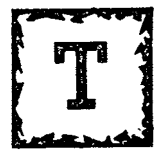
предельной простотой, ясностью и лаконичностью. Один из китайских критиков говорил, что если ты не можешь сказать то, что хочешь, в двенадцати словах, то лучше не говори об этом вовсе.

Но это не значит, что мы должны ограничиться постройкой маленьких деревянных домиков-рассказов. Мы имеем право на постройку многоэтажных (Индия, Китай, Монголия, Сибирь) каменных небоскребов-романов. Хотя коммунальный банк туго отпускает средства на постройку кирпичных зданий, обращая тем самым наш город в сплошной костер, но наше жилтоварищество — Сибирский Союз писателей — может обойтись и без ссуд коммунального банка. Он будет строить небоскребы романов, и строить их достойными и страны, и эпохи.

Пятилетие «Сибирских огней», товарищи,— это радостная и теплая тяжесть в руках. Грань этого пятилетия я чувствую под ногами, как стальной трос. Я чувствую, товарищи, что мы все стоим на ней сейчас прочно и тянемся к шкале культурных завоеваний десятого Октября, тянемся, чтобы на этой огромной шкале сделать скромную, маленькую, но свою зазубринку. **(Шумные, продолжительные, аплодисменты.)**



НЕЕЗЖЕНЫМИ ДОРОГАМИ



ак называется один из очерков замечательного советского писателя Владимира Зазубрина. Но «неезжеными дорогами» характерна и вся многотрудная, полная драматизма жизнь этого ярко самобытного, талантливого, увлекательного художника. И не только художника, ибо творческая увлеченность и самозабвенность прекрасно уживались в нем с неиссякаемым общественным темпераментом, жаждой активного служения отечеству. Взаимно дополняющие эти начала, собственно, и составляли основу существа его личности, проявившиеся в писателе еще «на заре туманной юности».

Владимир Яковлевич Зазубрин (настоящая фамилия Зубцов) родился в Пензе 6 июня 1895 года в семье железнодорожного служащего. Отец будущего писателя, Яков Николаевич Зубцов, активно участвовал в событиях первой русской революции и даже был выслан в 1907 году из Пензы в Сызрань под гласный надзор полиции. Поэтому с самого детства Володя Зубцов имел о революционной деятельности отнюдь не книжное представление. А в конце 1912 года, будучи учащимся пятого класса Сызранского реального училища, он и сам ступает на революционный путь — становится одним из организаторов нелегального ученического журнала «Отголоски» с ярко выраженной политической окраской. Через год устанавливает связь с сызранскими социал-демократами, а довольно скоро становится и одним из руководителей сызранских большевиков. В 1915 году Зубцова исключают из последнего класса реального училища и арестовывают. Однако после трех месяцев тюрьмы он снова включается в агитационно-пропагандистскую революционную деятельность.

В конце 1916 года в жизни В. Зубцова произошло событие, которое в дальнейшем послужило поводом для неоднократных и необоснованных попыток обвинить его в провокаторстве. Дело в том, что Сызранский комитет РСДРП (б), настороженный частыми арестами своих това-

рищей, направил В. Зубцова «на работу» в охранку для того, чтобы предотвратить дальнейшие провалы. И вплоть до марта 1917 года, выполняя директиву комитета, В. Зубцов прослужил в жандармском отделении.

В апреле 1917 года В. Зубцов вместе с прибывшими из Петрограда большевиками командируется Сызранским комитетом для сбора средств на рабочую печать. На одной из фабрик Гурьевского района он вновь арестовывается за большевистскую пропаганду.

В августе этого же года В. Зубцов мобилизован в армию и оказывается в Павловском юнкерском училище, где сразу же примыкает к училищному ревкому. Октябрьскую революцию он встретил в Петрограде, что, конечно же, не могло не оказать на него глубокого воздействия.

Все это время, начиная с 1914 года, В. Зубцов активно сотрудничает в поволжских газетах и даже вынашивает планы романа о большевистском подполье. Однако планам этим не суждено было сбыться. Начался мятеж белочехов, которые захватили Сызрань (а с февраля 1918 года Зубцов снова здесь), и его как «бывшего юнкера» в августе 1918 года снова мобилизуют и посылают для «прохождения службы» в Оренбургское военное училище, эвакуированное вскоре в Иркутск. По окончании в июне 1919 года училища В. Зубцов назначается командиром взвода 15-го Михайловского стрелкового добровольческого полка, состоявшего (один из парадоксов гражданской войны) из рабочих пермских заводов. Опыт большевика-подпольщика, агитатора-пропагандиста как нельзя лучше пригодился в данной ситуации: подпоручик Зубцов сумел убедить солдат и офицеров своего и соседнего взводов перейти на сторону красных. Прихватив с собой артиллерийское орудие, они прорвались через сторожевое охранение и присоединились к тасеевским партизанам. С партизанами В. Зубцов и входит в сибирский городок Канск, освобожденный от колчаковцев.

В Канске Владимир Яковлевич с головой окунается в работу. Официально он числится корректором канской уездной газеты «Красная звезда», но одновременно он и метранпаж, и автор многочисленных газетных материалов. Читает он, кроме того, и лекции в местной партшколе...

Даже в предельно сжатом пересказе биография Зубцова-Зазубрина чем-то похожа на приключенческий роман. Однако за увлекательностью ее фабулы драматизм человеческой судьбы, оказавшейся в самой гуще эпохальных событий.

Втянутый в пучину бушующего политического водо-

ворота, В. Зазубрин увидел революцию не с того или иного берега, не глазами стороннего наблюдателя, а из самой ее глубины, со всеми трагическими противоречиями, кровью и жестокостью.

Увиденное и пережитое переполняло впечатлительного, чутко реагировавшего на происходящие новообразовательные процессы молодого человека, и тогда же, в Канске, в 1920 году в нем начинает зреть и оформляться замысел произведения, которому вскоре будет суждено стать и первым советским романом, и одной из самых впечатляющих страниц о гражданской войне в нашей литературе,— романа «Два мира».

Роман этот был дописан в 1921 году в Иркутске, где В. Зазубрин сначала руководит дивизионной партшколой в политотделе Пятой армии, а затем становится редактором армейской газеты «Красный стрелок». Здесь же, в армейской походной типографии, в начале ноября 1921 года роман «Два мира» выходит отдельной книгой.

Роман сразу же заметили и по достоинству оценили многочисленные его читатели. Успех не был сиюминутным и преходящим. Только при жизни писателя «Два мира» выдержали 12 изданий. Высокую оценку книга получила у А. М. Горького. И действительно, написанный «со страстью, гневом и болью» по свежим следам гражданской войны непосредственным ее участником и очевидцем, роман этот, талантливо воссоздавая самые кровоточащие страницы жесточайшей борьбы восставшего против Колчака народа Сибири, становится поистине уникальным агитационно-политическим и художественным документом эпохи, что и предопределило его долгую жизнь.

Отдавая должное этому замечательному произведению, необходимо с сожалением констатировать, что в тени «Двух миров» фактически осталось все остальное, созданное В. Зазубриным, хотя литературное наследие писателя весьма значительно.

«Два мира» стали мощным трамплином для будущей литературной деятельности. Успех романа воодушевил писателя, прибавил сил и уверенности, но не вскружил голову. Молодой литератор хорошо осознавал, что на великой лестнице художественного мастерства это лишь первая ступень...

В феврале 1922 года В. Зазубрин демобилизуется из рядов Красной Армии и переезжает из Иркутска сначала в Канск, затем — в Новониколаевск (Новосибирск), где по

решению Сиббюро РКП (б) с октября 1923 года он «председатель и секретарь «Сибирских огней».

Пять счастливых лет В. Зазубрин будет связан с этим журналом — первенцем советской художественной периодики. Счастливых, потому что годы эти в его жизни окажутся годами большого творческого подъема. В. Зазубрин проводит огромную организационную работу по сплочению литературных сил Сибири, главным итогом стало образование Союза сибирских писателей (первым председателем был единодушно выбран Владимир Яковлевич). В то же время много сил и духовной энергии отдает писатель собственно литературной работе, в которой ведет активные поиски новых тем и проблем, выбирая, надо сказать, самые горячие, больные и злободневные, а также средств художественного выражения сложных процессов революционного преобразования в обществе.

В 1922—1923 годах В. Зазубрин пишет повесть «Щепка» и рассказы «Бледная правда» и «Общежитие», составившие в идейно-художественном отношении единый блок, где автор мучительно размышляет над дальнейшими судьбами революции, над проблемами и противоречиями, встающими на пути строительства нового общества.

Повесть «Щепка» посвящена ЧК в первые мирные после гражданской войны годы. Читатель, привычно настроившийся на детективно-приключенческий лад (а об этой поре нашей истории писали и до сих пор пишут обычно именно в таком ключе), думаю, будет несколько разочарован: ни соответствующего сюжетного хитросплетения, ни привычного героического нимба над челом «железных рыцарей» революции в повести он не обнаружит. Зато получит ясное представление о рабочих буднях «чрезвычайной комиссии» губернского города.

Мы видим главного героя повести, председателя Губчека Андрея Срубова, заваленного ворохом заявлений и доносов, сквозь которые отчетливо просматривается мерзкое «мурло мещанина», сделавшего из доносов и кляуз своеобразное хобби. Не случайно, каждодневно перелопачивая все это, Срубов почти физически ощущает на себе «липкую грязь», которая «раздражала тело».

Не только, разумеется, «доброжелатели» проходят через Срубова, его учреждение. «Он опускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки...» Не случайно Срубов полушутя называет себя «ассенизатором революции».

Но, конечно, главное в его чекистской работе — борьба с идейными врагами революции, с теми, кто в сетях заговоров пытается задушить советскую власть. И в повести «Щепка» читатель становится свидетелем разоблачения одного из таких заговоров.

«Срубов видел диво — Белый и Красный ткали серую паутину будней. Его, Срубова, будней... Белый плел паутину ногами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает. Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого — нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место — белый трехэтажный каменный дом (здание Губчека.— *А. Г.*). Красный вил и днем, и ночью, не прерывая работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает...»

Собственно говоря, это не описание чекистской операции, а своего рода метафорический ее образ, в котором иносказательно, но достаточно точно и емко переданы суть и тактика борьбы с вражеским подпольем. И к подобного рода метафорам В. Зазубрин не раз еще прибегнет в своем творчестве. Соединенные с особым ритмом, который критик 20-х годов В. Правдухин назвал «ритмом революции», кинематографичностью повествования, они становятся важным звеном в образном мире писателя.

Впрочем, зазубринская метафоричность, вообще его стилистика при всем ее своеобразии вырастает из глубоких и прочных реалистических корней. В «Щепке» реализм этот предельно обнажен, нещадяще жесток, дотошно скрупулезен настолько, что временами создается иллюзия строго документального повествования, хотя, в отличие, скажем, от «Двух миров», публицистичность в повести сведена до минимума — и персонажи, и события, в ней происходящие, собирательны.

Повесть «Щепка» начинается со сцен массовых расстрелов в подвалах Губчека. Сцен жутких, но и психологически точных по рисунку того состояния, в котором находятся люди по обеим сторонам разделяющего их незримого барьера — приговоренные к казни и исполнители приговора. Каждый из участников смертельного действа высвечивается, что называется, до донышка. Одни из приговоренных до конца сохраняют честь и достоинство, другие уже от одной мысли о скорой неминуемой гибели теряют последние признаки «гомо сапиенс».

Но и исполнители, убеждаемся, наблюдая за ними в деле, неодинаковы. «Трое стреляли, как автоматы. И глаза у

них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти непроизвольно». А вот и иной тип исполнителя-расстреливателя — Ефим Соломин, который как бы и не казнил, «не стрелял, а работал». Но работал уже не для себя, не на свое крестьянское хозяйство, а на революцию, которой с холопской преданностью «служил, как хорошему хозяину». И вот этот, лишенный всяких нравственных оснований прагматизм делает соломиных особенно страшными. Тип этот Зазубриным пока только намечен, но увиден он писателем удивительно прозорливо: через какие-нибудь полтора десятка лет соломины станут важной и безотказной частью тотальной репрессивной государственной машины.

Ревнителей эстетической стерильности, возможно, покоробят некоторые подробности в изображении «лобного» подвала, где во время казней воздух становится «как в растревоженной выгребной яме». Однако без этого натурального показа художественный эффект оказался бы неполным.

Но дело не только в художественном эффекте. Надо учитывать и особенности восприятия писателем изображаемой реальности, его видение мира, идущее от собственного опыта и запаса впечатлений. Ощущение же революции, отношение к ней было, судя по всему, у автора «Щепки» неоднозначным. С одной стороны, В. Зазубрин со всей страстью своего темперамента принимает революцию, будучи убежденным в ее необходимости, беззаветно служит ей. Но с другой — как художник с обостренным зрением и чувствованием, имеющий за плечами не романтически-светлый, а жестоко-кровавый опыт борьбы за новое общество, Зазубрин не мог не видеть, что революция, по его же словам, «любовница прекрасная», но и «жестокая».

Естественно, что и зазубринский Срубов, во многом выражающий мысли и чувства автора, видит революцию «в лохмотьях двух прекрасных цветов — красных и серых... Она красно-серая». И, следуя логике своих рассуждений, Срубов приходит к выводу, что и революционное знамя должно быть серым с красной звездой посредине.

Дело, конечно, не в цвете как таковом. Метафорический смысл этой цветовой характеристики революции глубже. Речь, если вдуматься, идет о несоответствии романтическо-идеализированного образа революции, культивировавшегося, кстати, нашими литераторами и искусством многие десятилетия, ее реальному облику и содержанию, об опасности искаженного понимания сложных революцион-

ных процессов. Именно это прежде всего и имел в виду автор и его герой, утверждая в «Щепке», что «Красное Знамя — ошибка, недоговоренность, самообольщение».

Для Срубова (читай — и для Зазубрина) революция — не абстрактная идея. «Она — живой организм». Председатель Губчека видит ее не «бесплотной, бесплодной богиней с мертвыми античными или библейскими чертами лица», какой любили ее изображать со времен падения Бастилии, а «бабой беременной, русской, широкозадой, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой, холщовой рубахе», исполинской женщиной-матерью, в чреве которой зреет плод новой жизни. Именно «такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную», Срубов и любит.

Образ этот постоянно возникает в сознании главного героя повести. Видоизменяясь и развиваясь, он становится своеобразным контрапунктом в идейно-художественной структуре произведения, задавая ему необходимые тональность и гармонию.

Но и Срубов не сразу приходит к такому вот, далекому от праздничных пурпурных тонов, восприятию революции. Ломка в его сознании происходит значительная. Окунувшись в «чрезвычайно тяжелую» работу «чрезвычайной комиссии», Срубов при всей влюбленности в революцию со временем острее и острее начинает ощущать несоответствие высоких гуманистических целей революции, ее идеалов тем средствам и способам их достижения, основанным на крови и насилии, которые неожиданно оказались в ужасающе широком ходу. Вот почему так много места в повести уделено размышлениям о революционном терроре — его политическом, моральном и нравственном аспектах. Почти одновременно со своими знаменитыми современниками — я имею в виду «Шесть писем В. Г. Короленко к А. В. Луначарскому», «Несвоевременные мысли» А. М. Горького, «Окаянные дни» И. А. Бунина — В. Зазубрин задался, по сути, тем же «проклятым вопросом»: может ли быть оправдана кровь, проливаемая во имя добра и справедливости?

И не случайно отец Срубова вспоминает Достоевского, убеждая сына, что «на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных» невозможно «воздвигнуть здание человеческого счастья», что «откажется будущее человечество от «счастья» на крови людской созданного». Революционный фанатизм и мысль великого гуманиста о том, что никакая революция не стоит слезинки одного замученного ребенка, оказались действительно плохо совместимыми. И не мудрено. Музыку в то время заказывала не «мяг-

котелая достоевщина», а жестокая классовая политика, понимаемая, к тому же, зачастую исключительно прямолинейно и вульгарно. И В. Зазубрин сумел одним из первых (не только художников, но и политиков, общественных деятелей) прозорливо почувствовать опасность надвигающегося политического геноцида, прикрывающегося революционной фразой.

В размышлениях о революционном терроре, его психологии, движущих силах и т. д. В. Зазубрин неизбежно выходит на одну из самых острых и больных проблем своего времени — личность и революция, которая вскоре станет одним из важнейших вопросов молодой советской литературы. Одним из первых задумался В. Зазубрин над тем, что есть для революции отдельная человеческая личность: винтик в гигантской машине (образ этот тоже не раз возникает в повести), щепка, мечущаяся в революционной стремнине?..

Собственно, такой вот щепкой в бушующем потоке и начинает чувствовать себя Срубов. Безраздельно влюбленный в революцию, он тем не менее подозревает, что как самоценная личность он ей не нужен. «Ей необходимо только заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками...»

Будучи художником чрезвычайно чутким к социально-политической атмосфере, В. Зазубрин не мог не видеть и не понимать, что в прокрустово ложе классовой схемы индивидуальность не вписывалась, а значит, нивелировалась, подавлялась, низводилась до уровня «щепки», послушного винтика. Ценность же человеческой личности писатель всегда ставил очень высоко, был убежден, что народ — понятие всегда личностное, а не отвлеченно-безличное. Мысль эту он с успехом доказывал в «Двух мирах». На ином материале, на новом витке развития современного ему общества подтверждает он и в повести «Щепка».

Одновременно со «Щепкой» В. Зазубрин предложил журналу «Сибирские огни» рассказы «Бледная правда» и «Общежитие», которые, в отличие от отклоненной редколлегией «Щепки», были в том же, 1923 году опубликованы.

В отличие от повести «Бледная правда» затрагивает уже несколько иную сферу жизни, тем не менее перекличка ряда мыслей, образов, настроений в обоих произведениях явственно ощутима. Это и не удивительно: борьба двух миров, начатая революцией и гражданской войной, продолжи-

лась в ходе социалистического строительства, об одном из эпизодов которого и рассказывает «Бледная правда». И хотя борьба эта ушла вглубь, в «подпочвенные» горизонты, от этого она не стала легче, о чем и свидетельствует история, случившаяся с главным героем рассказа.

Бывший кузнец и командир партизанского отряда, коммунист Аверьянов был направлен партией на ответственную хозяйственную работу: сначала продовольственным комиссаром, затем — заведующим крупной продовольственной конторой. Прямолинейный, резкий, грубоватый, но честный и бесхитростный, он попадает в ловко расставленные сети жуликов и мздоимцев, свивших себе гнездо в его конторе.

Аверьянов не смог разглядеть преступников в своем ближайшем окружении не только из-за их хитрости и коварства, но и из-за собственной близорукости, явившейся следствием наивной веры в мгновенную очистительную силу революции, способную переделать, как по мановению волшебной палочки, даже ярых врагов.

Впрочем, и это не окончательный ответ, почему преданный революции человек попадает на скамью подсудимых. Помимо личных качеств тут надо учитывать и самое атмосферу случившегося, тесно связанную с известным периодом нашей истории под названием «новая экономическая политика».

Когда-то Аверьянову «все было просто и понятно». Понятно, когда работал в кузнице. Понятно — тут белые, тут красные — на гражданской войне. Ясность стала исчезать, когда стал комиссаром по продовольствию. Он не был готов к такой работе. Но, подчиняясь партийной дисциплине, служил и здесь «как солдат, как боец», являя собой пример долга, партийной исполнительности. И когда шла продразверстка, когда надо было действовать в приказном порядке, он справлялся, заслуживал благодарности. Новые экономические отношения вскрыли некомпетентность, а то и просто малограмотность Аверьянова, которые трудно было покрыть одной только энергией, напористостью, подменить приказами и командами. Не случайно Аверьянов совершенно терялся, когда приходилось иметь дело с документацией, с канцелярскими бумагами, шелест которых (и это прекрасно передано автором своеобразной звукозаписью) ассоциируется у него со змеиным шипением, вообще с хитроумным хозяйственным механизмом. Естественно, что жулики всем этим прекрасно и воспользовались.

О сложности общественной атмосферы говорит отно-

шение к Аверьянову окрестных крестьян, свозивших на склады заготконторы продовольствие и окрестивших его «тигрой лютой». Для них он олицетворение военного коммунизма, от которого они столько натерпелись. Вот почему так искренне радуются присутствующие в зале суда крестьяне, услышав суровый Аверьянову приговор.

Однако драма Аверьянова становится тяжелой вдвойне с того момента, когда, не захотев по-настоящему вникнуть в суть дела, не поверили коммунисту его же товарищи по партячейке, выступающие в качестве судей и обвинителей. А ведь сам-то он им верил до последнего момента, верил, что разберутся, докажут его честность и порядочность.

Почему же не поверили? Здесь в самый раз вспомнить — а судьи кто? А судьи — такие же, как и Аверьянов, рабочие и крестьяне, ставшие «обвинителями в порядке партдисциплины». В том и парадокс трагический, что пострадавшего от своей некомпетентности человека судят такие же некомпетентные люди, поддавшиеся к тому же влиянию враждебно настроенной к «тигре лютой» толпе обывателей.

В рассказе детально воспроизводится и ход процесса, и настроение зала, и поведение судей. И невольно думаешь, читая о событиях почти семидесятилетней давности, что и сегодня, когда мы создаем правовое государство, многие наблюдения автора свежи и актуальны. Во всяком случае, и сегодня вопрос о правовом непрофессионализме и формализме стоит чрезвычайно остро.

Еще одной яркой страницей истории революционного бытия стал рассказ В. Зазубрина «Общежитие». Показанные в нем будни общежития ответственных совработников выдержаны в довольно-таки мрачных тонах. К тому же, обстановка в рассказе накалена и предельно драматизирована сифилисом, которым через одну из героинь заразилось большинство обитателей общежития. Однако ситуация с сифилисом — отнюдь не рассчитанный на падкого на «клубничку» обывателя ход. В рассказе это не просто болезнь, а своего рода зловещий предупредительный знак на пути начинающейся духовной проказы и распада личности, что вполне согласуется с позицией писателя, которую он высказывал на читательской конференции, посвященной «Общежитию», подчеркивая, что «его главная задача — ударить по опошленному быту, сказать, что наше отношение к женщине грубо-варварское, хищническое»[1]. И обо всем этом писатель говорит в рассказе резко, порой даже зло, в сгу-

[1] Советская Сибирь.— 1924.— № 12.

щенных, может быть, красках, но зато очень зримо, осязаемо, предельно достоверно и убедительно.

Впрочем, и не бытовые отношения сами по себе в конечном счете волновали писателя, а личность коммуниста, в том числе и партийного работника, в сфере влияния которого находятся многие другие люди, его нравственное реноме.

В рассказе показана не худшая часть общества. Все «живущие в общежитии и уходящие из него день за днем делают большое и нужное дело,— отмечает Зазубрин.— Они читают лекции в партшколе, служат в Губисполкоме, лечат больных. Все они на хорошем счету». Они и ночью поднимутся «по первой партийной тревоге». И в то же время в быту они совсем другие. В. Зазубрин чутко уловил признаки двойной морали у определенной части партийных функционеров и забил по этому поводу тревогу.

Рассказ «Общежитие» по выходе его откровенно напугал многих чиновников (как партийно-государственных, так и литературных), увидевших в явной его несостыкованности с идеологической тенденцией изображать партработников только рыцарями без страха и упрека, подрыв собственного авторитета и очернительство.

После насыщенного 1923 года в творчестве В. Зазубрина наступает некоторый спад, связанный, как говорилось, и с работой в «Сибирских огнях», и с организацией Союза сибирских писателей. За десятилетие, прошедшее между публикациями «Общежития» и романа «Горы» (1933), из художественных вещей появилось только два небольших рассказа — «Черная молния» и «Дичь на блюде». Выступал писатель и как сценарист; на основе «Двух миров» им был написан сценарий художественного фильма «Красный газ». Тема борьбы за утверждение советской власти в Сибири была продолжена В. Зазубриным и во втором его сценарии — «Избушка на Байкале». Оба фильма, к сожалению, не сохранились, но у зрителей 20-х годов имели большой успех.

Вторая половина 20 — начало 30-х годов раскрыли во всей полноте еще одну сторону дарования В. Зазубрина — публициста и литературного критика, о чем красноречиво свидетельствуют его очерки «Неезжеными дорогами», «Заметки о ремесле», а также статьи «Литературная пушнина», «Проза «Сибирских огней» за пять лет» и многочисленные рецензии, прочитав которые, мы получим достаточно ясное представление как о идейно-эстетических позициях и лите-

ратурных воззрениях Зазубрина, так и о самом литературном процессе, осложненном ожесточенной групповой борьбой, разжигаемой в Сибири главным образом Ассоциацией пролетарских писателей.

Борьба эта, отнимавшая у В. Зазубрина много нервов и сил, тоже была одной из причин снижения творческой активности писателя. Особенно драматично сложился для В. Зазубрина 1928 год. В марте на литературном небосклоне Новосибирска появляется группа «Настоящее» с ее лидером А. Курсом, редактором газеты «Советская Сибирь». А. Курс публикует разносный фельетон «Кровяная колбаса»[1], где, по сути, перечеркивается все творчество В. Зазубрина, и прежде всего роман «Два мира». Одновременно настоященцы публикуют ряд подобных же статей и рецензий о журнале «Сибирские огни» и произведениях его главного редактора. Травля писателя приобрела разнузданные формы. И уже в июне 1928 года бюро Сибкрайкома ВКП(б) выносит резолюцию о журнале «Сибирские огни», где в адрес редакции и руководства журнала записывается «недостаточно критическое отношение к идеологической выдержанности собственных произведений, в результате чего последние нередко дают неправильное, вредное по своим результатам, отражение советской действительности. (В. Зазубрин «Заметки о ремесле» и проч.)». Сразу же после появления резолюции В. Зазубрин освобождается от работы и в «Сибирских огнях» и в Союзе сибирских писателей.

Отлученный от литературной жизни Сибири, В. Зазубрин вскоре переезжает в Москву, где работает сначала в Госиздате, затем в журнале «Колхозник», основанном А. М. Горьким. По его же, Алексея Максимовича, рекомендации В. Зазубрин в качестве делегата от московской писательской организации присутствует на Первом Всесоюзном съезда советских писателей.

Живя и работая в Москве, В. Зазубрин не порывает связей с Сибирью: время от времени наезжает в Новосибирск, путешествует по Алтаю. У него складывается и начинает реализовываться замысел большого эпического полотна о сибирском крестьянстве. Писатель задумал трилогию. Написана же и опубликована была только одна из книг, посвященная началу коллективизации и называвшаяся «Горы». В судьбе этого произведения (и в дальнейшей судьбе самого автора) деятельное участие принял Горький, с которым после отъезда из Новосибирска сблизился Зазубрин. (О

[1] Советская Сибирь.— 1928.— 22 апр.

теплых, хотя и взыскательных их отношениях свидетельствует оживленная переписка между ними, начавшаяся в 1928 году и продолжавшаяся до самой смерти Горького.)

Действие романа «Горы» происходит в 1928 году, накануне всеобщей коллективизации. Вопрос ликвидации кулачества как класса еще не стоит, но он уже витает. В стране зреет хлебный кризис. Товарно-денежные отношения нэпа потихоньку сворачиваются, зато набирает обороты командно-бюрократическая система управления, складывается культ генсека. Идет все большее отступление от ленинского кооперативного плана, и все больше усилий тратится на попытки решить продовольственную проблему путем искусственного форсирования процесса обобществления, хотя к коллективизации большинство полуграмотных российских мужиков было попросту и не готово. Естественно, что главным орудием скоропалительного экономического переустройства деревни становится нажим и насилие.

В такой же непростой обстановке, нашедшей свое отражение в романе, и приходится действовать главному герою его Ивану Безуглому, уполномоченному по хлебозаготовкам. Непростой и потому еще, что не всегда можно провести грань между середняком и кулаком, а в Сибири, где беднейшего крестьянства было мало,— особенно. И Безуглый не рубит сплеча, он считает, что в хлебозаготовках надо «главное внимание отдать массовой разъяснительной работе». Такая позиция говорит за то, что перед нами не механический исполнитель директив, а человек, трезво оценивающий происходящие в деревне процессы.

Безуглый вообще, может быть, даже в ущерб динамике произведения, его сюжетному развитию много размышляет о социально-политических, социологических, экономических, исторических, национально-этнических, экологических вопросах, ведет дискуссии с представителями различных слоев населения Алтая, иностранными специалистами в Сибири. Книга насыщена информационным и справочно-историческим материалом. И это никак нельзя отнести к недостаткам романа, ибо без всего этого в принципе невозможно понять особый драматизм коллективизационных процессов в Сибири, где никогда не существовало помещиков, где жизненный уровень стабильно был выше среднероссийского, где бал правил в основном крепкий середняк, который в средней полосе запросто шел за кулака.

Жизнь Горного Алтая, а через нее и всей многонациональной Сибири представлена в романе «Горы» в нескольких планах и исторических, временных измерениях, в совокуп-

ности и взаимопересечении многочисленных стоящих перед нею проблем, что с точки зрения художественной обусловлено еще и эпической направленностью произведения, которая как раз и предполагает его объемность, многопластовость, историческую глубину и перспективу.

Историческую фундаментальность роману придают и многочисленные ретроспекции, возвращающие читателя то ко временам первых русских поселенцев в Горном Алтае, то к годам гражданской войны, то к истории возникновения и эволюции коммун на Алтае.

Проявлению в романе эпической тональности способствует и алтайский фольклор, народный алтайский эпос, органично входящий в художественную плоть произведения и придающий ему неповторимый колорит и звучание. (К слову сказать, В. Зазубрин был большим знатоком и ценителем алтайского фольклора, им переведены несколько алтайских сказок.)

Эпика, монументальность обычно невозможны без соответствующих опорных развернуто-символических образов. Есть такой разветвленный, как древо кровеносных артерий, питающее жизненными токами весь организм, образ и в романе В. Зазубрина. Это образ гор, возникающий едва ли не в каждом эпизоде повествования, образ, постоянно изменяющийся, пульсирующий, образ космогонический, подчеркивающий неразрывную связь всего живущего и произрастающего на земле.

Отличает роман «Горы» и подлинно эпическая густонаселенность. Перед читателем проходят люди разных эпох, социальных групп, национальностей, вероисповеданий. Силовые же линии романа распределяются между двумя центральными образами-полюсами: коммунистом Безуглым и кулаком Андроном Моревым, представляющим собой классово противоположные лагеря. Естественно, что и основной конфликт романа проходит по водоразделу их взаимоотношений, которые сложны, неоднозначны, как непросты сами эти характеры.

Морев — первый богатей села Белые Ключи, и Безуглый, по большевистской логике, ничего другого, кроме классовой ненависти, испытывать к нему вроде бы не может и не должен. Но тем и интересен и силен Зазубрин как художник, что он никогда не стремился писать в угоду тенденции, сложившейся схеме, никогда не принимал прямолинейной логики. Вот почему Безуглый видит в Мореве вперед всего умного, рачительного, культурного хозяина, у которого есть чему поучиться. Да и жизнь в свое время, на исходе граж-

данской войны, Андрон Безуглому спас. И немало еще времени потребуется коммунисту, чтобы разглядеть в своем спасителе корысть, двуличие, хитрость и коварство.

Из всех персонажей романа Андрон Морев выписан, пожалуй, наиболее живо, убедительно, наиболее колоритно. Автору удалось показать тип коренного сибиряка-кержака со всей его, уходящей глубокими корнями в алтайскую землю родословной, хозяина-богатея, чей капитал сколочен не только собственным крестьянским талантом, но и на крови, обмане, нещадной эксплуатации тоже,— тип настолько же во многом привлекательный, насколько и отталкивающий.

На фоне Морева, сконцентрировавшего в себе многие характерные черты сибирского мужика, Безуглый выглядит бледнее и как-то заданнее. Особенно проявляется это, когда дело касается политического диалога с крестьянином, пропаганды коллективизации, то есть именно там, где герой-коммунист должен быть, наоборот, особенно ярок, впечатляющ и убедителен.

Впрочем, объяснить относительную неудачу с образом Безуглого можно. Ведь задачу себе в стремлении изображать жизнь объективно, не в угоду тенденции, писатель поставил архисложную. К моменту создания первой книги эпопеи результаты коллективизации были уже в основном известны: реляции о победном шествии колхозного движения явно не совпадали с трагической реальностью этого процесса. И Зазубрина, знавшего о полунасильственном обобществлении крестьянства не понаслышке, обуревали, по-видимому, противоречивые чувства. Веря как коммунист в необходимость коллективизации, он при своем обостренном чувстве справедливости вряд ли мог принять методы ее достижения. Вот, наверное, почему возникает в романе «Горы» между установкой на положительного героя-коммуниста и объективной реальностью (а отображена она достоверно), в которой приходится действовать созданному по этой установке Безуглому,— своего рода зазор, который В. Зазубрину до конца первой части эпопеи преодолеть так и не удалось.

К каким бы наблюдениям, размышлениям, выводам пришел писатель в следующих книгах трилогии, в каком бы направлении развивались образы героев, и в первую очередь — Безуглого, сейчас можно только предполагать. Роман остался недописанным, судьба черновиков неизвестна. Но и то, что В. Зазубрин успел сделать в разработке темы коллективизации, имеет самое серьезное значение. Роман «Горы» стал одной из первых запоминающихся страниц художест-

венной летописи колхозного движения и вместе с «Поднятой целиной» М. Шолохова, «Брусками» Ф. Панферова, «Горными орлами» Е. Пермитина, «Ненавистью» И. Шухова, «Лаптями» П. Замойского занял свое достойное место в истории советской литературы.

Владимир Яковлевич Зазубрин был прозорливым человеком. Тем не менее, создавая повесть «Щепка», задумываясь о революционном терроре, о том, чем он может обернуться для народа, писатель вряд ли мог предугадать, что через полтора десятка лет чаша сия не минует и его самого. Однако так именно и случилось: волна репрессий 6 декабря 1938 года унесла и его жизнь. Унесла жизнь, но не память о художнике.

Произведения, о которых выше шла речь и которые представлены в данном сборнике, написаны давно. Но как истинные художественные творения они и сегодня не потускнели, не стерлись, не обесценились. Они успешно выдержали испытание временем, во многом оказались провидческими, что делает их особенно близкими современному читателю, переживающему со всей нашей страной нынче столь же нелегкие дни, что и на заре советского государства.

Алексей Горшенин

ПРИМЕЧАНИЯ

Щепка

Повесть написана в 1923 г. На обратной стороне рукописи, обнаруженной литературоведом Р. Колесниковой в рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина (ф. 9, п. 5, ед. хр. 216), стоит дата — 23 апреля 1923 г. В том же году повесть была предложена автором журналу «Сибирские огни», но тогдашняя редколлегия ее отклонила. Писатель продолжил работу над произведением, которое разрасталось в роман. Завершить над ним работу Зазубрину не удалось, а рукопись оказалась утерянной. И все-таки премьера повести спустя несколько десятилетий состоялась в тех же «Сибирских огнях» (1989. № 2), в свое время ее отвергших. В настоящем сборнике повесть печатается по журнальному тексту.

Общежитие

Рассказ впервые напечатан в журнале «Сибирские огни» в 1923 г. (№ 5). Переиздан в «Сибирских огнях» (1989. № 11). Печатается по журнальному тексту 1989 г.

Бледная правда

Впервые рассказ увидел свет в журнале «Сибирские огни» (1923. № 4). Переиздан во 2-м томе «Литературного наследства Сибири» (Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972) и в «Сибирских огнях» (1989. № 11). Печатается по журнальному тексту 1989 г.

Горы

Первая публикация романа состоялась в журнале «Новый мир» в 1933 г. (№ 6—12). Первое книжное издание «Гор» осуществлено Издательством писателей в Ленинграде в 1934 г., второе — в «Советском писателе» в 1935 г. Печатается по журнальному тексту 1933 г.

Заметки о ремесле

Впервые опубликованы в журнале «Сибирские огни» (1928. № 2). Переиздан там же (1989. № 8). Печатается по журнальному тексту 1989 г.

Неезжеными дорогами

Под таким заголовком очерк был напечатан в журнале «Сибирские огни» в 1926 г. (№ 3). Первоначальный вариант назывался «На «Сибревкоме» и публиковался в краевой газете «Советская Сибирь» (1925. 5, 6 и 13 ноября). Вошел очерк и в «Литературное наследство Сибири» (т. 2). Печатается по тексту «Литературного наследства Сибири».

Зерно, поднявшее камень

В настоящем виде воспоминания были опубликованы в журнале «Колхозник» (1936. № 8—9). В. Зазубрин объединил здесь два своих прежних выступления о Горьком. Одно появилось при жизни Горького — «Зерно, поднявшее камень» — в газете «Известия» (1932. 26 сент.), другое — «Из воспоминаний о Горьком» — в газете «Горьковский рабочий» (1936. 23 окт.) уже после смерти Алексея Максимовича. Очерк включен во 2-й том «Литературного наследия Сибири». Печатается по тексту этого издания.

Литературная пушнина

Статья-фельетон впервые опубликована в журнале «Сибирские огни», (1927. № 1). Этот же журнал с малосущественными сокращениями перепечатал ее и в 1990 г. (№ 8). В настоящем сборнике печатается с журнального текста 1990 г.

Проза «Сибирских огней» за пять лет

Этот доклад был произнесен В. Зазубриным 21 марта 1927 г. на торжественном заседании, посвященном пятилетию журнала «Сибирские огни», и опубликован во втором номере журнала за 1927 г. Новая публикация доклада осуществлена «Сибирскими огнями» в 1990 г. (№ 7). Печатается с журнального текста 1990 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Яковлевич Зазубрин

БЛЕДНАЯ ПРАВДА

Редактор **А. А. Целищев**
Художественный редактор **Н. Д. Викторова**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **Л. В. Дорофеева, А. З. Лазуткина, Л. М. Логунова, Л. В. Конкина**

ИБ № 6397
Сдано в набор 30.10.91. Подп. в печать 20.04.92. Формат 84×108 1/32. Бумага офс. № 2. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. п. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 26,05. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2299. С. 44. Изд. инд. ЛХ-446.

Издательство «Русская книга» («Советская Россия») Министерства печати и информации России. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.